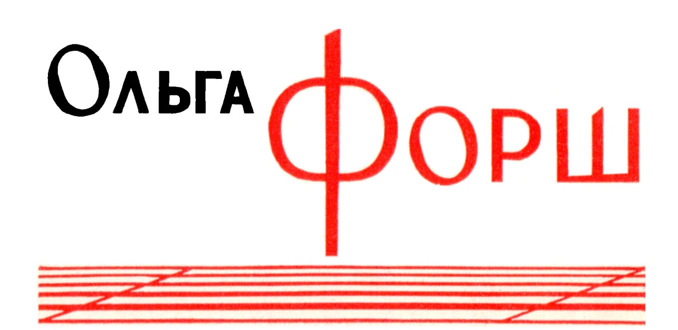


Ольга

Форш

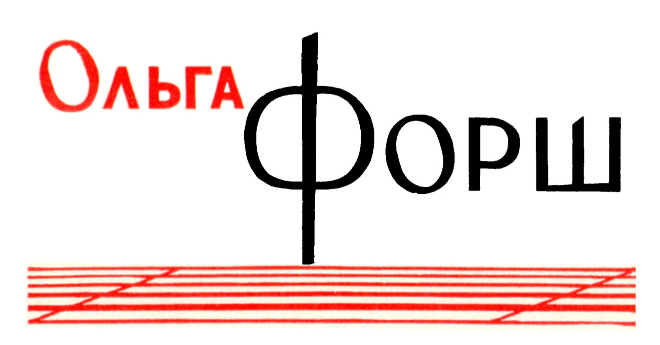
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ВОСЬМИ ТОМАХ

Издательство
«Художественная литература»
МОСКВА · ЛЕНИНГРАД
1964



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ

6

РАССКАЗЫ · СКАЗКИ

1907—1923

Издательство
«Художественная литература»
МОСКВА · ЛЕНИНГРАД
1964

Примечания
А. В. Тамарченко



О. Д. ФОРШ

1914 год

ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ



БЫЛ ГЕНЕРАЛ

I

— Приехал вскормленник мой, енерал, Никита Иваныч, — радостно сказала Анфиса, худая, иконописная старуха, входя в избу.

— Ишь ты, приехал, — обозвался с печи Артем. — Сколько годов один ветер в хоромах ходил.

— А нонче уж сам, а гладкой стал, пальто у него алым подбито, ровно сарафаном. — Старуха выговаривала с гордостью, стягивая сапоги, облипшие жидкой весенней грязью. — Исподнее такой тонкости... и где только тканое? Стирают уж...

Анфиса вобрала изжеванные губы и вдруг рассердилась:

— Марья Шепчиха свою девку поставила, поспела, сука. А кажись, моя тут копейка, не ейный он вскормленник!

— Ейный, — усмехнулся Артем, — нешто когда на проезжей дороге росла трава?

Анфиса еще раз выругала Марью и, с подвязанным подбородком, подоткнутым подолом, бабой-ягой прошла

к печке. Под самый нос Артема уткнула свои сапоги. Артем нехотя передвинул голову, по-бабьи укрученную в теплый платок. С детства болел он ушами, а как примерз спьяну к луже, так уж с печи не слезал.

— А што, матка, — сказал Артем таким голосом, будто язык у него был толще, чем у других, — ты не обозвалась генералу: я, мол, кормилка твоя, а Степка наш, значит, брат ему молошный?

— Не отважилась, Артемушка. Ходил этта он по доскам, в саду от грязи накладены, а грузный, а серьезный, одно слово — енерал. Только осмелела, посунулась, а он пальтом заалел да в двери. «Хорошо этта, говорит, Анеточка, на дворе пахнет, ты бы пройшлась», это женке-то, а она, ровно простыней обкрученная, распоясана, а с лица поганая, как закричит на его: «Я, говорит, в грецеские земли хочу, а не навоз деревенский нюхать».

— Господа сами духовиты, — до ушей ухмыльнулся придурковатый Степан. Сидел он на лавке у стены, длинный да белесый, прямой выветренный колос, как прозвала его деревня. Лишь только выбивался из мрака на освещенную поверхность стола ошалевший прусак, Степа давал ему хорошего щелчка, прусак вверх тормашками летел на пол. Степа гоготал.

— А ты бы, мать, узоров не разводила, — сказал Артем и спустил с печи, словно двух спеленатых младенцев, свои распухшие, обмотанные ноги. — Покланялась бы генералу на бедность, все пятерку бы дал. Хоша к фершалу съездить, сказывали — «супермазь» сам открыл, от всего легчает. Буравит косточки-то. Тоже и пишша... Хлёбово варишь — свиньям впору. Мясного с крещения не видали.

— Мясного свищи, — загоготал Степа и, пропустив шустрого прусака, плюнул ему вдогонку. — А я намедни из хлёбова двух червей выловил, должно гороховые. Пущай для навару, вот те и мясные — угу!..

— Чаво загугнел... лапша, — презрительно зашипела Анфиса. — А ты матери не укорщик, — качнулась она на Артема. На бревенчатой освещенной стене странно продвинулась торчащими кверху концами платка, словно рогами, ее черная тень.

— Коли не робкой кобылы жеребенок, сходи с дураком этим али сам за него обзовись: я, мол, братец твой... зачирвелый.

— Куда мне... — показал Артем на свои ноги.

— Я, маменька, сам схожу к братцу-то, мне што, — сказал Степа.

— Сам! — Анфиса с сердцем плеснула квасу в облезлую крашеную миску, протянула руку за картошкой, но раздумала и, тяжело опустившись на скамью, громко высморкалась в подол. Слезы побежали по глубоким привычным морщинам. Она не размазывала их ладонью по лицу, а, шевеля, как старая лошадь, губами, только вздыхала истово, как от горячего чая, почти с облегчением. Случится, выпросишь щепотку у попадьи, и нагонит ее в печи, ровно калину. Тянет с блюдца, пока весь чугун не опорожнит...

Так на холоде коровы к теплой барде присасываются. Не отгонит подпасок — лопнет, сама не отвалится.

У Анфисы, вдовой солдатки, как жернова на шею, нависли два никчемных сына: Артем зачирвелый да Степка-дурак.

Выпало ей на долю самое трудное, и не бабье, а мужиково: обмозговать, что и как. Ни двора, ни хозяй-

ства; одну голую избу, как бобылю, мир присудил. Ходила на поденщину, к попу, к дьякону. Белье стирала, огород полола, мельнику в шабаш воду таскала. Да все: как бы угодить, да чтоб Марья, тоже солдатка, стирку не перебила. Только и отдыха за своим бабским, подлинным: вот поплакать, чайку испить в дорогую душу.

И от чаю и от слез сердце-то словно распаривалось... отпускало.

Увидав вскормленника-генерала, Анфиса не переставала испытывать какие-то утомительные и сложные чувства. Лестно было ей вспомнить, как трещали под ним доски и алым маком заворачивалось при каждом движении пальто. Лестно потому, что не с чужого — с ее молока пошел расти генерал.

И вместе от этого самого — что грузный да сытый такой, что подкладка красная, — было обидно. Так обидно, будто кто сердце двумя руками выжимал, как белье выкручивал.

— Пойдите, сынки, пойдите к вскормленнику... с того и, скажите, зачирвели оба, что груди тебе, а слезы-то нам! Покойница барыня на Степку и не глянула. Ровно щенка, я в стеганку укрутила. Сунула, отворотившись, грешницу: нельзя, говорит, двух разом кормить, свово сдай на деревню. А на деревне, известно, маком опоили... Ишь, дураком сидит.

А как тебя, Артем, прижила, опять мамкой к поповичу. Попадья — родить родила, а не молошная. И она тож: нельзя двух, чай, не корова. На жвачке тебя, сынок, на жвачке сгноили.

Анфиса причитала-скулила. За стенкой девчонка, всунув ногу в веревку, качала колыску. Скрипел под потолком деревянный брус. Артем вздыхал, переклады-

вал ноги. Степе стало скучно, так скучно... тошнотою подкатывало к сердцу.

Не забега́ли больше прусаки на светлый круг, тот, шустрый, верно, усами передал. Делать Степе было нечего. Он зимой ровно капуста перепрелая, даже лаптя сплести не умел. Все больше спал, очумелый. Когда бы не был он таким пастухом, что сам бык Евлан на голос его словно овечка малая шел, и кормить зимой не стоило б.

Очень обидно было Анфисе за Степку, стыдилась его. Артем — тот, правда, и копейки в дом не вносил, а все ж он — как люди: и водку, случалось, пил, и детей, когда покрепче был, от девки-сироты прижил, и речь его понятна, и думка как у людей...

А Степка — леший его батька, ленивый на нем не линял. С ребятами ровней, со псами лижется, ни пахать толком, ни в батраки. Рот разинет — чужую бороду заскородит. Только и отдыха от него, как в пастухи поставила.

За дверью что-то затопотало, натиснуло. Ввалилась здоровая девка, краснощекая сирота Настя. За ней, давя друг друга, наполняя избу странно человеческими звуками, мягкие черные барашки. Соседний богатый мужик Мареев перестраивал свой скотный, а пока «от куска» ставил к Анфисе в избу скотину. За это, когда забьют борова, уделят лопатку.

Анфиса, увидав девку, сейчас же подобралась, чтоб она не подумала, что вернулась из усадьбы несолоно хлебавши.

— Вылови из кадки огурцов, — приказала она тем сухим, злым голосом, каким на деревне всякая испитая, горемычная баба говорит с красивой девкой. Настя

скрылась в темных сенях и, поливая холодным рассолом вздрагивающих баранов, положила на стол огромные набухшие огурцы.

— Ишь утопленники, — оживился Степа и, встав, нажал ладонью на самый толстый, отчего тот слабо квакнул. — Ровно жаба, живой...

— Леший ты, ирод... — Анфиса замахнулась обгрызенной ложкой, но Степа увернулся и, споткнувшись о баранов, побежал вон из избы.

— Водяной бык! — радостно крикнул он, показав на минуту белобрысую чахлую бороденку.

— Тетенька, я пойду к озеру... — закраснелась Настя. — Водяной бык гудет.

— Знаю твово быка. Знаю, к кому ходишь; а мне што, иди...

II

«Гу... у... уп...» — тяжело хлопался кто-то в воду, и по всему озеру отдавалось, гудело по верху широкой, разлившейся воды: «У... у». Это смешная птица вставляла по самые глаза свой длинный нос в воду и, выдыхая, испускала такие густые, мощные звуки, что, казалось, большой неуклюжий зверь увяз в тине.

Водяной бык открывал весну. Каждый год по его сигналу все девки и парни сбегались к озеру и жгли сухие листья, свезенные в кучу после чистки господского сада. Степа не любил хороводиться с девками: они его высмеивали, парни смазывали ладонью снизу вверх. Суетливо...

Он полез на толстую липу, что подпирала сплывшую под гору Анфисину избу, и стал смотреть на ко-

стры. Частый, ночью совсем серый березняк прорезали красные огни. Совсем маленькими, черными кажутся Настя и Фаддей, сыроваров работник. А головы сидящих на земле девок — словно тыквы.

Вот Митрошка выхватил гармонь и заорал глупую, из пригорода занесенную песню.

Девки или, девки или,
Они жарили картофь,
Сокрушили, иссушили
Усю нашу холостежь.

Зашевелились тыквы, выросли в девок, затопали, запели. Сыроваров работник подхватил кого-то да Митрошке через огонь, а Митрошка — Ваньке, а Ванька — в кусты. .

Ух... Словно колокол оборвался, плюхнулась Домна в костер, и до самых тонких ветвей, прямо в звезды, брызнули кровавые искры. Кинулись парни тушить девку, а девки хворостинами сзади бьют парней. Визг, смехи.

«Гу-уп! Оборвал, не гудет. Должно, приманул свою бычиху», — подумал Степа и перевел глаза с ярких огней на небо. В синеве наверху еще лучше. Большая, вся распухшая от весенних соков береза переплелась макушкою с липой. Под ногами — ничего, а весело, словно аисту на колесе. Вниз глянуть — темно, а сквозь голые частые ветви небо такое, ну просто пахучее. И звездочки промывает, мягчит весенняя влага.

Густой сладкой каплей падает березовый сок, переполняет, пузырит ведерко. Соловей только зачастил, стал сыпать, а крапивянка с сирени так и втирается, подражает. Остановился соловей, уступил. Трещит-ве-

рещит крапивянка, будто и правильно, однако до коленца с переливом дошла — заикала. Соловей еще малость спустил, скосил глаз на соловьиху, напружил перья на горлышке и пошел...

Степа вытянул голову, приоткрыл рот и, никуда определенно не глядя, словно сразу и видел и слышал все: въедливую песню сыровара «Девки или, иссушили» и двойной звук каждой капли березового сока — густым всплеском в ведро, чуть слышным шорохом внизу, в сухих листьях.

Завился Степа в черных ветвях, длинный какой-то, словно бескостный. На тонкой жилистой шее бесцветное лицо. Волосья — солома прошлогодняя, голубые, словно незрячие глаза — прямой выветренный колос.

А ему, дураковатому, мнится, будто это он сам сейчас с весенней удалью швырнул в огонь Домну. Это он вместе с птицей гудел по воде, слышал дух оживающей тины. Будто это он — тот сладкий сок, что разморил, раззадорил березы.

III

— Сте-е-пка, а Степ, — дребезжала, надрываясь, Анфиса. Еще завела голос, да шарахнулась. — Ишь, чертов ворон!

Степка каркнул и свалился прямо с дерева ей под ноги.

— Мужички за делом пришли, ходь в избу! Тебе, дураку, почет — выборным будешь.

В избе сидели гости: старик Тимофей и Левка, рыжий парень с острыми гвоздями-глазками.

— Слышь, Степа, — сказал старый, — твой час послужить деревне пришел. Мир матке твоей избу отвел, в пастухи тебя рядят. Поколеть бы вам, кабы не мир, вот, значит, и отслужи своей дуростью.

— Посылаем тебя к енералу, супротив старшины, — скороговоркой выскочил Левка.

— К е-на-ра-лу, — вытянул Степа, — сама матка, гляди, заробела.

— Матка твоя с обхождением, а ты дурачок, тебе ништо. К тому ж енерал тебе не чужой, родня, брат молошный, — стучал в ухо Левка.

— Узнали мы, што тихой он, так вот, может, если как к отцу родному, и присечет он земского-то, — сказал старик.

— Што ж про земского, дяденька?

— Ай, дурень, про земского нишкни. Около него разводить — разводи, самого, храни бог, не обзывай, — зашептал пугливо Левка.

— Слушай да повторяй за мной, ровно псальму, — строго приказал Тимофей. — Кланяются тебе пребывшие твово батюшки мужички от белого лица до сырой земли. И поклонишься.

— И поклонишься... — повторил Степа, следя, как вздыбился кот, чтобы достать с лавки кусок хлеба.

— Ти не можно, сказывают, тебе без нас старшину сменить? Мы его, скажи, боимся. Он подвел этта, что знов его старшиной, а родню дикандатом.

— Ди-кан-да-том? Ишь ты, — улыбнулся Степа и с удовольствием еще повторил слово.

— Чего, ровно урод, заладил! — осадила Анфиса.

— А ведь старшину, дяденька, сами мужички

выбирали, их, чай, слобода была? — прогнусавил с печи Артем.

— Слобода? Дураков брат, видно, и сам одурел, — недовольно заговорил старый. — Слобода нам теперь есть по правилу околевать, а допреж того бесправильно дохли. Слобода... у чертовой она матери.

— Ну, негоди мне, — встал старик. — Слушай, Степа, сурьезно: вали енералу, что хошь, не сумлевайся, брат ты ему молошный и богом к тому же обижен, а земского с старшиной разлить беспременно пора.

— Да уж я, дяденька, все, я ему ди-кан-да-та. Мне што, мне все одно, — говорил Степа, выходя за мужиками на улицу. — А што, Федосеич, — обратился он к Левке, — может, уж скоро «поволочимся» — бык, слышно, гудет?

— Утопнешь... лошадям по брюхо. Разве што кругом пойдет? Да сперва научись: из присказа повытиснуть надо. Уж про Пётру Кондорыкина не ори, как намедни: «А и чей-то дом, ровно дуб средь пней». Другим обидно. Обстроились. И Кузьмичевы лавку, и вдова Белоусиха клетей нагородила.

— Ты уже, дяденька, загодя обучи.

Верстах в десяти было большое село, а около монастырь. Давным-давно ходили туда на пасху «темные» петь христосные песни и величания. Настоящих слепцов было мало; старики в «волочебнички» шли редко. Отемневали Христа ради охотники. Они брали себе поводырей и всю святую по обету уже глаз не открывали. После обедни, под воскресный трезвон, когда бабы с облупленными до половины яичками, чтобы святость «наскрозь» проходила, шли христосоваться в именитые

купеческие дома, «волочебнички», все в белых суконных армяках, держась друг за друга, тянули им вслед, припевая:

Волочебники мы, волочилися,
Ради батюшки Христа промочилися.

IV

Генерал Никита Иванович если не гулял в саду по доскам, нарочно для него положенным от крыльца до садовой калитки, то сидел в ванной.

Белые стены ласково отдают весь получаемый свет. Под ногами упругий, в голубых цветочках, линолеум. Отсутствие привычных предметов, связанных с назойливой мыслью о былом, делают эту комнату единственной, в которой Никита Иванович чувствует себя свободно после того, что с ним произошло.

На мудреных приспособлениях для душа установлена небольшая батарея. Длинные проволоки зелеными червями пробираются в аквариум, стоящий на табуретке в белой фарфоровой ванне.

Генерал медленно надевает на провод старую пуговицу и, опустив ее в воду, радостно следит, как нежная светлая дымка обволакивает облезлые места. Пуговица становится такая белая, веселая...

— Новорожденная, — улыбается генерал и берется за другую. За пуговицами — шпоры, задвижки или просто куски меди: а зачем, для чего? Не все ли равно.

Генерал посеребрил уже всю кучу мелкой рухляди, что была под рукой на окне, а с большими предметами сегодня возиться неохота. Надо встать с места, усилить

ток, но уже не занятно, как в первые дни. Сейчас только бы смотреть, как облезлые, израненные временем места залечивает серебристый налет.

— Если б и меня кто-нибудь так, на провод и в воду.

Генерал положил руки на колени и стал думать все об одном и том же с самого начала.

Отдали в корпус, в тот, где был и отец; вышел в тот же гвардейский полк, и командир до поступления в академию так и звал — не по имени, а «сынок Иван Палыча». В академии благополучно сдал роковую «третью» тему. В тридцать минут, как это строго, по толстым золотым часам проверял профессор, передал историю чужой кампании со всей славой, поражениями и овсом, съеденным лошадьми. Окончание академии поставило Никиту Ивановича на гладкие рельсы, и далеко без уклонов протянулись блестящие прямые полоски.

Так прочно, так издавна все в его жизни было налажено, и он сам, маленький, но для чего-то необходимый винт, был пригнан как раз туда, где ему быть надлежало. О чем еще думать? Чего искать?

Не нарушилось это равновесие и войной. Жизнь в вагоне-столовой шла как в Петербурге — те же лица, те же бумаги.

Нового — жутко волнующее любопытство посмотреть на сражение; но знал, что и здесь все так же налажено, опасности нет.

Произойдет так, как, бывало, начитавшись Жюль Верна, представлял себе, что спустился на дно морское в стеклянном колпаке. Кругом чудища; облепил стекло осьминог, а ему что, его не достанет.

И вдруг эта одинокая, словно самой судьбой брошенная пуля. Поразила другого, а его только близко чуть коснулась, обожгла. Левый глаз, как раскаленный чугун, ударил о мозг, и огромная ледяная волна опрокинула Никиту Ивановича навзничь.

Длинная нервная болезнь... Отставка с генеральским чином. Никита Иванович, как и раньше, мог двигаться, воспринимать ощущения, но службу пришлось оставить: всякое усилие вызывало нестерпимую боль в левом глазу и затылке. Безболезненными были теперь только мысли, возникавшие сами, помимо его воли, в опустошенной голове. Но зато от этих мыслей ныло сердце. «Как странно, — говорил себе Никита Иванович, — нет меня, начальника штаба, и нет меня вовсе. Куда же делся я — человек, я — Никита?»

Он вспомнил свой детский портрет еще до корпуса, в русской поддевке и шапочке с павлиньим пером. Никита, ласковый, немного ленивый мальчик, любил лежать над вечерней водой или навзничь во ржи, искать в небе жаворонка. Правда, когда гувернер звал, он отрывался, шел беспрекословно.

— Что изберешь: инженерное, или, как я, к лошадям, а там в академию? — спросил отец после корпуса.

Никита хотел было сказать: отпустите пожить просто, посмотреть. Но ленивое соображение, что придется что-то искать, беспокоиться, тут же вялостью разморило душу, и он мягко сказал:

— Как вы, папа́, так и я.

— Ну так сперва в кавалерийское, оно здоровее. Что ж, в «зверях» и Лермонтов был. А у нас из рода в род... Ну и отлично.

Никита Иванович стал замечать, что после болезни товарищи его избегают или спрашивают все одно и то же — о здоровье. «Если их контузить, — думал он, — что останется?» И он пробирался через золотое пенсне за их внимательные, трезвые глаза и накладывал руку на тот кусочек мозга, который у него так мучительно ныл. «Если прекратить ловкие комбинации мысли, те, что до болезни были у него самого, если уничтожить иллюзию сложной деятельности, что останется, что?»

Жадно ловил генерал все слова, пропускал их сквозь свое, теперь необычайно чувствительное, словно вдруг обнажившееся сердце. Ждал — не задержится ли что: хоть бы слово, хоть звук. Нет, ничего не задерживалось. Все, что люди говорили кругом, было важно только для таких, как они, не скатившихся с рельс.

Приезд домой. Жена Аглая Петровна, с ее жестко очерченным ртом на набеленном лице.

— Какая у вас досадная контузия! И раны нет, а отставка.

Генерал тоскливо метнулся и, взяв кусочек купороса, бросил его в другой, рядом стоящий сосуд. Вода стала такая синяя и сразу как бы похолодела. Голубая вода, голубой жесткий цвет. Что это было? Да, у Аглаи Петровны вечер — «голубой хризантемы». Поэты и музыка.

И в голове генерала болезненно застучал голос жены, такой резкий, нестерпимо фальшивый, желая быть нежным.

— Enfin, [1] — говорила она, — и у нас как в Париже: литература в салонах. Довольно этих всяких

---

[1] Наконец *(франц.)*.

«идей» и «надрывов». C'était bon[1] для курсисток. Писатели сейчас почти светские люди. Quelques-uns sont même tout à fait bien[2] — всегда чистые ногти, и хотя по-прежнему — origine obscure,[3] но говорят так изысканно, что даже почти не по-русски. Их стали везде принимать...

Генерал подбросил еще купоросу и, желая отделаться от неприятного ему голоса Аглаи Петровны, достал с полки большую темную крышку и стал прицеплять ее к проводу. Вода стала еще жестче, еще холоднее.

Совсем такого цвета была на ней туника, когда она, ругая кухарку, разбрасывала по столу хризантемы и за длинные стебли прикрепляла их проволокой к высоким лампам.

— Изнасилованные причастницы... это найдено, — сказал про них один из поэтов и, раскачавшись на тонких ногах, стал нараспев говорить о том, как из белого газа растут белые розы, а из черного бархата — анютины глазки.

— A propos,[4] — прервала его Аглая Петровна, — я вас завтра беру с собой в Гостиный. Vous me donnez des idées[5] вашими стихами. Я из ваших сонетов буду шить себе платья.

Она подарила улыбкой поэта и, забыв, что он еще не окончил, стала усаживать за рояль музыканта.

---

[1] Это было хорошо *(франц.)*.
[2] Некоторые из них совсем приличны *(франц.)*.
[3] Темного происхождения *(франц.)*.
[4] Кстати *(франц.)*.
[5] Вы даете мне идеи *(франц.)*.

— Мы сейчас услышим картины примитивов, не правда ли? Je la trouve exquise votre idée.[1] И подумать, что еще так недавно живопись только смотрели.

Музыкант, почти задушенный высоким белым воротником, стал брать жидкие аккорды, а генерал, обведя взором молодых людей, узкоплечих, словно высосанных великанов и снова выпущенных на волю, подумал, что, верно, все они родились недоношенными. Он вышел из гостиной и, тяжело дыша, опустился на кровать в своей спальне.

Аглая Петровна выпорхнула за ним следом и, близко нагнувшись, так и впилась в обрюзгшее, измученное лицо.

— Если вы все-таки считаетесь хозяином дома, то будьте на высоте...

— Аглаюшка, — непривычно назвал жену генерал. — Аглаюшка, мне все равно, о чем они там поют, а только если и этих контузить — где они? И ты вот... и я — где все мы, Аглаюшка?

И генерал заплакал.

— Вам пора в санаторию, — оскорбилась Аглая Петровна и созвала консилиум.

Потом генералу давали подписывать какие-то доверенности разным лицам, еще водили к доктору и, наконец, свезли в деревню, где Аглая Петровна решила оставить его до осени под надзором немки Вильгельмины. А там будет видно.

В деревне по тону жены, теперь неизменно снисходительному, как это принято с неизлечимо больным,

---

[1] Я нахожу восхитительной вашу идею *(франц.)*.

генерал понял, что на старых, накатанных рельсах ему уже не быть.

Когда первые желтые цветы прорезали прошлогодние листья и за первым медом вылетели отяжелевшие за зиму пчелы, Никиту Ивановича потянуло в лес, далеко, куда глаза глядят.

— Сменить бы генеральский сюртук на белый суконный армяк, как здесь носят, и нет генерала... Быть может, найдется новый человек.

Генерал как-то пробрался в дальнюю рощу, но, утомившись вытягивать ноги из вязкой, необсохшей земли, весь грязный вернулся обратно.

— Прошу вас, пока я здесь, ходите по доскам, — сухо сказала Аглая Петровна. — Утратить без остатка прежнюю молодцеватость, военную выправку — не понимаю, — презрительно двинула она плечами.

В тот же день от дома к забору по неокрепшей еще дорожке проложили доски, и Никита Иванович, кроме занятий гальванопластикой, целые часы проводил теперь в том, что ходил взад и вперед. И все время тускло и с болью вертелись мысли на одном и том же: «Нет меня, начальника штаба, и нет меня вовсе».

. . . .

— Папочка, отвори, — постучала в окно ванной Люлюка, — к тебе брат молочный!

Генерал обрадовался: он любил девочку. Ласково улыбнувшись промелькнувшему красному банту, встал и повернул в двери ключ.

— Здравствуй, — сказал, входя, Степа, — мы с тобой одной матки вскормленники, — и, подумав, прибавил: — ваше превосходительство!

— Вот он и мне так: чего ворон пугаешь? а потом — ваше превосходительство, — засмеялась Люлюка, худая черноглазая девочка.

— Где это ты? — показал генерал на ободранное колено.

— Я, папочка, на свою березу к воронам полезла, да тихо так притаилась, что дятел надо мной долбить носом стал. А Степа этот как зашуршит внизу, я подумала — Вильгельмина, и еще выше, в самое небо... и вдруг — трах, прямо на сук, хорошо — он подхватил.

— А я смотрю, — засмеялся Степа, — коленки голые, а сама девчонка обутая; должно, енеральская. А вода у тебя... ну, ровно небо в ней, — ткнул он пальцем в аквариум, — синька, што ль, заморская? Ой, братец, а я к тебе-то за делом, — спохватился вдруг Степа и, припоминая, какое лицо было у Тимофея, когда он наставлял насчет земского, отошел к стене.

— Кланяемся тебе, вашего батюшки пребывшие мужички... ти не можно тебе сменить старшину, он, значит, родню свою ди-кан-датом. Ну, словом, ти не сподручно тебе его в шею?

— Мне-то, — усмехнулся генерал, — мне, брат, себя самого сменить надо, да не на что.

— Ишь ты, — пожалел Степа, — весь, значит, вышел? То-то сумный... — Он тронул генерала за плечо. — А на дворе радошно таково. Бык, слышь, гудет, в волочебнички собираемся.

— Весь вышел? Ну, это ты хорошо выдумал, — улыбнулся генерал и с интересом взглянул на Степу, — у тебя что ж, баба, ребята?

— Куды мне... я так себе человек. Дурак я, а летом пастух.

— У вас, значит, можно — так себе человек... — начал генерал.

Но Люлюка, чутко взглянув на отца, вдруг прервала его и тоненько выкрикнула:

— Папочка, ты знаешь, что такое волочебнички? — И, не дожидаясь ответа, заторопилась: — Это монастырь у них здесь, верстах в десяти. Крестьяне идут туда перед пасхой, «волочатся». Друг за дружку держатся, обет такой дают — ослепнуть, пока христосные песни поют. Степа говорит: «Очень радошно».

— А и как радошно, — покачал головой Степа, — идешь, за дитя малое держишься! И сам-то ровно дите. Душа — изба пустая, а в ней звоны... все как есть колокола гудут. Если пасха ранняя — ледок кое-где под лаптем хрустит, а земля уж духовита, распарилась, дышит... И скажу тебе: птица кажная скрозь тебя пролетает, словно на веточке, на сердце малость присядет, и дале. И все, по чему идешь, все это скрозь тебя. А солнышко этта, солнышко только греет снаружи, а уж светит внутри. И так это, скажу тебе, обвыкнешь Христа ради темнеть, что, право слово, на Фомину-то аж глаза разомкнуть жалко.

— Как? Как ты сказал? — приподнялся генерал, и глаза его, грустные, покорившиеся глаза всеми брошенного животного, засветились робкой надеждой. — Птица на сердце — словно на веточке — посидит, и дальше... и все, по чем идешь, все «скрозь» тебя? Все значит в тебе, не пустой уж...

Вялые морщины прорезали жирный лоб. Силился бедный мозг осознать что-то новое. Но, не встретив привычного, замер, и сердце изголодавшееся вдруг

дрогнуло, открылось, приняло первые дошедшие до него звуки.

А Степа, зажмурив глаза, вытянув руки, раскачивался, показывал Люлюке, как идти в «волочебничках»:

— Волочебнички мы, волочилися,
Христа ради мы истомилися...

— Люлюка, девочка, — сказал Никита Иванович и обнял дочь, — лазай на деревья, бегай в лес, а потом уйди, непременно уйди от них, когда вырастешь. Ничего не бойся, чем они пугать тебя станут. Одно, дочка, страшно, одно: если контузят — и нет тебя.

— Папочка, милый, я убегу, и ты тоже, и Степа... пойдем волочебничками, а там и дальше. Право, папа, здесь так ску-ушно.

У Люлюки задрожали губы.

— А что ж, — сказал Степа, — уж и можно идти, должно с утра подсохло. Дойдем до деревни, возьмем Левку, наших, да и айда в монастырь.

— Пойдем, папочка, — просила Люлюка, — я пойду впереди, поведу. Степа возьмется за бант, а ты, папочка, за Степу... да отемнейте непременно. Ну, попробуем, ну, хоть до лесу...

— Попробуем, попробуем, — повторил генерал, увлекаемый Люлюкой. — На старые рельсы все равно уж не встать. А тут — «птица на сердце... ручеек прожурчит... да и не холодно, солнце, говорит, внутре».

Он засмеялся и, увидав в передней свои кожаные калоши с французскими буквами, по привычке всунул в них ноги и надвинул на лоб фуражку.

V

На террасе, еще не затканной молодым виноградом, вдали от генеральши чинно стояли мужики: старик Тимофей, Левка и Анфиса в новой черной кофте, с пятком яиц для поклона вскормленнику. Всем троим лестно было, что Степа не только принят, но «докладает» так долго, как путевый.

— И ты говоришь, он у тебя слабоумный, от рождения? — рассеянно, не поворачивая головы на Анфису, спрашивала генеральша.

— А с того и пошло, как маком его опоили, как я к барину вашему в мамки становилась. Братья ведь они молошные...

— Сказала баба, — презрительно оборвал Левка, — «братья»! Один генерал, а другой дурак.

— А все не чужие, молошные, — настаивала Анфиса.

— Ich gratuliere gnädiger Frau mit neuer Verwandtschaft,[1] — обнажила Вильгельмина большие желтые зубы.

Генеральша, прикрытая белым мехом, не выпуская из рук французского романа, еще раз пересчитывала, все ли уложено к предстоящему отъезду.

— Боюсь, фрейлен, вы вытянули легкие юбки, вы их, словно нижние, вдоль по шву...

— Везде, где я делала сундуки, мною были довольны, — поджала губы Вильгельмина и, колыхая, как белый какаду хохолком, своим кружевным бантом на подтянутых висках, пошла разыскивать Люлюку.

---

[1] Поздравляю, сударыня, с новым родством *(нем.)*.

— Фрейлен, einen Augenblick,[1] как бы не забыть: пожалуйста, заготовьте, как и в прошлом году, побольше брусничной пастилы. После разговоров о мистике, с лесами, с пустынниками это так «в стиле». А груши-бессемянки нарезать претонко ломтиками и подавать в индийских подставках, да побольше джинджеру, побольше джин...

Аглая Петровна глянула поверх терпеливо усевшихся на ступеньке мужиков в сад, осеклась, сбросила белый мех, рванулась вперед, обомлела.

— Um Gottes Willen![2] — вскрикнула Вильгельмина, растопырив большие красные руки.

По направлению к балкону, минуя доски, увязая в черной земле, неслась трепаная Люлюка. Дерзко горя черными раскрытыми глазами, свернув на сторону шею, как пристяжная, выбрасывала она смуглые ноги, взвихривая прошлогодние листья, и что было духу пела:

— Волочебнички мы, во-ло-чеб-нички!

За ней, держась обеими руками за огромный пунцовый бант, чуть поспевая, спотыкался, зажмурив глаза, Степа и выводил дребезжа:

— Волочебнички мы, волочилися...

Сзади генерал, без пальто, в распахнувшейся, огнем полыхавшей тужурке и шапке, от непривычных прыжков съехавшей на затылок, новорожденный, обрадованный, всем голосом пел:

— Христа ради мы исто-ми-и-и-лися.

---

[1] Минутку *(нем.)*.

[2] Боже мой! *(нем.)*

Памяти В. Ф.

ЗАСТРЕЛЬЩИК

I

— Тетя Софи, почему говорят про вас — Софья Ивановна, про папу — Иван Иваныч, а про деву Марию просто — дева Мария; как ее дальше?

— Дальше чего, мой друг?

И, перестав считать иголкой узор, тетя Софи опустила вышиванье и взглянула на пол, где Жоржик, лежа на животе, красил «Поклоненье волхвов».

— Ах, милый друг, после радости всегда столько страданий! Бегство в Египет, проповедь, крестные муки — «и меч пронзил сердце ее»...

— Я вас не про урок... — оборвал Жоржик, — я про то, как она дальше? Вы — Софья Ивановна, папа — Иван Иваныч...

— Акимовна она, Жорженька, Марья Акимовна, ведь тебе ее — как по батюшке? — высунулась из соседней комнаты няня.

— Ну, вот, вот! — обрадовался Жоржик и слизнул с головы святого Иосифа лишнюю краску. — И отчего это няня всегда угадает, а вы не умеете?!

— Довольно пустяков, мой милый, — сухо сказала тетя Софи. — Садись хорошенько за стол, мне надо тебе кое-что сказать.

Жоржик сгустил кляксу ослу на хвосте, бережно положил книгу на окно, потом сел против тети Софи на табуретку и уставился в хорошо известную ему бородавку между бровей.

«И стричь не поспевает, ишь волосы лезут, будто ивняк! А глаза — пруд: мутноватый, зеленый, бабы только что в нем белье полоскали...»

— Завтра тебе девять лет, милый друг, — будто по книжке, говорит тетя Софи, — и, как всегда, ты получишь подарки. Вот я тебе и предлагаю: отдай старые игрушки бедным маленьким детям! Ты их, верно, нередко встречаешь: оборванные, без сапог...

— Так я им лучше все пополам, — сказал быстро Жоржик. — Сапоги, даже желтые, если хотят, а штанов сколько угодно!

— Совсем это, мой милый, не то, — поморщилась тетя Софи, — и не выскакивай с своим мнением! Я сама повезу игрушки в приют, Марья Тимофеевна уже собирает для елки. Отбери какие получше и заверни мне в бумагу.

— Старые игрушки невозможно отдать, — взволнованно сказал Жоржик. — Мы с Петькой вчера животы всем перебили, верблюды нагружены для пустыни, а у пастушки только что родилось.

— Опять Петька из кухни ходит? Разве я не сказала, чтобы он только после обедни, когда в чистом белье?

— Как вы всё говорите нарочно, — презрительно усмехнулся Жоржик. — Если вам в понедельник играть

захочется, так на неделю откладывай? Или вот вчера слон хобот в лианах запутал, пополам рассадил, разве такую операцию без ассистента возможно как следует сделать?!

— Ты, мой милый, дерзок и не по годам глупый мальчишка. Без разговоров, отбирай игрушки!

Тетя Софи юрко засеменила к дверям, распирая острыми локтями свою серую пелеринку.

— Кукиш тебе, да без масла! — послал вслед Жоржик и, схватив картонку с игрушками, помчался к кухаркину сыну.

— Петька, неси живей на чердак, паучиха отнять хочет, да смотри, чтобы все налицо оказалось: шестеро диких, пустыня, паровоз и восемь животных.

— Очень мне нужно, — огрызнулся Петька и, косясь на мать, занятую с дворником, многозначительно зашептал: — В воде нонче тепло, идем в раки! И попович приехал!

— Стяни только говядины, — посоветовал Жоржик, — ворону когда теперь раздобыть?

— Georges, où êtes-vous, Georges?[1] — завизжала на весь дом тетя Софи.

Петька свистнул и дернул с игрушками на чердак, а Жоржик, услыхав на парадном беспокойный звонок, притаился за дверью — подсмотреть, кто пришел.

— Жорж, если ты мне сейчас не ответишь... — уже совсем близко ударил в ухо сердитый голос и, выждав, отчетливо произнес с каким-то особенным ядом, растягивая слова: — А, это ты, Сергей! Потрудись, милый друг, в кабинет, мы с братом давно ждем тебя.

---

[1] Жорж, где вы, Жорж? *(франц.)*

Сережа Извольский, племянник отца, дышал так тяжело, как, бывало, когда, играя в железную дорогу, несся впереди паровозом. Глянув в полуоткрытую дверь, он не схватил Жоржика за уши, чтобы показать ему Москву, даже не улыбнулся, а, придерживая шашку, быстро прошел через зал. Приняв необычайные признаки во внимание, Жоржик кинулся к кабинету и, скрыв туловище под диваном, далеко выставил ухо.

Не все было слышно. Сережа часто сморкался, и, если б он не военный, можно было подумать, что он плачет. Тетя Софи злобно кряхтела, а отец строгим голосом говорил непонятное.

— Одним словом, я больше при казни невинных присутствовать не могу... это противно моей совести! — громко вскрикнул Сережа. — И ведь не денег прошу, а занятий, хотя на первое время; потом сам найду.

— Исполнение своего долга есть подчинение закону, и оно не может противоречить ничьей совести! Притом, с точки зрения государства... — прервал Сережу отец, и Жоржику было так удивительно, что отец стал читать вслух свою газету после того, как у Сережи, словно от большого горя, дрогнул и сорвался голос.

Желая проверить глазами происходящее в кабинете, Жоржик приподнялся было, чтобы наставиться в дырку, но Сережа так неожиданно распахнул дверь, что он едва поспел юркнуть обратно под свой диван.

— А я говорю вам: совесть больше всяких законов. Ваши приговоры — одно надругательство, а сами вы — камни. Да, не люди, а камни...

И, не простившись, Сережа бросился вон, едва поспев накинуть на плечи пальто. Жоржик собрался было за ним следом, но большие двойные подошвы тяжело переступили порог, и, напирая всем грузным туловищем на шаги, отец стал ходить вдоль по залу, а вокруг него, как проворные мыши, засуетились прюнелевые башмаки тети Софи.

— Пусть, пусть, голубчик, попробует без двадцатого-то числа! Не то что о-де-колоны с перчатками — в баню сходить будет не на что. «Мне, дядюшка, совесть не разрешает присутствовать при казни невинных!» Скажите, какой неожиданный рыцарь нашелся...

— Для нас, видите ли, закон был, — остановились широко расставленные тупые носки, — а у них вместо закона какая-то «своя» совесть... Очень удобно. Иному слюнтяю и курицу зарезать жалко, а другой экспроприации организует — и оба они по «своей» совести.

— А всего удобнее, mon cher, им без всякого риску от нас, от «бессовестных», денежки получать! — подскочила тетя Софи. — И ведь в конце концов ты ему дашь, Иван Иванович, уж не утерпишь, если оборванцем на улице встретишь. Из военной-то службы куда ему? Разве к работе годен?

— Нет, как они только одного не поймут, — разволновался теперь и отец, — их точка зрения — отрицание государства, отрицание культуры; их точка зрения — Диоген в бочке!

И, сотрясая пол, Иван Иванович затопал обратно в свой кабинет.

— А все-таки, если деньги ты ему дашь, значит, сочувствуешь! — замелькали быстро-быстро, словно

черными языками задразнились из-под серого подола, прюнелевые башмаки.

«Паучиха проклятая, ведьма...» — под диваном злился Жоржик, представляя уже себе, как Сережа Извольский, не найдя места, весь обросший волосами, голодный ходит по улицам и все повторяет: «Что делать? Разве мог я присутствовать при казни невинных...»

Невинные — это значит: перед ним стоял человек с таким лицом, как было вчера у Авдотьи, когда тетя Софи ей кричала: «Признавайся, ведь это ты стащила чайную ложку?»

«Я невиновная, — сказала Авдотья, — за что обижаете?» И, вся белая, она затрясла губой, а животу стало так холодно, холодно... еще немного, и сам бы заплакал.

И вдруг сказали бы: «Жоржик, повесь Авдотью!» Ну, конечно, нельзя.

Так и Сережа: разве ему возможно смотреть, если повешенный человек скажет: «Я невиновный»?

«Нет, повешенный человек ничего не может сказать, — прервал себя Жоржик, вспомнив разговоры дворника. — Он с головы до ног весь закутан в белое, как на лето от моли зашитая шуба, только качается».

Ну, все равно, еще жальче, если не говорит, а только качается.

Конечно, Сережа должен уйти!

А все-таки, если снимет форму, непременно начнет спать в ночлежке. Дворник много раз там был: все, говорит, из военных, поручики.

Был бы Сережа уже капитаном — другое дело. Капитаны счастливые!

Вот на афише недавно стояло: «Человек с каменной головой — капитан Дюбароль».

Весь в орденах, глотает иголки и пьет керосин.

А другой капитан — из Бразилии, тоже со звездами, тот показывал девицу Розу да талии. Она живет на столе, потому что у нее совсем ног не выросло.

А все-таки, если без денег, плохо Сереже; что он купит без денег?!

У, дрянь она, паучиха проклятая, жаба с бородавками, вот ее взяли бы да и приговорили повесить!

От бессильного гнева больше не в силах лежать под диваном, Жоржик на четвереньках пробрался в коридор и стремглав кинулся к няне.

Няня прыскала белье и ездила горячим утюгом по шипящей дорожке.

Жоржик очень любил смотреть, как из жеваного белье становится гладким и от него пахнет праздником, но теперь и не глянул.

— Няня, а кто же приказывает людей казнить?

— А которые, Жорженька, за порядком смотрят, чтобы не безобразничали, чтобы на свой голос не кричали... — с удовольствием нажимает няня привычной рукой на мелкие накрахмаленные складки, и они, как сахар сверкающие, ложатся одна на другую, словно и не их только что в мыльной воде терзала прачка.

— Няня, а которые за порядком, те, уж наверное, всю правду знают?

— Ишь что выдумал. — Няня с неудовольствием приподняла утюг. — Всю правду одни только старцы ведали, да с собой и унесли. Да ты не егози под руку, смотри, пузыря достанешь.

— Ну, ну, — заторопился Жоржик и, вздернув рыжие брови, открыл рот, чтобы лучше поймать слова. — Ты, няня, о них опять с самого начала!

— Вот были, Жорженька, старцы такие, давно, еще при старых книгах. Они, как христопродавство пошло, книги-то взяли да в горы... А в книгах вся как есть правда прописана и была, только знай листы разворачивай!

— А что же за старцами войско не шлют? — не утерпел Жоржик.

— Что, батюшка, войско?! Слово на них сказать надо... Вот если какой человек по правде так крепко стоскуется, что выкликать старцев начнет, покуда живота не решится, такой и выкликнет. А ежели покличешь, покличешь, да и присядешь, они и ухом не поведут. Потому, сидят старцы в агромадной пещере под самым тем деревом, где святая троица во всем своем естестве один раз посидела.

— Мамврийский дуб, это я знаю, — серьезно сказал Жоржик, — только он, няня, совсем не в пещере, а на дворе Авраамова дома.

— Вот же, вот, Жорженька, и монашóк этак сказывал. Только, говорит, пещеркой его ноне прикрыли, — такой народ пошел, не ровен час, и срубят, — и кружка при нем для усердных. А от желудкóв этого дуба женщина, которая неплодная, на себе носить станет, беспременно рожать пойдет...

— Няня, а я могу старцев выкликнуть?

— Мал еще, Жорженька, разве в силу войдешь.

— А если их выкликнуть, все как есть злые к черту провалятся?!

— А тогда известно: тогда Новый Ерусалим вступит, реки молоком пойдут, а в городах уже не заставы, а двенадцать ворот золотых, а все с зеньчугом.

— Georges, où êtes-vous? — залилась опять тетя Софи.

Жоржик вдруг вспомнил разговор об игрушках и, помчавшись в конец коридора, щелкнул дверью в темную комнатку и что есть силы принялся дергать висящую белую ручку.

— Qu'est ce que tu as de rester si longtemps?[1] Заболел, что ли? Да перестань дергать, машину испортишь!

Жоржик выскочил красный, с веселыми чертиками в лукаво подхваченных калмыцких глазах.

— Где игрушки? Я и так опоздала...

Тетя Софи сверх обычной своей пелерины накинула другую, теплую, но покороче, и, спрятав под нее руки в черных перчатках, бросала на белую стену тень китайской постройки.

— Игрушки все — фью, — свистнул Жоржик, — ищи ветра в поле! Я их спустил.

— Но это чрезвычайно! — всплеснула тетя Софи своими руками негра. — Что я скажу Марье Тимофеевне?! Да это просто не детская дерзость, мой милый! Как ты только посмел?!

— Как же отдать, когда я их люблю? — сказал Жоржик. — А детям, я уже говорил, возьмите штаны, возьмите матроску, даже завтрашние игрушки можно, пока я их не узнал.

---

[1] Что ты так долго? *(франц.)*

— А ты отдавай не то, что хочется, а то, что любишь, если ты христианин! «Положи душу свою за други своя...» — слыхал? А тебе негодных вещей жалко. По какому же это ты, милый, закону живешь?

— Ни по какому! — вспыхнул Жоржик. — Я, как Сережа, хочу только по совести... А про законы мне совсем все равно.

— А гореть не все равно? — Тетя Софи подпрыгнула прямо в лицо, и бородавка ее, такая злая, вдруг ощетинилась, сама захотела колоться. — В огонь вечный попасть захотел, «иже уготован аггелами его»? Там, милый, не шутят; там что сегодня, что завтра — уже навсегда...

— Врете вы все! — закричал не своим голосом Жоржик. — Про Марью Акимовну не знали и про другое, наверное, не так говорите! Хотите, чтобы Сережа в бане не мылся, во всем подучаете папу. Вот как выкликну старцев, вы прежде всех в ад и провалитесь.

— Если уж так чрезвычайно, если уж так... — захлебнулась тетя Софи и, подобрав нижние юбки, как от сильной грязи, до вязаных белых чулок, побежала к Ивану Ивановичу в кабинет.

— Петька, — кинулся Жоржик в кухню, — живо, дерем за мельницу!

— Здóрово! — обрадовался Петька, но тут же вдруг испуганно дернул носом, упустил на пол картошку, которую чистил, и в минуту голыми пятками промелькнул вниз по лестнице.

А Жоржика сильная рука схватила за шиворот и, безмолвно протащив весь коридор, вдвинула в темный

чулан. Ключ отчетливо повернулся, и жестяной голос отца проговорил:

— Отсидишь до вечера, тогда поговорим.

II

Придя в себя, Жоржик завизжал и стал бешено колотить в дверь, но отец прикрикнул:

— Если не перестанешь, оставлю на ночь.

Отец такой серьезный, как его письменный стол: если наказывал, никогда не прощал.

Молча запрет, молча и выпустит, когда назначил. Да обыкновенно в чулане совсем и не скучно. В жестянке, чтобы не стащили мыши, припасены огарки, а в кармане среди кусков сахару уже всегда неразлучны спички, ножичек и карандаш. Только присмотреть ящик от макарон, который поглаже, нарисовать морду лошади, да и постругивать, пока срок не выйдет.

Но сегодня день такой славный, хоть и осень, а в воду влезть хорошо. И рак непременно пойдет на лучину... Вон Петька уже и полено щепит, — услыхал он срывающиеся удары топора на кухне и, вставив два пальца в рот, тихонько свистнул.

— Жоржик-Ершик, надолго зацапали? — немедленно зашептал в скважину Петька.

— До самого вечера, а там вдвоем с ведьмой будут кишки тянуть...

И, нарисовав огромную волосатую бородавку, Жоржик всадил в нее ножик.

— Я уже мясо украл, ребята сачки заправляют, а мы с тобой в воду, лучинщиками...

— Эх, ключ у него, — вздохнул Жоржик.

— А окошко? Оно ведь без рамы, ящиков нагороди, я веревку тебе перекину, а там — мне на плечи.

Петька помчался за веревкой на привычный чердак, а Жоржик, чтобы скоротать время, заметался по чулану. Два шага вперед, два назад.

— «Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела?..» — нараспев начал он, но сейчас же бросил. — Глупые стихи: спрашивает, спрашивает, а все без последствия — разве дерево говорит?

В большую отдушину чулана влетела привязанная к крепкой бечевке большая картошка и вкусно чавкнула, ударившись об стену.

— Молодец Петька! — восторженно шепнул Жоржик и кинулся громоздить ящики, но из них с таким треском посыпалась всякая рухлядь, что из кабинета последовал новый окрик: «Еще раз, и ты ночуешь!»

— Обожди, Ершик! Он скоро гулять пойдет, — обнадеживал Петька.

Чтоб не терять попусту силы, Жоржик лег на спину и потушил огарки. Он очень любил так лежать в темноте. Глаза как будто переходили вовнутрь затылка и уже оттуда смотрели, как в голове двигаются люди, вырастают какие-то большие красивые цветы или вдруг как на дне морском ворошатся чудовища. Кого хотел, того и пускал себе в голову; а глаза все видели, и еще лучше, чем днем.

Но сегодня он не хотел смотреть. Он изо всей силы думал: как бы достать Сереже место, чтобы он не стал пить водку, как поручики из ночлежки?

Если бы не паучиха, отец дал бы Сереже денег. Отец добрый, только он не любит ни о чем думать, кроме

своей службы. Вот люди, которые за порядком смотрят, — взяли бы они паучиху да и повесили! Но пока правильных книг нет, разве кто что-нибудь по-настоящему знает?!

«А если никто, значит, и я: захотел — и повесил», — вдруг решил Жоржик и вслух, сидя на полу, уже с открытыми глазами, стал пояснять себе дальше:

— С теми людьми, что невинного вешают, ничего не случается страшного, — тем больше со мной, если я ее, виноватую?! Всем жить не дает: ябедничает, сахар, даже за чаем, считает; все, что любишь, отымет, Петьку живого ест... Вот еще!

— Петька! — забывшись, громко выкрикнул Жоржик. — Паучиху нам необходимо повесить, слышишь?

— Что же, ее можно повесить, — без всякого удивления немедленно согласился Петька. — Твой уже матери двугривенный на булки дал; сейчас уходит. А тетку мы тут из чулана и вздернем! Она все в сундуках со свечой шарит. Скажем, будто сама удавилась, со злости.

— Нет, Петька, ты только подумай: мне в разбойники теперь невозможно, потому что разбойник — он душегуб, а мне старцев непременно выкликнуть надо. К тому же, как только они придут, я ихние книги сейчас разверну и про нее правду узнаю: сколько ей еще доживать на земле оставалось. Мы на тот срок ее снова из ада и выпустим!

— Тогда можно и выпустить, — опять подтвердил Петька, тоже наслышанный в кухне о старцах, — потому тогда Новый Ерусалим вступит, а при нем всякий злой человек уже без опасности!

— Так что же откладывать? — сказал Жоржик. — Давай пробовать.

— Да чего пробовать! — сказал Петька. — Разве она тяжелее воблы? От ехидства, гляди, давно вся усохла, вдвоем ужо справимся, а сейчас дерем, Ерш, за плотину — твой не очень-то прохлаждаться любит.

Жоржик зацепил веревку за торчащий в стене костыль, немного застрял в отдушине и, весь испачканный мелом, спустил ноги Петьке на плечи. Потом легко спрыгнул на пол и, торопливо вытащив из кармана обгрызок красного карандаша, стал что-то писать на стене.

— Без приговора вешать не полагается, — деловито сказал он, — а приговор — «одно надругательство», уже Сережа наверное знает.

И на стене коридора, против веревочной петли, Жоржик крупными буквами вывел:

«Паучихе проклятой, пипе суринамской, жабе с бородавкою объявляем мы смертную казнь!»

Потом, из всей силы раскачав петлю, Жоржик кубарем впереди Петьки скатился по черной лестнице, на минуту задержался у открытого погреба, напихал себе полную пазуху сырой картошки и, уже не оглядываясь, помчался по прямой линии через огороды предместья к глубокой, но быстрой реке.

III

— Жоржик-Ершик, ей-богу, он! — обрадовались черноглазые мальчуганы с такими животами, как будто они только что проглотили по арбузу. — А Петька сказывал, ты на цепи!

— Сорвался! — сиял Жоржик. — А где же попович?

— Попович зазнался, — обиженно сказал старший, — мелочь вы, говорит, дураки, а я — второклассник...

— Ну его к черту, обойдемся! — прервал Жоржик и, быстро разувшись, влез в воду. Он не боялся больших черных раков и, держа в одной руке пук горящей лучины, шарил другой по глубоким норам. Обыкновенно глупый рак объявлялся скоро, разворачивал свою двупалую клешню и так крепко вцеплялся, что, только подпекая хвост, можно было высвободить руку. Если из пальцев при этом шла кровь, мальчики хвалили Жоржину храбрость, а он от гордости готов был целиком скормить себя ракам. Но сегодня, хотя вечер был теплый, осенний холод реки уже нагонял на ее жильцов предзимнюю дрему, и рак, забившись с своей рачихой в глубь темной норы, уже не шел, с любопытством таращa глаза на лучину, а упорно выставлял одну скользкую поджатую шейку.

— Под хвост не подкопаешься, рука онемеет, я уже бросил... — крикнул с берега Петька, — иди, Ершик, картошку печь! Может, который на мясо пойдет!

Озябший Жоржик с удовольствием растянулся у костра, и стал внимательно наблюдать натянутые бечевки глубоко спущенных в воду круглых сачков.

Черноглазые мальчики и Петька носили хворост, изредка перекликаясь. Жизнь в городе, загнанная по домам, разделенная на часы, здесь, за заставой, разливалась почти с деревенским привольем. Шумело колесо водяной мельницы, и какие-то оголтелые ребятишки,

крутясь в желтой пене, выбивали фонтаны. Успокоенно хрюкали свиньи, и беззаботные гуси, подходя совсем близко, щипали траву.

Осень надвигалась добрая, с материнской лаской, без ветра снимала с деревьев совсем желтый лист и тихой рукой, не крутя его в воздухе сусальным золотом, словно в вату, опускала на мягкую, коврами покрытую землю. Небо было все синее, без облачка, такое чистое, как будто там только и делали, что мыли полы и, как к празднику, протирали стекла.

— Отчего день бывает, отчего ночь? — спросил задумчиво один из черноглазых, поворачивая на палке сало.

— День бог сделал, — не задумавшись ответил Жоржик, — а ночь лучше всего мне нравится так, как я сам выдумал: она в трубах фабричных разводится. Ишь как пыхтят, небо пакостят! Это они все ночные часы выпускают. А когда солнце, совсем от них ослабевши, на корточки за конец земли присядет, черные часы все гуртом соберутся за небом, прорвутся сквозь синее и навалятся ночью на город. К утру уж они свою сажу за другой конец земли всю стрясут, а солнце, отдохнувши, снова во весь рост на небе встанет, только туловище его за голубым, — нам одна голова пока что виднеется... Ненавижу ночь; выросту, на все как есть трубы печать наложу! — кончил Жоржик.

— А как же ворам быть, если без ночи? — раздумывал Петька.

— Вот попович... он совсем по-другому про это рассказывал, он как в книжке, — сказал самый маленький шустрый мальчик. — Он говорит: земля словно большущий мячик, а солнце у его бегает сзаду и спе-

реду. Мы живем спереду, солнышко видим днем; арапы, те живут сзаду, и оно для них ночью.

— Ну и так говорят, что же с того? — покраснел Жоржик. — И то попович соврал, как всегда: не солнце, а земля бегает. А мне что за дело: пусть в книжке так, а я по-другому. Пока старцев нет, все равно наверное ничего и ровно никому не известно. Ну, а картошка сырая, еще не попеклась, — прокусил он закопченную кожу... — Дернем-ка пока что в тридесятое?

— В тридесятое, в тридесятое! — подхватили все мальчики, и хотя их после этого дела дома неизменно пороли, все с удовольствием пробрались за Жоржиком на самый верх чисто выполотых, аккуратных огородов с еще не снятой капустой.

Солнце уже чуть мигало из-за похолодевшей реки и все гуще разводило в воде свою дорогую красную краску. На песчаных обрывах, как рога огромного жука-оленя, совсем черными делались вывернутые корни деревьев. Ребята выстроились на горе, и Жоржик с загоревшимися глазами, почему-то шепотом, словно заклинание, стал скоро-скоро говорить, перебегая от одного к другому:

— Солнце разбежалось по небу и в океан, а мы за ним... И будто под нами не ноги, а кони. Понесут вихрем с одного конца земли до другого, через воду, через камни, через рвы — в тридесятое царство!

Мальчики заржали и стали в нетерпении сапогом, как копытом, бить землю, рвались бежать, а он, предводитель, их не пускал. Он все сильнее распалял словом и для каждого выискивал такое заветное из того, что читал, что слышал, что видел во сне... словно из

костра брал горящие угли и бросал их в жадные, любопытные души.

В последний раз пыхнуло солнце и сковырнулось за дальний лес, за собой следом потянуло свою красную краску, а ночные часы принялись пробиваться сквозь небо, пока еще светлыми лиловыми чернилами.

— Геть, жеребцы, в тридесятое! — по-разбойничьи гикнул Жоржик и, распустив руки как крылья, первый стремглав ринулся вниз, по сине-зеленым упругим кочнам.

— Геть, геть! — подхватили мальчишки и, не отставая, понеслись за ним следом.

Свистел в уши ветер; сухо потрескивая отрубленной головой, скакала вдогонку капуста. Крепкие пятки разворачивали пышные гряды, и, уже бессильный остановиться, раскачав у самой реки обеими руками свое распаленное сердце, Жоржик словно его первое кинул в холодную воду, а за ним и все остальное, огнем разожженное тело...

. . . .

— А, купальщики, вот они где! — выскочил из кустов огромный кучер Матвей Филимоныч. — И не раздемшись изволите. А папенька думает, вы утопли! Пожалуйте-с, Ершик, обратно.

И, обхватив Жоржика теплым пледом, Матвей Филимоныч вмиг спеленал его, как грудного, и взял на руки. От кучера так славно пахло конюшней, рыжая борода ласково щекотала горящие щеки, и голос был такой хороший, успокоительный бас, что Жоржик совсем не рассердился.

— Матвей Филимоныч, а ведь высекут? — почти весело осведомился он.

— Беспременно, Ершинька, — широко раздвинулись волосатые щеки, — сами небось понимаете: раз — за тетенькино посрамление, два — за свое промочение. Папенька сами уж и прут обломали, на тот случай, конечно, ежели вы не утопли.

— Милый, Матвей Филимоныч, пожалуйста, неси меня как можно подольше. А там пусть себе порют, я когда-нибудь все равно совсем проскочу в тридесятое...

И Жорж спокойно заснул на больших уютных руках.

ЗА ЖАР-ПТИЦЕЙ

I

Степоша, крестница старой барыни, была девушка тихая, работящая, но так собою дурна, что родной дядя, повар Мокеич, окрестил ее мордоворотом.

Рябая, с приплюснутым носом, будто в детстве у нее кто на лице посидел, и ходила-то она не как люди: тяжелой уткой, с ноги на ногу переваливаясь, хромотой половицы продавливала.

И вот как уж дурна, а от женихов и отбою не видно.

Секрет в том, что великая была она мастерица на вышивки. Какой ей барышня вавилонистый узор из столицы ни вышлет, она все до последнего вавилона, на холсте ли, сукне или цветном бархате, безо всякой оплошности выведет.

Барышня будто за свое на столичных базарах торгует. Чистой прибыли себе больше, Степаниде поменьше, все каждый раз переводным листом отправляет. А для деревни и очень даже довольно.

Барышне в столице почет: рукодельница, хвалят старые дамы, то-то из нее жена мужу выйдет.

А Степоша знай себе деньги в копилку. Как до радужной доведет, сейчас с оказией в город. И на книжку запишет.

Вот набралась таким манером без малого тысяча, а деревенские бабы язычным чеканом живо к ней и вторую и третью добавили и пошли сыновей на невесту подзуживать: «Эка невидаль, что рябая. С лица, чай, не воду пить, не удосужимся скорей тетку заслать, гляди, какой шустряк перед носом все ее рублики очекрыжит. То-то, три тысячных...»

Доняли старые сыновей. И зашмыгали в вечернюю пору к Степошиной горнице проворные свахи. Всю-то красную горку мелькали разводы бабьих воскресных платков, а, гляди, своего дела не сделали.

Слушает льстивые речи Степоша, глаз от работы не отрывает, изнеженными от разноцветного шелка руками узор подбирает. Помнит, крепко-накрепко помнит дяденькин «мордоворот», отчетливо понимает, что у парней в глазах одни ее денежки прыгают.

— Неохота мне в кабалу, — ухмыляется, — сама себе голова.

Но при одном имени отстраняла пяльцы, задумывалась.

— Сохнет Иванушка Лапоток по тебе, девушка; уж такая-то мне, говорит, Степанида шелками утешная, рукодельница.

Иван Лапоток — так за бедность его обзывала деревня — был парень высокий, с бровями разлетными, с кудрями что у соборного дьякона, с задумчивым, ласковым видом.

К Степоше давно невзначай заходил, и, сдавалось ей, без задней мысли, словно бы вовсе не ради нее. Уставится в разноцветный узор и молчит. Бог его знает, что ему в стежках переливчатых замерещится; если спросить — не расскажет. То о жар-птице рассказ, в детстве слышанный, или сон какой радостный, или о царевне персидской.

Да больше всего о царевне. Барчук от безделья как-то раз прочитал и картинку ему расписную показывал: сама тоненькая, вся в ожерельях. Сидит на ковре, поджав туфельки, а с подушек на нее огромнейший басурман бородищу наставил, раскрыл рот и не дышит — заслушался. Вот Степошины шелка разноцветные будто сказки царевны. Лежат развитые мотки пушистыми взметами: золотые, небесные, зори летние с белоснежными облаками или листья багряные в предзимнем холодном лесу. Всех цветов шелковинки — о чем подумаешь, то из них подобрать сейчас можно.

Осмелеет Иван, понадергает разных по памяти, как расписано было о персидской царевне, переложит одну на другую и ждет, когда солнышко мимоходом разожжет все цвета самоцветами. Постоит, повздыхает и молча прочь отойдет. И Степоша — ни слова, только вспыхнет, и цвет самый радостный ловкими пальцами подбирать скоро-наскоро хватится.

— Твое счастье, дурень, что неразбериха девками правит, — укоряла Иванова мать, — и посвататься сам не умеешь — пень пнем. Заслать, что ли, тетку?

— А мне что, засылайте, — равнодушно согласился Иван, — как женюсь, она с собой пяльцы возьмет.

— У, дурень, дурень; на луну, словно пес неприкаянный, смотрит, цветы в поле ищет, только в день-

гах Степанидиных все счастье твое, ишь барчуком уродился.

Всего разок побывала свахой Иванова тетка, и уже как невеста ходить стала Степоша на свидание к Ивану в ольховый яр.

У барышни она для этого случая щипцы завивальные тихонько брала, вокруг изрытого лба барашков накручивала, красной помадой по губам проводила.

А Иван ничего этого вовсе не видел. С малых лет жил он совсем особенно от своих деревенцев. Ни дела ихнего, ни забавы он не любил, сам не знал хорошенько, чего ему надобно. Больше всего в лесу волком сидел, смотрел, как на небе тучи таскаются, чем одна трава от другой разнится, и не для лекарственного какого настою, а так себе, безо всякой причины.

А Степаниде, когда выходила в ольховый яр для свиданья, так особенно весело становилось, будто для нее одной, для рябой, хромоногой, с неба чарые звезды смотрели, а в жасминах впервые соловей песню щелкал.

Совсем темно, как в безлунную ночь, было в ольховом яру под сплошною листвой, где Иван, зачарованный хмельным, теплым вечером, встречал не Степаниду, убогую хромоножку, а принцессу персидскую, всю в заморских шелках. Подхватывал ее сильной рукой, шептал в ухо заветное слово.

Но случалось, когда поутру, при дневном белом свете посмотрят один на другого, — Иван удивленно, как от совсем незнакомой, отвернет вдруг кудрявую голову, а Степоша, вся зардевшись, нахмурится и, проковыляв в свою чистую келейку, повернет в двери ключ.

Возьмет в руки зеркальце, поглядит на себя против света, постоит долго без дела, понурая, и вдруг будто радость забытую вспомнит: из железом обитого сундука вынет черную книжку сберегательной кассы, проследит пальцем цифры и тихонечко, так, сама себе, засмеется.

— Ой, Степанида, обдурит тебя парень да, гляди, с другой свяжется, — упреждал дядя, повар Мокеич.

И на это Степанида не фыркала, а, как умная, внимательно сторожилась, а когда для свадьбы покупки в городе делала, для чего-то у нотариуса побывала.

Повенчались. Степоша по-прежнему все свое время в мудреных вышивках проводила, а Иван, кое-какую домашнюю работу справив, у нее за стулом стоял, разноцветами любовался.

— Эх, кабы мне да учиться, я бы все, что ты здесь иголкой разводишь, все, что в лесу на заре мне мерещится, все бы это я в песню сложил.

— А мне что — неученый, ты мне люб кучерявый, — шептала Степоша.

Души она в Иване не чаяла, все, что зарабатывает, — ему на одежду. Сапоги чтобы без скрипа, как одни господа носят, на тонкой подошве, поддевка сукна аглицкого. Только в руки ему — ни копейки.

До времени Иван о деньгах ни гугу. Да и незачем; тут ему водка, тут ему и табак. Степоше радость самой за версту в монопольку сбегать: только выкушай.

И вдруг все как есть разлетелось, словно ветер на деревцо пышное налетел — одни голые сучья оставил. Без вихря никак не увидишь, если что не совсем крепко на месте. Так и в Ивановом доме.

II

На масленой бог весть куда и откуда, как птицы перелетные пестрые, понаехали за деревню цыгане. Вздернули кверху оглобли, понавешали цветных лоскутов, запалили костры. Черные косматые старухи железными вилками перемешивали хлёбово в чугунах, а молодые, красивые, нездешние бабочки суетились вокруг огней, одуряли неповоротливых парней.

— Радость тебе, милый, нежданная, кралю свою повстречаешь... — хватали Ивана горячие, тонкие пальцы.

— Отстань, он женат, — огрызнулась недовольно Степанида, выряженная в городскую желтую баску с огромной серебряной брошью на шее.

— Эй, кукушка рябая, на аркане сокола не удержишь, — послала ей вдогонку цыганка.

Кругом захохотали, а Иван, нахмурясь, повернул было домой, но вдруг остановился, застыл ошарашенный.

Прямо на него, сверкая разожженными в уголь глазами, звеня кольцами и бубенцами, неслась в дикой удали красавица Грунька. Сильное, гибкое тело извивалось под расшитой рубахой, самоцветом горели мониста, черные кудри взметались блестящими, жадными змеями.

— Э... эх! — взвизгнула Грунька и будто ужалила, чуть скользнув по Ивану своим круглым плечом, и помчалась дальше, дикая, легкая, как огонь, зажигающий сухую траву.

Казалось, конца нет неистовству бега... И понеслось затосковавшее сердце вслед за огнистою алою шалью.

— Э... эх! — еще занозистей вскрикнула Грунька, еще обожгла парня, уронила, тихо звякнув браслетами, руки и, побледнев, как потухшая в небе заря, вдруг запела: — Умчимся с тобой в край мой родной...

Иван смотрел и узнавал. Это была она, раскрасавица из мудреной персидской сказки, та самая, которую он вместо Степоши обнимал в ольховом яру. Бахромой своих пестрых платков, цепким волосом черных кудрей она вмиг повязала его по рукам, по ногам.

— Чего ты, Иван, уж пора вечерять, ну их, — досадливо потянула жена за рубаху.

— Щи не волк, из печи в лес не выбегут, — с неожиданным сердцем ответил Иван и протянул ладонь Груньке. — А ну-ка, скажи мне судьбу.

Он хотел сразу выговорить ей, как давно ее знает, как счастлив негаданной встрече, и только туповато настаивал: «А ну же, а ну».

Грунька тихонько, как кошка, схватив лакомый кусок бархатной лапкой, чуть выпускает когти, погладила его по ладони, оцарапала ногтем и, красиво раскрывая очень красные губы, сказала:

— Тебе, королевич? Нет, тебе я гадать не согласна́.

Схватило сердце Ивану, понял, что Грунька видит его не впервые, что давно ожидает, давно вместо другого в мыслях где-нибудь тайно целует. Рванулся к ней, а язык суконный опять сам собой одни мужичьи слова вымолвил:

— Да мы, чай, заплатим не дешевле других.

— А не всякому, парень, за деньги, иному и за любовь, — пригнувшись, шепнула Грунька. — Как выйдет месяц, приходи к старому дубу над речкой.

Не успел Иван сразу деревенским, нераспаханным мозгом понять, от радости у него или горькой досады между двух камней сердце сдавило, как уж Грунька, звеня бубенцами, тряхнув монистами, понеслась опять с гиком, чуть касаясь примятой травы.

III

Вечером, как всегда, собрала Степанида поужинать, зажгла лампу с розовым круглым шаром, пододвинула Ивану графинчик.

— Что скушный? Али в таборе ночевать захотелось?

Отстранил Иван рюмку, долго так уставился на Степошу, будто рябины все ее сосчитывал.

— Может, песню ту, — вымолвил, — что цыганка пела, споешь?

— Очень надобно, — дернула плечом Степанида, — что, из песни рубаху тебе, что ли, шить! Доволен тому будь, что жена вышиванью обучена.

— А я? Чему я обучен... неграмотный... — вдруг нашел Иван слово для тайной кручины и, опершись на стол так, что вместе с лампой подскочила доска, налил в рюмку водки и пошел опрокидывать, пока душу огнем не схватило.

— Как завела Грунька голосом, — заговорил он наконец, радуясь, что язык называет как раз то, что нужно, — как завела она голосом, а мне вода вдруг нездешняя померещилась, зеленая... дно видать. А небо над водой си-и-нее, деревья белым цветут, кругом дух такой сладостный. А и где та страна — я не знаю.

Иван опять потянулся за водкой, а Степоша вдруг как зайдется, из рук рюмку выдернула, расплескала.

— Ой, смотри мне, Иван, возни с бабами не затевай. Чуть что, меня сейчас к себе барышня в Питер возьмет. А ты кому тогда, дурень безнадежный, надобен?

— Да разве я что, я насчет песни... — пробормотал Иван и осекся. Хотел сказать было, что в Груньке ему не баба, а царевна персидская чудится, и пусть они себе со Степошей хоть рядом сидят: одна песню поет, другая шелка разбирает.

«А что — баба? Баба ли, монополька ли, проглотил — а назавтра опять подавай. Бабою души не накормишь».

Но ничего этого он не выразил, опять язык засуконился. Помычал про себя, будто бык одиночный, и, не раздеваясь, на кровать спать улегся.

Утвердившись в Ивановой простоте, Степоша скоро уснула, а белый месяц, вдвинувшись прямо в окошко, рассмеялся в лицо Ивану: под темным дубом, над речкой цыганка сидит, свою песню поет...

Не поспел и раздумать Иван, как сами собой его ноги легонечко подняли, тихой поступью на улицу вынесли. И потек парень, как к приворотному корню, в черный лес за деревню. Идет и дивуется: будто и не он, мужик безъязычный, а самый тот королевич, что Степоша в пяльцах шелками недавно расшила.

Шапка лихо заломлена, алые сапоги с оторочкой, на плечах не поддевка, конюшней прохваченная, а камением шитый кафтан, рукавом бьет опущенным по ногам, кудри ухо щекочут, а в груди песня колотится, только одна беда — губы вымолвить слов не умеют.

Подошел ближе к речке, глядит-озирается, совсем в новое место пришел. И правда: где бабы день-деньской белье полощут и весь берег голыми пятками выдавлен — в густом тумане белые девушки вьются. Вот по лунной дорожке проплыли прямо к омуту, за собой, над рекой, протянули кисейные покрывала...

— Парень, аль ослеп? — зашептали листья, и горячие руки обхватили голову, задурманили.

Дрогнул Иван и, как медведь косолапый, голый пень обнял, а цыганка далеко отскочила, будто белка, на ветвях сидит, усмехается.

— Коли любишь всурьез, добывай от своей кукушки рябой билет четвертной. Песни все пропою — помилуемся.

И убежала. Одну минуту на пригорке остановилась, вся на месяце, как осинка, дрожит, руками вскинула:

— Умчимся с тобой в край наш родной... — И уже не видать ее, ушла в землю. Было ли что иль привиделось?

Всю как есть ночь до рассвета Иван проплутал по лесу, и такое с ним вдруг сотворилось. Прежде хотя и задумывался, а все, глядя на дерево, помнил, что оно и есть дерево, случалось, и глазом прикидывал: то погнутое на оглоблю годится, а из осины совсем пора уж корыта долбить; пропустишь срок — с сердцевины гнить примется.

А теперь у него, как у тронутого, вовсе из памяти выскочило, что деревья не люди. Ходит от одного к другому, листочки рукою разглаживает, говорит как с друзьями заветными:

— Ты скажи мне, береза пушистая, как в страну мне пробраться нездешнюю, скучно здесь, мочи нет.

IV

И пошло у Ивана с женой несогласье: и то и это не так. Рябины на лице ее все как есть наизусть выучил, глаза намозолили. В вышиванье ее, после Грунькиной песни, тоже нет ему живой радости. А Степанида по-прежнему тишком да молчком, как мертворожденная, дни за днями обхрамывает.

И все чаще, все призывнее выманивал его ночью месяц. Спят, умаявшись, деревенцы, а за деревней в притихшем лесу бьется в речке обманное серебро. Девушки веют белыми покрывалами, туманят Иванову голову.

Скучно ему жить днем. Опостылела чистая горница. Все равно ему: клонит ли голову к василькам грузный колос или вертопрахом, пустой, глядит в небо. Все равно ему, кого мужики возьмут старостой. Все равно, не его иль его коровы у соседа в овсах.

Если б слово сыскать, сердце выразить. Ведь вот птица поет, откроет свой клюв, и идут переливы, а человека учить еще надобно. Иного из барчуков всю-то жизнь канифолят, один лак наведут; а у тебя хоть душа разорвись — запечатан, как есть. Безъязычный.

А Степанида сердится все, к цыганке ревнует, игла в ее пальцах мелкой дрожью дрожит.

— Не опомнишься, Иван, не возьмешься, как путный, за разум, поглядишь — беда тебе будет. От тяжелой работы поотвык, чай. Пораздумай-ка.

Стояла Степоша к Ивану спиной, сухую фасоль из мешка выбирала. Лица ее вовсе не было видно. Иван, не одну рюмку в себя пропустивши, вдруг осмелел и одним духом вымолвил:

— Степоша, друг милый, тоска мне всю душу изъела, отпусти денег двадцать пять рублей. Найду в городе Груньку, пусть мне все песни свои пропоет. Вот перед богом: вернусь к тебе. Дай душе передых.

Длинную минуту неподвижно стояла Степоша. Иван уже радостно всколыхнулся, а она обернется, вся белая, да так тихо, как змея потаенная, прошипит:

— Ах, какой умник великий. И деньги подай, и с благословением его к потаскухе цыганской пусти... — Да как взвизгнет, и изо всей силы, будто крупную дробь, Ивану в лицо полные горсти фасоли.

Вскинулся Иван, бык разъяренный, сдернул с Степаниды платок, скрутил назад руки, свалил ее на пол и, не помня себя, этой самой фасолью ей полный рот...

Пред глазами у него река вздулась. В молочных туманах плещут радугой дивные девушки, все поют песни... И все яростней Иван Степаниду душит, будто большой рыбе сорваться с крючка не дает. А она, от рождения хворая, с перепугу совсем обмерла и вот-вот уже не бьется. Отпустил Иван руки, глаза застеклились, фасолью разнесло щеки; одно за другим пестрые зерна изо рта выпираются и с сухим треском о пол деревянный стукают. Один, два, три... девять. Считает Иван, и не жалко ему никого: ни себя, ни Степошу. Рот у нее растянулся огромный, поблеклою перепонкой, как у лягушки.

«Я этот рот целовал», — содрогнулся Иван и опомнился. Раздел мертвое тело и, как живое, уложил его в кровать.

А в окошко из-за плохо припертого ставня снова месяц рогатый смотрится, тот самый, что выманивал его ночью в лес.

Глянул Иван на месяц и как стоял, так и свалился. На полу до утра в каменном сне пролежал.

Поутру, как раскрыл глаза, вмиг все отчетливо припомнил и в страхе, чтобы потом не мерещилось, на постель и не глядел. Заботливо перед зеркалом причесался, и будто не своей, а чужой, такой тяжелой рукой. Подивился: откуда вокруг глаз черные круги как бы углем понамечены. Еще умылся и пошел к Мокеичу, повару, на усадьбу.

Как всегда, открыл дверь, помолился на образ и не торопясь вымолвил:

— А Степоша моя нынешней ночью долго жить приказала!

Как флюгер от крепкого ветра, крутнулся Мокеич, подбежал к Ивану, мышиными глазками насквозь пробуравил, потом под иконы метнулся:

— Царствие ей небесное.

— Я сейчас в город съезжу, — заторопился Иван, — покойнице гроб наилучший...

— Тебе, што ль, добро все отказано? — оборвал, будто пролаял, Мокеич. — Ну-ну, торопись к господину нотариусу, у нее после свадьбы там книжка лежала, а по книжке и деньги. Новому богачу — наше вам с кисточкой. — Усмехнулся, приподнял белый колпак. — А недолго, ой, как недолго покойница прожила, — вдруг шагнул Мокеич к Ивану и еще зашептал ему прямо в ухо: — Ой, как недолго.

— Что поделаешь, воля божья, сам знаешь... — жалобно протянул Иван, слушая свой ровный голос, на минуту подумал: «Ну, может ли какая тварь с человеком в окаянстве сравниться?»

Весь длинный путь до ближайшего города Иван проехал как бы в бреду. Сверху жарило солнце, нанятая телега, запряженная спехом, неумолчно скрипела и подскакивала на буграх. Утомительно желтела перед глазами дорога, и, казалось Ивану, он на раскаленном песке должен смести в огромную кучу вроде камней разбухшую, большую фасоль. Он сгребает, а она во все стороны, будто блохи... раз, два, три... девять. Считает Иван до одури, голова на части разламывается, а в глазах все рябая фасоль, неотвязная... рябая, как Степанида.

— Эх, скорей бы, что ль, Грунькина песня, в песне, будто в реке, искупаешься.

Перед самым трактиром, где указал дворник, временно жили цыгане; сердце у него так запрыгало под рубахой, что он не в силах был поднять руку, взять висячий звонок.

Из окна Ивана увидели, и какой-то чернявый нахмуренный человек сам открыл ему дверь.

— А, кукушкин супружник, — оскалил он белые зубы, — много ль Груньке гостинца принес?

— Про то Груньке и знать, а тебе что, — угрюмо ответил Иван.

— А Грунька-то чья, вся моя, — расхохотался цыган. — Э, простофиля. Думаешь, Груньку, как бабу, за билет четвертной купить можно?

— А ты почем знаешь? — удивился Иван.

— Что знать-то, что! И знать еще нечего. Всего-навсего было, что стойку над речкой, как пес одураченный, делал, — насмехался цыган. — Что ж ты, деревня, али не смекаешь, что без моего ведома Грунька на заработок никогда не пойдет. Дура только она, сама

себе цену сбивает. Ты меня, парень, слушай: четвертной билет всего-навсего за одну песню. Хочешь все для себя одного — ровно вдвое. А в прочее и забираться тебе не советую, потому что, видишь... — Цыган показал огромные черные кулаки. — Ну что, деньги принес?

— Нет еще... — опешил Иван, — да мне хоть бы с Грунькой два слова.

— Сухой поговор нам не ко двору, другой раз тебя просим милости. — Цыган без церемонии повернул Ивана к выходу и хлопнул за ним плотно дверь. За спиной его послышался женский хохот, и к освещенному окошку, видно было с улицы, прилипло лукавое лицо Груньки. Она постучала в окно пальцами и, качая головой, будто вымолвила:

— Эх, разиня ты, парень!

Тяжело взгромоздился Иван на телегу. И так ему сразу все, что знал, опротивело. Дóма — деревня с прокопченными избами, неизбывные беды, убожество. Здесь — грязный город с базарами, дымной фабрикой, продажной песней.

«Возьму скорей деньги да один далеко по белу свету прохожу себе до смерти».

V

У нотариуса, плешивого, чистого старичка, Иван столкнулся с Мокеичем. Удивился. Не тому, что он оказался вдруг в городе, а что был в полосатеньком пиджачке, вроде старого барина, а не так, как привычно, в белом фартуке и колпаке.

— Вот, господин нотариус, с подлинным верно, удостоверьтесь, сколь покойница сметлива была, свою скорую смертушку чуяла, — значительно сказал Мокеич. — Если в случае, говорит, дяденька, я помру раньше года, притом в бездетности, все пускай вашей милости и отходит. Так аль не так?

— Так, так, с подлинным верно, — улыбнулся нотариус и с интересом посмотрел на Ивана.

— А ты, сударь-губитель, без малого месяц не дотерпел, — подскочил к Ивану Мокеич, затряс злобною бороденкою. — Ручки-то у Степоши во как, горой вздуло, а фасолю и выбрать не домекнулся. Вещественное доказательство, так теперь та фасоль прозывается. То-то.

— Скоренько обознали, — сказал Иван и вдруг совсем равнодушно опустился на стул. — А когда обознали, призывай станового, определяйте куда ни на есть. Потому, скушно мне здесь, господин, — повернулся Иван к побледневшему старичку нотариусу, — мочи нет — скушно...

БОГДАН СУХОВСКОЙ

I

Мать Богдана, цыганка, привезенная большим барином Суховским из столицы в деревню, родив мальчика, не вылежала и положенных дней, стосковалась, ушла чрез окошко. Только ее и видали.

Смеялись мужчины, а дамы непонятно сердились:

— Кто бы мог, посудите, кроме бродяги привычной? Порядочной женщине и повернуться нет силы, а «такая-то» уж в окно.

Богдан выдался похож не на мальчика, а на беса, и чем дальше, тем хуже. Стыда не знал вовсе, любил бегать голым, брал что нравилось: свое ли, чужое. Людским словам научился без всякой охоты. Свои слова надавал заново всему, что видал: по звукам, по цвету. Когда скоро не понимали, визжал и кусался. Зимой страшно зяб, забивался всюду, куда мог пролезть, не отзывался на посулы даже вяземских пряников, скулил что-то под нос или спал, как звереныш. Только

под вечер, когда хваталась прислуга, зацепляли с двух боков колючими щетками и выдавливали, будто злого, опасного паука.

Зато летом с собаками не сыскать, набирался азарту! Пропадал в лесах, загрузал в черной тине, заночевывал в лужайках, облепленных будяком, купырем, беленой... высвистывал толстых ужей. Они, словно к брату, наползали к нему черным стадом, и, не брезгая, оборачивал себе ими Богдан и шею, и руки, и ноги. Плевался всякий, кто видел, говорил нехорошее слово об его матери, беглой цыганке.

Но Богдана люди мало касались. Он был пока связан лишь тайными, древними узами с одной черной землей, с муравьиными кучами, с зверями и травами, с ночным смолкшим небом. Так и рос, как крапива растет под забором.

Попозднее грамоте и задачам обучил дьячок за бутыли наливки, а французскому языку Аполлинария Львовна. Вообще она кое-как надзирала: причесывала кудлатую голову, целовала при встрече, находила, что он — «вот-вот итальянец с старинной брошки», и водила смотреть на закат.

Она была старая дева, Аполлинария Львовна, неудачно любила художника за границей. Художник целовал ее где-то в развалинах, а там и уехал. Заполнил воспоминанием сердце на всю ее жизнь до последних краев.

Так от развалин она и носила прическу с фальшивыми буклями по плечам, хотя даже в провинциях дамы причесывались кверху, очень много колец и сама с собой говорила вслух по-французски. На закат с ней ходить было очень занятно. Охотно выискивала вместе

с Богданом диковины в облаках, а если облаков вовсе не было и небо без разговоров целиком упадало в огромное озеро, отчего оно делалось темно-синим, Аполлинария Львовна неизбежно вспоминала другие озера, в заграничной стране, где каталась в лодке с художником. Богдан искусно наводил на подробности, хотя давно уже выучил их наизусть. И не то чтоб роман ему был интересен, художник надоел давно до смерти, — выспрашивал из-за обстановки. Очень уже четко запомнила Аполлинария Львовна всякую колонну, и здание, и башню, на которых выделялся берет, зеленая куртка и особенный какой-то там нос и усы.

— Как сейчас вижу, Богдан, вот она, великолепная арка Тита... он так любил барельеф с семисвечником... Как чудесно взял он тогда, blanc et noir,[1] с фигурами пленных евреев.

— Почему их пленили, куда их вели?

— Ах, совсем не в них дело, ты только послушай: досадного гида мы отпустили, и в бывшем храме весталок он поцеловал меня в первый раз.

— А что было кругом, что кругом?

— Но, Богдан, — огорчалась Аполлинария Львовна, — если я кое-что помню, так ведь потому только, что «он» там стоял. А на что мне смотреть было в сторону.

И, пришибленная, она умолкала. В сером платье, с очень длинным хвостом и причудливым гребнем вверху взбитых буклей — сиротливо подмокшая птица.

— Вы только поймите, — старался объясниться Богдан, — там и сейчас точно так же, хотя художника

---

[1] Белым и черным *(франц.)*.

этого нет, — что о нем одном думать? Лучше поедем смотреть все, все места.

— Богдан, ах, Богдан! Это в тебе говорит кровь цыганская, ко всему жадная. А мне только и жизни, что любимый любил.

И она плакала. Плакала о красоте промелькнувшей и не вошедшей в жизнь. Плакала, что вот он не воротится, а сердце настойчиво своего хочет счастья.

Богдан смотрел внимательно, как краснел маленький и сквозь пудру сморщенный носик, как скоро-скоро перебирали тонкие пальцы заветные кольца, — ему ее делалось жалко и в то же время досадно, и тесно, и душно. Будто себе одной она забирала весь воздух.

Стремглав несся Богдан от нее на конюшню к любимому жеребцу. Заползал головой под волнистую гриву, нюхал жадно горячую конскую кожу и, взяв в зубы кончик уздечки, прохваченной крепко конским раздражающим потом, устремлял глаза в одну точку.

И в мыслях скакал он в безбрежных просторах, под нездешними солнцами, влекомый все дальше, все дальше неистовством бега в призывную даль сладкой тайны кочевья, заложенной прочно в цыганской крови.

II

Раз далеко вдруг послышался колокольчик. Ближе, ближе, умолк под парадным. В один миг взворошился и высыпал кучей на улицу нижний этаж: управляющий, поварята, приказчики. Вынули из коляски, внесли на руках кого-то громадного, без конца,

без начала, обвернутого теплыми одеялами. А вслед за громадным, покрякивая и гремя звонко шпорами, волоча за собой полусонную саблю, толстый рослый гусар.

— Валериан, старший братец, а под одеялами твой папа́, — успела шепнуть на ухо Богдану Аполлинария Львовна и растеклась по всему дому, хлопоча о хозяйстве.

Люди высвободили из бесформенной груды и уложили на кресло с колесиками старика с перекошенным ртом и одним немигающим глазом. Другой глаз был умный, темно-серый, с желтоватыми пятнами. И на кого он смотрел, этот глаз, на того выкидывал из зрачка прямо в сердце колючку.

Так впился и в Богдана: вдруг, испуганный, сделался больше, и левая рука много раз как-то вздернулась, будто гнала прочь пчелу.

Брат Валериан тоже смотрел на Богдана в упор, не здороваясь. Вдруг расхохотался, без церемонии повернулся к Аполлинарии Львовне:

— Это он цыганенка своего опознал. Ведь до сих пор его матери простить не может: все, бывало, он женщин бросал, ну, а уж эта его... Рокамболь!

Валериан очень часто, с особым нежданным рычанием, как морской лев в зверинце, вдруг кричал: «Рокамболь!» Казалось, слово, словно шомпол старые ружья, прочищает его сиплое горло.

— Эй, послушай, — подошел он к Богдану, — пока что обедай на кухне с людьми, я это дело налажу.

Через некоторое время приехал еще брат, Василий. Этого за дерзость только что выгнали вон из училища, и хотя настойчиво он просился в университет, Вале-

риан, опекун, за болезнью отца не давал ни копейки. Хлопотал по военным начальствам поместить в новое крепкое место и звал с презреньем: Спиноза-заноза.

Богдан притаился, высматривал братьев. Василий, болезненный, горбоносый, в очках, ему был непонятен, но очень понравился. Не суетился, даже когда пил чай, все раздумывал о чем-то своем и всякий раз клал печенье не на тарелочку, а так, прямо на скатерть, отчего Валериан раздражался.

Василий, по примеру старшего, тоже будто не приметил Богдана, но, идя мимо, с рассеянной лаской проводил по кудлатым, взъерошенным волосам.

Аполлинария Львовна тряслась в лихорадке, забыла на время художника, угодничала Валериану то коржами, то бубликами и очевиднее, чем всегда, походила на подмокшую птицу.

Валериан, раскорячив кавалерийские ноги, распоряжался всем домом. Старых слуг сменил новыми, все больше девками, но Аполлинарию Львовну уважал за угодливость и французский язык.

— Эхма, цыганок, табак твое дело, — говорили Богдану на кухне. — Законные наследники въехали. Василий — тот ничего, буквоед, ну, а старшенький в аккурате... хозяин.

Валериан, много дней после того как пропускал Богдана, будто пустое пространство, вдруг о нем вспомнил, позвал к себе в комнату. Стоял такой красный, в расстегнутой серой тужурке.

— А ну, подойди сюда ближе, чего зверем смотришь, говори сразу: знаешь, что я твой брат, а отец у нас общий?

— Знаю.

— Прекрасно... И разницу положений ты, надеюсь, уже разобрал? — говорил в нос, подражая своему командиру, и видно было: чувствовал тело свое, гордился им, крепким и жадным, стоял, расставив ноги, играл цепочкой. — Ну, так вот: обедать ты будешь со всеми, но прошу, любезный, веди себя крайне прилично. Разговоров чтобы никаких. Меня и брата зови поименно, но говорить будешь — вы, а отца нашего, для отличия, — крестный. Ну, ты понял меня? Рокамболь...

— Да, я вас понял, — сказал спокойно Богдан. — Отца нашего мне звать надо крестным, а вас с Василием поименно. — И, вежливо шаркнув, он хотел отойти.

— Стой! — изумленно заорал Валериан. — И тебе не обидно?

— Мне не может от вас ничего быть обидно, — сказал Богдан, и так мудрено он сказал, что Валериан не сумел разобрать: посмеялся над ним цыганок или очень его уважает.

А у Богдана вышло просто так, как он думал. Валериан хотя много двигался, много кричал, казался ему не живым человеком, а расписною мишенью, вроде той, что повар привез из солдатчины и повесил у себя над постелью.

Вечером за обедом Богдан сидел отменно, бросал украдкой взоры на крестного, который тоже между кушаньем смотрел на него, уже не пугаясь, как в первый раз, а с острым вопрошающим любопытством. Голова у старика была лысая. Рот Валерианов — толстогубый, цвета лежалой клюквы.

Богдан сравнивал, чтó у него похоже с отцом, чтоб из оставшегося представить себе, какая же была его

мать. Пристально вечером смотрел себя в зеркало: продолжил мысленно кудри до плеч, пробрил ножичком сросшиеся брови, таращил глаза... только лоб был как срезанный. У Богдана ведь лоб был отцовский, а какой у матери, он не знал. От Аполлинарии Львовны совсем не годился. У нее был морщинистый, с темными ямками на висках.

Богдан вдруг придумал — пробраться в портретную со свечкой, выбрать лоб у какой-нибудь женщины покрасивее.

— Эй, цыганок! Правое плечо впе-ред! Заворачивай! — крикнул в открытую дверь Валериан, которому денщик снимал сапоги. — Ну, что ты скажешь, доволен ты? — Грузно шлепнулся в постель, поднял правую ногу. — Опускайся на колено, оруженосец, посвящаешься в первый сан, бери мою ногу и нянчи!

Он было вскинул на плечо Богдану, подошедшему близко, чтобы понять его речь, свою ступню в полосатом носке, но тут же вдруг бешено вскрикнул, кинулся с кулаками.

Богдан извивался огромной пиявкой под ударами Валериана, и как вонзил в ногу зубы, уж не помня себя, не хотел их разжать.

Сбежались девки, Аполлинария Львовна. На Богдана ушат за ушатом вылили воду. Большой разозлившийся Валериан отодрал очень больно ремнями, скрутил руки, швырнул в темную комнату под бильярд.

Было особенно холодно в эту ночь. Так было холодно, что Богдан, то обмирая, то приходя в себя, стал просить, чтобы его прикрыли. Но никто не слыхал, никто не шел или не хотел идти, и тогда Богдан начал звать к себе бога. Доброго, очень сильного. Ждал, что

вот-вот он войдет, так же просто, как входит дворецкий мазать мелом кии, развяжет порезавшие тело веревки. Бог возьмет к себе на колени.

Но вот уж пробило двенадцать, а бог все не шел, — и кругом всколыхнулися ужасы. С последним ударом висячих часов — черные столпились в бильярдной. Стали катать не шары — черепа самых злых мертвецов. И, уж конечно, нельзя было больше звать бога. Черные стали бы требовать отречения, а Богдан так прозяб в мокром платье, что наверно отрекся бы. Веревки проели уж кожу, при каждом движении пилой драли тело.

И от сильного напряжения лежать неподвижно, чтоб черные его не заметили, Богдан начал бредить. Наутро он был совсем болен, провалялся немало в постели. Когда стал здоровый, то понял, что понять на земле надлежало.

Из богатого прежнего мира он вошел в дни недели, очевидные для других, научился говорить и держать себя так, как кругом было нужно, а свою кровь цыгана, с особым укладом, с тайным знанием вещи, и зверя, и трав, он загнал внутрь глубоко, для людей прикрыл сверху будто хитрою глупостью.

III

Скоро и внешняя жизнь у Богдана совсем изменилась. Заболела приехавшая со стариком Суховским из Петербурга чтица. Валериан немедленно ее отправил обратно, давно прикинув в уме, что тратиться на больную ему больше нечего. Узнав от Аполлинарии

Львовны, что Богдан отлично читает, приказал ему днем высыпаться, а до двух часов сидеть с отцом ночью.

Днем со стариком что-то делалось страшное. Тискали из одной ванны в другую, терли пронзительной мазью, такой, что от нее чихали даже коты. Камердинера-немца заменил бывший кучер, и слыхать было часто из ванной будто удары по голому телу, а в ответ только слабый жалобный вой.

Всю ночь напролет старик не мог спать. Не слыша человеческих слов, ему было страшно сидеть одному, и так как говорить уже разучился, он рычал на весь дом ужасным звериным рыком, ворочал глазами, а свободной рукой отгонял одному ему видные ужасы.

Все три года, пока не умер старик, Богдан к нему ночью был словно прикован. Сразу пробовал убегать, но Валериан избивал до бесчувствия. Отец мешал ему по ночам.

Совсем уйти из дому Богдану в голову не приходило: людей не любил и боялся. Был уверен, что всякий, кто сильнее других, — Валериан. А в лес он откладывал, ждал чего-то, последнего.

Кроме того, вышло так, что Богдан скоро сам пристрастился читать по ночам. С чердака снес все, что было печатного: тайны разных дворов, «Зрителя», «Ниву», Мельмота Скитальца. Последнего, как святыню, читал, перечитывал, прибавлял от себя еще и еще новые главы. Старик привык к его голосу, следил теперь всюду за мальчиком умоляющим глазом, из которого очень скоро, под опекою Валериана, вся вышла колючка и дрожали одни лишь покорно-трусливые слезы.

И Богдан просто-напросто не смог вынести этого жалкого глаза, разбитой повисшей руки, безутешного воя в одинокую ночь.

Аполлинария Львовна, увидав, что старик в доме — одна ненужная рухлядь, час за часом оттягивала сменять в чтении Богдана и наконец вовсе бросила. Тогда Богдан стал прикидывать, как бы выспаться днем, чтобы выдержать ночь до рассвета, и, глядя на лакеев, бутылками кравших у Валериана вино, догадался: в свою очередь, стал таскать у лакеев.

Что ни утро — напивался, благо скоро хмелел, и уже спал непробудно, до вечерней зари. Потом обливал себе голову водой из-под крана, наедался на кухне и в кладовых, до темноты шатался по крышам, приманивал голубей. А чуть парень вкатывал в большой зал старика и зажигал огромную закопченную лампу, Богдан сам, без всякого зова, как дьячок над покойником, шел ему читать.

Старик оживлялся, дергался в кресле и тихонько ржал. Богдан перелистывал любимые страницы Мельмота, там, где дьявол особенно мучил непокорного гордеца, плакал, неистовствовал, предлагал громко черту в обмен за него свою душу.

Бабьи визги из комнаты Валериана сменялись безудержно пьяным хохотом или плачем, слышен был лязг битых стекол, густой звон пощечин.

Разгоралась лампа, фитиль выбрасывал огненные языки, красным заревом падал свет.

Бывает в монастырях, что на темной картине Страшного суда во всю церковную стену ярко горит только в пасти дракона, где торчат беспримерные грешники; так и здесь, в этом зале в два света, с расписны-

ми стенами и мудрено наведенным потолком, чуть-чуть выходили из мрака грациозно грешащие на лужайках пастушки, и только грузный полумертвый старик и обезумевший в разнузданных грезах подросток пылали беспокойным огнем.

В старинные, часто насаженные друг на друга окошки гляделся и месяц, гляделись и звезды, гляделся далекий благоуханный рассвет. Его почуя, смолкали в подполье лукавые серые мыши, и на работу, кое-когда перебросившись словом, двигались медленно мужики. Ребятишки из дальних мест, не прожевав еще корки хлеба, с раздутой щекой мчались в школу, и солнце, проспавшись, пускало им в спину свой первый веселый луч.

Выходил к старику еще заспанный парень, увозил его в черную ванну.

Богдан, уже сильно хмельной от только что выпитой темной наливки, засыпал где попало, облепленный мухами, всего чаще — в старых ящиках чердака.

Отвыкнув видать его днем, все о нем как-то забыли, даже постели своей теперь не было. Когда люди спят, он не спал, так что вместо него водворялись на ней Валериановы фаворитки. И был Богдан в этом доме как случайно приблудший, не ставший домашним, но и не прогнанный пес.

IV

Отец Макарий, живший рядом с усадьбой старика Суховского, не только слезливыми, многородящими бабами — самим владыкой признан был за человека святого. Добрый, тихоречивый и такой немудрящий,

что когда съезжались к нему на именинный пирог окрестные батюшки и брат попадьи, городской протопоп, раскалялись все в разговорах о церковном своем нестроенье, — отец Макарий, боясь искушений осудить кого-нибудь, уходил незаметно в свою образницу. И, кроме положенных иерею молитв, долго бессловесно глядел глазами в глаза божьей матери.

Только б не отступиться!

Какой-то из молодых пробовал было сказать владыке, что юродив, мол, не речист вовсе Макарий, что никакого просвета от него, как от мертвого, темному люду.

Но владыке, умному, властному человеку, нравился послушный благообразный священник, и он без церемонии обрезал недовольных:

— Не речист, говоришь, своего разума не имеет, а у Исаака Сирианина не читал: безмолвие — удел веков грядущих... предвосхищен из вашей самоправной скверны Макарий! Христианину смирение — что девушкам белый цвет.

Мужики любили Макария за покладливость в требах, за скорую обедню, за то, что он не корил их ни пьянством, ни кражей, ни иным деревенским грехом. Бабы любили Макария за терпение, с каким слушал исповедь, причитанья и слезы, за то, что ребеночка погружал в купель бережно, и за то, что, весь тихий, красивый, кудрявый, похож был на светло-написанный суздальский лик.

А больше их всех, с тайной надеждой не только на помощь — на спасенье, любил отца Макария цыганенок Богдан.

Он, как увидал его среди всех, ровного, доброго, решил, что это и есть настоящий святой, только пока что скрывается и молчит, а когда придет время, обличит Валериана, вступится властно за всех их: за отца и за брата Василия.

Вот почему не сбегал в лес Богдан, не начинал мстить Валериану, вот почему, когда мимоходом при встрече иной раз благообразный тихоречивый батюшка клал на плечо ему белую руку и говорил: «Терпи, дитятко, Христос терпел», Богдан не целовал его белой руки, а, убежав на чердак, долго и радостно плакал.

Не целовал, от сильной любви и от скромности.

Все видит, все знает, чего-то последнего не допустит Макарий. А каждый день говорят одни обыкновенные люди. Святые молчат до срока.

Однажды веселый румяный попович, бессменно игравший на предцерковной лужайке, покрытой ромашкой, в городки или лапту, затащил его к себе в горницу.

Захватило дух у Богдана, едва вошел. Все показалось таким прекрасным, совсем другим, чем у себя, в громадном загаженном барском доме.

Бальзамины на окнах, прозрачные занавески, два киота с лампадами, кипарисный дух, чистота.

Попадья молодая, приветливая, с голубыми глазами, перебирала полотна, отбросив крышку тяжелой укладки, сплошь облепленную вырезными картинками. И от старых полотен пахло тоже какой-то уютной травой — чебрецом или мятой.

Попадья собралась за покупками в город, и отец Макарий в белом подряснике, еще как-то святей, чем

обычно, сам принес с чердака саквояж и ремни, открыл шкаф и спросил:

— Тебе какое с крючков-то снять, Катенька: кофейное или с бархатной вставкой?

Богдан с восторгом глядел на батюшку: ласковость, простота, белизна, запах в комнатах все очевиднее убеждали его, что до времени надо терпеть, надо верить.

«О ее платье и то вон заботится, неужели меня так оставит? Сейчас молчит, а когда надо, он скажет. Уж он скажет».

Отец Макарий поставил на стол громадные чашки: поповичу с какой-то лиловой птицей, а Богдану придвинул улыбчиво голубка с бантиком, где написано было: «В день ангела». Богдан так был взволнован и так сильно пред батюшкой застыдился, вспомнив вдруг, как он крадет наливку и что нет такой пытки, какой бы в мыслях он не пытал Валериана, что, будто за упавшим платком, он опустился на четвереньки и умчался стремглав на усадьбу.

V

Внезапно, из последнего строгого корпуса снова выгнанный, приехал опять брат Василий. После бешеных криков Валериан, как и в первый раз, не дал ему денег, не пустил свободно учиться. «Ненавижу, — кричал на весь дом, — ненавижу шпака и гелертера! Когда так, иди по хозяйству».

Василий привез много книжек, пока непонятных, но Богдан надеялся, он ему разъяснит. Но тот, хотя попрежнему был рассеянно ласков, еще больше молчал

или читал и раздумывал в темном саду. И вообще в большом доме двигалось одно его тело, а сам, настоящий Василий был совсем в другом месте.

Только два раза увидел Богдан, какой он есть настоящий. Первый раз утром, когда Василий, попав для чего-то вдруг на чердак, наткнулся на него, спящего в стружках, а второй раз вечером за вечерним чаем в столовой.

На чердаке рядом с Богданом Василий нашел недопитую бутылку, растолкал спящего брата, спросил, такой строгий:

— Ты это что, давно пьешь? Верно, крадешь вино?

— Краду у лакеев, а они у Валериана, — ответил Богдан. Он ни за что не солгал бы Василию. — Да ведь если не пить, днем не высплюсь, не выдержу ночи.

— Так это мне не послышалось... — запнулся Василий, — твой голос один до рассвета, никто не сменяет?

— Никто. — Богдан повернулся заснуть.

— Убить его мало... — вскрикнул Василий и полетел вниз по лестнице к Валериану. А через минуту весь дом будто дрогнул от бесовской возни.

Когда Богдан кинулся с чердака искать Василия, он увидал его в комнате старшого. На руках, на ногах из опричнины Валериана у него нависло по злобному парню. Сам, вытянув бледную шею, он надрывисто кашлял кровью, а Валериан одну за другой бросал щипцами в горячий камин его драгоценности — книги.

Когда сжег последнюю, язвительно поклонился:

— Ваша мудрость, философ, в трубе. А вы свободны, на все четыре, и цыгана берите в пажи. Ни бумаги, ни денег. Воспользуйтесь чахоточным видом, разжалобьте дам, в чем успеха желаю.

Эй, лакузы! Пустите Спинозу, он уже без заноз.

Василий, шатаясь, зажимая платком кровавые губы, прошел молча в сад, а Валериан не унялся, еще крикнул вдогонку:

— По привычке захочется почитать, так моя библиотека к вашим услугам. Том первый — «О хорошей болезни». Том второй — «Сорвать банк, или Нет больше Монако!» Рокамболь.

Вот вечером этого самого дня Василий показал себя еще раз, уж в последний.

Сидели все в сборе в столовой за чаем, его только не было. Валериан, как удав, поглощал сливки, булки, печенья, потом — принялся коньяк простой елисеевский в бутылку Мартеля четыре звездочки переливать. У старика только вкус с осязаньем остались, и он жадно, перед тем как выпить, этикетку прощупывал.

— Скажешь старому барину, если заспорит, что это Мартель: вкус, дескать, у вас притупился. Пора, — усмехнулся Валериан, давая бутылку парню, дневному спутнику старика, — у меня, брат, по-военному: пусть сам движется навстречу событиям!

Старик в своем кресле окончательно задремал, открыл рот и посвистывал. И не видать было старого барина, когда-то на английский манер. Просто из хрестоматии тот убогий старик, которого сын не сегодня-завтра загонит за печку, выдаст песий паек.

И вдруг в передней смятенье. Неожиданный кто-то вошел. Казачок прошептал с изумленьем: «Батюшка!» Валериан дернул плечом, однако поднялся навстречу. Отец Макарий приходил только раз в год, и то по приглашению Аполлинарии Львовны, святить куличи.

— Чем обязан любезности...

У Богдана запрыгало сердце. После сцены с Василием лежало оно мертвым камнем, а тут вдруг понял: настало время, отец Макарий пришел. Пришел наконец сказать свое слово.

И как привстал на краю стола, где сидел, как привстал с сухарем в руке, так и остался стоять Богдан, поглощая всем существом своим малейшее, что потом совершилось.

— Извиняюсь, премного извиняюсь, — будто смущенный, сказал отец Макарий, — потревожил за трапезой. Получил вот от вашего братца записку, а в чем дело, не ведаю.

Батюшка протянул Валериану бумажку.

— «Приходите сейчас, непременно, а то будет поздно», — прочел вслух Валериан, выругался, залился под белою кожею будто красным вином.

Аполлинария Львовна в замешательстве усадила батюшку у самовара, налила ему чаю, завела разговор об индюках, о какой-то траве почечуй.

Батюшка степенно поблагодарил за стакан, высоко его к себе поднял и, придержав рукой бороду, потянул чай неспешным глотком.

«И брат Василий отцу Макарию верит, и не сговаривались, вот радость!» — понял в восторге Богдан. Сердце его уже ширилось счастьем разбитого одиночества, он уже знал, что возможно ему будет завтра не пить темной наливки, вдруг найти все слова, пойти в комнату к брату Василию, когда тот еще будет спать, и обнять его и сказать...

Калитка из сада порывисто хлопнула, отцветавшие липы с перепугу сронили свой звездный цвет, и вошел

скоро, скоро Василий. Глаза воспаленные, на щеках темный румянец. Видать: много ночей он не спит. Подошел близко к батюшке, протянул было руки благословиться, но раздумал и сказал вдруг таким хриплым, давно не говорившим с людьми голосом:

— Не скажете ль вы, отец Макарий, здесь громко слова... Ну, такого слова, чтобы жить можно было?

Привстал в ответ батюшка и за крест свой наперсный схватился.

— В четыреевангелии, — говорит, сразу оробел, весь дрожит, — в четыреевангелии всё найдете. Опять-таки жития святых... коликие Христа ради мученический венец принимали.

Василий, угрюмый, как расхохочется:

— За Христа умереть, эка штука! Если мученики всего-навсего умирать знали, христиане они только начерно. Потому что пора, чтобы *жизнь,* слышите все вы, чтобы жизнь наша стала прекрасной! Что смерть...

— Дурак! — гаркнул во всю мочь Валериан, — иди выспись.

Богдан чуть держался, плохо видел глазами, весь слабел от растянутого ожиданием сердца: вот-вот встанет батюшка, вот подымет голову, как на картине Николай-чудотворец, пресекающий палача. Вот скажет свое слово отец Макарий, вот...

Но молчал тихий батюшка, белой рукой теребил крест наперсный.

Подождал некоторое время Василий, скользнул взглядом по свисшей на грудь облысевшей голове отца, по мудреному гребешку в взбитых буклях Аполлинарии Львовны, чуть задержал глаза на замершем, как

тигр пред прыжком, Валериане, вспыхнул, хотел было сказать что-то, но тут же раздумал, брезгливо поморщился, будто гадкого паука увидал.

Вот к Богдану шагнул. По привычке волоса рукой тронул, в глаза глянул жаркими, жаркими взорами. И вымолвил:

— Иди за мной следом, мальчик, лучшего на земле не придумаешь, — и пошел вон из комнаты.

Чуть за ним дернулся обеспокоенный батюшка, но, сильней законфузившись, опять схватился за чай, задрожавшей рукой поднял выше стакан, а другой придержал свою бороду.

— Не посмеешь ты у меня... — с кулаком ринулся Валериан и осекся — не окончил и не дошел.

Опять выглянул из-за двери Василий, белый как мел, глаза неживые, а в руке револьвер. Взмахнул им на Валериана. Нет, не выстрелил. Ухмыльнулся и приставил револьвер к себе.

Щелкнули железные челюсти жирный орех, и следом упал грузный куль отсыревшей муки.

— Лошадь! Доктора, станового! — заорал на весь дом Валериан и, не взглянув за двери, полетел на конюшню.

За ним следом, роняя букли и шпильки, Аполлинария Львовна. Отец вдруг проснулся, заерзал на кресле, с гневом стал объяснять своей свободной рукой: кто там смеет шалить пистолетом...

Священник сразу стал старый, облил себя чаем, и, беспомощный, он хватал то салфетку, чтобы вытереть лужу, то, тряся бородой, обеими руками цеплялся за крест свой наперсный.

И ни слова, ни слова не молвил священник.

Богдан постоял еще чуточку с сухарем, потом взвизгнул и на себя сдернул скатерть с коржами, вареньями, сливками, обвернулся в нее с головой, как в смехотворный саван, и, не переставая визжать, полетел гулко на пол.

VI

Валериан окончательно вышел в отставку, и безобразиям его уже не было меры. В Суховское не ездил никто из соседей; последний приятель, тоже бывший гусар, сам имевший Валериановы вкусы, полюбил вдруг стихи и стал звать свой недавний обычай «отжившими грубыми формами». Пробовал всячески утончать Валериана, но тот, слишком пьяный, предпочитал по-отцовски, по-дедовски.

И хотя вокруг всколыхнуло всю древнюю тину и забастовки, пожары, продажи с публичного торга добивали дворянский уклад, в своем отдаленном от фабрик имении Валериан все еще был царьком. С той только разницей, что за то, где отцы брали силой, он теперь платил деньги.

— Плюю я на твой декаданс, — кричал он, разругавшись с приятелем, — тех же щей, да пожиже влей. По мне — старая гуща вкуснее!

И скупал на деревне подростков, гонял голых на корде по громадной зале, как лошадей, заставлял лизать себе пятки...

. . . .

Было особенно холодно в эту последнюю зиму. Так было холодно, как в ту ночь, что Богдан еще мальчи-

ком пролежал под бильярдом. Теперь он почти был уже юноша. Старик после смерти Василия скоро умер. Кроме Богдана, никто не шел больше за гробом, и крест поставили не по приказанию Валериана, а потому, что протрезвившийся как-то парень, тиранивший старика, чтобы он не снился ему по ночам, пошел в лес и сработал.

Аполлинария Львовна уехала в эту зиму, а Богдану уже никуда не хотелось. У него будто срезана была вся макушка, и кто-то попеременно лил ему прямо на мозг то ледяную, то кипящую воду. Чувствовал сам, что уж болен глубоко, боялся всего: случайного шороха, собственной тени.

Особенно было холодно в эту последнюю зиму. Усердно топили одну Валерианову комнату, в прочих зуб на зуб не попадал. Богдан спал с собакой, а когда ходил взад-вперед в большой зале в два света, кутался в полосатое жесткое одеяло. После отъезда Аполлинарии Львовны комнаты сделались будто бы больше. Пустые, с расписанными потолками и стенами, они словно глотали Богдана. Под вечер густела в них какая-то мгла, и казалось, копошится в них население. Освещения Валериан не давал, боялся пожаров. Население в комнатах с каждым вечером распложалось все гуще. Богдан многих знал, как прислугу в людской: видел жирные головы с перепонкою на глазах, вязкие руки, слышал хлюпанье, чавканье, лязг цепей нераскаянных грешников, и со всех сторон навязывался дьявол, белый, как Валериан, только не в рейтузах, а в козьих штанах. Дьявол щелкал большим отточенным ногтем по своей визитной карточке, требовал душу в обмен за пытки нераскаянных грешников.

Богдан упирался, дьявол хлопал в ладоши, в унисон ему лязгало, чавкало население, рвали в клочья, пекли в огне, драли кожу с живых.

Богдан не выдерживал, колол себя чем попало, резал ножичком руку, писал кровью расписку — принимал «вечную гибель».

Зима была особенно холодная в этот раз. Слуг почти не осталось. Огонь потухал, не успев разгореться. Чуть смеркалось, озверевшие девки подымали шабаш с напившимся Валерианом.

Как-то раз Богдану один на один встретился тихий, ласковый батюшка.

— Терпите, милый, Христос терпел.

Богдан захлебнулся, открыл рот, чтобы набрать больше воздуха, потом вдруг нагнулся, схватил для чего-то полные горсти земли и без злобы, равнодушным обрядом, как батюшка на покойника, в свою очередь бросил их обе на белый подрясник.

Дома особенно сильно кутил в эту ночь, посвящен был Валерианом в самый последний, еще не нужный разврат.

Еще дни кошмаров: ночью оргии, зверские облики, пока солнце — непробудная спячка. Совсем задернула, у самого горла сжимала свою неотклонную петлю судьба: либо вслед за Васильем, либо немедленно — чудесная смерть Валериана, бумага для свободного проживания, поправка у теплых морей, деньги, новая жизнь.

Только чудесно, только *немедленно* должен умереть Валериан. Потом будет поздно. Уже трогает лапами из населенного мрака стариково безумие. Уже раз Богдан сел на корточки и завыл его воем.

И умер Валериан, старший брат.

Как-то ночью Богдан не участвовал уже в привычных теперь развлечениях, забрался на чердак. В огромном ящике с белой сучкой Амишкой, кормившей щенят, просидел до утра и совсем трезвый увидел восход.

Увидел такое чистое, такое бледное небо, что попачкали его, казалось бы, малейшие облака. И они будто поняли, все попрятались, ни одно не смущало лазурной прозрачности.

Снег сверху был девственный, с прочной подмерзшею корочкой, без следов. И бодрящая свежесть рассвета, как легкое вино небесного погреба, полилась без усилия в душу Богдана, когда он открыл слуховое окно.

— Ты слышишь меня, а? Трудно как, слышишь? — сам не зная кого, спросил он. И, набравшись свободного легкого воздуха, спрыгнул обратно в собачью ночлежку.

И еще, много раз, глядя, как щенки тупают розовой мордой друг в дружку и в мать, он упорно, настойчиво повторял:

— Ты слышишь ли, слышишь?

Еще медлил, еще слушал. Склонял набок голову. Скреблись близко мыши, щенки взасос сосали разомлевшую мать. Раз, два ударили к ранней. Богдан увидал на девственном белом снегу широкополую шляпу священника, благообразную поступь. На ногах у него были большие калоши, будто черные гробики, и он ими глубоко продавливал нежную корочку чистого снега.

Богдан, что-то вспомнив, вдруг рассмеялся. Потом обдернул свою измызганную, гадкую куртку, провел

пятерней по отросшей копне и, не оборачиваясь, не колеблясь, отправился вниз. Перешагнул через пьяные вповалку тела, через битые стекла стаканов, не глядя взял тихонько из-под головы бесчувственного Валериана подушку, ее положил ему на лицо, легко прыгнул сверху и в бешеной судороге затравленной хищной птицы привинтился, как гайка, к налитому вином разгрузшему телу.

Широко разведя ноги, он зацепился носком сапога за железо кровати, ловкими пальцами подвернул под его же тяжелую спину вялые кисти Валериановых рук, ухватил их там мертвою хваткой. А дышать — не давал.

. . . .

Когда отвалился, старший брат ничего не пустил ему в голову. Лежал тихо. Лежал с подушкою вместо лица.

Богдан открыл двери, опять перепрыгнул через обнаженные влежку тела и, никем не замеченный, пробрался на чердак прямо в ящик к собаке Амишке.

— Мамочка, — сказал ей Богдан, — Амишка — ты мамочка! — И, отодвинув сердитого песика, сам приник к теплой сучке.

VII

Как ни задумался Богдан Суховской, башни Эйфеля он не мог не заметить. Вздрогнул, стал вспоминать ее, изображенную на открытках, леденцом отлитую на тортах, заполненную одеколоном. Ему это, в сущности, ни на что не было нужно, но башня, застывшая в кружевном своем платье, как девица в гостиной,

обозначала, что цель его путешествия вот тут, совсем рядом, и от этого Богдану сделалось страшно.

Он вышел из вагона и продолжал путь пешком вдоль заборов предместья, сплошь покрытых рекламами. Бессознательно создавая себе еще и еще проволочки, Богдан улыбался разноцветным, высоко вздернутым панталонам Пьеро, докучному пузырьку одола, который от бесконечных повторений важничал уже будто живой, чуть свернув набок голову.

Но, взглянув невзначай на номер ближайшего дома, Богдан еще отсчитал цифры дальше и вдруг понял, что именно в том, сером многоэтажном, окончательно решится его судьба. Он совсем обессилел, сошел далеко с тротуара, сел под огромным, развесистым вязом.

Он умудрился сесть так, чтобы вовсе не видеть Парижа и башни, а одну лишь большую, сине-зеленую землю.

Оттого ли, что всегда перед минутой большого решения человек начинает видеть иначе, или просто потому, что было еще очень рано и тени особенно голубые, — Богдану показалось: твердой черной земли нету вовсе. Одни в неустанном движении разноцветные шарики, то собираются густо вместе, выводят на дымчатом небе деревья, то расползаются белоснежной вуалью, бегут тихим облаком. Все было как-то непрочно, похоже на сон, и, как во сне, сейчас могло свершиться невозможное.

И хотя по всему, что он слышал и читал о человеке, к которому сейчас должен был позвонить, он не мог ожидать от него ничего очень красивого и хорошего, ему так вдруг неудержимо захотелось, чтобы он был необыкновенным, святым человеком, чтобы с пер-

вого взгляда можно было стать пред ним на колени, отдать ему свою волю, сказать ему:

— Maître, oh maître...[1]

Богдан выговорил последнюю фразу по-французски неожиданно громко, услыхал свой голос, увидел себя смешным недорослем в стареньком русском пиджачке, рассмеялся и, встряхнув слишком черными волосами, пошел обратно к многоэтажному дому.

Трамваи то и дело выгружали разноцветные зонтики и людей из предместья, а лошади, кивая длинными мордами, в широкополых шляпах, смешно походили на каких-то жеманных старых дев.

— Писатель Алкмеон у себя? — позвонил Богдан.

— Алкмеон — это для печати, а дома всегда Дюмениль. А впрочем, говорят и Дюмениль-Алкмеон, — заверещал толстый консьерж. — Только сейчас нету, а вечером он едет в Лондон.

— Но я бог весть откуда приехал и не могу его не увидеть... — растерянно сказал Богдан.

— Та-та-та... — засыпал дробью консьерж, — если вы молодой русский, так для вас у меня вот тут карточка. Он приказал: если русский захочет, пусть меня вызовет из коллежа. Вы знаете: сегодня акт у так называемых «добрых отцов». Я сказал бы: у толстых отцов. Верно, уже испекли сотню свежих католиков.

Богдан схватил большую крепкую карточку, где жирным шрифтом стояло: «Алкмеон-Дюмениль», а в углу маленький знак с странной буквой. Спросил адрес коллежа, помчался туда в фиакре.

---

[1] Учитель, о учитель... *(франц.)*

«Что это он, на расстоянии видит, знал, что я к нему еду?» — думал он, очарованный трепетом старых испепеленных надежд. Но тут же, непрошеный, сморщился милой гримасой припудренный носик знакомой пани Пухальской: «Остановитесь, молодой человек, в Терминюсе, мой муж повсегда там стоял».

Подозрительно вспомнил, что книгу Алкмеона о священном числе, побудившую его ехать немедля в Париж, дала ему она, маленькая пани, правда, еще не разрезанную тонкую книжку, зажатую невзначай между двух захватанных томов Пьера Лоти.

Богдан недоумевал. Впрочем, особенно ломать голову не хотелось. После того, как он выехал из Суховского, он стал жить по-новому, не думая вовсе, ожидая, что́ принесет каждый день.

После смерти Валериана Суховское перешло дальним родственникам. Они на радостях уделили Богдану несколько тысяч, водворили его в ближайшем городе, где жила уже совсем ветхая Аполлинария Львовна. Она обрадовалась Богдану, и зажили вместе в чистых, прибранных комнатах.

Настойчиво доискиваться о причинах Валериановой смерти было некому. Начиная от обиженных девок до управляющего и соседей — все его ненавидели. Земский врач без задержки установил смерть от удара, с тем и похоронили...

Впрочем, кое-кто поговаривал. Но и те одобрительно, будто пособники.

Богдан долго метался, чтобы стать как все люди: вернуть телу крепость, привести распаленный кошмарами мозг к ясной трезвости мысли, хотел

серьезно учиться... Все было напрасно, все было уж поздно.

Как насильно развернутый ранний бутон, сохраняя обманную форму цветка, лишь сорван — уж мертвый, так и Богдан в двадцать два года безнадежно сознал наконец, что устроиться на земле как всем людям ему невозможно.

Он все чаще и чаще припоминал приглашение Василия идти за ним следом и сделал бы это без больших сожалений, не попадись ему в руки одна маленькая книжка французского писателя, взявшего себе псевдоним пифагорейца Алкмеона. О том, что было написано в этой книжке, Богдан мечтал неустанно последних два месяца, и кончилось тем, что он уже не мог не поехать в Париж, чтобы проверить, верно иль нет понял он, что сулил между строк Алкмеон, говоря о «священном числе».

Коллеж «добрых отцов» оказался ослепительно белым зданием, окруженным ореховой рощей. Лиловоматовым серебром намечались большие стволы, и тени удушливо пахнущих листьев дрожали на прибранных желтых дорожках голубыми кружками.

— Вызвать вам Дюмениля сейчас неудобно, к тому же акт скоро кончится, — вы, быть может, войдете? — очень вежливый, поклонился монах, открыл тихо двери, указал пустой стул.

Впереди были отцы, матери и знакомые конфирмованных мальчиков, и за прическами, морем кружева, кисеи проповедник был виден всего вполовину.

Он говорил уже, видно, давно и заканчивал обнаженно заученным тоном об искушениях в вере, кото-

рые ждут подростков в столице порока — dans cette Babylone.[1] Так назвал он Париж.

Цветы на великолепных прическах всколыхнулись, как в поле от ветра, припомаженные головы нарядных мужчин пригнулись к маленьким розовым, скрытым в буклях девичьим ушам, и мгновение — сдержанный смех карнавала спугнул чопорность пышной мессы.

А проповедник, чуть сжимая изящной рукой концы своей длинной веревки, по ритуалу ордена заменявшей ему пояс, неизменно ронял рядом с «папой» — «Иисус». И Богдану чудилось: сидят они где-то рядом, в одинаковых драгоценных тиарах, оба подняв грозный жезл вечной карой ослушникам.

— Каждый бессилен знать истину. За всех ее ведает только она, непогрешимая церковь. Кто мыслит иначе — тот с диаволом.

Окончив, доминиканец склонился перед человеком в лиловой сутане, с большой бородой, — миссионером, приехавшим из Канады. За ним следом гуськом двинулись мальчики в коротеньких куртках с белыми шарфами и трогательной детской шеей в отложном воротничке.

На коленях, положив руку на библию, один за другим повторил: «Je renonce au diable, à ses oeuvres et faits...»[2] — а отец миссионер полной выхоленной рукой, чуть касаясь щеки ребенка, возглашал с красивым рыданием в голосе: «Reçois le soufflet du monde, mon fils!»[3]

---

[1] В этом Вавилоне *(франц.)*.

[2] Отрекаюсь от сатаны и всех его деяний *(франц.)*.

[3] Получай пощечину мира, мой сын! *(франц.)*

Радостно, с чуть покрасневшей щекой, пошли разыскивать своих родителей мальчики, а монахи, вдруг ставшие милыми светскими господами, смешались с порочными вавилонянами и, оживленно болтая, направились к выходу.

Задевали Богдана широкими рукавами душистые женщины, ласково припадала к щеке его, тихой змеей проползала веревка монаха, он не шевелился, он ждал.

Опять, как недавно под деревом, вблизи башни Эйфеля, непрошеным чудом поманил образ святого прекрасного старца, разбитый в детстве, но, как первая большая любовь, неизгладимо отпечатанный в тайниках сердца, и губы его прошептали:

— Maître, oh maître...

— Le mage noir! [1] — метнулись в пугливую кучу совсем старые дамы с багровым румянцем на обвислых щеках, как у иного листа поздней осенью.

Богдан встрепенулся, подошел вплотную к стене. Смотрел пристально в залу, дрожал от волнения. Все ждал.

Надвигавшийся на него плотный большой человек заслонил своей тяжестью прочих.

— Это вы, молодой русский, хотели видеть меня?

Люди с шепотом расступились. Господин взял под руку Богдана и с веселой усмешкой сказал:

— Разочарование — неизбежный удел мечтательной головы. Ну, не так ли?

— Вы написали о священном числе? — растерявшись спросил Богдан.

---

[1] Черный маг! *(франц.)*

— Разумеется, я, — усмехнулся Алкмеон, — что же дальше?

Лицо его, простоватое, с неумным чувственным ртом, неприятно напомнило Богдану знакомого хирурга, который говаривал: «Отдавали б преступников мне для вивисекции».

— Я так много думал о вас, — почти с досадой сказал Богдан.

— И сильно огорчен, милый мальчик, что я не хожу в белой тоге, а просто-напросто плотный бонóм! — добродушно смеялся писатель и, не пуская руки Богдана, повел его за собою к фиакру.

Они шли по террасе, где за нарядными белыми столиками любезно суетились монахи, угощали гостей. Молодой проповедник протягивал чашку кокетливой даме и, не потушив блеска играющих глаз, перевел их на привлекшую всеобщее внимание пару: еще безусого тонкого юношу под руку с отлученным от церкви писателем Дюмениль-Алкмеоном.

И вдруг хохот, шум, извиненья... Проповедник не заметил, накренив чашку в сторону, расплескал шоколад. Кинулись мальчики чистить пятна на белой сутане, жеманились мило дамы, монах играл поясом и глазами.

— Вот она, эта жизнь из кусочков, бессвязно лепится анекдот к анекдоту, случайны начала, неведом конец, утомительна суматоха. Не правда ли, друг мой? — брезгливо проронил Алкмеон.

Богдан старался как можно меньше занять места в фиакре и, затаив дыхание, украдкой наблюдал Алкмеона.

Крупные черты отяжелевшего уже лица могли принадлежать обыкновенному рантье. И почти таинственно было, как могла грубоватая рука, в обтянутой желтой перчатке, как могла эта самая, обмакнув перо в чернила, писать такие удивительно важные вещи.

— Что вам нравится в моих книгах? — спросил Алкмеон.

— Последняя — о священном числе.

— О священном числе... — еще раз повторил Богдан, и, как имя любимой воскрешает все, что связано с именем, Богдан перестал сразу видеть и пеструю улицу, перестал видеть простоватое лицо Алкмеона с неумным чувственным ртом. Охваченный вдруг тем восторгом, когда, бывало, у себя на полу, в последнем прибежище, как верующий прижимает к сердцу распятие, прижимал к воспаленным губам французское издание маленькой книжки, он сказал мудрому старцу своей старой грезы: — Я молод, здоров, я свободен, и так вышло, что ничто на земле, кроме вашего знания, для меня не имеет соблазна.

— Посмотрите, вот жирные гуси, — спокойно прервал Алкмеон, показал на вагончики-клетки, из которых тупо кивали красноносые птицы. — Ну, а в России как, очень разводят?

Богдан, не отвечая, вдвинулся в самый угол, а Алкмеон, вынув книжку, себе в ней что-то отметил, положил руку на руку Богдана, заговорил неожиданно гибким, чарующим голосом:

— Милый мальчик, когда вам по сердцу священные числа, то возможно ли тайно желать лишь того, что желает галерка?! Испытаний огнем, водою и воздухом, и непременно как в пирамидах. И неужто для

вас, единственного, которого ждал, мне еще опять надевать постылую белую тогу, в темноте ослеплять пентаграммой?

— Вы ждали меня? — насторожился Богдан.

— О, конечно, я ждал. Ждал того, кто придет ко мне после «Книги о числах». Я нарочно написал ее сухим, жестким слогом, без бутафории, в надежде, чтоб пришел ко мне тот, кто мне нужен. А у вас нежданно такой темперамент!

— Темперамент, — раздражился Богдан, вспомнив, как он постился и спал на досках из уважения к чистоте сильной мысли и как смешно с этим самым словом приставала Аполлинария Львовна, убеждая жениться. Он еще и еще раздражался, где-то втайне сильней оскорбленный, чем мог ожидать, что сотканный его желанием образ разбивается об определенные несложные формы, некрасиво посаженную голову, какой-то несуразный брелок, заскочивший в петличку жилета. Только в звуке голоса, молодого и очень красивого, была сила и обаяние, и, отвернувшись в сторону, Богдан слушал голос.

— Страстность необходимо в себе развивать, а не убивать, — продолжал Алкмеон. — Как кровь — жизнь организма, так темперамент — кровь духа. Одни невежды искали аскезы. Учителя мудрости, совсем напротив, не уменьшали силы бьющей струи, а, лишь задержав в одном месте, отводили в другое...

Фиакр остановился перед знакомым Богдану подъездом. Дверь открыл недавний болтливый консьерж, теперь почтительно молчаливый.

На пороге Алкмеон остановился и, улыбаясь, с понимающей иронией сказал:

— Милый друг, вы свободны войти. Милый друг, вы свободны уйти не входя. Хотя, как мне сдается, для свидания со мной вы сделали путь не из малых. Но автор книги, вас так поразившей, быть может, оказался для вас слишком толст?

Алкмеон чуть насмешливо поклонился и, не оборачиваясь, пошел вверх по лестнице.

Богдан Суховской, ко всему безразличный, поднялся за ним следом. У него про себя было твердо уже решено, если не получит, чего ждал от писателя, не возвращаясь в Россию, последовать вслед за Василием где-нибудь здесь, почему-то под башнею Эйфеля.

VIII

Обстановки в комнате Алкмеона почти не было вовсе. Вдоль стен лишь тянулись шкафы с книгами в старых, изъеденных переплетах, между шкафами копии с Сальватора Розы, обе темные, неудачные, обе с белым конем в пылу черной битвы. Под картинами — полка разнородных предметов: большие пустые флаконы, причудливой формы лампы, веера, абажуры, разрезные ножи.

Богдану окончательно сделалось стыдно, как мог он опять желать тайно чуда, как мог еще недавно чуть-чуть не молиться. Вспомнил снова знакомую пани, давшую книжку о числах, и чуть дерзко спросил:

— Вы оставили у консьержа визитную карточку; как могли вы узнать, что я еду, у вас есть знакомые в моем городе?

— Стоящий в центре видит все точки круга, — уклончиво сказал Алкмеон и, подойдя совсем близко к Богдану, не спуская с него острых зрачков, заговорил деловым четким тоном: — Хотя, милый друг, я, с своей стороны, сделал все, чтобы вам не понравиться, больше того — мне удалось даже вас рассердить, вы за мной все ж вошли. Мне сдается, вы не слишком брезгливы к руке, протянувшейся вам навстречу. Это значит, иными словами: вам терять больше нечего, в вашем прошлом есть нечто, сделавшее вам, может быть, невозможным возврат к жизни многих.

— Может быть, вы угадали.

— Очень рад, — подхватил Алкмеон. — Ну так вот, что бы ни было: превысивший неокрепшую волю подвиг или, быть может, акт высшей гордости, преступление? Так бывает, мой мальчик, не правда ли, так бывает, что, сознательно совершив преступление, убийство насильника например, угрызений совести человек никогда не почувствует, но его схватит тоска, понимаете, цепенящей такой, мертвой лапой.

Алкмеон скрюченными пальцами хищной птицы сделал жест в воздухе, будто что-то поймал на лету, а Богдан, съежившись на диване, ответил:

— Я конфиденций вам делать не стану.

— Так я и думал о вас, — не удивился ничуть Алкмеон. — Конфиденций не надо. Но вот пока я здесь буду ходить, вы о своем анекдоте еще раз подумайте. Быть может, и без моей помощи обойдетесь, моя помощь — последнее...

Сверхъестественного, разумеется, милый друг, нет ничего. Все — действие известных законов. Но пойми: когда будешь расплавлен и перелит в совсем новую

форму, твоя старая, не скрою, мой друг, твоя старая, несомненно, уже распадется.

Видите ли, наука моя окончательно выведет вас вон из жизни, и назад будет трудно, мой мальчик! Все связи, привычки и чувства, все, что зовут люди «действительность» и что вяжет здесь всех по рукам, по ногам, все это будет оборвано. И если захочешь вернуться и жить опять как все люди, — тебя ждет безумие.

Ведь ребенком, после того как впервые понял тайну рождения, уже, как ни старался, не правда ли, ты не мог вновь поверить милой сказке об аисте? Так со всяким познанием, мой милый. Если окажешься недовольным своей новой квартирой, вернуться на старую уже будет некуда. Вы замечаете, мальчик, — развеселился вдруг Алкмеон, — у меня ну точь-в-точь в пирамидах; жаждущий трижды стучится, а ему тайный голос: «Обратно!» Ну, вы думайте, а я буду ходить.

Богдан машинально обвел взором опять кабинет, подивился вкусу художника к резким пятнам и однообразию замысла, посчитал, сколько труб выдвигалось под окнами, опустил голову на руку и задумался. Скорее не думал, а как кто-то совсем посторонний, будто в кинематографе, он просматривал снова все дни своей жизни.

Видел раннее детство: как, замечтавшись в своих сладких грезах кочевника, не понимал ни обид, ни холодного сиротства, а Валериан, случайный прохожий, неизвестно зачем потоптал сапожищами невинные игры. Неизвестно зачем задушила судьба доброго, умного брата Василия. Неизвестно зачем все молчал тихий батюшка... не заступился ни за кого: ни за отца,

ни за мальчиков. Самое главное: божий служитель — не заступился за бога.

«Мог ли я не убить Валериана? — серьезно спросил себя Богдан. — Или лучше: какой должен быть человек, чтобы он на моем месте не убил Валериана?» И, подумав, решил, что убил бы всякий и потому именно, если он был человек.

— Ну, не правда ли, милый мальчик, — подсел Алкмеон совсем близко к Богдану, — не правда ли, как бы сознательно, как бы заслуженно, passez moi le mot,[1] ни убил кто-нибудь человека, не заметили вы уже: все события дальнейшей жизни становятся совсем серыми, будто кто их обвеял придорожною пылью?

Ах, как ярка, как богата ощущением минута отнятия жизни! Понимаете, в чем тут дело: сильнее, свободнее распорядиться по своей воле человеку здесь, на земле, уже невозможно. Да, да, милый мальчик, уже невозможно.

А хватившему раз полной грудью средний звук — жалкий шепот. Скучно, страшно скучно, не правда ли?

Но на месте стоять невозможно, таков закон. И не угодно ль дилемму: либо к богу направо, либо к так называемому черту налево.

Да, да, милый мальчик, после хорошего анекдота середина навсегда выпадает.

— Да, она выпадает, — согласился Богдан. Встал. Решительно подошел к Алкмеону и твердо сказал: — Я хорошо просмотрел. Дальше вас мне уж некуда. Переводите на другую планету!

---

[1] Простите мне это выражение *(франц.)*.

Он еще хотел что-то сказать и не вымолвил, сел опять на диван, вдруг заплакал.

Никогда, даже в самую страшную муку, не грозил он кому-то незримому кулаком, не кричал ему грозно: за что? Царственность крови свободных кочевников налагала молчанье без стонов. Но крушение последней бессознательной грезы, грубоватый Алкмеон вместо древнего мудрого старца, — этого он почему-то не снес. К тому же был сильно голоден и утомлен.

Алкмеон рассмеялся, потрепал по плечу Богдана, сказал тоном славного парня:

— Ну, милый мальчик, мы оставим истерику женщинам. Поговорим лучше попросту, познакомимся. Ты спроси меня о чем хочешь.

Богдан, чтобы оправиться, спросил скорей первое, что пришло ему в голову:

— Зачем вы, отлученный от церкви, посетили доминиканский коллеж?

— Там есть умные люди. К тому же запомни правило: чем упорнее сопротивление, тем большую оно представляет опору. В начале времен, как известно, причиной успеха был не кто иной, как Соперник.

Алкмеон говорил просто, держа руку Богдана, как хороший знакомый. И утомленный, поддаваясь невольному очарованию его голоса, Богдан отделывался от первого неприятного впечатления. Неуловимая гибкость и молодость звука создавала какое-то ощущение тепла. И вот уже стало казаться Богдану: он просидел с Алкмеоном целый вечер зимой, где-то в тихом уголке у самовара, в очень длинной душевной беседе.

Алкмеон не выпускал горячей руки Богдана из своих крупных спокойных рук и говорил, такой уравновешенный, умный:

— Разве не замечал, милый друг, так называемое настроение воспринимают не разумом, потому что ведь часто оно нелогично, а каким-то особенным органом, пока не имеющим своего имени? Главное, убедиться, что орган этот у нас существует, и разработать его в совершенстве.

Весь мир не что иное, мой друг, как вихрь настроений, и все дело лишь в том: они заберут и умчат вас в свой бег, или вы сгруппируете их вокруг себя и станете центром воли.

Действующие в мире законы — неумолимые жернова, и если ты не станешь мельником, милый мальчик, — будешь смолот зерном. Да, будешь смолот зерном!

Алкмеон закурил папиросу.

Ничего, совсем ничего особенного не было в том, как он чиркнул спичкой и опять вдруг, похоже на неприятного хирурга, стал пускать дым, поспешными, мелкими кольцами, как повернулся к Богдану, как с расстановкой произнес:

— Et bien, mon garçon? [1]

Но Богдану вдруг сделалось холодно, и, как в детстве, насмотревшись на Страшный суд, показалось, что стоит он перед большими весами своей собственной жизни и сейчас надлежит ему кинуть последнюю тяжесть, после чего одна чаша, наверно, опустится книзу.

---

[1] Ну что, мой мальчик? *(франц.)*

И, не желая раздумывать, давно ненавидя свою молодую, безвозвратно искалеченную жизнь, свободный хотеть что хотел, Богдан Суховской и не глянул, куда положил свой решающий выбор.

— Пока жив, не хочу быть послушным зерном. Лучше быть мельником!

— Bon![1] — докурил Алкмеон и не спеша встал, бросил в печку окурок. — Bon! Значит, можем начать испытания.

IX

Алкмеон взял с полки много разнородных предметов, выложил перед Богданом, а ему указал карандаш и бумагу.

— Вспомни, мальчик, наставления Флобера о стиле: ищите определений характера в одном слове. Художник — всегда бессознательный маг. И я скажу: научись только видеть последнюю сущность в окружающем тебя мире, от великих законов до последних пустячных вещей, — et te voilà maître du monde![2] Тот метод аналогий, которым я тебя поведу, учит раньше всего постигать пустяки. Впрочем, нет пустяков: солнце в небе, огонь в папиросе, подвиг героя, внезапный пожар — все одной, той же самой природы горенья. Той же самой.

Алкмеон начал снова безмолвно ходить от стены до стены, а Богдан с удивлением отметил, что впечатление от грузной фигуры и вульгарно посаженной головы, несмотря на совершенное отсутствие внешнего сход-

---

[1] Хорошо! *(франц.)*

[2] И вот ты властитель мира! *(франц.)*

ства, все ближе и ближе подводит к впечатлениям, которых он себе жаждет от воображаемого старца-учителя. Словно Алкмеон настоящий, выманивая из души его тайну мечтаний, насыщал сам себя этой тайной, обвивался желанием Богдана.

И хотя он по-прежнему четко видел почти франтоватый серый костюм Алкмеона, неприятно блестящие прямые волосы, ощущение было — будто прекрасный философ старой греческой школы сходил со ступеней храма.

Носитель тончайшего из наслаждений — могучей творческой мысли, он был уже на площади, он раздавал щедро дары.

— Для мечтателя, постучавшего в дверь пирамиды, то, что я сейчас предложу, до обиды простодушные вещи, — улыбаясь, показал Алкмеон лампы, чашечки, веера, — но научись только, мальчик, прочитать их как следует — и получишь всю древнюю мудрость над вещью. Зацветет в твоей руке жезл Аарона, и в движении бровей ляжет власть Моисея над упорной толпой. Нет чудес, кроме чуда познания! Все, кто не мельник, все зерна... и люди как вещи. Впрочем, об этом гораздо позднее. А сейчас, милый друг, постарайтесь найти мне характер предмета, отделите все лишнее, в упрощеннейшем начертании уловите всю сущность, зарисуйте ее кругом, линией, как придется.

Алкмеон положил на минуту Богдану обе руки на плечи, на глаза, на уши, потом как бы с усилием от него оторвался и стал снова ходить взад-вперед.

Богдан с холодком наслаждения острой, внимательной мысли принялся охватывать, словно вбирать в себя каждый предмет. На минуту забывая дышать, бессо-

знательно, чутким прозрением почувствовав основное начертание, делал усилие, как будто сжимал свое сердце. С быстро вытолкнутой кровью отбрасывал лишнее, все, кроме одной первоначальной идеи — души предмета, и, поспешно водя карандашом, ни на что не глядя, он зарисовывал.

Странные получились у него начертания, порой вовсе ни на что не похожие, и вообще Богдан мало понял свою работу, он трепетно слушал одну необычно крылатую легкость, охватившую его существо. Казалось, пробудились и вновь заработали совсем новые органы. Смотрели глаза, но не эти, и всю радость напряжения воли, усилий победы принимало сознание, тончайшее, не мозговое.

Алкмеон, заметно довольный, разглядывал лист.

— Очень хорошо, даже лучше, чем я ожидал... Ты угадал везде творческий принцип, мой мальчик, отличная у тебя голова! Только запомни скорей и надолго состояние, в котором ты был, когда делал работу. Когда будешь позднее самостоятельно в него приходить, да послужит тебе пережитое, как певцу камертон.

— Как? — насторожился Богдан. — Разве сейчас я не сам это сделал?

— Дитя, — снисходительно улыбнулся Алкмеон, — всякое растение, конечно, растет своей силой, но только при солнечном свете цветок обращается в плод.

И опять Алкмеон стал безмолвно ходить, как бы вдруг позабыв о Богдане. В последний раз осветило белого коня Сальватора Розы, вспыхнуло ярко и успокоилось солнце, и в тревожных сумерках стало томительно, как в пустом зале театра, когда вдруг заметно убожество декораций.

Но вот Алкмеон заговорил, и в игре бенгальских огней раздвинулись горизонты.

— Слушай меня, ученик: слова все для слабых. Слова все для тех, что не умеют взойти на голубую вершину и вместо орлов имеют дело с гусями. Для сильного духом не надо слова, для сильного один только опыт. Я не обманул тебя в своей книге, я обучу тебя всему, на что намекал между строк. Всему, что ты угадал и чего не додумал. Но условие каждой науки всегда одно и то же: покорность учителю. Подчинение собственной воли. Оно будет временно, пока не осилишь предмет изучения, пока сам не станешь учителем. Но условие неизбежно; дай сюда руку и слушай. — И медленно, ударяя на каждое слово, как диктуют безграмотным, Алкмеон произнес: — Подобно тому, как ты делал для меня начертание предметов, к моему приезду ты зарисуешь всех выдающихся людей твоего города. Указания я пришлю. Будет сделано? — И, не дожидаясь ответа, поцеловал крепко в губы Богдана. — А сейчас пора ехать мне в Лондон; немного терпения, мальчик, я скоро приеду в Россию, и все, чего хочешь, ты получишь в избытке.

Уже безмолвные, они сошли с лестницы, пожали друг другу руки, разъехались.

X

Богдану, чем дальше шло время по приезде в Россию, тем стыдней было вспомнить странную власть над собой Алкмеона. И облегчающего разрыв шага он и ждал и боялся. Боялся письма от него, как он думал,

с прямыми, властными буквами в повелительных наклонениях. Наконец пришло давно жданное: конверт с очень странным, разграфленным листом, и адрес написан машиной. Лишенное интимности почерка, безликое, оно как бы возвращало Богдану свободу, отстраняя досадную близость самого Алкмеона. Но при первом поверхностном взгляде странные знаки таблицы показались лишенными смысла, даже почуялась в них будто насмешка. Но вот, возвращаясь к ним постоянно, Богдан все глубже, все упорней разгадывал скрытый их смысл и, когда разгадал, прошел в комнату Аполлинарии Львовны и решительно ей сказал:

— Я прошу никого не пускать, желаю учиться. И для всех я уехал, вы поняли?

— Ах, это дело, Богдан, вот дело! — обрадовалась Аполлинария Львовна. — Университет, даст бог, окончишь, станешь человеком, будет чем жену обеспечить.

— Я жену, жена родит сына, сын снова заведет жену... качала-качала, начинай с начала! — расхохотался Богдан. — Слуга покорный: не только от людей — от вещей я желаю свободы...

И он выбросил из своей комнаты все предметы, большие и малые, кроме книжек и зеркала. В завершение, как старую бабушку в кресле, выкатил большую кровать с горой подушек, расшаркался перед Аполлинарией Львовной:

— Отныне я сплю на полу, смотрюсь в зеркало, из себя творю новый мир. А вы будьте здоровы и ко мне не пускайте гостей.

— Бог мой, — плакала Аполлинария Львовна, — наверное, это все то, что зовут темпераментом, ну что я понимаю в мужчине, я, девушка...

А Богдан посадил себя на хлеб и на молоко, прекратил общение с жизнью текущей и, смакуя огромную радость после долгих обманов открывшего клад, весь отдался работе.

На несколько групп разделена была вся вселенная лиловыми чернилами графленой таблицы. У каждой группы своя планета, свой цвет, и животное, и растение, и минерал.

Бесконечность, жизнь в днях недели и простые безмолвные вещи — все вмещалось в этом мудром делении. В заголовке начертано было: тайна каждого в цифре таблицы, ничего вне ее.

Все устойчивей воспринимал Богдан, что это так, это правда. Постигал, как в последнем подсчете, отбросив игру наслоений, в простом начертании зверя, растения и минерала можно выразить сущность каждого человека.

И уже прозревал он всю тайну неназываемой власти, уже чуял, что, если сумеет до последнего обнажить все, что создано, сумеет в свои руки взять нервы жизни, угадать начертания, он, назвав, подчинит своей воле угаданное.

«Ты получишь всю древнюю власть над вещами, в мановении бровей твоих ляжет тайная мощь Моисея...»

Не солгал Алкмеон. То, о чем намекал в своей книге о числах, стал давать из рук в руки преемнику.

Уже не мечтая о философе древней школы, позабыв все молитвы, Богдан обожал простой лист типографской бумаги с лиловыми странными знаками. Беззастенчиво срывая покровы, дивная таблица нецеломудренно обнажала механизм мироздания и была

в то же время той желанной планетой, где разбивший свой челн в старом мире мог начать совсем новую жизнь.

Богдану поначалу было совестно делать свои упражнения над живыми людьми, будто читать тихонько заветные письма. Но игра увлекала, да и жить было нечем после всего, всего пережитого. И вот понемногу он научился вызывать в своей памяти всех, кого знал: артистов, художников и ученых и просто совсем неприметных людей. Как хирург, безразличный к лежащему перед ним мертвому телу, равнодушен к интимным оттенкам лица, режет скальпелем прямо по черточкам, кому-либо особенно дорогим, недрогнувшей рукой пробирается сквозь разнообразие переплетшихся мускулов, обнажает твердую белую кость — незримую схему видимой формы, так и Богдан Суховской брал человека прямо с улицы, как он был, в котелке, в модном платье и с тросточкой, или художника отводил от холста в запачканной синей блузе, кому как привычнее, сбрасывал одежды, пытливо осматривал тело. И по одному только, как были пригнаны члены (а он в своей новой, углубляющей зоркости видел), уже по тому, как торчали лопатки, какой был цвет кожи, по грубому или тонкому скрепу колен угадывал многое.

Видел, какие животные силы руководят волей каждого, какого оттенка должны быть поэтому его вкусы и склонности. И он отбрасывал эти вкусы и склонности, трепетавшие случайной изменчивой жизнью, миновал и таланты, способности, дарования, большей частью все те же случайности, как случайность — шестой, неизвестно к чему вдруг выросший палец.

И перед Богданом скоро, словно в давнем рисунке предка, завалявшемся на чердаке, выцветшей акварелью, проступало основное содержание людей. Две-три черты, большей частью ничтожные. Лишь у самых немногих сложность работы души и мышления распускалась невиданным цветом и требовала новых, не данных таблицею знаков.

В те редкие дни, когда Богдан выходил из дому, он тщательно следил за собой, чтобы не быть очень странным. Энергии, обращенной на работу внутри себя, не хватало на внешнюю жизнь, и впечатления, как волны о камень, доходили в распыленной, чуть осязаемой силе.

Богдан порой не был в силах сдержать, будто влюбленный или пьяница, раздобывший себе на похмелье, расслабляющей радости и все улыбался.

Нарочно, чтобы придать остроту ощущениям своей отделившейся жизни, и еще для проверки, не покажется ли она ему призрачной, он выискивал места, насыщенные испарением вседневности.

И там, где с одной стороны тротуара, в полутемных подвалах, казалось, прачки стерегли облака, украденные ими с неба, такой молочно-белый, густой там был пар, что, когда сверх вертушки он прорывался на улицу, мальчишки ловили его, захлопнув ладонями, как мыльную пену, — там подолгу стоял одиноко Богдан. В портерную напротив, обнявшись и в одиночку, устремлялись в оборванных пиджаках уже пьяные люди. На углу полицейский очень крупно ругал то куму, то собаку. Кума стояла перед ним на мостовой, как забытая археологом каменная баба, а собака не по чину кусала прохожих.

В этом месте отрезвляющих буден Богдан любил вдруг подставить под испуганный свет фонаря неразлучный графленый листок Алкмеона.

— Эй, там! Не место читать, что читаешь? — обрывал полицейский.

— Алгебру! — переворачивал листик Богдан, радостный, что у людей жизнь идет, что у них все на месте, по-старому, по-обычному, а он вот, Богдан Суховской, двадцати двух лет, без высшего образования и особых примет, потихоньку строит ковы земле, прощается со старой постылой обманщицей. «Сейчас на аршин от нее, а там все выше и выше, а за собой протащу и других, осядем где-нибудь новой туманностью с новым законом, уж мы распорядимся».

— Мы распорядимся! — заносчиво шептал, как безумный. — Обставим старуху, пусть она с своей мертвой шелухой, с трусливыми, жадными, лживыми, пусть пустая несется к созвездию Геркулеса. Нет границы познанию смелых!

И Богдан неустанно, без отдыха, без малейшего развлечения отдавался работе: как жуков, разбирал людей города, обобщал их характеры, пропускал сквозь тончайшее сито анализа, находил драгоценное последнее слово, его пригвождал своим острым вниманием под один из знаков лиловой таблицы. На улице, когда встречал этих самых людей, неотступно производил все опять ту же самую кружевную работу, проверял на живом свою память.

Зная инстинктом, что меньше всего солжет каждый там, где он не настороже, а, как зверь, совсем просто и естественно сделает свойственный ему жест, — Богдан все глупее, все неожиданнее начинал разговоры.

И, пока, не задумываясь, человек отвечал ему первое, что пришло в голову, независимо от того, кто он был — художник, ученый или поэт, Богдан, не глядя в лицо, настораживая только чуткость духовного уха, ловил звуки и сейчас их учитывал: расчет, трусость, чужое лицо. И проверка почти ничего не прибавляла к уже раньше угаданному.

За день до прибытия Алкмеона весь город, прикрепленный кнопками к обоям стены, висел у Богдана.

Люди все приведены были к семи знакам планет, к характерным зверям, к минералам, к растениям.

Известие о прибытии Алкмеона опять печатными буквами телеграммы принесла Аполлинария Львовна.

— Богдан, отопри, я по долгу родственницы, я как мать...

— Теперь можно, теперь сколько угодно, пожалуйста! — ответил весело Богдан.

— Вот телеграмма из Франции, может приглашение приехать? — протянула она свою цыплячью лапку с бесконечными кольцами. — Развлекись, я с удовольствием дам тебе из своих сбережений. — Аполлинария Львовна положила на стол сторублевку. — Поезжай Христа ради куда только хочешь, а то я ночи не сплю, так боюсь: вдруг убьешь себя, как убил брат Василий! Знакомые, и то говорят: «Подавал надежды, а теперь такой странный». Ты, Богдан, у всех намедни одно и то же спросил и так глупо, извини уж меня: кто чем себе зубы чистит? Есть которые разобиделись, ты уж лучше проездись...

— Хотите, я ко всем побегу извиняться? — засмеялся Богдан. — А уехать — уеду, не беспокойтесь, и так

уеду, что с собаками не разыщете. Вовсе прочь с вашей глупой планеты.

— Ах, Богдан, в память старинной дружбы и моих забот, не убивай себя, — сложила руки Аполлинария Львовна.

— Убивать себя скоро станет бездарностью.

XI

С пяти часов утра Богдан уже был на платформе. Он неотступно глядел на убегавшие за деревья черные полосы рельс, хотел взорами скорей выманить поезд. С тем самым чувством, как в детстве боялся в театре пропустить поднятие занавеса, он теперь с все растущим волнением ждал минуты, когда вслед за сырыми хлопьями разорванного пара, тяжело охая, вкатится паровоз.

Сейчас чопорные, с французским говором, будут здороваться лица первого класса, и среди них, одинокий, спешно оглядывая чуждый город, укрыв тайну под обывательской внешностью, появится Алкмеон-Дюмениль.

На минуту устав от напряжения, Богдан перевел глаза на встречающих и уперся в огромную фигуру Шерваля, богача фабриканта из Франции. Немудрящий пожилой человек так уж сильно поспел обрусеть, что хотя путал в речи подсвечник с священником, но вышитыми полотенцами и изделием кустарей украшал себе всю квартиру.

Рядом с Шервалем целым пожаром настурций на огромнейшей шляпе ослепляла глаза всем известная

в городе пани Пухальская, та самая, что ему дала первая Алкмеонову книгу.

Пани держала в руке букет белых цветов, а Шерваль — одну пышную лилию, как архангел на образе благовещения. Эти цветы чем-то интимным обоих роднили.

Оба, радостно возбужденные, также высматривали паровоз. Богдан заподозрил, что они ждут приезда какой-то устроенной ими свадьбы, и, не желая здороваться, отошел ближе к рельсам.

Паровоз, как начальник, уверенный, что перед ним путь расчищен, рассеянно вкатывался под железную крышу платформы.

Шумное население третьего класса уже выперло в узкие двери свои цветные узлы. Из первого класса господин в бобрах выводил сановного дедушку, а тот упирался, беспокоясь о своих чемоданах. И видно было сквозь открытые двери: никого больше нет в вагонах.

Сердце Богдана уже стало неприятно пустеть, как вдруг чье-то всхлипывание заставило его обернуться. Он вздрогнул и не поверил глазам.

Огромный Шерваль, словно палку, зажав под рукой свою белую лилию, грузно плакал на плече Алкмеона, а пани Пухальская, смешно приседая с букетом, повторяла слова, как раз те самые, о которых стыдливо подумал Богдан и не смог произнесть Алкмеону: «Maître, oh maître, je vous salue!» [1]

Пламя настурций на ее шляпе волновалось на зеленых стеблях.

---

[1] Учитель, о учитель, я вас приветствую! *(франц.)*

Алкмеон хлопнул ласково по плечу багрового от волнения Шерваля, взял любезно букет и, увидев Богдана, подошел к нему быстрым шагом.

— Милый мальчик, я по вас сильно скучаю, будьте вечером у этой дамы — вы, конечно, знакомы?

Богдан открыл было рот, чтобы спросить, как могли знать другие о приезде Алкмеона и почему он не сказал ему ничего об общих знакомых в Париже. Но спросить не поспел, вдруг еще подоспели расфранченные дамы, все до единой с букетами белых цветов, и без затруднений они говорили: «Maître, oh maître...»

Богдан в отупелом забвении прошел к себе в комнату и до вечера пролежал на кровати.

Подозрения ползали в голове, как гадкие мокрицы по трухлявым отвернутым доскам. Внезапно утомленная воля раздраженно боролась с впечатлением чувства, желая себе одной чистой, независимой мысли. Но личность самого Алкмеона безразлично настойчиво, как бык, устремившийся к цели, стояла в воображении непрошеная, разрывала своей грубой тяжестью все усилия быть перед ним сильным и свободным. И в то же время, точно как женщина, тайным инстинктом сознавшая, что сковала с собой ей одной свойственным качеством чем-то близкого человека, уверенный в исключительности своего положения, Богдан отдавался опасному плену разожженного любопытства.

— Куда меня приведет Алкмеон? Кто стоит за ним дальше? — с испугом шептал он. «Э, не все ли равно, даст забвение... — похихикивал голос. — Где тебе выбирать!»

Не в силах совладать с отвратительной внутренней дрожью, Богдан вскочил на ноги и тоскливо метнулся

по сторонам, будто ища, за что бы ему ухватиться. Ничего не было: все давно вынес сам из своей комнаты. Как внутри, так снаружи, ужаснувшись безобразия, захотел пустоты. В обновляющей пустоте желал строить заново.

Голые, голые стены... Высоко в углу черный крест без распятого. Тогда же, после Алкмеона, нашел его где-то в Париже и повесил в своей пустыне как символ безыменных страданий. И громадное зеркало, в котором видел себя одного с головы и до ног. Подошел, присмотрелся к себе с удивлением, как к чужому: всклокоченный, с очень бледным лицом, не то грек — продавец губок, не то только что выпущенный из острога цыган-конокрад.

Только-то и всего, хоть бы росту еще на вершок! «А все-таки Алкмеон-Дюменилю веревки из меня вить не придется. Знания все возьму, а самого живо за борт — шалишь, брат!»

И, вытянув в стороны руки, Богдан начал делать упражнения для укрепления силы воли и свободной, независимой мысли.

Он представлял себе, будто грудью касался свежевзрытой могучей земли, и не волей, не разумом, а всем беззаветно отдавшимся существом стал переживать то, что значилось под графой: «Практический опыт с священными числами».

— Нечет: пять, семь... — отчеканивая буквы, крикнул Богдан и почти без усилий, бесконечно проделавши трудный опыт, сейчас же с легкостью ощутил в себе все, что связано было с начертанием цифры: мужественную свежесть дорической школы, простоту и прекрасную цельность первоначальной колонны...

Он ставил мысленно обнаженные ноги на солнцем нагретый песок. До совершенной иллюзии ощущений осязал уже внутри себя будто твердый стержень, основу, кого-то подобного молнии, разрезавшего надвое душу, вознося ее без уклонов, вверх, вниз, по пронзившим и небо и землю вертикальным лучам.

— Чет: шесть, восемь... — шептал он, закрыв глаза, обессиленный вихрем, — начало женское, разлитое во множестве. — Последним усилием как бы выдергивал из-под ног основание, размахнувшись, ударом наотмашь дробил в прах колонну, распадался с ней вместе на миллионы осколков. Из мрамора плавился в жидкость, дробился как разбитая шалостью ртуть; размыкаясь, замыкался в чуть зримые круги, распылялся столбом цветной пыли.

Опять, подстерегая и вспугивая себя сам, произносил громко слова: «Нечет: пять, семь...», пока в пламеневшем мозгу не вырастал завершающий символ начала мужского, торжествующий, слепой столпник в желто-бурой пустыне.

Все победить, все в себе заключить, войти в дивный двойственный мир искрометной планеты Меркурий, в соединенную тайну разделенных начал.

Но внезапно, как острая льдина, вклинялась спокойная, трезвая мысль. Эти упражнения тебе указал Алкмеон, и кто знает, закаляют они волю и мысль или лишают последнего разума, готовят удобную почву его воздействиям...

Без мысли, без чувств он лег на холодные доски. Пролежал так до вечера, и если бы не идти к Алкме-

ону, пролежал бы и дольше, как будто в могиле, как будто сверху тяжелый-тяжелый, беспощадно расплющивший камень.

XII

В передней пани Пухальской навалена была груда верхнего платья. Дамские шляпы, создавая фигуры без шеи, зацвели на навешанных густо пальто. В полуоткрытую дверь видны были знакомые и незнакомые люди, усаженные в несколько тесных рядов в большой зале, как для домашних спектаклей.

Богдан взялся с недоумением за ручку, но сама пани с огромной серебряной лилией на груди и числом семь, подвешенным на цепочке, зашептала ему прямо в ухо:

— Он приказал привести вас к себе перед началом.

— Ах, как мило, где это вы заказали? Священное число семь, — сбрасывая ротонду, сказала высокая темно-русая дама. — Знаете, как наш Алкмеон читал о нем лекцию еще когда-то в Париже, я вся трепетала... каюсь, своими словами рассказать не могу, но я вся трепетала.

— Число семь, оно ведь зовется — число без матери, как будто бы сирота... — потупилась пани Пухальская, опустив взоры на свою могучую грудь. Пудра, которою щедро, как сахаром сладкий пирог, присыпала она красные блестящие щеки, посыпалась ей на платье.

— Я тоже не совсем про него понимаю, но от слова сирота мне его как-то жалко. Вероятно, это символ одиночества.

— Какая вы тонкая-тонкая.

Дамы поцеловались раз, два, и хотя пани Пухальская уже двинулась с Богданом по коридору, она еще раз вернулась, чтобы сказать оставшейся перед зеркалом даме:

— Делал вовсе маленький ювелир, тут сейчас за углом.

Богдан шел к Алкмеону, сжав сознание пружиной, насторожившись, как человек, идущий на бой и который к тому же не раз бывал бит более ловким соперником.

«Я должен задать ему первый вопросы, чтобы он не поспел, как обычно, свернуть куда хочет...»

— Ваш секретарь, — постучала грациозно в дверь пани.

— Qu'il entre.[1]

Пухальская, сделав книксен пред закрытою дверью, удалилась, а Богдан, удивленный неожиданным званием, сдвинув брови, перешагнул чрез порог и изумился сильнее.

Алкмеон без сюртука и жилета делал ловкие упражнения с гирями.

— Иди ближе, мальчик, — весело крикнул он. — Ну что, недурен мой бицепс? — И, отвернув рукав тонкой рубашки, напружил смуглую, как чугун, крепкую мышцу, потом не без шика выходящего на эстраду атлета взмахнул дико стулом и, схватившись одною рукою за спинку, другой за сиденье, легко перенес свое плотное тело на другую сторону. — Как из ванны!

[1] Пусть войдет *(франц.)*.

— Я хочу наконец понять, — усмехнулся Богдан, — эта встреча вас с лилиями, все общие места нашего города в сборе... Отчего не сказали вы раньше, что у вас здесь так много знакомых?

— Тише, мальчик, успеешь! Уже час ждут нас добрые женщины. Покажи скорей твой листок! Даю тебе слово, нынешней ночью я отвечу тебе на всякий вопрос, больше того — за тебя, укажу тебе сам на такие, о которых ты еще не подумал. А сейчас, милый, пока посмотрю все твои упражнения, выбери в той шкатулке мне галстук, я немного увлекся гимнастикой.

Алкмеон дал Богдану ключи и очень внимательно стал разбирать таблички с характеристикой людей города. На ней, как на географической карте, для человека, знакомого с местностью, в условном обозначении знаков воссоздается вся особенность разнообразной природы, так и для опытных глаз Алкмеона в классификации Богдана вставали живыми, в своей будто бы многосложности, по последнему определению, такие несложные люди.

Алкмеон был ужасно доволен.

— Очень хорошо, великолепно, неизмеримо остроумнее прочих...

— Как, и другие вам делали ту же работу? — рванулся Богдан.

— У нас целая ночь, целая ночь до рассвета, — взял его за обе руки Алкмеон, — а сейчас ищи, мальчик, галстук. Да выбери его поздних осенних тонов, а духи дай мне brise embaumée.[1] Там все больше,

[1] Ароматный ветерок *(франц.)*.

наверно, увядшие женщины, незанятые, они на все бегут первые.

Алкмеон пошел одеваться за ширму, а Богдан весь горел раздражением. Всякий раз, как игрушечное заграждение, возведенное ребенком на дороге у взрослого, его воля пренебрежительно, как бы не глядя, отводилась в сторону устремлением Алкмеона.

Подавая за ширму духи и галстук, Богдан не сдержался и дерзко спросил:

— Пифагореец, маг и гимнаст, кто из них написал книгу о числах?

Ответа не последовало, но когда из-за ширмы вышел прекрасно одетый, чуть надушенный Алкмеон, он, сухо поклонившись Богдану, сказал:

— Бога своего толпа не узнала только потому, что он не надел заранее приготовленных для него одеяний; то же самое, полагать надо, ожидает и черта.

И, не задерживаясь, он прошел скорым шагом в зал к публике.

Чтобы лучше видеть, Богдан, не садясь, поместился под лампой. Он дрожал от досады, находя в мыслях десятки колючих вопросов, и не слышал приветствия, которое от лица что-то взаимно делавших обществ косноязычный господин в черном фраке говорил Алкмеону.

Когда все умялись поудобнее на местах и далеко со своих стульев, между широкими шляпами дам, продвинули шеи студенты, Богдан холодно, как актер, затаивший зависть к товарищу, смотрит его в бенефисном спектакле, стал наблюдать Алкмеона.

Он стоял за маленьким столиком посреди безвкусной, с обывательской роскошью обставленной комнаты,

с плохими копиями в золотых рамах, с неизбежным бархатным гарнитуром, симметрично толпившимся по углам.

Опираясь своей толстой рукой с неприятно короткими пальцами о круглый столик, в другой он держал несколько белых листков. Начал речь Алкмеон суховато, спокойным эпическим тоном, не лучше, не хуже, чем обыкновенно начинают другие. Установив главное положение, что современное общество мучительно ищет примирения между запросами разума и внезапно проснувшейся религиозностью, он цитировал философов, широко брал историю мысли и в то же время быстрым, фиксирующим взором вбирал в себя всех по очереди. Изредка взглядывал на листки.

Богдан четко увидел знакомые цифры и таблички, аналогии начертаний. Но, кроме его работы, в руках Алкмеона было две-три работы других. Продолжая говорить слова, Алкмеон все быстрей, все настойчивей проверял присутствовавших по имевшемуся у него материалу.

Богдан еще не мог совсем ясно понять, что́ Алкмеон, в сущности, делает, но по тому только, как страшно делалось ему по мере того, как тот продолжал свою речь, он догадывался, что паук ткал блестящие сети не для того, чтобы любоваться сверканием паутины на солнце, а чтобы заманивать глупых, неостерегшихся мух.

Алкмеон говорил о страданиях, которые несет всякий в своем неизбежном стремлении к жизни духа. Богдан все еще мог холодно учитывать разумом, что, если б стенографировать речь его, не оказалось бы никакой в ней решительно ценности, ни даже особенных

знаний. Но уже осознал, что не в мысли и даже не в словах была Алкмеонова сила, а в том неназываемом, что он вкладывал в слово.

Опираясь на прозрачную тайну графленых таблиц, владея опытом глубочайшего обобщения, Алкмеон, восполнив работу учеников своим наметанным глазом, как управитель оркестра, освоившись с инструментами, мимолетным словом вызывал уже ответные звуки.

И чем брезгливее было Богдану, тем внимательнее, умиленнее делались лица у слушателей.

Богдан видел, как менялись они, эти лица; как будто тронутые электрическим проводом, вздрагивали, насторожившись, отдельные люди по мере того, как Алкмеон называл именно их страдания. От простого, но всегда неутешного, неизживаемого ужаса опустевшей детской кроватки до горьких измен и падений. Алкмеон своей кованой волей касался тайн сердца, недоступных обычному опыту, он трогал страдания, от которых бледнели не многие.

Но тем пламенней была благодарность волшебному угадчику тайны.

Женщины не замечали текущих слез, мужчины, искусно введенные в область эмоций, не топорщились, что давно сдвинуты дерзостью Алкмеона с сторожевой башни кичливой логики, растерянные, будто влюбленные, отдавались мечтам погребенного романтизма. Были и такие, что жадно краснели, как от неиспытанных еще наслаждений.

Но все, все с восторгом смотрели на Алкмеона, благодарные за неожиданное счастье угаданной безыменно, безответственно разделяемой тайны их жизни.

Да, как огромнейший спрут, Алкмеон выбрасывал во все стороны щупальца, обнимал ими бережно душу, проникал, выявлял ее сущность и, назвав то, что было в ней скрыто больного у каждого, тем самым разбивал у иных отдельность страдания, у других усиливал жгучий зной извращенности. Всех надолго единил с собой колдовской намагниченной цепью.

«Так вот чему я помогал, вот на кого я работал? Гипнотизеру на дешевый успех...»

Богдан ярко вспомнил, как летом на одной из открытых сцен демонстрировал свою силу внушения заезжий немецкий «доктор». Он отнимал постепенно силу мышц у солдата и, обратив его из сильного человека в какой-то жалкий, мягкий комок, выволок прямо к рампе и торжествующе крикнул в публику: «Смотрит, это был один раз шэловек!»

Богдан чувствовал прилив такой дикой ненависти к Алкмеону, что еще немного — и вот он при всех кинется, вырвет из похотливых пальцев листки. Быть может, ударит, потопчет ногами, закричит, что он насильник и обманщик. Быть может, расскажет о смысле табличек. «И что дальше, что? — горестно прерывал он себя. — Кто поймет? Кто поверит? Да и черт с ними всеми... Нет бога, значит, нет ничего!»

Богдан схватился за голову и выбежал в коридор.

Алкмеон кончил. Его окружили, его благодарили. Особенно женщины. Они обожали, они хотели одного: упасть тесным стадом под епитрахиль самозванного исповедника, сложить скорей с себя мысли и волю к подножию ног его. Пусть возьмет, как пустые сосуды, пусть заполнит своей дивной мощью.

И мужчины, забыв о всегдашнем соперничестве, помолодевшие, как в давние годы ученья, пленившись талантом учителя, окружали его.

Наконец Алкмеон, совсем запыхавшийся, красный, вырвался от поклонниц и прошел к себе в дальнюю комнату. Богдан кинулся за ним следом, все еще в высшей степени раздраженный.

Огромный Шерваль и еще две дамы с опухшими от волнения лицами выкладывали на стол целую груду золота. Захлебываясь от восторга, Шерваль говорил:

— Я прошу вас от имени всех несчастных, вы их отец...

— Кому, как не зрячим, вести слепых? — с неподдельной глубиной чувства в прекрасных глазах говорила высокая немолодая дама.

— И поверьте, деньги пойдут только на благо людей, — так растроганно отвечал Алкмеон, что Богдану нежданно понравился звук его голоса, такого он еще не слыхал, простого и честного.

«А вдруг я ошибся: не гипнотизер, не обманщик, быть может, исполнитель громадного плана, быть может, правда — то самое первое, что я почувствовал в его книге о числах?»

— Кстати, мой секретарь, — указал Алкмеон на Богдана и, подавая уже обмокнутое в чернила перо и какую-то бумажку, где написано было несколько строк, а над ними печать неизвестного общества — полумесяц, драконы и солнце, не меняя тона, ему приказал: — Подпишите скорее фамилию.

Богдан машинально, поглощенный работой внутри, подписал, даже в подписи сделал росчерк, и потом только порывисто выговорил:

— Мне сейчас необходимо немедленно наедине видеть вас.

— В полночь, мой милый, я сказал уже: в полночь. Поверьте, это будет в пору как раз. Мысли надо уметь формулировать, а вы сейчас полны слепых чувств.

И, чуть-чуть улыбаясь, сложив аккуратно расписку, он вручил ее в руки Шервалю, сказав — документ о полученной сумме! Потом оба, надев шляпы в передней, в сопровождении взволнованных дам поехали куда-то в коляске.

Богдан глядел тупо на шкатулку, в которую Алкмеон запер золото и как будто оставил ему на хранение, понемногу отрезвлялся, приходил в себя. Подошел к окошку, мысленно сбежал вниз по распухшим весенним дорожкам к протекавшей вблизи дома речке, манившей расплавленной ртутью, и как-то вяло раздумывал:

«Алкмеон пишет, что его упражнения укрепляют волю, а что я сейчас сделал: зачем подписал? И под чем же я подписал?»

И, забыв, что он в чужом доме, сел на подоконник, чтобы, не двигаясь, сидеть неподвижно и один час, и другой час, и третий.

— Не возьмет ли пан валериановых капель, — не раз подходила к нему озабоченная пани Пухальская. — Это очень похвально, когда сердце так сильно чувствует. Пан, верно, тронут речами великого Алкмеона? Или, может быть, пан примет cascara sagrada? Покойный муж ото всего принимал. А у пана, конечно, хотя, видно, нервное, но желудок очистить всегда хорошо! Ой, ой, секретарь такого великого человека повсегда мусит быть здоров.

XIII

Около часу почи сам Алкмеон, вернувшись с какого-то ужина во французской колонии, разбудил Богдана, заснувшего на диване. Он щекотал его за ушами, дергал за волосы, был ребячливо весел, слегка будто выпивши.

Богдан это сразу увидел и, чувствуя себя особенно сильным после крепкого сна, обрадовался. Два-три вопроса, и кончено. Последнее наваждение разлетится, можно вслед за Василием. И вот, будто покончив земные все счеты, он отчетливо, не волнуясь, ничего для себя не желая, нашел в себе силу сказать Алкмеону:

— Ваша книга о числах оканчивается стихом Гиероклеса: «Мужайся, стряхнув с себя тело смертного, ты подымешься в чистейший эфир, ты станешь богом». И в самой книге это дивное освобождение вы сулили еще здесь, на земле. А взамен вдруг убожество: дамы с лилией, ваша речь по табличкам, организованная ловля доверчивой рыбы. Что это? Или радость богоподобных все та же, что радость лакеев? Но такая, право же, мне ни на что не нужна.

Алкмеон молча, слегка осовев, сидел грузно в кресле — после плотного ужина обыкновенный рантье. Взглянув на него, Богдан пришел в ярость, сорвался с места:

— Как посмели вы заставить подписать меня ту бумагу, вы... шарлатан с летней сцены.

— Ах, как мальчик мил, как он мил! — захлебываясь, хохотал Алкмеон. — Да какой же он мальчик, он просто барышня с флердоранжем. Но, пожалуйста, пойдем говорить в мою комнату, а то здесь кругом

чутко дремлют и видят меня в сновидениях восторженные женщины. Они только стали меня обожать, а вы вашей бранью срываете лавры! — Алкмеон взял в руку свечку и пошел впереди Богдана, смешно подымаясь на цыпочках и занося ногу в каком-то рискованном па из Moulin Rouge. — Char-la-tan... — нараспев повторял он. — Char-la-tan! Однако, — повернулся он с своей ужимкой славного парня, — на этом шарлатане ты, мальчик, ты, отважнейший Фаэтон, полетишь прямо в солнце... Ах, как ты мил, ах, как мил! — Они вошли в комнату, отведенную Алкмеону, удаленную от всех прочих. — Вы позволите, я сильно устал, разговор предстоит очень важный. Вы позволите, я надену халат? — продолжая фиглярничать, спросил Алкмеон.

— Прекрасно, — усмехнулся Богдан, — пентаграмма и белая тога — последнее действие вашей программы! Только прошу вас скорее, еще сегодня я хотел бы уехать к приятелю.

— Вздор, мальчик, приятель твой — вздор, ты на днях со мной едешь в Смирну! — из-за ширмы крикнул резким голосом Алкмеон. — И посмотри, как всегда ты торопишься предрешать и смеяться: ведь халат мне ужасно к лицу?

На нем была очень строгая тога, и своей голой воловьей шеей, отяжелевшим лицом он напоминал какого-то сильного волей, отлитого в бронзе проконсула, чуть-чуть Сократа, но смешон не был вовсе.

— Знаешь, мальчик, — подошел и сел рядом с Богданом на широком окне, — поверь мне, если я думал сначала соблазнить тебя очень прочно и вручить тебе крупное дело, после всех твоих выходок я раздумал: ты нам мало годишься.

— Как, — против воли ужаленный, повернулся Богдан. — А ваши речи о том, что я единственный, которого вы так ждали...

— Да, мальчик, да, ты единственный, но для меня только лично. Ты мне нравишься, и всегда так нежданно. Я сказал бы: люблю тебя. Это великая роскошь во всех положениях жизни, а в моем — чрезвычайная. Но для дела ты глуп, и владеть собой ты не научишься.

— Вы хотите сказать — я разборчивей в средствах, чем вы того ждали?

— Нет, — спокойно перебил Алкмеон, — я говорю всегда исключительно то, что желаю сказать: ты, мальчик, не мельник и хотя не зерно, но...

— Слушайте, — оборвал Богдан, — мне от вас один только нужен ответ: возьметесь вы, как обещали про то в своей книге, вывести меня из действительной жизни в иное место, или, как проще я теперь понимаю, можете ль приятным мне образом свести меня с ума? Упражнения ваши мне очень нравятся, но применять их к вашим поганым делишкам я не желаю. Слышите вы, не желаю!

Богдан почти кричал вне себя от неразрешенного гнева, а перед ним стоял неподвижный, опять странно отяжелев, равнодушный Алкмеон.

— Слышу, слышу...

Его ярко заливала луна, и был он все тот же, в своей ослепительной тоге, с тяжелым осевшим лицом, старомраморный римский проконсул.

— Я уйду, — спрыгнул с окошка Богдан, — напишите, когда мне вас можно видеть, а сейчас, очевидно, занавес спущен, артист отдыхает.

— Стой, мальчик, — остановил за руки Алкмеон, — посидим до утра, все равно теперь поздняя ночь, ну, а там хоть стреляйся. Сам револьвер куплю. Садись снова ко мне на окошко и выкинь глупости, что я пьян: у тебя на губах молоко не обсохло, как я перестал уже грабить себя алкоголем. Предоставил болванам.

— Слушайте, не заговаривайтесь, только о деле, только о деле... — капризно настаивал Богдан, всеми силами желая удержать свою волю. У него разбивалась голова, томительно слабело тело, и хотелось, покончив скорее с Алкмеоном, беспробудно проспать день и ночь.

— Утомлен очень... — заботливо посмотрел на него Алкмеон. — Знаешь что, ты приляг на диван, а я буду ходить. Даю слово, ты получишь самый красноречивый ответ на твои вопросы, потому что ответ ты увидишь. Ты его увидишь! — особенно твердо сказал Алкмеон, будто метнул незримую ловкую пулю в самое сердце Богдана. — Только терпение, мальчик, сперва надо кое-что подготовить.

Богдан с удовольствием лег на диван. Алкмеон для чего-то щелкнул в двери ключом, взял ключ себе, стал ходить по привычке взад-вперед.

— Чтобы ты ясно научился оценивать себя самого — начнем ab ovo. Видишь ли, как ни мни ты себя Люцифером, раса, страна, где родился, семья — всё условия мощных незримых влияний, вот как женщине первый мужчина неизгладимым остается навеки, все равно — любила она его или нет. Есть такие законы. И только освободившейся мыслью мы сможем разрушить оковы, мы сможем отбросить свивальник непрошеных нянек. Одной только мыслью. Ну так вот: ты родился в России, лукавейшей из всех стран...

— Нас ленивый не бил, — удивился Богдан.

— Ах, мой друг, право, битый — не худшее из всех состояний, а у вас таковым почитается. Элементарная философия рабов, только бы вам не работать. Ужасно, как не нравится вам всякий труд вообще, сила мысли, завершенная делом... Вот хоть бы ты, для примера. Хочешь знаний, лежащих *за нормами,* а чуть шаг на пути: ах, мой беленький флердоранж, — забавник!

— У меня болит голова, — пробормотал Богдан.

— Ничего, потерпи, голова пройдет, вот уж скоро, — как врач, уверенный в действии данных лекарств, успокаивал Алкмеон. — Напряги еще волю, чтобы слушать; хорошенько устанешь, тогда отдохнешь. Итак, дальше: человек, чтобы вырасти в личность, должен обязательно определить себя сам. Нельзя пребывать целый век лишь в моментах. Кто человек, куй моменты в года, дай им имя, дай форму. Прими муки строительства, бремя истории... Но, славяне, вы бесконечно ленивы. И, что хуже всего, для прикрытия своей лени вы лукаво передернули метафизику христианства и везде, где вам надо работать, лицемерно кричите: «Царство его не от мира сего, а мы народ-богоносец...» Ну и ловкие ж парни, pardieu!

— Не хохочите, пожалуйста, — простонал Богдан, — от вашего хохота по спине дерет.

— По всей спине до затылка или неприятно в одной какой точке? — насторожившись, подошел Алкмеон, присел около него на диван, наклонившись, проговорил почти с грустною лаской: — Ну, подумай, мой мальчик, стоит ли вековечно все лгать, вековечно топтаться на одном только месте, никогда ничего не совершая? Не красивей ли, не остроумнее ли будет один

раз хорошенько взвесить и уже не колеблясь идти к своей цели? Мели властно зерна, если хочешь быть мельником, или сам лезь под жернов. Все, что между решеньями, все лишь пошлость, уверяю тебя.

Алкмеон промолчал, прошелся раз-два, остановился опять над диваном. Богдан все лежал неподвижный, и лицо его, бледное с черными пятнами глубоко впавших глаз, было как у вот-вот в безлюдье потонувшего человека, уставшего от надсаженных криков.

— Если ты в тайне сердца еще веришь в бога, — торжественно и раздельно произнес Алкмеон, — твори волю его... — Он медленным жестом простер кверху руку и от этого опять-таки не был смешон. Богдану показалось, говорил не он сам, а через него будто кто дальний, кто-то сильнейший. — Но твори волю бога отныне не как раб, что положено, крайнее, а как сын первородный, с утра и до вечера, во все дни недели. Ибо выполнением, одним выполнением оправдается человек. Или, мальчик, не веришь? Ну тогда твори то же, но твори уже волю свою. Свою волю, слышишь ты? Но на то нужны деньги, нужна сила и власть.

И, внезапно переменив тон, опять фигляром, как давеча, пересыпая слова свои деланным хохотом, он сказал:

— А тебе, милый мальчик Фаэтон, мчаться в солнце на мне, шарлатане. Oui, char latent, мешает пословица, которую пел по-русски этот глупый Шерваль: «И хошетса, и колетса, и мамэнка не велит».

— Будьте прокляты, я вас ненавижу! — отозвался Богдан.

— Ах, ах, ах! — притворно испугался Алкмеон. — Ты, значит, мальчик, уже не с господом. Завет его

знаешь? Не ненависть, а любовь. Да, да, не иначе и не иное. И что это значит, пойми: высокомерие любви отстраняет навек справедливость, да, мальчик, да, атомы тела и духа врага твоего, гада мерзкого и насильника, вот к примеру такого, как ты удушил...

— О боже мой, боже! — простонал Богдан, сел на диван, привстал идти, сел обратно, откинулся головой на подушку, закрыл глаза. — Я не в силах понять...

— Нет, ты должен понять, слышишь, должен! — встряхнул его крепко за плечи Алкмеон. — Своей собственной волей, сейчас делай выбор, чтобы потом не слыхать мне истерик, укоров и всякого вздора. Станешь любить меня, когда будешь мною вконец соблазнен и в сей жизни и в будущей?! Станешь? А если ты меня и сейчас ненавидишь, так зачем же за бога цепляться?

— Будьте прокляты! — снова вырвалось у Богдана.

— Ах ты мой близкий, мой милый, мой мальчик... — нежней, нежней матери зашептал Алкмеон, опускаясь перед ним на колени. — Если так, имей мужество выбраться в мир иной красоты, в мир иной, дивной власти... Ну, пойдем рука об руку! Для прекрасных нет слов, для прекрасных — лишь опыт.

Богдан, все еще сидя, как сидел на диване, вдруг почувствовал, что Алкмеон стал входить в его душу, вливаться, будто мощная большая река. Заполнил сердце, заполнил голову, ширил кости, растягивал кожу.

И так было странно и успокоительно-сладко от новой жизненной силы, входящей в больную, утомленную душу, что у Богдана закружилась голова, он утратил сознание.

И вдруг лучи... жаркие лучи очень южного полдневного солнца. Под ногами оранжевый раскаленный песок. Свернулся от зноя фарфоровый венчик цветка повилики. Приторный запах растертого миндаля... Черные ветви кривых барбарисов кораллами своих ягод обрызгали зелень. Амфитеатром у моря раскинулся город. Храм Нептуна белел в зеленых волнах...

С высокой горы от закрытой покрывалом Гестии в тихом ритме спускаются люди. Все прекрасны. Один выше всех, с золотой семиструнной лирой. Как белое облако, выступил он на середину, под горячее солнце, высоко воздел обнаженные сильные руки, чуть коснулся натянутых струн... вдохновенный пеан богу солнца!

Солнце в небе, солнце в желтом песке, теням белой одежды доверились повилики, раскрыли венцы. Несравненно круглился дорический мрамор.

Но за колоннами храма вдруг скрылся пропевший пеан.

— Иерофант... иерофант священной тетрады, — сам не зная, промолвил Богдан и с закрытыми еще веками двинулся быстро вперед.

— Мальчик, ты зрячий, ты наш! — в каком-то восторге разбудил его шепотом Алкмеон; он мгновение не владел собой, был растерянно счастлив, целовал руки и плечи Богдану. — Теперь иди, мальчик, спать и спи беспробудно до вечера, а вечером опять будем вместе, и я переведу тебя по ту сторону бытия, произведу над тобой то, что зовут посвящением. Но что нам слова? Ты запомни одно: после этого воздействия моей

воли на волю твою все привычки, все связи с землей у тебя будут порваны, и, добровольно расплавленный, ты примешь новую, совсем новую форму. А теперь до свидания, уж скоро утро, а у меня еще много дел.

XIV

Богдан, словно во сне, сошел вниз по лестнице, растолкал извозчика, уснувшего крепко на козлах, и двинулся к дому вдоль по аллее пирамидальных густых тополей.

Был конец мая, новорожденные листики все уже раскрутились и слабо пахли в предутреннем холоде. Тополя и яры, поросшие мелким кустарником, шелестели своей тонкой зеленью, и пока луна пряталась в черных тучах, они жили собственной жизнью, скромной, но совершенно своей; охраняли ветвями темное золото брызнувших на траву одуванчиков. Но вот ослабела, утончилась, разрыхлилась душная чернота большой тучи, и прорезался яркий, на незримом теле, колдовской лик луны. Глянул мертвой, застывшей улыбкой. Медленно, неуклонно ширился круг этих лунных зеленых объятий, и все, чего только ни касались они, все теряло свой собственный цвет, свою жизнь, все сейчас было лунным.

— Как антихрист придет, сгребет в карман солнышко, — проговорил, показав кнутом в небо, извозчик, — вот и в книжках, чай, сударь написано: незакатная будет луна-то...

— Незакатная будет луна... — повторил Богдан, — так, старик, так. Она вытянет из живого живое, лицо

каждого подменит ликом своим, пока все скорлупы не заполнит зеленой отравой. Только в книжках, старик, про нее так не пишут. Говорят, что планета, главный спутник земли... Ха-ха-ха! А вот мы догадались с тобой, кто она. Алкмеонов начальник, не правда ли, «он», старик?

Богдан неудержно смеялся, а какой-то парень с девкой, приняв на свой счет, глупо прыгнули из кустов и понеслись без оглядки к оврагам.

— Весна, ишь балуются! — укоризненно проворчал вслед извозчик. — Да и вы, барчук, видно тоже того... погуляли.

Богдан вышел у дома, но звонить вдруг раздумал, снова, бодрый от чистого воздуха, пошел по пустынным улицам за большие валы, через выгоны, к дальнему лесу.

Заметно слабела луна перед зарождавшимся солнцем, но в своем умиранье делалась будто еще ядовитее. Белые, сырые, из болотных туманов наползали на нее облака, и, поколдовав что-то с ними, она гигантскими ватными щупальцами разгоняла их вновь над лугами. Она дневные шалаши незатейливых пастухов превращала в своей лживой сказке в островерхие становища древних бриттов и лгала, будто дальше за ними не пустопорожние десятины, а свинцовые волны холодного моря, где вот-вот вдруг покажутся корабли, на кораблях блеснут люди в крылатых уборах, затрубят в рога храбрых викингов...

«Да, это он, Алкмеонов начальник, отец старой лжи... Наберет себе скоро силу, бросит давний свой выезд на черном козле, во все стороны двинет сторукие щупальца, ловко высосет жизнь земли и, как в по-

мойную яму негодный лимон, ввергнет всю в небытие. Тогда вместо этого невинного неба протянется низко над глупыми головами морозовский ситец, набивной, ярко-красный с зеленым горохом, с фабричпым клеймом, а за ситцем фонарь вместо прежнего солнца. Если люди заслужат, Алкмеонов начальник засветит огарок, а не заслужат — он их выморит темнотой».

— Любопытно, будут стоять они на коленях, а? Будут просить? — спросил громко Богдан...

— Будут, будут, они всегда будут просить...

Он остановился, такое сильное сделалось вдруг сердцебиение, и почувствовал, что он больше не может, что, если сейчас, сию минуту не взойдет опять солнце, не разгонит кошмар, он не вынесет сам себя, сойдет с ума, закрутит нелепо руками, свернет назад голову, прикусит язык и забьется в проклятой пыли на дороге, и до тех пор будет биться, пока не подавят копытами, не проедут колесами рабочие, провозящие из конюшен навоз.

Он прислонился к березе и стал упорно смотреть на восток. Широким трепетным веером развернулись на отравленном небе золотые живые лучи, а за ними легко выходило всегда светлое солнце. Оно вышло и расколдовало в мгновение все чары луны. Всего коснулось, вернуло всему, во всем усилило собственный цвет.

Богдан с радостью видел: кусками зеленого бархата разбросаны везде были всходы, из канав незабудки гляделись своим бирюзовым, росою протертым глазком. Краснорыжие коровы, успокоившись насчет новой пашни, добродушно стояли как бы врытые в землю, бесконечно жуя свою жвачку.

Богдан, благодарный взошедшему солнцу, опять различал, что безликого, общего совсем нет в природе,

что даже в цветке земляники, уже облетевшем, по раздувшейся серединке виднелась уверенность, что и он теперь сам по себе, он недаром, что за цветком спеет алая, простеганная желтым семечком ягода.

И береза, к которой, встречая рассвет, прислонился Богдан, и береза, чуть прогнувшись под тяжестью сочных побегов, разбухших почек, залившихся сладким соком, в покорной истоме подставила солнцу свои мелкие желтые ветки, свой бело-матовый ствол, свои первые листья.

Богдан подумал, что вот уже завтра он будет свободен совсем от земли: от весенней, цветущей, от осенней, роняющей цвет, и от зимней, особенно незабвенной, с ее крепкою девственной корочкой. Он ощутил бесконечный переполняющий порыв нежности ко всему, что растет, ко всему, что живет в милом теле земли, и до последнего, вечернего, до Алкмеонова часа все часы захотел отдать лесу.

Он пошел по веселым полянам с шелковисто-зеленой травой, с белоснежными звездами очень крупных ромашек. Шел, задыхаясь от полноты новых чувств, будто был пред причастием, начисто вымытый, благоговейно проголодавшийся мальчик. Не мог идти, как всегда ходят люди, не замечая топтать сапогами цветы. Пригибался к ним близко, трогал трепетно пальцами их головки, иногда целовал.

Осело прочно на длинный, предлетний день в приютной синеве крепкого неба золотое горячее солнце, и развеселился окончательно пышный луг, полный белых ромашек. Засновали зверюшки по пригретой земле. Похудевшая за зиму мышь полевая еще проворнее комнатной мыши протащила в нору к себе что попало.

Всюду плоские, с черным разводом на красной спине, в любовном чаду затолкались козявки. И вдруг муравейники, зеленоспинные ящерицы, умелый хозяин — медлительный крупный жук, вспорхнувшая радость расписных мотыльков...

Богдану казалось: он, негодный, заблудший сын, возвратился к заждавшейся матери. Далеко отец, и так уже сильно изранены ноги, чтобы искать отчий дом. Может быть, не узнает, даже если найдет. Давно, так давно уж как вышел... А она, мать, не стерпела, сама двинулась молча навстречу ему, без укоров. Не учит, не требует, сыплет дары свои сыну — она, мать.

— Мать-земля.

И так как кругом не видать было вовсе людей, а нынче вечером, Богдан твердо помнил слова Алкмеона, у него будет порвано прочно с землей, он перестал вдруг стесняться и пустил себя любить все кругом, как любилось душе.

Осмотрелся на веселом лугу раз-другой и вдруг понял, что вся радость луга — радость детства его, не того, позади, кроваво-кошмарного, а радость детства не бывшего, но которое должно было быть.

Все, что должно было быть, удержано где-то, и здесь, на землю, падают тени. Одни черные тени.

— Какое солнце твое, мать, ах, как светит... — прошептал Богдан.

И солнце, правда, было очень яркое. Лилось и не выливалось его плавучее золото, дождило лучами всю землю, обнимало, и грело, и не оскудевало в своем знойном избытке. Попадались Богдану всё елочки в скромных темненьких платьях. Как дворовые девочки в праздник яркую ленту, старались выставить они, как

можно отдельнее, свою сочную голубовато-зеленую сердцевинку. Эти елочки, славные девочки, всё товарищи резвых неигранных игр...

Богдан узнавал их теперь, подходил и здоровался.

На песчаном холме уцелел прошлогодний громадный будяк. В охране обступившей его мелкой поросли держалась не сбитая снегом порыжелая мохнатая шапка на его голове. Потешно замерли, раскорячив колючки, его блеклые крылья. Богдан рассмеялся:

— А ты все колдуешь, завидуешь, царапаешь бок корове, путаешь хвост лошадям. Брось, милый, брось. — Он погладил мохнатую голову будяка, прошел дальше.

Прилесок кончился. Невинность раннего детства сменилась тревогой грез отрока. Твердые блестящие листья каких-то высоких кустов врывались в пушистые ветви серебряной ивы, беспокойно дрожала осина, чего-то ждал, не сгибаясь, заносчивый клен, и курили березовый дух стволы белые, тонкие — благодатные свечи, которые мать-земля сама в лесу всюду ставила богу.

Богдан, пьяный воздухом, перепрелым листом, шел с полян на поляны, из редкого леса в лес частый, густой и дремучий. Он не чувствовал голода, он не ведал усталости. Как в пробужденного зверя очень ранней весной, когда ему еще негде взять себе плотной пищи, лес вливался в Богдана сам, своей скрытой мощью. От листа, от травы, от своего пышного царевича-анемона до последнего простодушного цветика посылал ему щедро насыщающий душу привет.

Так Богдан проплутал целый день в глуби леса, отдаваясь проснувшейся кровью своего странного дикого племени милому телу земли.

А когда кончился день и, потушив меж стволов все последние красные угли, ночь продернула черный бархат своих покрывал, Богдан лег заснуть под громадною елью.

Ель укрыла его, спустив ниже ветви, мягкий мох подостлался зеленой периной, и шальная, блудливая белочка, обманувшись его неподвижностью, согреваясь и грея сама, невзначай прикорнула к Богдану.

А Богдан позабыл Алкмеона, позабыл перевод по ту сторону бытия, упражнения в безвоздушных пространствах, холод жизни, тоску...

Мать взяла к себе, скрыла сына. И он затих у нее, будто в чистой кроватке в канун троицына дня, когда от изголовья цветы и березки прогоняли все страшное, когда душистый томительный аир своим божьим ладаном обволакивал, умягчал тихий сон.

Алкмеон прождал тщетно Богдана и час и другой. Приказал взять извозчика, снести вещи. Еще подождал минут десять и отправился на вокзал. Он был сильно не в духе, запретил огорченным поклонницам провожать себя и не взял их букетов.

«НОЧНАЯ ДАМА»

I

Тусенька уже много лет в институте «ночной дамой», или, как позвучнее по-французски, dame de nuit.

Каждую ночь, с десяти часов вечера, она, надев мягкие верблюжьи туфли и кутаясь в теплый платок, обходит дортуары, пока в четыре утра другая дама не придет ей на смену.

Тусенька, с запухшими от бессонницы веками, едва раздевшись, валится в постель и спит. Хотя в этот нижний сводчатый этаж, где отведена ей комната № 35, как в подводное царство, глухо падают звуки, — все же неустанное треньканье колокольчика и топот ног в переменку могли бы спугнуть менее крепкий сон, но Тусеньку не будит ни суета казенной жизни, ни редкое солнышко, наводящее ей сквозь шарик стеклянного пресс-папье радужных зайчиков прямо на веки. Спит Тусенька, пока не возьмет себе все те часы и минутки, что продает она заведению за пятнадцать рублей в месяц, за стол и комнату.

Только около часу дня, когда зимой в подвальном этаже уже снова темнеет и ламповщик бежит с лестницей зажигать висячие коридорные лампы, Тусенька встает и, взяв душистое мыло «Тридас», долго плещется в большом розовом умывальнике.

Соседка Акопова, «пыльная дама», dame de poussière, стучит трижды в стену — значит, время обедать, и Тусенька, приколов перед зеркалом последний бантик, идет в комнату рядом, под № 36.

— Сегодня обед exquis,[1] — радуется Акопова в праздник, — суп Жюльен, ломтик индейки с гарниром, а на третье фисташковый торт.

Будничный обед, с вечными котлетами, клопсом и форшмаком, не вызывает в ней особенных впечатлений, в будни Акопова приступает немедленно к одним известиям «по министерству внутренних дел».

— Как это удачно, ма шер, что по утрам девицы не при тебе одеваются, Агафье Ивановне вот нагоняй! Вообрази только: в умывальной ламповщик заправлял лампу, а медамочки без стеснения умывались, инспектриса входит: «Quelle honte!»[2] А они хором: «Ах, мы не думали, что он мужчина», — совершенно как в анекдоте. А Воробьева — знаешь, черная, в две косы, оставлена без приема: ее с «подоконным» поймали.

«Подоконными» звались студенты, у которых со внутреннего двора на бечевке, спущенной из окна, девицы выуживали газеты, книги и халву.

Акопова и Тусенька обе с пятилетнего возраста не выходили из казенных стен. Оставшись круглыми си-

---

[1] Превосходный *(франц.)*.

[2] Какой позор! *(франц.)*

ротами, попали они в «обер-офицерское» отделение воспитательного дома, устроенное для детей павших воинов, а когда подросли, перешли опять вместе в другое сиротское место, «для малолетних», где, обучившись читать, писать, танцевать и плести косички жгутиком, переехали уже в последнее огромное здание, где при въезде около железных ворот сидело по тяжкой аллегорической группе. Справа каменная женщина, держа в коленях двух толстых детей, кормила их двумя грудями, и подпись значила «Милосердие», а слева та же женщина, обняв тех же, уже подросших, но все еще не одевшихся толстяков, держала пред их носами каменную книжку, и была она «Просвещением».

Вот как въехали в эти ворота Акопова с Тусенькой, так и просидели безвыездно все девять лет. Учились обе до того плохо, что пристроить удалось их только к должностям, где не нужно было ни иностранной сноровки, ни прочих наук: Акопова — «пыльная дама», dame de poussière, Тусенька — «ночная», dame de nuit...

У Акоповой в комнате хорошо: вследствие неустанной войны с пылью, налагаемой должностью, у нее как-то особенно чисто и все на местах. На большой лампе бумажные розы, и свет из-за них разливается нежный, совсем как заря, так что желтая птица в клетке, как зажгут лампу, всякий раз обманется и запоет.

Акопова смеется: нам в лес бегать не надо, спичкой чирк — и готово.

По стенам у Акоповой висят группы выпусков, почетный опекун, картинки с конфетных коробок, открытки. Над белоснежной кроватью с тремя «думками» из золотой круглой рамки смотрит головка мальчика-итальянца. И хотя эта головка та самая, всем извест-

ная, намозолившая глаз на брошках, коробках и веерах, но в том, как любовно она повешена, кроется «тайна». Так вешают неудавшийся, близкий сердцу любительский снимок или страшную мазню красками «дорогого человека».

Так оно и было: итальянчик звался мысленно «Джузеппо — сынок мой» и попал в золотую рамку еще в те ранние годы «пыльной службы» Акоповой, когда она мечтала выйти замуж за старшего приказчика от Аванцо, красавца мужчину Альберти, знакомого одной из французских дам.

Альберти, по тайным расчетам Акоповой, должен был стать отцом «Джузеппо-сыночка», но хотя они и выпили несколько раз вместе чай у француженки, Альберти женился на барышне из парфюмерного магазина, и Акопова осталась век свой вековать в комнате № 36, с невоплотившимся «Джузеппо-сынком» на стене.

Много ли, мало ли потосковала Акопова, однако успокоилась, да и Альберти-то разве ей что обещал! Только и было, что усы крутил да черным глазом сверкал. Приспособилась Акопова к своей почти бездельной, строго размеренной жизни и стала понемножку толстеть. Важно плавая с утра до ночи по классам, в погоне за непорядком и пылью, она не без удовольствия покрикивала на горничных, жадным ухом впивала слухи и сплетни.

Впрочем, кроме маленьких этих радостей, появилась главная, неизменная. Акопова копила. Да, из своего «пыльного» жалованья, пятнадцать рублей с вычетом, она умудрялась откладывать кой-что на книжку, про черный денек. Уж и сейчас страшна была к старости богадельня с общей комнатой, без своего угла: «По-

ставят кровать на юру, промежду двух старух, негде будет и группы повесить, а птицу, коли не сдохнет, и вовсе бросай...»

И что же, при бережливости и даже очень скопить возможно: стол, квартира готовые, ходить в гости некуда. Платье носи не сносишь, а белье с чулками не допускай только до больших дыр. А Акопова не допускала. Правда, в тот день, как приносили из стирки белье, она бывала грустней других дней и вместо «внутренних дел» тихо плакалась Тусеньке:

— Чулки фильдеперс куда в носке не спорки, фильдекосовые — гривенник набавь, а пятки-то двойные.

— Дешевле нет, как аршинами брать, — отзывалась Тусенька, — Агафья Ивановна где-то лавку открыла: по ноге резать да по ниточке стягивать, но только одна Агафья Ивановна так делать и может, ей ведь до comme il faut[1] безразлично.

— Агафье Ивановне подражать нам нельзя, — подтверждала Акопова, — она мещанка — мы дворянки, мы офицерские дочери, мы по аршинам чулок покупать не станем, нам это шокантно.[2]

Несмотря на свои не самые уже юные годы, Тусенька все еще мила пышными светлыми волосами, тонкой фигурой и ямочками на круглых, хотя потерявших румянец, щеках. Настоящее имя ее Зиночка, но пушистая голова напоминает зайчика, и как прозвали ее в маленьком классе Тусенькой, так и осталось.

---

[1] Как следует, порядком, прилично *(франц.)*.

[2] Не нравится, оскорбляет, унижает (от франц. choquer — оскорблять, унижать, не нравиться).

Первые годы службы Тусенька жила что птичка: ни хлопот, ни забот, жалованье в первый же день все фу-фу — шоколадки, прошивки да цветы. Больше всего цветы нравились — орхидеи, нездешние, приезжавшие с юга в коробках с ватой, ах, как хотелось самой нарвать их там, у теплых морей.

Да, мечтательница была Тусенька; то-то Агафья Ивановна, та мещанка, другая «ночная дама», что покупала чулки аршинами, с первого же года предложила ей прочно установить часы дежурства: Тусенька с вечера до рассвета, а ей утро и проводы в класс. Хитрая, уже опытная в ночном деле женщина, о, она знала, что ночное дежурство гораздо труднее утреннего, да и следующий день весь пропащий. А встать рано — здоровое дело и нетрудно, за плечами уже первый сон, самый сладкий, потом с полчаса всего прикорнуть, а день-то весь твой. Глупенькая была Тусенька, даже обрадовалась предложению Агафьи Ивановны: ах, наконец-то я восход солнца буду встречать, памятны были ей еще объяснения учителя русского языка о том, что это самое поэтическое время дня. Помнила, как и сама в сочинении «радостные чувства при восходе солнца и грустные при его закате» восхваляла и пение птичек и «огненное светило, выходящее, как расплавленный шар, из серебряных облаков».

Глупенькая была Тусенька, совсем забыла, что казенное заведение стояло не в жарких странах, где светает, когда и не ждешь, а на болотах, где солнце в длинную зиму тусклей фонаря. Да, попалась, а назад уж неловко, вот и шлепает туфлями из старшего отделения в младшее, пока не выгорит керосин, не запахнут лампы. Запахнут лампы, пойдет огонек примарги-

вать да кривляться — значит, время смены. А розовые зори да «светило», как смотрела она на них, бывало, перед тем, как писать сочинения, на картинках, так все там и осталось. Одну птичку живую у Акоповой в клетке только и слышит, ту самую, что ламповый свет с солнцем путает, да и птичка все что-то хохлится, вот-вот лапки протянет.

Поначалу пробовала Тусенька от молодежи не отставать, с девочками дружилась. Первые выпуски славные были, еще ее помнили взрослой, себя маленькими, секреты свои поверяли, поручали купить шпротов. Но вот все знакомые замуж повыпорхнули, а для новеньких она уж не Тусенька, а одна только dame de nuit, «ночная дама», чуть повыше рангом Марьюшки — угловой, что за шалуньями бегает с мокрой тряпкой, не дает леденец в печке плавить. Новым девочкам не приходит и в голову поверять Тусеньке свои секреты, а над любовью ее к нездешним цветочкам они простонапросто фыркают.

— Вот потеха-то, ночной крот, dame de nuit, желает, медам, в апельсинные рощи, а ну, покажем-ка ей «древнюю Грецию». — И ведь показали...

Как-то около полуночи, когда Тусенька, встряхивая пушистою головой, чтобы смигнуть первый сон, вошла в дортуар старших, она взглянула на тумбочки, громко вскрикнула и села на пол. Около кроватей в разных позах, наподобие греческих статуй, стояли девицы, совершенно без всяких костюмов. У Амура игрушечный лук, у Венеры ленточка, а прочие с одним лишь античным телодвижением.

Не закричи Тусенька, все бы кончилось честь честью: ну, постояли бы олимпийцы, пока не иззябли,

и все тут, а ей за доброту — почет и ласку. А тут на крик ее инспектриса из коридора откликнулась: «Qu'est-ce qu'il y a?» [1] и пришла в дортуар.

Олимпийцы, пока она шла, успели не только в кровати юркнуть, но и облечься в ночные рубашки и глаза закрыть в безмятежном покое, так что на повторенный вопрос: «Кто кричал?» — потрясенной Тусеньке, вскочившей с пола, пришлось в смущении признаться, что это она сама.

Первая ученица, примерница с хорошей фамилией, бойко обратилась к инспектрисе с французской речью, сообщая в ней, что la dame de nuit очень нервная и вскрикнула от испуга, увидав неожиданно белую фигуру, так как, каялась притворная девочка, «я заснула, забыв помолиться, но меня во сне стала мучить совесть, и я вдруг поднялась, чтобы загладить свой грех».

— О, нельзя забывать молиться, — сказала инспектриса, а Тусеньке бросила снисходительно: — Вы бы лечились от нервов!

С этих пор девочки прозвали Тусеньку кликушей и старались всячески ее изводить. Особенно досаждали «авантажным мужчиной» — так звалась кукла, состряпанная из набитых тряпьем панталон, ночной кофты и большого усатого мячика — головы, привязанного к туловищу так, что едва тронешь — он вырвется и запрыгает. Тусенька кидалась от одного авантажного мужчины к другому, в нее летели мячики, думки, башмаки, пока на визг не приходило начальство и под всеобщее ночное сопение, опять не дознавшись виновных, делало

---

[1] Что случилось? *(франц.)*

Тусеньке новое замечание, что она не умеет держать в руках класс.

На воле у Тусеньки сейчас тоже не было много радости: первое время замужние подруги даже радовались встречам, охотно хвастались мужьями и пеньюарами, а едва осмотрелись, едва заняли в обществе свое положение, заговорили уж так: «Это воскресенье, ма шер, пропусти, у нас светские гости, ты понимаешь... надо быть одетой»; или: «Скрывай, ради бога, что ты dame de nuit, муж смеется, что это неприличная должность, и так мизерно... у нас горничной дают больше».

И вдруг у Тусеньки в жизни событие — жених. Да не такой, как у Акоповой, из воздушного замка, а настоящий — студент второго курса. Потанцевала с ним Тусенька на единственной своей вечеринке под Новый год, а он тут же за пушистые волосы прозвал ее «Маргариточкой» и пошел попадаться на улице. На улице в скором времени и предложение сделал. Убеждал сию минуту выходить за него замуж да поселяться в комнатке Еропанова дома, сплошь заселенного женатыми студентами.

Совсем было дело наладилось: уже Тусенька вспыхивала, завидев у входных ворот студента, уже всякий раз задумывала: если идет он под статуей Милосердия, она будет с ним счастлива, а если под Просвещением, то зараз счастлива и богата и поедет к теплому морю, будет рвать своей рукой орхидеи. Но студент такой непоседа, все бегал от одной аллегории к другой, и не разобрать, из-под чьих каменных ног вдруг выскочит, схватит за руку и потащит гулять. И была б свадебка, и поселились бы в доме Еропанова, и худая ль, а уж

вышла бы новая жизнь, не вмешайся в это дело Акопова.

Вместе с Тусенькой и студентом сходила как-то Акопова в дом Еропанова, осмотрела будущую комнатку молодых — об одном оконце с упором в красный брандмауэр, сбегала на общую кухню, где, как нарочно, из-за кипятка сцепились крупно две чьих-то жены, а третья их разнимала. В тот же вечер, перед тем как Тусеньке идти на дежурство, Акопова до горьких слез потрясла ее разговорами о грядущей квартире в доме Еропанова. «Куда туалет свой, ма шер, ты поставишь? Там на двух места меньше, чем тут на одну. А пойдут дети, и на зеркальце пеленки повесишь, а придет студент пьяный, или за революцию его в тюрьму посадят... студентов всегда сажают. Во всяком случае, орхидей тебе, извини, ма шер, за выражение, как своих локтей не видать, и чулки покупать хочешь не хочешь, а придется аршинами».

Тусенька, до утра шлепая туфлями, тихонько плакала, представляя себе красный брандмауэр у Еропанова, студента в тюрьме, свару всех жен в общей кухне и, самое страшное, свои тонкие, маленькие ножки в уродах мешках, как ножищи Агафьи Ивановны.

Отоспавшись, Тусенька с особой любовью перетерла тонкой тряпочкой листья огромного арума, гордость ее девичьей комнатки, переставила цветущие гиацинты и, взяв карандаш и бумагу, с удовольствием перечислила блага, какие дает ей казна: жалованья, конечно, не много, но отопление, освещение, стол... перевести все на деньги, как раз вдвое больше того, что студент в лучший месяц имеет с уроков.

— У нас денег нет, как же мы будем жить? — спросила Тусенька жениха в первый же раз, как он схватил ее за руку, чтобы вести на бульвар.

— Голодать будем, вот беда, — засмеялся студент, а Тусенька надула губки, подумала: «Вот еще, мне совсем неохота». И стала его избегать.

Когда же студент как-то назвал ее раскисляйкой, она окончательно обиделась: «И отлично, я вам вовсе не пара...»

Перестал студент поджидать Тусеньку под двумя аллегориями, перестала Тусенька загадывать о своей с ним судьбе и мало-помалу, совсем как Акопова, увлеклась «внутренним министерством». Правда, щемило досадою сердце, когда глаза нет-нет, а искали кого-то под каменными ступнями Милосердия и Просвещения, но едва Тусенька влюбилась по карточке в проезжего тенора, которого потом видела в «Фаусте», последняя мысль о студенте растаяла. Тенора скоро сменил клоун Дуров, потом фокусник Баб-эль-Эддин, дававший представление институткам в чалме и в восточном халате, потом Миклуха-Маклай с скорбным тонким лицом, в пальто мехом кверху. Понемногу у Тусеньки все стены комнаты увесились разнообразными мужскими лицами, современными и бывшими знаменитостями. Девочки, пронюхав об этом, наперерыв вбегали гурьбой, чтобы выбрать себе «кавалера», как осенью, разбирая учителей на предмет обожания, и сейчас они ссорились и перебивали друг дружку:

— Мой лорд Байрон.

— Нет, я первая, твой Баттистини...

Однообразные Тусенькины годы, без солнца, день и ночь с керосиновыми лампами, делали ее с каждым

месяцем апатичнее, все чаще посещали мигрени, кололо в боку, и, как слабо тлеющие в жаровне угли гасит плотно надетая крышка, потухали её мечты.

Новых фотографий заводить не хотелось, от театра пришлось отказаться, не под силу сделалось платить лишней бессонницей Агафье Ивановне за просроченное ночное время. А образ мужчины, которого втайне все еще встретить хотелось, как соткался из разных мужских лиц, так на том и замер: красивые локоны Байрона и Миклухи-Маклая спадали на высокий лоб Шекспира, глаза брюнета-баса, фигура Альфреда Мюссе в старомодном высоком галстуке. И не много б взяла теперь Тусенька от героя: букеты фиалок, конфеты и долгие tête-à-tête без слов. Даже не это — теперь только бы встретить его, только б вот взял и вошел...

А между тем года шли, то и дело пломбировать приходилось зубы, волосы лезли и войлоком оставались на гребенке. По болезни приходилось нередко манкировать ночными дежурствами, и делалось страшно, что вот-вот откажут, не дотянет до пенсии и придется оканчивать дни в богадельне.

Как и Акопова, Тусенька теперь жадно копила про «черный день». Теперь уж не водилось у нее ни прошивочек, ни шоколадок, ни цветов — все на книжку. Без цветов особенно было скучно, да спасибо Акоповой, вместо дорогого удовольствия она придумала заменяющее его подешевле:

— Ты купи себе, ма шер, за гривенник яичко с духами, Брокар и К^0 или Ралле, в аптекарском магазине большой выбор, каких хочешь запахов, чуть надушишь думочку, закрой глаза — и совсем как в цветах.

И вот как-то под весну, в ясный теплый денек надумалась Тусенька побаловать себя, пошла искать запахов. Весело вошла в магазин, со смешком стала рыться в плетеной корзинке, где навалены были кучей стеклянные яички с дешевыми желтыми и зелеными духами.

— Ежели сирень обожаете, нет лучше запаху, как ли́ла де перс, — говорит приказчик.

— Вы советуете лила́ де перс, — поправляет ударение Тусенька и, подняв пушистую голову, сперва вспыхивает, потом бледнеет.

В дверь только что вошел тот самый студент, ее бывший жених, а с ним нарядная барыня. Студент, теперь плотный, холеный господин, тоже пристально взглянул на Тусенькины светлые волосы, признал былую «Маргариточку», подошел:

— Это вы? Неужто по-прежнему там, «ночной дамой»...

— Да, я по-прежнему, — задохнулась Тусенька и, не желая знакомиться с нарядной дамой, может быть его женой, положила обратно «лила де перс» и убежала из магазина.

Два дня Тусенька за обедом не говорила ни слова, несмотря на то, что один день такой был солнечный, что без ламп до вечера просидели, а второй день был царский, и Акопова, съев индюшку и фисташковый торт, особенно была нежна с подругой:

— Ты все ежишься, верно зябнешь, ма шер, что же делать, для серьезной причины тронь сбережения, купи себе новый пуховый платок.

— Зачем мне, не стоит, — промолвила вяло Тусенька.

II

Как-то в воскресенье зашла к Акоповой знакомая капитанша, всю свою жизнь пропадавшая в богомольях. И сейчас капитанша собиралась ехать в Евсеевский женский монастырь.

— И на холодном озере я побывала, где Николай-угодник матерь божью встретил, и у Тихона Задонского, отца Глеба видала, что святителев гроб стережет, перчаточку дал мне с ручки, а все не Евсеевский... в Евсеевском мать-игуменья, мать-казначея, обе роду дворянского, все сестрицы хорошего тону, у всех келейки прибраны, цветов... хочешь — нюхай, хочешь — букеты вяжи...

— Послушание у них, ма шер, тяжкое, — сказала неодобрительно Акопова, — на службах пятки все отстоишь.

— Ах, не скажите, службы все сокращенные, часок ночью попеть, потом сон еще слаще. Вот ваша Тусенька ночи годами не спит, небось похуже, — заступалась капитанша рокочущим баском за Евсеевский монастырь. — А хлеб у них, душенька, — объедение, я вам закалец и в филипповском разыщу, а у них уж ни-ни, а пирожочки с повидлами, а просфорочки...

Тусенька вздрогнула, когда капитанша ее помянула, она все о чем-то теперь задумывалась, и вдруг сказала:

— Возьмите меня в монастырь, мне отпуск, наверно, дадут!

Акопова было всполошилась; очень необыкновенно показалось желанье подруги; сидела, сидела без выезда — и на тебе вдруг... Но, вспомнив, как жалостно

кутается Тусенька в старый платок, идя на дежурство, как вечно кашляет да прихварывает, всегда благоразумная Акопова сказала:

— Что же, здоровье, конечно, дороже всего, без здоровья и пенсии не выслужишь, — и сама первая стала рассчитывать, во что обойдется проезд.

— Святое такое место, а ведь рукой подать, — чуть отодвинула от своего полного стана небольшие ладошки капитанша, — вторым классом два рубля, а за прожитие — у кого сколько щедрости. В кружку кладешь — и не смотрят. Одна барыня квитанцию заказного письма положила.

«Ночную даму» отпустили на богомолье. Заперев свой шкафик, Тусенька собрала пожитки в саквояж, расцеловалась несчетно с Акоповой и поехала.

— Правда ли, что у монашенок послушание — своей воли совсем нет? — переспрашивала в сотый раз Тусенька капитаншу.

— Уж такое-то послушание. Не то что жить — умереть себе без игуменьи не позволят. Мучается иная, а отойти и не смеет: «Благословите, матушка...»

— Из монастыря никуда им нельзя? — еще пытает Тусенька.

— По своей воле — что это вы, — обижается капитанша, — когда пошлют, тогда и отлучится. К одной рясофорной, чудная певчая, просто бас, письмо в сочельник пришло, что отец умирает, а мать-игуменья говорит: «Давай-ка лучше помолимся, чтобы бог отложил отцу смертный час, ведь тебя заменить в хоре некому, неравно архиерей пожалует...»

Сама не знает почему, радуется Тусенька, что нет у монашенок своей воли, что так трудно им там за огра-

дой, а она вот в первый раз как захотела поехать, взяла да поехала...

В обители капитанше и Тусеньке отвели светлую комнату угловую, в чистом флигельке. Одним окном келья выходила на поле, в другое можно было видеть все монастырские постройки: скотный двор, водокачку — башню с круглым образом, глазом-хранителем обители. За башней в белой оградке свое домашнее кладбище, с венками из свежего ельника, с неугасаемыми лампадами.

Капитанше почти все знакомые; то и дело вплывают в келью чинные манатейные да рясофорные матери в высоких своих клобуках, или, не умея сдержать еще девичьей резвости, вбегают молодые послушницы — «ленточки», в черном кокошнике с хвостиком на спине.

Мать Вера, рясофорная, с белым лицом, с мягкими, легко вбирающимися в рот губами и глазами черными, без ресниц, завела длинную речь о случае в Козицкой обители.

— Стра-ашный был там, сударыня, бык бодучий, на рогах у него доска; вот запутался как-то в цепи, а игуменья посылает сестрицу распутать.

«Боюсь, матушка, забодает...»

«А святое послушание твое где?»

Поклонилась сестрица низко, пошла. Едва быка распутала, он как хватит рогами — всю помял, потоптал...

— Сестрицы быка колотушкою оглушили... — морщась, как от боли, подсказала бледная послушница, чтобы скорее докончить рассказ.

Мать Вера недовольно пожевала губами и не торопясь продолжала:

— Оглушить — оглушили, ан монахиня все равно при смерти. Как на носилках ее мимо мать-игуменьи проносили, только силушки у нее и хватило сказать: «За святое за послушание отдаю, матушка, богу душу».

— Вот уж истинно в светлый рай унеслась ее душенька, — отирает слезу капитанша.

— Благословите войти, — вдруг стучит в дверь и входит Катюша-ленточка, прислужница мать-игуменьи. — Матушка просит гостей чай откушать.

— До чаю времени с добрый час, — говорит ласково мать Вера Тусеньке. — Не пожелаете ль взглянуть на обитель?

Ей до смерти хочется, оставшись вдвоем с капитаншей, без стесненья посудачить о всех монастырских делах. Катюша-ленточка ведет Тусеньку по длинным коридорам, совсем как в институте, даже кельи-комнатки с нумерами: благословите, мать Манефа, войти, благословите, мать Марья...

Отворяются двери, к себе зовут монахини, то старые, с желтыми, окостенелыми лицами, то молодые, будто на час переряженные в клобук красавицы. Но и эти, даром что улыбаются земной улыбкой и растят с любовью герань на окошках, восковое вьющееся дерево и алоэ — лечебный куст, — и эти уже не выйдут отсюда, уже не снимут клобук. Они ль жизни не приняли, она ль к ним повернулась мачехой?

— У мать Манефы муж застрелился, — шепчет, едва вышли, проворная «ленточка», — мать Ирину по судам затаскали, невинно обидели, а вот сейчас мать Олимпиаду увидим, так у нее трое деток сгорело...

Только платочком носик заткните: в золотильной мастерской дух тяжелый. Десятый год сидит мать Олимпиада над своею работой, деревянную резьбу перманентом, тухлым белком да еще чем-то смазывает, под золото готовит, и все молчит...

Мать Олимпиада, полная, налитая нездоровым желтым жиром, какой бывает у отварной осетрины, сидит с кисточкой, склонившись над резьбой. Отвратительный запах ударил в нос, Тусенька покраснела и схватилась за платочек, а Катюша прыснула.

Мать Олимпиада подняла на обеих добрые старые глаза, в которых вдруг вспыхнула глубоко замурованная жизнь, и, с трудом ворочая тяжелым, отвыкшим от разговоров языком, сказала:

— Ничего, дух здоровый.

— Отчего вы не займетесь другим делом? — спросила Тусенька.

— Мне так лучше...

Мать Олимпиада потухла, опустила голову и принялась опять за работу, а ленточка-Катюша вывела Тусеньку на свежий воздух.

— Хотите в лесок, у мать-игуменьи чай пропустите, я вам ужо в келейку принесу.

Тусенька позабыла, что утром еще ее сильно лихорадило, оделась, и обе вышли по чистым, широко положенным доскам, через красные ворота, мимо башни с образом — сторожевым глазом, по тропиночке в лес.

Зима уже шла на убыль, морозные дни то и дело прорезал день весенний; и когда солнце плавило снег, лес казался вспомнившим лето. Хотя его деревья все еще были неодетые, но сквозь растопившийся снег зеленели куски прошлогодней травы.

На прогулку Катюша обвязалась платком, и лицо ее стало еще милей и моложе; присели рядком на большой пень.

— Отчего вы пошли в монастырь? — спрашивает Тусенька.

— Да я только на времечко, — смеется Катюша, — сейчас в миру ни к одному человеку нету мне веры, потому что себе самой я не верю. А как мне поверить себе? Двум женихам отказала подряд; полюблю — разлюблю, разлюблю — полюблю... Вот тут в тишине, в послушании соберусь разумом. На денек привезла меня тетенька, а мне и понравилось, надоест — в мир уйду.

Катюша долго еще болтает, но Тусеньке неинтересно: как тогда, при рассказе матери Веры о бодучем быке, было ей радостно, что монахиням тяжело их послушание, так и теперь, наоборот, и досадно и словно обидно, что Катюша не только не жалуется ни на что, а все у нее просто, все весело.

И как только стало ей неприятно, сейчас почувствовала Тусенька, как сильно ей нездоровится, как кружится голова, как ко сну клонит.

К мать-игуменье пить чай Тусенька не пошла, сославшись на головную боль.

Говорливая капитанша ушла одна с матерью Верой, а Катюша-ленточка с рясофорной Пелагеюшкой принесли большой поднос с самоваром и печеньями в келью. Непоседа «ленточка» упорхнула, а Пелагеюшка села на диван. Здоровая, крепкая, печь-баба, зубы блестят.

— А вы как сюда? — одно знает Тусенька.

— А всего в мире повидела, — нараспев ведет Пелагеюшка, — вволюшку поплясала, кого любила, за

того замуж пошла, того и в землю сховала, и дочечку и матушку родную. Новый дом заводить неохота, а с родней раскардаш: тот советчик, тот наказчик, только здесь — душе весело.

Стелет Пелагеюшка постель, взбивает подушки, хвалит монастырскую жизнь:

— По силе работаю, и грамоте обучили, к шестопсалмию выпускают...

— Мне нездоровится, — прерывает Тусенька, — сейчас я усну, а к полунощнице вы постучите...

Заправила лампадку перед большой образницей в углу, ушла Пелагеюшка.

Тихо в комнате, мигает зеленой звездочкой огонь в лампаде, ближе придвинулись к окнам деревья, темно за деревьями.

Забылась Тусенька в лихорадке, и приснился ей сон.

Стоит она будто в классе опять институткой, в белом переднике с затертыми мелом чернильными кляксами, и ждет со страхом чего-то, и все кругом, лиц не видно, стоят и тоже ждут. Посреди класса большой черный стол, отполированный гладко, и ламповые в нем огни, как в черном зеркале, отражаются, тоска тянет душу глядеть. И вдруг дверь настежь, и входит Страшный суд: начальница — покойная баронесса Враде, швейцар Телехов, эконом и ангел.

«Кто хочет в рай, берите свои кувшины, с кувшинами только и примут», — объявляет начальница.

«Чем полнее кувшин, тем больше и чести», — подхватывает эконом, такой же толстый, как был, почему девицы шутили, что он сырым пожирает все мясо, а им на второе блюдо велит поджаривать суповое.

А швейцар Телехов, за грязь выгнанный со службы и сейчас закапанный стеарином, пригласительно машет рукой: «Пожалуйте, барышни, те, что в рай».

Все, кто крутом, сами не видные, берут с полу кувшины и ставят их на плечи, как грузинки в «Демоне», когда идут за водой на Арагву. Всех Тусенька знает, все покойницы, только лиц не видать, одни кувшины к дверям движутся, а на кувшины два света падают: один серенький, утренний, из окон, другой желтый, от незагашенных ламп.

«Что в кувшинах? — думает Тусенька. — Такие тяжелые». И ужас у нее от двойного света, тоска. А швейцар Телехов строго торопит: «Извольте, барышня, свой кувшин раздобыть, а то в рай не пустим».

А покойницы все уж проходят, самих не видать, серые кувшины одни тянутся мимо начальницы, эконома и ангела. Тронет ангел кувшин — и нет его, ничего нет, покойница в рай попала.

Мечется Тусенька по подушкам, огнем пышут подушки, а в душе холодно: не найти ей своего кувшина, не выпустит Телехов вон из класса, век придется стоять да смотреть на два света: на серый оконный да на ламповый, что отражается в черной доске полированного большого стола.

Заплакала Тусенька, проснулась, зажгла свечу, пояснело в голове, вспомнила, где находится. Вспомнила только что виденный сон, будто где-то уж раньше о кувшинах таких вот в книжке читала, и конец такой был: «А в кувшинах этих слезы...»

— Слезы, — повторила Тусенька и вдруг поняла: кто за свою жизнь кувшин слез не наплачет, того никуда дальше и не пустят, с чем прожил, с тем

и сиди... — Да разве жил тот человек, который не плакал, жила разве я?

И, сжав руками тупо ноющий, еще не сморщенный лобик, она стала думать; в первый раз изо всех сил стала думать над своей жизнью.

Да какая жизнь? Один испуг только и был, а не жизнь: маленькая — боялась классных дам, черного коридора, учебника арифметики с какими-то фруктовыми фамилиями: «Малинин, Арбузов...», а кончив курс — воли испугалась: шумных улиц с трамваями, с пьяницами, с ломовиками.

Поперек перейти — раздавят, а комнату снять от хозяйки да искать занятий — вдруг ворвется кто-нибудь с улицы да изнасилует... Мало ль в газетах написано.

Да, начиталась Тусенька ужасов в мелком шрифте под рубрикой: «Происшествия», и с перепугу пошла в ночные дамы. Но что ж в этом занятии такого неприличного, чтобы Верочкину мужу смеяться. И никого, никого в целом мире, кто бы посоветовал: ни брата, ни тетушки — никого, сирота из обер-офицерского отделения...

Тусенька подумала, что так вот вымереть всей родне, как вымерла у нее, прилично было бы разве в холерный год или в чуму, как это случилось со всеми в любимом романе ее «Пугачевцы» графа Салиаса. Но едва подумала, сейчас же стало грезиться, что ее красное от жару тело вздувается в большие бобоны, верхушка чернеет, а Акопова, забыв долгую дружбу, с раздражением говорит: «Засыпьте ж ее в яме известью, она ведь заразная».

В дверь стучат, Тусенька вскрикивает.

— Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас... — говорит Пелагеюшка и входит с четками, в большом клобуке.

«На полунощницу пора...» — припоминает Тусенька. — А у меня, Пелагеюшка, жар, мне страшное чудится...

— От страхов крест святой да свеча Николай-чудотворцу, он над бесами власть имеет.

Помогает Пелагеюшка одеться, шубу застегнуть; идти в церковь опять по доскам, мимо монастырского кладбища. Остановились на минуту: не страшно тут лежать, могилки, словно коврами, зеленой хвоей покрыты, везде лампады, скамеечки для сестриц, то и дело проведывают.

Совсем ясной на холоде головой думает Тусенька: «Немного и разницы вышло бы мне: здесь лежать или опять в ночных дамах жить оставаться; как здесь покойницы, и я там у себя солнца не вижу».

В церкви ласково поклонились знакомые рясофорные и опять за молитву: падают они на колени, вслед за широкими сборчатыми шлейфами склонивших клобук до земли манатейных, все, все пришли сюда, мало ль чего испытавши, тяжелые кувшины принесли, понаплакались...

«Одна я без слез...»

Украдкой, в земном поклоне, плачет Тусенька, вспоминая, как студента своего совсем было любить принялась, да любви струсила. Из-за общей кухни Еропанова общежития, да двойной чинки белья, да голодных дней.

А студент из всего из этого выскочил. Все Акопова, все она смутила.

Страшно Тусеньке, не хочет она об Акоповой плохо думать, ведь одна у нее подруга и есть за всю жизнь. Надо б любить хоть ее, страшно так, страшно умереть, никого не любя.

А голос какой-то, как живой, говорит: «Вот и не любишь ты вовсе Акопову, и теноров не любила, ни Миклуху-Маклая, ни Байрона, ни всех тех, кем себе стены увешала, — все трусость одна да глупое баловство. Один и был только студент у тебя живой, настоящий, а студента этого ты и проморгала. Пустышка — вот она жизнь твоя».

Кончилась полунощница: прошелестели манатейные в своих черных мантиях, две из них свели под руки со ступенек высокого деревянного кресла мать-игуменью, былую красавицу, теперь согбенную благую старицу. Живей белок юркнули за спиной ее молоденькие «ленточки» досыпать прерванный сон.

— Сами ль найдете во флигель тропочку? — спросила на воздухе Пелагеюшка. — Мне время к коровушкам забежать...

— Найду, найду, мне от церкви полегчало, — улыбнулась Тусенька.

— Светать скоро станет, теперь на весну ночь убавило, — прикрывая зевоту белой рукой, сказала мать Вера другой монахине, и обе завернули в келью.

Тусенька взглянула на посветлевшее за темным еще куполом небо, и вдруг ей пришло в голову такое веселое и, как показалось, такое дерзкое, что она сразу сама себе не поверила и застенчиво улыбнулась: хорошо, что Акопова не узнает. Боясь раздумать и самой себя вдруг испугать, она ускорила шаг и вместо чистого флигелька направилась прямо в лес, к зеленой

калитке, которую, помнилось ей, Катюша защелкнула только задвижкой, когда они возвращались с прогулки.

Так оно и было: Тусенька открыла калитку и вошла в лес. Она шла, пока знакомая уже тропинка не оборвалась спуском к озеру, чистому от зимнего льда и, как девичья постель покрывалом, прикрытому белым туманом.

Тусенька выбрала камень под елью, откуда далеко шел простор, а на небе по наметившемуся желтоватому кружку понять можно было, где должно появиться солнце. Она подняла воротник шубы, почувствовав большую слабость от охватившего ее с новой силой озноба, прижалась спиной к широкому стволу ели, ноги поставила в мягкий, распухший от сырости мох и стала смотреть в небо.

Озноб перешел в жар, и это было приятно; сидеть под елью стало удобней, и никогда не бывшая, какая-то детская радость запрыгала в сердце. Провалились куда-то года, проведенные в ламповом свете под № 35, и вот сейчас, с этой самой дурашливой встречи солнца в монастырском лесу, началась интересная жизнь.

Тусенька догадалась: до сих пор была она кем-то туго спелената, а тут взял другой кто-то и распеленал. Такие веселые пошли мысли: вот вошла она как-то вечером к швейцарихе: купает швейцариха младенчика. Лежит он красный, брыкает ручками, ножками, а швейцариха, пробуя локтем воду в ванночке, любовно ему говорит: «Ослобонился, собачий сын».

Тусенька знает, что теперь уже ни за что больше не вернется обратно, в «ночные дамы». Уж что-нибудь она да придумает, и будет у нее, как у людей, день днем, ночь ночью. И жених опять будет. И она, как Катюша-

ленточка, захочет его полюбить — полюбит, а не захочет — и так проживет. Цветов разведет много на окнах, таких вот цветов, какие сейчас горят в небе, вон там золотом протянулись над облаком.

— Ноготки, настурции, циннии... Какие еще желтые есть цветы?

Смотрит Тусенька в небо, кружится у нее голова, в голове кружатся яркие небесные цветники. Уж не на камне сидит она, а съехала телом в сырую перину, в зеленый частый мох. А глазами хоть хорошо видит, а путает: где земля, где небо, над головой ли, под ногами ли пышный сад зацветает?

Тепло и мягко в зеленой перине, щебечут в ветвях воробьи. Уплыло в свой облачный дом последнее облако, розоватыми незабудками занялся край неба, а на нем золотое, как в жаркий полдень подсолнечник, поднялось вдруг «светило». То самое, о котором Тусенька писала с чужих слов в сочинении, то самое, что долгие годы, устав от ночного дежурства, просыпала она в своем № 35.

СВОИМ УМОМ

— Вставай, Вачьянц, вставай, — толкают черноволосую девочку, которая спит, запрятав голову под подушку, чтобы не слышать звонка, — ведь сегодня немецкое.

В институте особенно тяжело по утрам. В дортуарах еще догорают ночные лампы, от них на потолке дрожат черные круги, а за окном и не поймешь сразу что: сумерки, или рассвет, или просто натянули за стеклами серый коленкор.

Трясет швейцар что есть мочи звонком, холодно от этого звонка под ложечкой, холодно вылезть из теплой кровати и натянуть на ноги белые чулки, где помечены красным крестиком класс и номер. И, как нарочно, под утро лучшие сны снятся, вот Вачьянц свои горы увидела: вдали снежные, вблизи пестрые от цветов, а кругом облака, будто сбитые сливки. Только собралась бежать на гору, а тут звонок лезет в уши.

— А вот ей мороженого, — говорят уже одетые в зеленые камлотовые платья девочки и стаскивают с Вачьянц одеяло.

Из-под подушки ныряет злая косматая голова, рука хватает башмак и бьет им кого попало. Валятся на пол, визжат...

— Вачьянц, одевайся, — испуганно разнимают дежурные, — Цвибель бьет пестиком.

В стену яростно стучат; это сердится немецкая классная дама, ее комната смежная с дортуаром; когда шумят не очень громко, она бьет в стену своим костлявым кулаком, и тогда дело может обойтись замечанием. Но после «пестика» наказание уже неизбежно.

В один миг девочек на полу будто не было. Мелькают тесемки, гребенки... Проворные пальцы, не путаясь, заплетают косички и ленты, вот только умыться нет времени — в дверях ярко-синее платье:

— Wer hat geschrien? [1]

— Guten Morgen, [2] Гортензия Карловна, — вместо ответа говорят девочки хором и окунаются в почтительном реверансе.

Зорко прощупывает классная дама глазами все пары, по трепаному виду Вачьянц угадывает, что в беспорядке виновата она, и для проверки приказывает:

— Покажи твои ногти.

Вачьянц вытягивает руки, закрывая грязные пальцы чистыми, но Гортензия Карловна обнаруживает зажатые кляксы и торжественно говорит:

— Ты не́ умылся, du hast geschrien, [3] и ты захотел оболгать... А кто захотел оболгать, тот способен и на украсть, ja, der kann auch stehlen. [4] А укравший ходит

[1] Кто кричал? *(нем.)*

[2] Доброе утро *(нем.)*.

[3] Ты кричала *(нем.)*.

[4] Да, тот может и украсть *(нем.)*.

в Сибирь... Вот здесь, — тычет она маленьким сухим пальцем в спину Вачьянц, — вот здесь у тебя будет один бубновый туз, вот здесь.

— Я не воровка, — говорит Вачьянц и злобно смотрит на Цвибель.

— Опусти глаза, смотри на меня с одним добрым сердцем, du, die Pest der Klasse! [1]

Цвибель круто поворачивает свою синюю плоскогрудую фигуру с длинной талией, вместо сердитого лица с красным носиком показывает классу напомаженный белесоватый крендель волос и ведет всех в столовую.

— Будет теперь придираться, пока не разревешься, — шепчут сзади, — запиши Цвибель за упокой, она сбежит в лес и удавится.

Вачьянц вспоминает, как одна маленькая, рассердясь на Цвибель, записала за упокой после своих родных, настоящих покойников, и «новопреставленную Агриппину» — так сообща перевернули Гортензию на православное имя. Записала, а сама испугалась чертей и просидела свободное время в шкафу, а с Цвибель так-таки ничего и не случилось.

«Вздор, — думает Вачьянц, — все это вздор; вот самой бы убежать отсюда».

Уже третий год, как ее привезли в эти черные длинные коридоры, сменили домашнее платье на зеленое казенное — «лягушку», стали звать не по имени, а по номеру и фамилии, а тоска по Кавказу не проходила. Писала Вачьянц родным заказные письма с рисуночком: орел в клетке, а за решеткой Казбек, про-

---

[1] Ты, чума класса! *(нем.)*

сила взять хоть один раз на лето. В ответ присылали два рубля и каракули непривычными русскими буквами: «Ты сирота, веди себя; на Кавказ далеко ехать, на Кавказ дорого ехать...»

Еще зимой удавалось кой-как прожить в институте. Зима здесь совсем новая, ничего не напоминает, даже можно думать, будто живешь, как в сказке жил мальчик Кай в царстве белых снегов, ну, а весной уже ничего не придумаешь. Ведь весной, когда здесь еще дождик, а солнца чуть-чуть, там, на родине, и фиалки с тюльпанами, и ослы на зеленом лугу, и под вечер лезгинка на крыше духана, и мало ли что...

Весной нападает такая тоска, что, приди смерть с косой и оскаленным черепом, — и пусть ее, пусть скосит голову...

Сейчас идет урок закона божия, а Вачьянц закрывает глаза, и опять ей горы чудятся, те самые, что во сне увидала, вдали белые, будто сахар, вблизи пестрые от цветов.

— Schlaf nicht, du! [1] — грозит пальцем Цвибель.

Вачьянц вздрагивает и переводит глаза на батюшку. Батюшка — красивый старик с белыми волосами и бородой. Он написал когда-то даже учебник, а теперь будто все позабыл. Рассказывает своими словами только про одно грехопадение, а про прочее, не мудрствуя лукаво, читает вперед просто по книжке

Устал батюшка от людей в своем приходе и попал в институт, будто в рай. Все ему кажется правильно тут, чисто, отдохновенно, а каждая девочка — внучкой. Вызовет какую-нибудь отвечать и, пока та идет, чтоб

---

[1] Не спи! *(нем.)*

лишний раз над журналом ему не гнуться, заодно выследит пальцем клетку и против фамилии поставит двенадцать.

У батюшки на белой голове бегают радужные зайчики; может, они от стеклянной чернильницы, а может, кто и навел зеркальцем с задней скамьи; батюшка не такой, чтобы доискаться. Кротко заслоняет от зайчиков желтыми длинными пальцами глаза и говорит:

— Ну-ка, Кутинова, почему бог создал первых людей?

— Единственно по великой своей милости.

— Ну, а согрешили они почему?

— Единственно по причине своей злой воли, — как дробь сыплет Кутинова.

— Так, так. Почему и изгнаны, почему и прокляты. Каково проклятье-то?

Вачьянц больше не слушает, к ней пришли мысли: бог, всеведущий и всеблагой, ведь знал, что согрешат люди, что будут вечно страдать, — какая ж тут благость? Или не знал — тогда не всеведущ. Зараз и всеблагой и всеведущий — не выходит. Или, может быть, про бога совсем не нужно, нельзя говорить словами, тогда к чему катехизис? Спросить разве у батюшки. Стыдно, не принято, у него ничего не спрашивают.

А батюшка уже утомился короткими ответами и вызвал примерную ученицу по Ветхому завету.

— Случилось так, что при входе в Вефиль пророка встретила толпа детей и смеялась над тем, что у него на голове нет волос, — без заминки, словно воду льет первая ученица. — Елисей оглянулся и осудил поступок детей именем господа; тогда вышли из лесу две медведицы и растерзали сорок два мальчика...

Вачьянц уже не думает, а будто все видит своими глазами: идут дети толпою из школы, им весело, все шалят, тоже горы у них, как на Кавказе, Синай...

И вот старик, череп голый, совсем колено. Обидеть старика не хотели, просто смешно стало им, не сдержались, а он руки к небу, имя господне... И вот две медведицы — злые, косматые. Детей рвут на части, кровь, крики... А дома-то и не знают. И никогда этим детям не бегать, не есть булки с вареньем, а пророк преспокойно ушел, и про него написали — он праведный.

— «Die Tabakspfeife» [1] auswendig! [2] Будешь у меня на уроке спать, — почти громко говорит с своего стула у стенки Цвибель и записывает Вачьянц в штрафной журнал.

А у Вачьянц в глазах потемнело, кровь бросилась в щеки, и неожиданно для себя самой, незваная, она вдруг идет к кафедре.

— Батюшка!

Весь класс в волнении, неистово сморкаются, чтобы заглушить хохот, блестят глазами от радости, от ожидания «штуки»...

— Батюшка, объясните, пожалуйста, почему пророк Елисей считается праведным, а не жестоким, разве это то же самое?

— Что вы, что вы? Садитесь, — машет испуганный батюшка желтой рукой в широком лиловом рукаве, — садитесь. Разве мыслимо так рассуждать, ах, как неблагонравно. И откуда сие, откуда!

---

[1] Название длинного стихотворения, которое в наказание заставляли учить наизусть. *(Прим. автора.)*

[2] Наизусть! *(нем.)*

— Ее примерно за это накажут, — подлетает багровая от гнева Цвибель.

— В старших классах обо всем услышите, обо всем, — говорит примирительно батюшка, — а покуда довольно того вам, что в книжке написано; рассуждать же отнюдь не годится, неблагонравно-то как! — И, вздыхая, сморкается в большой красный платок и уходит на переменку в учительскую.

— Вачьянц, komm her,[1] — говорит, едва владея собой, Цвибель, — ты неприличная, du bist unanständig gewesen,[2] смотри мне, не гнешься, я умею один раз и ломать. Начальнице расскажу...

— Фрейлейн Цвибель, фрейлейн Цвибель, — запыхавшись, прерывают две старшие, выбегая из коридора, — к вам сейчас будет maman и барон, почетный опекун.

Цвибель меняет раздраженное лицо на озабоченное, вытягивает ушедшие в рукав манжеты, поправляет свой кренделек на макушке и, как командир перед парадом, напрягая во всю силу голос, кричит:

— Реверанс, все зараз, liebenswürdig, anständig.[3]

И, подойдя близко к Вачьянц:

— Смотри ты, по-своему не выдумай, будь приличной, будь anständig, будь как все...

Двери распахиваются, выплывает maman в синем шелковом платье с кружевным хохолком на осанистой голове. За ней, как автомат, передвигает свои ноги в белых камергерских панталонах барон, почетный

---

[1] Иди сюда *(нем.)*.
[2] Ты вела себя неприлично *(нем.)*.
[3] Любезно, прилично *(нем.)*.

опекун; нажмет у себя будто где-то пружинку — одна нога отделится, нажмет другую — другая.

Барон такой дряхлый, что природа его держится только при помощи искусства. И говорить ему трудно, да и не говорит он вовсе, только мычит с французским прононсом. Из года в год барон задает одни и те же вопросы, а ответы на них преемственно передаются.

В младших классах барон произносил: «Хорошо ли вас, дети, кормят?» — не предполагая по невинности возраста иных интересов. В классах постарше он считал приличными уже чувства патриотические и, останавливаясь много раз, чтобы набрать воздуха, кое-как выговаривал: «Какое историческое событие волнует наиболее ваши юные сердца?»

На выбор имелось: Полтавская битва и Двенадцатый год.

Дойдя вслед за начальницей до средины класса, барон обвел девочек тусклым взором: «Eh bien, хорошо ли вас... мм... м... мм...»

— Nous vous remercions, monsieur le baron, très bien,[1] — догадываясь, что это о пище, прокричал класс хором.

Барон как-то разом опустился на стул, словно сложился пополам, и задумался. Губа у него отвисла, и, уставившись на золотое шитье своего рукава, он, казалось, забыл, где находится.

— Дети, кто желает сказать барону стихи, un morceau de poésie, — проворковала начальница.

Встали две девочки, будто невзначай, на самом же деле именно им было назначено уже добрый месяц

[1] Благодарим вас, господин барон, очень хорошо *(франц.)*.

тому назад встать и сказать с рыданием в голосе, одной за Пушкина, другой за Филарета: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» — и дальше в ответ: «Не напрасно, не случайно...»

— Сколь трогателен, — вздыхает maman, — cet обмен мыслей entre le владыка пера et le владыка духа.

— A-dmi-rable![1] — одобряет барон и, нажав свою пружину, выпрямляется, шаркает камергерскими ногами, благодарит от лица Петербурга за ее материнскую заботу облагородить души сирот.

— Est-ce qu'on danse?[2] — неожиданно внятно спрашивает он у класса.

— Oui, monsieur le baron, les grandes,[3] — говорит дежурная. Барон заметно оживляется и быстрее несет свои ноги к выходу. У двери он вспоминает, что это не самые маленькие, и говорит: — Русская история... юные сердца...

— Изгнание французов, Полтавская битва, — гремят хором.

Уже раскрасневшаяся дородная maman с успокоенной душой, что все обошлось хорошо, выплывает из двери, уже лицо барона принимает выражение человека, который выполнил все, что мог, уже Цвибель, идя бочком за maman, подобострастно изгибаясь, благодарит за приглашение на чашку чая, как вдруг чей-то отчетливый дерзкий голос выкрикнул:

— А мне больше всего нравится французская революция.

---

[1] Восхитительно! *(франц.)*
[2] А что, танцуют? *(франц.)*
[3] Да, господин барон, старшие *(франц.)*.

— Как, comment, кто бунтует? — повернулся барон на каблуках.

Словно коршун цыпленка, Цвибель выхватила Вачьянц из пары и подвела к барону:

— Это ужасная, испорченная ученица, и я буду просить наказать ее в пример всему институту.

Барон посмотрел на освирепевшую классную даму, на маленькую взъерошенную девочку, на maman, которая напрасно старалась удержать материнское выражение на покрасневшем лице, и вдруг захохотал на весь класс неожиданным густым смехом:

— Ха... ха... бунтуют.

— О, она большая шалунья, — немедленно улыбнулась maman и, подойдя к Цвибель, одним недобрым острым взглядом поясняя значение своих слов, сказала: — Вечером приведите ее ко мне.

Когда после обеда все пошли в класс учить уроки, Цвибель, как труба Страшного суда, прогремела:

— Вачьянц, следуй за мной к начальнице.

Квартира начальницы была в нижнем этаже; чтобы до нее добраться, много надо было пройти длинных коридоров, выложенных чугунными плитами с выпуклым орнаментом. Рисунок был знаком Вачьянц до мельчайших подробностей, и она все свое внимание устремила на то, чтобы попадать ногой в те же самые завитки: ей было страшно.

Цвибель с плотно сжатыми губами шла впереди, и каждый шаг ее твердо ступающей ноги, гулко отдаваясь по бесконечным плитам, казалось, говорил: вот тебе, вот тебе...

В большие окна мелькнуло золото куполов, пронеслась мутная река, уже снявшая зимний свой лед, скорой весной зачернели бульвары...

Вачьянц подумала, что вот там, на свободе, такие же подростки, как она, веселой гурьбой играют в мяч, бьют калошами пузыри по канавам, заходят в кондитерскую за пирожным, и еще внимательнее стала целить глазом средину орнамента, чтобы попасть сразу в звезду.

Цвибель позвонила у двери maman. Дверь беззвучно открылась, и классная дама, оставляя девочку у дверей, прошла к дивану, где, при свете нарядной лампы, крупная фигура начальницы сливалась с обивкою мебели и давала на стене тень бегемота.

В уютной, давно не виданной домашней обстановке Вачьянц стало так приятно, что она забыла, где и зачем находится, и двинулась было к стене рассмотреть, какое лицо у Авраама, когда он выгоняет в пустыню Агарь с Измаилом, но из тени бегемота раздалось:

— Пойди-ка поближе.

Вачьянц вздрогнула и привычным движением положила правую руку на левую, потому что в классе знали наверно, что правая сторона от ангела-хранителя, а левая чертова, и если правая рука на левой — ангелу легче прийти на помощь.

— Прежде всего, — начала речь maman своим барским говором, растягивая слова, — как осмелилась ты ответить барону «французскую революцию»? Молодые души должны гореть одним тихим пламенем послушания, и если la grande révolution[1] нельзя, к сожалению,

[1] Великую революцию *(франц.)*.

выкинуть из программы, то восхищаться тебе, воспитаннице сиротского института, решительно нечем...

— Я слышала, что там люди боролись за свободу, и мне это понравилось...

— Люди боролись за свободу, — презрительно протянула maman, — но какие люди? Des sans-culottes,[1] которым и терять было нечего. Не повторяй больше этого вздора: свободы ищут самые последние, потерянные люди. Les personnes comme il faut[2] любят границы...

— А ее вопросы батюшке, — напомнила Цвибель.

— Да, да, et quelles questions![3] — Начальница откинулась в ужасе на вышитые подушки. — Ce prophète... он святой, кажется, про него напечатано в божественной книге, как же ты смеешь о нем рассуждать. По слову его сам господь послал des animaux féroces,[4] а у тебя мысли.

— Я не верю, что Елисей праведник... — прерываясь от волнения, сказала Вачьянц. — Вот я про Сократа читала, так он святой, он ради одного добра выпил чашу яда и никого не проклинал.

— Hein, — дернулась с подушки maman, — Сократ язычник, un païen! И это в вашем примерном классе, Гортензия Карловна, — maman слегка всплеснула белыми кистями рук.

Цвибель протащила Вачьянц в дальний угол и стала говорить что-то шепотом по-немецки, пригнувшись к уху начальницы.

---

[1] Санкюлоты *(франц.)*.
[2] Порядочные люди *(франц.)*.
[3] И какие вопросы! *(франц.)*
[4] Диких зверей *(франц.)*.

— Не принято... Что скажут в Петербурге, — как сквозь сон, слышит Вачьянц неуверенные возражения maman. Но ей неинтересно, что там о ней решают. Она полна гордостью первой борьбы, ей уже чудится, что она не ученица пятого класса, которую не берут домой на лето, а сама Жанна д'Арк или кто-нибудь в таком роде, кого еще не было.

Большая начальница со своей тенью бегемота и крикливая Цвибель — они где-то там, далеко, а сейчас здесь старинная площадь, средние века, духовенство в облачении, посредине костер, у палача в руке факел. Надо отречься от того, во что веруешь, а не то сожгут.

— Вот что, моя милая, — раздается из толпы голос, странно похожий на голос maman, — если ты сейчас не раскаешься и не поверишь в господа бога с обещанием не задавать больше вопросов, то тебя высекут.

— Высекут, и немедленно, — поддакивает Цвибель, — только девушек позвать с розгами. И хоть этого ни с кем не случалось, с тобой, da du ganz und gar verdorben bist[1] и имеешь одно злое сердце, с тобой сделают.

— Прекрасно, Гортензия Карловна, я так в Петербург сообщу: une exception,[2] в виду крайней испорченности.

Перед Вачьянц все завертелось. Из-под ног ушла площадь с костром, опять на стене Агарь и Измаил, опять maman с кружевным хохолком и бегемотовой

---

[1] Так как ты насквозь испорчена *(нем.)*.
[2] Как исключение *(франц.)*.

тенью. Maman глядит в упор недобрыми круглыми глазами, и от глаз этих стынет душа.

«Высекут... Это не то, что сгореть при всех на костре... Это розгами, по стыдному месту. Девочки, наверно, узнают и уж никогда не забудут. Будет елка, будет на масленой фокусник, поступят новенькие, и каждой прошепчут: это та, которую...»

— Что ты стоишь как чурбан? — говорит строго Цвибель. — Не раскаешься — высекут.

«Если высекут... — опять перебирает в мыслях Вачьянц, — надо будет повеситься на печной трубе, язык вывалится, лицо черное, а в гробу черви...»

— Видно, она закоренелая, — говорит maman, — можно и девушек позвонить.

У maman глаза теперь совсем злые и круглые, как у совы, а от породистого двойного подбородка до белого ряда гладких волос пошли красные пятна.

— Eh bien,[1] я звоню! — И она подвигает к кнопке маленькую усыпанную кольцами руку. — Eh bien, веришь ли ты au bon Dieu[2] так, как надо?

Вачьянц уже видит, как горничные позорно поднимают ей юбки, и забывает про мучениц, про Жанну д'Арк, про все на свете.

— Maman! Простите меня, не секите, я уже верую, я так, как надо.

. . . .

— Кто не гнется, того один раз надо ломать, — говорит с убеждением Цвибель и почти ласково подпихивает Вачьянц к руке начальницы.

---

[1] Ну что ж *(франц.)*.
[2] В бога *(франц.)*.

Вачьянц нагибается и видит прекрасные ногти и кольца с зелеными, красными, синими камнями, слышит запах духов и вдруг чувствует, что если поцелует, то тут же и куснет изо всех сил эту мягкую холеную руку.

Но maman, которой давно хочется ужинать, неожиданно легким движением сама проводит рукой по губам Вачьянц и так же, как и Цвибель, говорит успокоенным, доброжелательным тоном:

— Eh bien, mon enfant,[1] я надеюсь, раскаянье твое прочное; советую тебе, молись le bon Dieu утром и вечером, чтобы он смягчил твое строптивое сердце, а не то помни...

Лицо у maman уже не страшное, голос добрый, она грозит на прощанье Вачьянц пальчиком и, довольная, что неприятное дело уладилось, уходит в столовую ужинать.

Вачьянц отправляется в дортуар по одному коридору, по другому, по третьему. Ей не страшно сейчас, что они черные, что под ногами чугунные, будто могильные, плиты, что на потолке дрожит черный круг от висячей мигающей лампы, что на лестнице выпрыгнет привидение, которого все боятся, — теперь ничего не страшно...

Где-то было весело, где-то сама плясала лезгинку, где-то читала про Жанну д'Арк, про философа с чашей яда. Они оба умерли, не отреклись... И она умерла, только перед этим просила прощенья, целовала руку.

В дортуаре уже все в постелях, все спят. Одна только старушка, «ночная дама», дежурная за поряд-

---

[1] Ну что ж, дитя мое *(франц.)*.

ком, в мягких туфлях подходит к постелям и лепечет:

— Девицы, на правый бочок. Девицы, пожалуйста, не на спинке.

Прошло два года. Вачьянц была теперь совершенно как все: и приседала, и улыбалась, и вопросов никому никаких. Даже когда интересный учитель истории спросит: «Какое ваше мнение о крестовых походах?» — Вачьянц пожеманится и скажет только то, что написано в Иловайском.

А Цвибель радуется, то и дело говорит с своей немецкой улыбкой:

— Вот видишь, я права была, тебя один раз надо было ломать.

Все свободное время на танцах и на гимнастике у Вачьянц идут теперь романы с Онегиным, с маркизом Позой или еще с кем-нибудь. Приключения берет из «Трех мушкетеров», а конец уже свой, все больше смерть и разлука. Конец всегда грустный, для того, чтобы перед сном поплакать в постели; неизвестно почему, очень хочется плакать.

К тому же, если день обходится без романа, то, проходя мимо окошек, за которыми видна речка, и город, и лиловый лес, нужно собрать все силы, чтобы не съездить кулаками по стеклам, не съехать верхом по водосточной трубе вниз на землю и не бежать без оглядки куда глаза глядят: хоть помереть, а увидеть бы горы.

И вот то и дело в музыкальной селлюльке Вачьянц становится на колени и, путая русскую речь с немецкой, пишет ревниво Позе про Карлоса:

«Sein Herz ist gar nicht so feurig, wie seine Seele,[1] но есть душа, способная глубже вас оценить...»

— Кому амуры, — шепчет, подкравшись, Маша-коровка, — он студент или юнкер?

— Маркиз Поза, Шиллера, уходи...

— Но ты, Вачьянц, сумасшедшая, — говорит Маша-коровка, — ведь его ж совсем нет, он в книжке. А книжку написал Шиллер, а Шиллера съели черви...

— Врешь ты, Поза живой! — кричит Вачьянц. — И Шиллер тоже живой, а ты иди к черту.

Но все-таки у Вачьянц с Машей-коровкой не то чтобы дружба, а так себе — разговоры. Коровкой Машу прозвали за то, что она рыжая, толстая, с голубыми глазками, затерянными в больших нежно-розовых щеках. Ей легко прожить с утра и до вечера каждый день, и все ей равно: идет ли дождь без просыпу или солнце на небе. Где сидит, там ей и нравится. Веселая она и домой ездит. Берут ее все какие-то очень богатые господа, у которых единственная родня Маши, тетя Изабелла, была долгое время гувернанткой.

Вачьянц нравится, как Маша рассказывает день за днем, не забывая ни одного пустяка, и про брюнетку, которая ездит на бал почти голая, и про юбку цвета mauve с кружевами, и про штатского Жоржа, совершенного «демона».

Перешли в старший класс. Многие девочки уехали на лето домой с красными обезьяньими руками, а вернулись в корсетах, с душистым мылом и пудрой.

[1] Его сердце совсем не так пламенно, как его душа *(нем.)*.

Шептались о чем-то попарно в углах, напевали, писали в альбомах:

Давно готова лодка,
Давно я жду тебя,
Приди, моя красотка,
И обойми любя.

Маша-коровка сейчас же, едва поздоровалась, объявила Вачьянц, что она влюблена и что в нее тоже влюблен Жорж, тот штатский, похожий на «демона».

— Как скосили сено, мы с ним зарывались в копну и там целовались...

— Целовались? — удивилась Вачьянц. — Что же, он пишет стихи?

— Вот еще, — засмеялась Маша, — он говорит: стихи глупости, просто целуется.

Вачьянц целовалась с Онегиным и Позой только в самом конце, перед взаимною гибелью, и то, что Маша, без всяких подвигов и злоключений, на самом деле проделала это со своим штатским, было ей и немного завидно и вместе с тем так не понравилось, что она перестала с ней разговаривать...

Как-то вечером, после рождества, Маша подошла к Вачьянц и сказала:

— Разве это хорошо: за то, что я с тобой была откровенна, ты меня презираешь.

— Я к тебе по-прежнему... — смутилась Вачьянц, увидя заплаканные глаза.

— А если по-прежнему, — Маша сложила совсем по-детски небольшие пухлые ручки, — если по-прежнему, то будем сегодня ночью разговаривать: мне надо сказать тебе страшно важное.

Ночью, в дортуаре, сделав на кровати чучела из белья, чтобы ночная дама их не хватилась, девочки надели одни розовые блузы и убежали тихонько в самый дальний «au coin».

Там уселись они на широкий подоконник вплотную к окну.

— Ну? — спросила Вачьянц.

Маша, красная до слез, молча крутила пальцем вокруг своей рыжей косы; чтобы дать ей оправиться, Вачьянц стала смотреть то вверх, на небо, то вниз, в глубокий четырехугольный двор.

Там, стриженная бобриком, шла такой плотной стеной аллея акаций, что, казалось, по верхушке ее можно бежать, как по твердой дорожке; на самой середине двора, защищенный от северных ветров пятиэтажной постройкой, вырос пирамидальный тополь, ровный и пышный, каким мог он вырасти только на юге. И, глядя на тополь, Вачьянц почудилось, что он тот самый, родной, что стоял на лужайке за домом дяди Давыда. С этого тополя прыгали через забор к генералу фон Зуппе за сливами; с собой ее брали мальчики, женой атамана-разбойника...

Грузно шлепаются о землю толстые сливы, душа мерзнет от страха, а сквозь листья звезды мигают — ведь так низко чудятся звезды, когда сидишь на дереве.

Вачьянц дернула головой, не хотела больше смотреть, со злостью крикнула Маше:

— Если есть что сказать, говори, а то спать пойду.

Маша всхлипнула, колыхнулась и, подняв свое запухшее лицо, все в размазанных слезах, сказала:

— Еще в начале лета, когда я с Жоржем, тем штатским, зарывалась в копне, он со мной сделал такое, что у меня теперь будет ребеночек.

Вачьянц дернулась что-то сказать, но Маша не дала. Тем самым своим обыкновенным голосом, каким говорила всегда про блондинок с брюнетками и юбку цвета mauve, только захлебываясь иногда от плача, она рассказала:

— Тетя Изабелла вчера была на приеме, я ей будто бы из романа про себя всю правду... И что, спрашиваю, после этого такой несчастной девочке делать? А тетя как рассердится: «В воду, говорит, мало броситься! Порядочные родные, говорит, такую-то со двора... проклянут. И ты помни, говорит, смерть куда лучше такого позора». Это ведь зовется позор... позор, — протянула с ужасом Маша и опять открыла рот говорить.

— Молчи ты, молчи! — закричала в отчаянье Вачьянц. — Какое мне до тебя дело, ну зачем именно мне ты сказала?

— А кому же мне сказать? — отозвалась тупо Маша.

Вачьянц заметалась по комнате из угла в угол, откручивая длинными пальцами одну пуговицу за другой с своей розовой блузы.

Маша подобрала пуговицы и положила их в свой карман:

— Я тебе завтра пришью.

— Ему, штатскому, ты написала об этом? — спросила, словно пролаяла, Вачьянц.

— Написала.

— Ответил?

Маша вдруг расстегнулась, обнажила свои круглые плечи здорового, рано развитого подростка и стала тормошиться в бесчисленных ладанках и образках, висевших на тонкой цепочке на шее. Тут был и Пантелеймон-целитель, и святой Сергий, помогавший по арифметике, и подушечки-ладанки с ваткой от Иверской.

Маша путалась за пазухой, доставая конверт, а Вачьянц, будто в первый раз ее увидала, смотрела на плечи ее, такие же бело-розовые, как и щеки, на шею ее с перехватами, как у маленьких толстых детей, смотрела на синие глазки в заплаканных веках и думала: «Ну, как это ей умереть, Маше-коровке».

В том же, что Маша должна умереть, Вачьянц не сомневалась ни минуты, так как во французском романе, очень всеми любимом, героиня, четырнадцатилетняя Сидони, умерла от родов, а знаменитый доктор, приехавший слишком поздно, говорил над трупом в последней главе: «On en meurt a quatorze, on en meurt!» [1]

А Маше, как и Сидони, было недавно четырнадцать.

— Вот письмо, — подала Маша бумажку, а сама, вынув из блузы большой казенный платок, прозванный за черное клеймо «каторжник», долго и громко в него сморкалась.

«Читать плохие романы вредно, упражняйтесь лучше в науках, а я уезжаю за границу и на переписку с институтками времени не имею».

---

[1] От этого в четырнадцать лет умирают, да, умирают! *(франц.)*

Письмо было написано на машинке ровными лиловыми буквами, без обращения и без подписи.

Пока Вачьянц читала, Маша ловила на стекле муху и, когда поймала ее, стала зевать. Вачьянц все еще стояла неподвижно, с письмом в руке. Маша дернула ее за рукав:

— Что ты стоишь как чурбан, пойдем спать.

— Быть может, тебе все почудилось, — с неожиданной надеждой сказала Вачьянц, — или ты нарочно.

Вместо ответа Маша-коровка положила руку Вачьянц на свой слегка выпирающий живот и не то всхлипнула, не то хихикнула:

— Он уж прыгает.

Вачьянц захотелось оттолкнуть от себя Машу и кричать во весь голос, кричать долго, не давая времени ни одной мысли обозначиться в голове, но вместо этого она изо всех сил обняла Машу, а та прижалась к ней всем своим толстым телом.

Проносились по небу, то открывая, то закрывая луну, облака, верхушку пирамидального тополя шевелил утренний ветер, на темном еще небе прорезалась оранжевая полоска, и высокие трубы на крыше позолотили свой край. В противоположном окне погас огонь; это в свой последний обход, под утро, дежурная ночная дама прикрутила лампы у старших.

— До чего есть мне все хочется, — сказала Маша, — и то кислого, то соленого.

Вачьянц перестала совершенно читать; она боялась забыться хоть на минуту и не думать о Маше, тем более что та после первого ужаса вдруг освоилась со

своим положением, как-то отяжелела и, не собираясь бороться, только и делала, что просила поесть.

Уроки шли за уроками, все будто одинаковые, все будто серые крестики по лиловой канве. У Вачьянц одна мысль гвоздит, буравит душу: спасти надо Машу, надо придумать...

Конечно, лучше всего, если бы кто-нибудь из учителей в нее влюбился, как у Гаршина умный человек в Надежду Николаевну, и увез бы ее из института. Ведь Маша теперь почти как падшая женщина, и умному человеку можно бы ее полюбить. Но учителя все женатые, да и на четвертый класс глядят как на маленьких.

Классной даме сказать. Французская очень добрая, не то что Цвибель, только чем она сможет помочь! К себе в комнату Машу не спрячет, а если начальнице не донесет, ее же и выгонят, когда все откроется.

Одна надежда — спросить совета у Ксенечки Марковой, пепиньерки. Эта Ксенечка самая умная в институте, зовут ее «звездой института», и курс словесности та знает не только по учебнику, а по разным «источникам».

Встречая постоянно Вачьянц в коридоре уткнувшей нос в книгу, Ксенечка как-то подняла свои узкие брови и спросила:

— Вы отдаете себе отчет в том, что такое романтизм? — И стала излагать гораздо подробнее учителя, а прощаясь, сказала: — Напишите мне это своими словами, мне надо знать, понятно ли я объясняю.

Из-за Машиного дела Вачьянц забыла о романтизме, но о самой Ксенечке думала очень много и наконец решилась с ней говорить.

— Натрись подвязкой, Вачьянц, — сказала в этот день Маша, — ты стала такая зеленая, вот-вот сведут тебя в лазарет, что ж я тогда буду делать.

В институте была мода носить красные подвязки, которые, если их послюнить, отлично румянили щеки. Это делалось, когда хотели стать покрасивее или подделать жар, чтобы сбежать от урока.

Вачьянц натерлась перед зеркалом так, чтобы везде было ровно, и в большую перемену побежала к старшим.

Она так часто мысленно говорила с Ксенечкой, что сейчас, когда столкнулась с ней в коридоре и Ксенечка, подняв по привычке брови над умными серыми глазами, спросила:

— Ну, как романтизм?

Вачьянц схватила ее крепко за руку:

— Поговорите со мной...

— К чему же фамильярность, — сказала с сдержанной улыбкой Ксенечка, «звезда института», привыкшая к обожанию, и вынула из-за пояса золотые часики. — У меня для вас ровно десять минут. Ну, о чем же сегодня, поэзия или проза?

Вачьянц стояла багровая от растирания подвязкой и от слез в горле:

— Ах, если бы вы знали. Мне надо так, чтобы никто нас не слышал...

— Какие у меня могут быть с вами секреты, — пожала плечами Ксенечка и, пристально взглянув на Вачьянц, вдруг сморщила губы в презрительном гневе: — Какая гадость, у вас накрашены щеки, это делают только ничтожества, и я жалею, что потратила на вас свое время.

Круто повернувшись, Ксенечка пошла в свой класс, Вачьянц захохотала, высунула ей вдогонку язык и закричала изо всей силы:

— Мне наплевать на ваш романтизм, на-пле-вать.

— Qu'est ce que cela veut dire, — ces manières? Et encore en russe, le joli[1] «наплевать», — остановила строго чужая классная дама. — Ступайте в свой класс.

В классе Вачьянц села смирно на место и уставилась в огромные окна. Сосчитала все стекла, за стеклами воробьев, за воробьями золотые макушки церквей. Уроков не учила, а нарочно, как самые глупые девочки, играла сама с собой в крестики-нолики и колечки. Так хотелось забыться, опять сделаться маленькой. Разноцветные бисерные кольца надевала на пальцы и сбрасывала поочередно на черный покатый стол: ляг собачкой, ляг змеей, ляг лягушкой, ляг свиньей.

Пусто в голове, а в душе один гвоздь: надо спасти Машу, надо выдумать что-нибудь.

Дни не были длинные, как в то время, когда Вачьянц и утро и вечер видела перед собой горы; теперь дни в один миг проглатывал чей-то черный рот так скоро, как в любимой игрушке «повар-обжора» глотал пирожные.

— Вачьянц, я толстею, — говорит Маша. — Вачьянц, что же это будет-то?

В субботу, перед всенощной, Вачьянц проскользнула в галерею, которая вела к церкви, и забилась в

[1] Что это значит — подобные манеры? И это прелестное русское... *(франц.)*

угол, против портрета графа, давнего благодетеля института.

Она поджидала батюшку — не того, с которым вышла у нее история в маленьком классе, а другого — академика, с умным шишковатым лбом и больными глазами. Ему не стыдно сказать, он очень умный, все говорят... Он священник, он поможет. Ведь должен помочь кто-нибудь.

Как и что сказать батюшке, Вачьянц думает и не может придумать. Давно она недоедает, половину порции дает Маше, и почти всегда теперь голова кружится, а какая слабость... уснуть бы. Она таращит глаза на портрет. Граф в рыжем шлафроке с лейкой в руке собирается поливать бурые георгины, которые художник насадил ему за окном. Дрожит в глазах картина, вся в черных точках, будто в летний вечер, когда мошки «ткут мак», так и мелькает... И вдруг нет уж ни мошек, ни графа, только зеленая лужайка, та, что вблизи дома дяди Давыда, и не георгины на ней, а тюльпаны желтые, и опять мальчики с черных дворов и уселись в круг, играют; намнут в пальцах листик тюльпана, надуют его пузырем и хлоп по лбу, кто громче.

Вдруг шаги... Кто-то идет в галерею. Вачьянц очнулась, смигнула веками сон, перекрестилась несколько раз, не доводя руку до лба, на одной только подложечке, выскочила из своей засады, благословилась у батюшки и выговорила одним духом, будто прыгнула в прорубь:

— Батюшка, если человек скажет вам, что в отчаянии, что он убьет себя, если вы не дадите ему сто рублей, если вы не возьмете его в свой дом, вы не откажете, батюшка? Не откажете?

То, что Вачьянц так близко видела умное лицо батюшки, его отеческие благословляющие руки, темную рясу, сразу умилило ее и наполнило доверием.

— Ведь не надолго, батюшка, а потом вы дадите ей сто рублей, чтобы она могла стать хоть портнихой.

— Но что с вами, дитя мое, про кого вы? — с изумлением произнес батюшка и отступил, поправляя очки.

Как только Вачьянц услышала звук его голоса, она поняла, что батюшка совсем посторонний, незнакомый человек, ей стало страшно до холода, и, не найдя больше слов, она стояла бледная и шевелила губами.

— О чем вы просите, дитя мое? — еще раз повторил батюшка, внимательно щуря больные глаза.

Вачьянц вдруг показалось, что она уже выдала все про Машу, назвала ее, а батюшка сейчас пойдет к начальнице и расскажет. Сердце закололо в бок острым гвоздем, а рот, безобразно кривясь, наконец выкрикнул:

— Ах, не надо, не надо...

Священник налил воду из стоявшего на окошке графина, припасенного для слабых, выходящих из церкви, и сказал:

— Все, что волнует вашу юную душу, вы должны первым долгом поведать одной из ваших воспитательниц: они, естественно, стоят к вам ближе, заменяя мать сиротам.

Батюшка говорил ласково, отстраняющим назидательным голосом, то и дело поправляя золотые очки.

— Надо сдерживать себя, дитя мое, преувеличивать чувства очень вредно и лживо, а ложь, как вы сами

знаете, грех против бога, осквернение своей души; а эта последняя, как сказано у апостола, есть не что иное, как храм божий.

Пока батюшка говорил, Вачьянц справилась с собой, сделала почтительное казенное лицо, нагнула голову и сказала:

— Простите, батюшка, я все это нарочно придумала.

Батюшка повторил еще о грехе лживости, сделал обычное благословляющее движение рукой и, шурша шелком рясы, прошел к себе в церковь.

•

Ночью у Вачьянц с Машей было опять длинное свидание в «au coin», у окна.

— На, съешь, — сказала Вачьянц, доставая из кармана котлету. Но Маша не обрадовалась, как всегда сжевала молча и, вытираясь платком, сказала:

— Что ни съешь, все равно один конец. В субботу баня, и теперь все заметят. Прошлый раз банщицы приставали: «Что у вас, барышня, в животе, черный хлеб, что ли, стал комом?» А теперь не отвертишься, сведут в лазарет. Завтра пятница, послезавтра суббота — боже мой, боже мой.

— А я, что я могу? — в отчаянье сказала Вачьянц. — Ничего мне не удалось: Ксенечка обругала, батюшке дела нет, к кому сунуться, разве знаю я. Никто ко мне не приходит, сижу тут как в тюрьме, а ты сон мой украла, ты кровь мою пьешь, ненавижу тебя, слышишь ты! — крикнула она в гневе, в горечи, в бессилье ребенка, на плечи которого взвалили непосильную тяжесть и злой плетью стегают — иди.

Маша с перекошенным от страха лицом, таким белым, что похоже оно стало на большой серый мячик, обеими руками ухватилась за плечи Вачьянц и зашептала ей в ухо так часто, что слышен был один свист:

— Не оставь, не оставь...

И так же шепотом, так же бессмысленно долго, как дятел долбит кору дерева, зашептала в ответ ей Вачьянц:

— Нет, нет, не оставлю.

Так, тесно обнявшись, пришли девочки в дортуар. Там Маша вынула из ночного столика белый лоскут и стала прилежно ковырять иголкой.

— Что, Маша, шьешь? — окликнула Вачьянц, лежавшая рядом, и сейчас же догадалась по выкройке, что это детский чепчик.

— Мне так захотелось, Вачьянц, мне так захотелось сшить своей девочке чепчик. Я сделаю с розовой лентой — ведь, наверно, это девочка. Так всегда бывает, я слышала, когда мать любит больше, чем отец: а Жорж ведь меня ни чуточку не любил. Ведь он знал, что в четырнадцать лет умирают...

— Сидони умерла, а ты будешь жить, — сказала в утешенье Вачьянц.

— Ах, нет, ты помнишь, знаменитый хирург говорит: «On en meurt à quatorze, on en meurt», да и что мне за жизнь! Тетя выгонит, здесь скандал, куда деться из четвертого класса, разве в горничные...

— Сделайся, Маша, падшей женщиной, — сказала вдруг Вачьянц, — тебе легко теперь это сделать, и когда ты встретишь такого, как Гаршин, выходи замуж. Ведь ты читала «Надежду Николаевну».

— Ты с ума сходишь, Вачьянц, — зашептала Маша в испуге, — ведь падшие самые позорные и умирают на улице, я слыхала... И не надо говорить, ничего не надо. Вот если бы умереть до скандала и так, чтобы не больно. Я уж окошко наметила, только боюсь выпрыгнуть, а большущее, кабан в форточку влезет.

Маша представила себе, как лезет кабан, засмеялась. «Она так и в гробу вспомнит смешное и засмеется», — мелькнуло у Вачьянц, и, не желая думать о Машиной смерти, чтобы сказать что-нибудь, она сказала:

— А вот у девушки Тани недавно подруга одна на жениха рассердилась, взяла иголки номер двенадцать, знаешь, те, что мы бисер нижем, их залепила в мякиш да проглотила, сказала только: «ах», и — конец, ничего не страдала, и такая осталась красивая...

— Только: ах, и — конец, — повторила Маша и, подумав, прибавила: — В черный мякиш залеплять надо, он лучше держит; у тебя иголки-то есть?

— В кармане, — сказала Вачьянц и показала темную пачку коротких, тонких, как волоски, иголок.

Маша, оттопырив губы, пришила к чепчику розовый бант, насадила его на кулак и, причмокивая языком, по-институтски разбивая слова на слоги, стала припевать:

— Ну чеп, ну и чик.

Потом пересела на кровать Вачьянц, сняла с шеи свою цепочку с образками и ладанками и, по своей привычке сложив пухлые руки, попросила:

— Разыщи когда-нибудь Жоржа, отца моей девочки, передай ему чепчик и образки.

— Я убью его...

— Ах, зачем же? Ты только скажи ему так обо мне, чтобы ему меня стало жалко.

— Я сама скоро умру, — сказала Вачьянц, — у меня будто жар, и в голове все звенит...

— Вот хорошо, будем вместе в лазарете, — обрадовалась Маша и, уже больше не разговаривая, заснула.

В субботу утром девочки еле добудились Вачьянц, и так как она ни за что не хотела попасть в лазарет, чтобы жар не был виден, напудрили ее зубным порошком.

Когда шли в столовую, Маша шепнула ей:

— Сделай шарик.

Лицо Маши было внимательно, озабоченно, но, как всегда после сна, розовое, с блестящей кожей, покрытой пушком.

— Смотри, не белый, черный мякиш бери...

По дороге из столовой в классы Вачьянц, воспользовавшись тем, что французская дама заговорилась с другой, вышла из пары и пошла с Машей рядом.

— Я ведь только на всякий случай, — сказала Маша и протянула руку, — только не заболей раньше меня, одной так страшно.

Вачьянц на минуту замешкалась в длинном казенном кармане, среди перьев, кусков сахара и веревочек нащупала два ровных, только что зализанных шарика и опустила их в протянутую руку.

— Все в один не вошли, — объяснила она, вернулась на свое место в первую пару и стала подниматься по лестнице в класс.

Перед самым порогом Вачьянц вдруг поняла, что если Маша проглотит шарик, то ведь она умрет, и что это в самом деле, что возврата нет...

Вачьянц опять вышла из пары, хотела бежать к Маше, хотела из рук ее вырвать шарик, хотела крикнуть всем громко, чтоб удержали ее, чтобы спасли, но вместо всего этого она только взмахнула руками, как на гимнастике, снизу вверх и больше не помнила, что случилось. Ничего не помнила...

. . . .

Когда наконец в лазарете Вачьянц пришла в себя и, бритая, в шерстяном черном чепчике, от слабости еще держась руками за стенку, пошла бродить по палатам, она узнала, что Маша давно умерла.

— Кто был, когда хоронили?

— Ни тетки, никого не было, — ответили девочки, — даже денег с нас на цветы не собирали, какая-то смерть у нее была не как следует, а наверно узнать ничего невозможно.

Вачьянц больше не расспрашивала: кончено с Машей, и все тут.

После болезни она совсем отупела; в своем черном чепчике и теплой пелерине пуганой птицей сидела в углах. Учиться стало трудно, читать не хотелось, приятней всего играть, как играли глупые девочки, в крестики-нолики да в колечки: ляг восьмеркой, ляг змеей, ляг собачкой, ляг свиньей.

— На второй год останешься, — язвит Цвибель, — Gott sei Dank,[1] с моих рук долой! То шла из первых —

---

[1] Слава богу *(нем.)*.

поведением неприлична, endlich anständiges Mädchen,[1] и оказалось, du bist ein Dummkopf.[2]

А Вачьянц до смерти хочется одного: взяли бы домой на лето хоть на этот единственный раз. И не для того, чтобы горы увидеть; теперь уже все равно, пусть стоят, где стояли... Теперь только наесться бы очень много за обедом, досыта, до отвала, как здесь никогда не приходится, да взять бы с собой толстого щенка и зарыться бы в высокой траве на лужайке недалеко от тюльпанов, и все спать бы и спать, не видеть ни дня и ни ночи.

О том, что она помогла Маше убить себя и что это был грех, Вачьянц не думала вовсе. Все равно ведь Маша должна была умереть. Теперь же она поспела сказать только «ах», и — готово.

А греха не было никакого; грех — это когда хочешь сделать кому-нибудь злое, а разве она хотела? Сколько мучилась из-за Маши, не спала и не ела...

Был пост, когда Вачьянц вышла из лазарета. Класс Вачьянц исповедовался на четвертой неделе, самой любимой из всех. Стоянье не бесконечное, как на первой и седьмой, да и в церкви не мрачно: посреди аналой, весь в фиалках и ландышах, а в цветах серебряный крест; как приложишься — холодок на губах, будто выпьешь студеную воду в горном ручье.

Перед тем как идти в церковь, строятся в зале рядами просить прощенья у начальницы.

Красивая, пожилая, с белым платочком в одной

---

[1] Наконец стала приличной девочкой *(нем.)*.
[2] Ты дурочка *(нем.)*.

руке, с флаконом английской соли в другой, она говорит по-русски, растягивая слова:

— Милые дети, хорошо ль вы подумали о грехах?

— Мы постарались подумать, maman...

— Может быть, у кого-нибудь есть особенный тайный грех, — maman медленно нюхает соль. — Может быть, mes enfants, кто-нибудь солгал или скушал чужое. Скажите мне, как своей матери...

Maman минуту держит девочек под подозрительным острым взглядом, но у всех лицо как одно, ноги в первой позиции; maman слегка простирает полные руки, одну с английской солью, другую с флаконом, и как-то изнутри растроганным голосом дает отпускную.

— Que Dieu vous pardonne, mes enfants.[1]

— Nous vous remercions, chère maman,[2] — приседают девочки, идут в церковь.

В церкви страшно сегодня, там смеяться перестают. В глубоких нишах каменного свода стоят зеленые ширмы, а за ширмой по батюшке, исповедуют.

Входят девочки по одной, остаются минутку, на аналой кладут свечку, выходят. Грехи у многих записаны на бумажку и выучены наизусть. Говорят девочки скоро, грех за грехом, чтобы батюшка не поспел им задать интимных вопросов. Никто не любил говорить про дом, про свои чувства, и если батюшка спросит, его сейчас прервут: «Я, батюшка, сомневаюсь, как мог кит проглотить Иону...» или про Троицу, про Лазаря. А солгать прямо нельзя, боятся: если солжешь за

---

[1] Да простит вас бог, мои дети *(франц.)*.

[2] Благодарим вас *(франц.)*.

причастием, выползет изо рта змея или язык вспыхнет углем.

Вачьянц, не выходя из своего туповатого равнодушия, идет за зеленую ширму, спокойно говорит батюшке на все вопросы: грешна, грешна, и кладет на аналой восковую пятикопеечную свечку.

Но под епитрахилью становится жутко: вдруг кажется ей, что нельзя брать от батюшки отпуск, что надо бы все рассказать. Только что рассказать?

— У вас есть особенный грех? — спрашивает с беспокойством батюшка, тот самый академик с сощуренными больными глазами, которого Вачьянц просила за Машу.

«Все ей отдала — и сон, и еду, и здоровье...» И, взглянув на очки батюшки, на его умный шишковатый лоб, Вачьянц твердо говорит: — Нет, батюшка, нет у меня особенного греха, нет.

Батюшка подал крест, она приложилась и скорым шагом вышла из-за ширмы.

После исповеди всегда водили в баню, туда, глубоко, в нижний этаж. Первый предбанник с пещерными сводами, мрачный, второй — громадный, еще мрачнее, а дальше горячая баня.

С шайками, полными взбитой пены, ждали девочек банщицы, все три Саши: Саша толстая, Саша черная и Саша-ворчуха. Больше трех девочек мыться не пускают, остальные играют во втором предбаннике в скачки.

На полу, посреди комнаты, сгребли в кучу грязное белье, а вороные и чалые лошади выстроились у стены.

Счесали, как гриву, на одну сторону волосы, топочут ногами, стараются ржать...

После каждого прыжка громадную кучу взбивают все выше, а судьи на полу около своих ставок, белых кучек сахара, зорко высматривают, чисто ли прыгает лошадь.

Вачьянц, горячая, дрожит сухим телом в нетерпенье бежать. Рубашку в последнюю минуту надо сбросить, чтобы ничто не мешало прыжку, и вот кажется ей, когда стоит она голая и свободная, как будто нигде не живущая, что она совсем другая, не та, что дала Маше съесть черный шарик, не та, что целовала руку maman, не та, что не ездит на лето домой.

В голове мыслей нет, кровь бьет в виски и в ладони. Взлетает Вачьянц над кучей, несется через теплый предбанник в горячую баню и обратно. Стучит пятками в деревянные половицы и, счесав заново на ухо черную гриву, снова ржет, снова прыгает.

И любо и радостно ей забыть все слова, визжать по-звериному, взметывать гривой и, оттолкнувшись в последний раз, взлетать всей силой кверху, как мяч.

— Ура, Арапка, ура! — кричат девочки.

— Гет, гет! — визжит Вачьянц, берет все призы, лягает других лошадей, разметывает по полу кучки белого сахара.

— Взбесилась Арапка, лови ее, лови! — кричат судьи, кидаются на Вачьянц, валятся кучей в бане, сшибая с ног Сашу черную с шайкой.

— Табун, а не барышни, сущий табун! — И другая Саша, ворчуха, обещается звать классную даму, если все сейчас же не сядут мыться.

Вачьянц идет к Саше толстой и покорно отдает ей под мыльную пену свою голову; она все еще тяжело дышит, и все еще ей и любо и радостно.

Вспоминаются лихие джигитовки казаков за городом на большом пустыре, и кажется ей, сейчас только сама она была этим джигитом, с перетянутой талией, с кинжалом носилась на взмыленном жеребце, а навстречу ей степной ветер, да копчик, да синее небо...

— Ишь, барышня расскакалась, — говорит добродушная Саша-толстуха, — одни теперь скачете, а то все было с подружкой, все с Машенькой. Никак самой светлой была она у вас лошадкой-то, царствие ей небесное. — И Саша перекрестилась правой рукой, продолжая левой теребить волосы.

— А правду ли говорят, будто она... — начала и запнулась Саша-ворчуха.

Саша толстая, больно впившись в косы Вачьянц, откинулась вся далеко назад и зашептала, но так громко, что все было слышно:

— На пятом месяце, как резали ее, так после смерти все и обозначилось, мальчик ведь был.

«Значит, на чепчике бант менять нужно, — подумала Вачьянц, — это у девочек только розовые, а у мальчиков голубые».

И еще стихла, еще сжалась комочком, чтоб Саша о ней совсем позабыла.

Банщицам запрещено было говорить друг с другом при девочках, но безмолвно вымыть десять голов ни одна не могла, и кончали тем, что выкладывали одна другой всякие новости.

— Мучилась она, говоришь? — уже не шепотом, а громко спросила Саша-ворчуха.

— Ой, мучилась, ой, не дай господи, — заохала Саша толстая. — Язык вздулся, говорить что-то хочет, позвать кого, а кого — не разобрали.

— Меня звала, меня, — прошептала Вачьянц, и под теплой пеной ей вдруг стало так холодно, что она задрожала всем телом.

— Ну, затушили, всему, значит, крышка, и нам приказан молчок, только в городе и без нашего языка-то собаки гавкают.

— Такое-то дело что воробей, лови, — подтвердила Саша толстая. — Долго ли билась-то?

— А как снесли ее под вечер, аккурат в предбанное время в субботу, так вот три дня и три ночи, ровно рыба с крючком — не дохнуть. Глаза выпучены, язык весь искусан, ногти обломаны... Уж и в ванну ее и в одну и в другую, а все помощи не видать. Орест Федорович, доктор, сестре милосердия говорил: у бедняжки все кишочки продырявило, целую, говорит, мелочную торговлю иголок глотнула.

— Ишь ты, мелочную торговлю, — повторила Саша черная, и не для острословия повторила, а жалеючи, и со слезами перекрестилась: — Царство небесное.

Вачьянц не переставала дрожать, так что Саша толстая наконец это заметила и, нагнувшись к самому уху ее, зашептала:

— Барышня, милая, не сказывайте никому, что слыхали, а о подружке Машеньке вам не надо горевать, посудите только: что бы ей тут за радость была?

Вачьянц оделась и, по внешности ничем от других не отличаясь, пошла в своей паре к ужину. Ела, как всегда после бани, с большим аппетитом и, как только

легла в постель, уснула. Но часов в двенадцать будто кто толкнул ее, она испугалась и села.

— Прежде надо все разузнать... — сказала Вачьянц и тут же переспросила сама себя: — Прежде чем что? — Но словами ответить не сумела, знала только наверное, что очень важное.

Очень медленно, потому что руки не слушались, а были будто свинцом налитые, ленивые, Вачьянц оделась. Все по порядку надела, как никто ночью наспех обыкновенно не одевался. И чулки надела и подвязки; поправила перед зеркалом волосы, чтобы не были трепаные. Потом, посмотрев среди длинного ряда кроватей недавно поступившую девочку, Фросю Тарутину, у которой, все знали, тетя была акушеркой, стала ее тихонько будить.

— Пойди со мной в «au coin»: я одна боюсь.

Тарутина, покладливая девочка, сейчас же надела блузу и сказала:

— Ну, пойдем, только это взаймы — когда мне надо будет, тогда я тебя разбужу.

И обе вышли в коридор.

— Слушай, Фрося, — сказала Вачьянц, — ты про «это» больше всех знаешь: можно родить в четырнадцать лет?

— Можно и в двенадцать, все зависит от ширины таза, разве тебе не известно? — сказала с снисходительным удивлением Фрося. — Все таз, какой он ширины, вот настоящая, — и Фрося расставила руки.

— Так что, — запнулась Вачьянц, — если правду говорят про Машу-коровку... — Она свернула набок голову, будто ища что в кармане. — Ты про смерть ее слышала?

— Еще бы не слыхать, тетя из первых рук знает от доктора и фельдшериц, — охотно сказала Фрося. — Мальчик ведь был. И тетя еще говорит, родила бы его Маша здоровехонько, этакая бабища была. У нее иголки в кишках нашли, знаешь — номер двенадцать, что мы бисер нижем.

— Самоубийство? — чуть слышно спросила Вачьянц.

— Что? — удивилась Фрося. — Нет, какое там самоубийство! Она ведь дура была и трусиха, куда ей, рука б дрогнула. Тетя говорит, вернее всего она истеричка; знаешь, истерички такие есть, они чего-чего не проглотят.

— Так, так, — будто чему-то обрадовавшись, поддакнула Вачьянц, — у самой Маши рука бы дрогнула. Она бы сама ни за что шарика не сделала...

— Какого шарика? — опять удивилась Фрося.

— А из черного хлеба, — все так же, будто радуясь, продолжала Вачьянц. — Чтобы иголки-то проглотить, ведь их залепить надо в мякиш.

— А ведь и правда, — согласилась Фрося, — но все-таки Маша дура, что умерла.

— Чем же дура, — возразила Вачьянц, — осталась бы жить, ну родила бы, что же дальше-то? Куда деться ей из четвертого класса! А из дому тетка прогонит.

— На улице не осталась бы, — равнодушно ответила Фрося. — Вон доктор Орест Федорович чуть не плакал, тете жаловался: «Мерзавка девчонка». Он всегда ругается, хотя очень добрый и такой смешной: «Мерзавка девчонка, говорит, он бы ко мне приходил, я б его скрыл, я бы к себе дочкой брал, а маленький

был бы мне ein kleines Söhnchen,[1] я ведь, говорит, одна голова, старый колостях...»

Фрося еще раз передразнила Ореста Федоровича: «старый колостях», засмеялась...

— Врешь, скажи сейчас, что врешь! — закричала Вачьянц и притиснула Фросю изо всех сил к стене коридора. — Врешь, врешь! Немец — злюка, немец не спас бы Машу.

— Сама ты злюка, — вырвалась рассерженная Фрося, — убирайся, я тебя знать не хочу. Сумасшедшая!

Фрося, сердито шаркая туфлями, повернула обратно в дортуар, а Вачьянц бегом домчалась до дальнего «au coin», до того самого, где по ночам говорила с Машей-коровкой, и, сев на подоконник, стала думать.

«Доктор Орест Федорович взял бы к себе Машу дочкой; отчего же не знали мы этого? А как молились-то. Отчего же не пришел ангел с неба, отчего не сказал нам: идите к Оресту Федоровичу. А я бегала к Ксенечке, я полезла к батюшке... Они не поняли, и вот я Маше сделала шарик: думала, она скажет «ах» — и умрет. А она мучилась. Три дня и три ночи мучилась. Боже мой, боже мой!»

Вачьянц огляделась кругом, нет ли кого-нибудь. Все равно, кто бы ни был, все равно, только бы человек, чтобы ему рассказать.

Уже больше нельзя было молчать, уже кто-то сжимал в ледяных руках сердце с такой силой, что делалось страшно и больно и нельзя было двинуться

---

[1] Маленьким сыночком *(нем.)*.

с подоконника. И все ясней становилось, что тут вот у окна сейчас все-все и должно решиться.

— Что все? — спросила Вачьянц и стала густо и тяжело дышать на стекло рамы, пока оно не сделалось матовым. Тогда, аккуратно выводя буквы, она написала указательным пальцем: «Я убийца Маши Радугиной». Стерла ладонью и, представив себе, что на этот раз уже кто-то посторонний говорит про нее, быть может сам ангел-хранитель, указывая богу на книгу ее жизни, она опять надышала на стекло и написала уже про себя в третьем лице: «Она убийца».

И, засматривая на стекло то с правой, то с левой стороны, опять и опять удивленно шептала: «Она убийца?»

— Ну, а дальше-то что, — прервала себя, — как дальше-то, если все оказался обман и я Машу убила иголками?

Она открыла с усилием окно: зимняя рама была вынута, замазку девочки давно соскоблили и съели, и хоть не позволялось открывать окно, они открывали.

Опять луна, как и тогда, в ту ночь, когда Маша-коровка сказала: «Убивать себя надо». Точно так же легко и прозрачно пробегали над трубами облака; через двор видны были огни ламп в дортуаре у старших, качал ветер верхушку пирамидального тополя. Только на земле от ствола этого тополя до белой стены института были сложены ровными рядами красные кирпичи для починки фундамента.

— Да, совсем даром, на веки вечные я сгубила свою душу, — громко, почти с удовольствием сказала Вачьянц и, далеко выгнувшись на подоконнике, стала деловито и внимательно смотреть вниз.

Совсем хорошо видна была при светлой луне еще не частая щеточка молодого газона, видны были лужи недавних дождей и белый заборчик прошлогодней клумбы.

Вачьянц отцепила носки башмаков от водопроводной трубы, за которую держалась, и спрыгнула из окна на красные кирпичи под пирамидальный тополь.

ИДИЛЛИЯ

В натурном классе крепко почитали «батьку» — немолодого плешивого ученика, и без него ни шагу. Зюзя Белянская замуж задумала выходить, так, одного за другим, двух архитекторов к нему приводила: «Посмотри их, батечко, как там они...»

Про первого батька сразу сказал: «Брось да наплюй», а со вторым торопил: «Кончайте швидче, хиба в храме, хиба так, под кустом; смаринуетесь — плакать будете!»

И сам обвенчал Зюзю: напрокат брал черный фрак и штаны чрез «фигурного» Лейзика, с большой скидкой, у отца его, портного «Лейзик и сын».

Ну, а уж после истории с грузином Токайшвили, или, как батько прозвал ее, «обоюдная встреча двух кораблей», батькино слово — топор: рубнет — либо слушай, либо проваливай!

Школка была небольшая, провинциальная, заведовал ею «старый Петренко», а деньги давал меценат.

По стенам висели копии с итальянцев или народный жанр, все подарки дяде Петренку от товарищей,

еще в те поры, когда сам он не хуже других смазывал усы гонгруазом и ходил в бархатной куртке а-ля Брюллов. Тогда же Петренко и пожал свои первые лавры за «Хату в Украйне», которую купил у него и ею украсил себя один из музеев.

Правда, это была первая и последняя задачливая хата, хотя после успеха, не утруждая себя иным вымыслом, Петренко накрасил их столько, что, если бы заселить их земляками, не хватило бы целой Полтавской губернии; но чтоб хоть одну продать в хорошие руки — так нет же, не продал!

Вот и пришлось покрыть хатами коридоры да стены классов в собственной своей школе.

Ну и в добрый час! Школа сразу пошла хорошо: учеников — пруд пруди; многие за полугодие вперед вносят, а за даровых меценат пополняет. В первый же год Петренко растолстел, брюлловскую куртку сменил украинской рубахой, чтоб нигде ему тело не жала, а жена его Анна Макаровна сшила себе шелковое пюсовое платье и на толстой, будто собачьей, цепи завела на шее лорнетку.

Учить рисованию дядя Петренко считал совершеннейшим предрассудком и на вопросы новичка, не понявшего обычая школы, складывал руки на животе и говорил с грустным укором:

— Чему же учить тебя, хлопче? Умней, чем мать тебя родила, ведь не станешь? Сколько добра на твой пай господь бог отпустил, столько его у тебя и окажется! — И, тяжело ступая, увозил свои опухшие от подагры ноги, обутые в мягкие суконные коты, в свою мастерскую.

Там дядя Петренко заканчивал для продажи очередную свою хату, а чаще, лежа на диване и кому-то подмигивая, читал себе вслух «Энеиду»:

А та ж Юнона, сучья дочка,
раскудкудахталась, як квочка...

Впрочем, при приеме хорошего ученика или девицы, приведенной зараз обоими родителями с условием, чтобы давали писать ей натуру только «до пояса», дядя Петренко оживлялся и на приемном экзамене обнаруживал, как ему казалось, самое ясное и художественное руководство.

Он вытягивал правую руку и так нажимал большим пальцем в воздухе, словно давил клопа:

— Тут ударить, там ударить, да пятнышком, да планчиком, да щоб оно взыграло...

Самыми младшими, «носовиками», и постарше, «фигурными», заведовала Анна Макаровна.

Она смотрела, чтобы кто не пачкал гравюру, пририсовывая чего там не надо, а по субботам заставляла всех чистить бывшие за неделю в употреблении гипсовые глаза, носы, уши и обметать пыль со статуй. Она же извлекала из среды даровых подходящих мальчиков в натурщики, в видах экономии школьных сумм.

Анна Макаровна, сухая и маленькая, одной рукой держась за цоколь статуи Дискобола, другой лорнировала класс и звала тоненько:

— Даровые, идите сюда.

Мальчики обдергивались, слизывали с пальцев уголь и гуськом строились перед классом.

— Подыми голову, повернись, пройдись... — отбивала Анна Макаровна по голой ноге Дискобола, оша-

ривая беглым хозяйским глазом каждого мальчика, словно выбирала его себе на жаркое, и хлопала наконец лорнеткой двух лучших. — Ты для красок, ты для угля, оба — Иоанном Крестителем. Да прежде всего — марш кой-куда... Чтоб мне с сеанса опять не просились! Сейчас хорошенько дела свои сделать, раздеться за ширмой и ждать; кресты и шкурки я сама принесу.

И она уводила жертвы.

Натурный был небольшой, но самый светлый класс. Кроме Петренковых хат, на стене висел хороший холст: «Саул и Давид». И странно было изо дня в день видеть, как короткий меч, пущенный страшным Саулом, все летел да не мог долететь, навсегда повиснув в воздухе перед маленькой смуглой рукой, которою Давид защищал себя от удара.

Висел и прибой лазоревых волн знаменитого мариниста, которым перед гостями очень гордилась Анна Макаровна, а ученики без церемонии звали «его яичня», так как знаменитый маринист, посетив проездом школу, не переставая рассказывать свои «воспоминания», сделал заученной кистью всю картину всего в пять минут. Висел в натурном классе и задумчивый юноша с голубями под кличкой «кормилец», потому что в голодные дни с него ученики делали несчетные копии, которые нарасхват разбирались офицерскими женами и жандармами, между тем как «яичню» охотней заказывало духовенство, никогда не видавшее моря.

Весной натурный класс бесился. Натурщиков писали дрябло, с вязигой вместо костей, ссорились, пропадали в этюдах, а придя в класс, пахли водкой; весной даже плюгавеньким ученицам клали в муфты

записочки и фиалки, а если кто начинал врать про Италию, мечту целой школы, его не обрывали, только бы врал хорошо: уж очень хотелось всем яркого солнца и необыкновенных каких-нибудь приключений.

Батько строго держал свой натурный: чтоб ученики с ученицами а ни-ни!

— Было б, дурни, времени не терять носовиками да в фигурном. Здесь уже все художники, друг дружке помощники, здесь — Академия на носу... А-ка-дэ-мия!

Плешивый батько поспел уже окончить университет и где-то еще там далеко побывать... А где побывал, там и насмотрелся на закаты с восходами да с зорями и со всем прочим, что бог человеку на землю послал, а человеку без понуки и рассмотреть недосужно.

Поздно спохватился батько писать, да зато и ладно же пишет: рисовать — черт, а цвета видит, как старый Петренко про него верно сказал, «с малиновым звоном и с самой святой пасхой», где хватит — там жаром горит.

И других за собой батько со строгостью тянет: осенью в Академию ехать, так чтоб провалу не вышло! Назад в провинцию — все равно что в трясину: как насядут на беднягу родители, взвоет тетка, жена: провалился, так будь же как люди, содержи себя, зарабатывай...

У художника сердце нежное, нрав податливый, вот и забегает он по урокам.

А забегал — крышка. Потом одно место — плакаться в кабаке да кричать с пьяных глаз: «Какой там Врубель, вот у меня так были композиции».

И под строгим батькой в натурном классе всем было жить хорошо: учились друг у дружки, смотрели

Рембрандта, аж глаза на лоб вылезут; черепов накупили у могильного сторожа; чуть анатомию развернут, сейчас уж и щупают друг у дружки мускулы.

А сердечные дела, хоть у каждого были налажены либо в фигурном, либо вне школы, как возьмутся за краски, ей же богу, все позабудут; кого угодно забудут и со всеми подробностями... «Академия на носу!»

И вот в такое-то время, весной, грузин Токайшвили безнадежно влюбился в Зюзю, а когда батько перекрутил ее на красной горке с архитектором и отпустил на месяц в свадебный круг, Токайшвили писать забросил и пустился спасать одних падших женщин.

Поспасал немножко, да и запутался.

Пришел как-то па вечернего натурщика бледный, глаза, всегда круглые, как у попугая, со слезой смотрят, нос еще ниже свис над черными, свисшими, будто две лошадиных пиявки, усами.

— Я, господа, жениться обязан... — панихиду завел Токайшвили.

— Эге... — крякнул батько, не отрываясь от дела, — а може, еще откупишься. Как она прозывается — Каролина?

— Каролина, — проплакал Токайшвили.

— Уппокой гос-споди... — хватил класс.

— Э-эх, дурню, — протянул батько, — да такую от чего же, собственно, ты спасал?

— Да я с ней только раз об Лифляндии и говорил, а она уж ко мне и переехала. Сундук свой поставила, да на письменный стол — подсвечники, да два зеркала... все в пудре и черт знает в чем, чай пить — тошнит.

— Давно она у тебя? — прервал деловито батько.

— Уж третью неделю... — сконфузился Токайшвили, — и вот оно вышло, что я должен на ней жениться. Подробностей касаться не стоит, но дело в том, что незаконных детей иметь я считаю бесчестным. У меня отец ни одной женщины не обидел и мне не велел...

И пошел Токайшвили про отца: какой он там у него необыкновенный человек, на горе давно живет, богу молится, козу доит, словом — сплошная высокая материя: «Не могу, дескать, я, подлец, запятнать его седину...» Ну, и всякое тому подобное — ни дать ни взять Гамлет про свою «тень отца».

Дал батько Токайшвили выплакаться, положил уголь и говорит:

— Хлопцы, дело тут наше, семейное, из избы сора никто не вынесет: много ли тут вас, кому на третьей неделе Каролина то же самое говорила?

Не успел батько кончить, как гаркнули хлопцы:

— Всим, батько, всим!

— Видишь, у нее это такая уж бабья повадка, — сказал батько печальному Токайшвили. — Она знает, что товарища выручат; к тому ж, надо быть, ты ей, друже, крепко надоел. Ну, кто во что художника ценит? Я ложу пять карбованцев.

Батько снял со стены еще не запачканную палитру, положил на нее золотой и пустил по рядам. Набросали у кого сколько было.

— Тридцать один рубль и тридцать пять копеек — добре! Ты же дороже пока и не стоишь. На, отдай Каролине, пусть увозит сундук и подсвечники.

— Не могу, я сам все должен проверить, — бурчал Токайшвили, схватившись за голову.

— Э, дурной, — рассердился батько, — пока проверять будешь, она тебя с кашей поест.

Подступили всем классом: Каролину целый год содержать обещались, только чтоб испытуемый срок Токайшвили не с нею сидел, а поочередно у всех укрывался.

— Все поздно, погиб я! — закричал грузин, заворочал глазами и выскочил вон из класса.

Долго злой сидел батько, но вдруг ухмыльнулся, затеребил свой запорожский ус и спросил для чего-то:

— Сколько ходят письма в Тифлис?

Около Тифлиса как раз этот необыкновенный Токайшвилин отец жил, что на горе козу доил и богу молился.

Прошла неделя; не видать Токайшвили; собрался гурьбой натурный класс, ученики да ученицы, узнавать прямо к нему на квартиру. Там пьяная какая-то компания хозяйничает: «невеста», Каролина, едва позвонили, слыхать, гикает, чтобы притаились. В переднюю вышла — всю собой заполнила: огромная, юбка одна — памятник тысячелетия России, рука в обхвате — как раз Токайшвилина грузинская талия, браслетами гремит, лицо красное, голос — бас. Польстило ей, что ученицы пришли, сложила рот бантиком и затянула томно, как барыня, в ручищах платочек комкает: «Мой Bräutigam[1] на родину уехаль, у него родной отец умираль, лучше время не умель себе выбирать...», и приглашала всех зайти «на одну чашку кофе».

Шарахнулся натурный к батьке:

— Да ведь она Токайшвили кулаками убьет!

---

[1] Жених *(нем.)*.

— Каролина... — зарычал батько, — как, она еще не выбралась? — И пошел сам.

Что он там с ней сделал — неизвестно, но, выжидая события за углом, все хорошо видели, как батько очень скоро вышел обратно, крикнул двух извозчиков и, не отходя от подъезда, затянул свою трубку; а огромная Каролина, без всякой посторонней помощи, принялась таскать на извозчиков свои узлы и всякий раз мимоходом делала книксен перед безмолвным батькой и говорила ему:

— Augenblicklich, Herr Professor, aber augenblicklich... [1]

Но вот еще беда была, когда Токайшвили из Тифлиса вернулся. Телеграмму-то о смерти отца он получил, а самого живехонького встретил: по-прежнему козу свою доит да богу молится. Смерть отца — да ведь это батько придумал, чтоб из Токайшвили клин клином выбить. Он же самый одному бывшему ученику в Тифлис написал и приказал по приложенному тексту телеграмму послать.

От этого ученика Токайшвили всю батькову штуку узнал да первого его же, предателя, и избил.

И то сказать: мало ль чего человек передумал, пока к мертвому отцу трое суток в вагоне ехал!

Ну, влетел в школу ястребом; сейчас с кулаками к батьке, кричит:

— На дуэль, моя честь задета...

Весь натурный Токайшвили оттаскивает, а батько один, не моргнув, берет с палитры краску и знай себе пишет, как допреж того писал.

---

[1] Сейчас, господин профессор, сейчас *(нем.)*.

— Теперь, единственно назло всем вам, возьму да женюсь!.. — кричит Токайшвили.

Только и опомнился он, когда, разыскав Каролину, увидал, что она отлично устроилась и уже какого-то там адвоката уверяла в том же, в чем и его. Только адвокат, как видно, виды видал, и хоть жениться и собирался, но — не на ней, а на полковничьей дочке.

А Токайшвили Каролина с ругательством выгнала и вдогонку чем-то нехорошим плеснула.

Ну, и задали ж у батька пир в честь расторжения «обоюдной встречи двух кораблей»!

Земляки свою сливянку принесли да коржей с маком, с Токайшвили немалой мерой кахетинского стребовали и всю ночь гопака гнули, пели «Виють витры», «Зозулю» и прочее.

Токайшвили тянул под зурну свои грузинские песни, будто грустно икал на одной ноте, а потом, чтобы угодить батьке за всю катавасию, сказал с ужасным своим выговором, но от полной души две «Думки» «незабутнего Тараса».

В заключение все целовались, и школа прозвала Токайшвили «Двохбатьковый»: один батько у него на горах козу доит, а другой — общий, плешивый, из натурного класса, что от лихой жены в пору спас.

Вот и плешивый, а уж с этих пор как скажет — топором рубнет: либо слушай, либо проваливай.

БЕЛЫЙ СЛОН

I

На самом выезде, почти рядом с вокзалом, были в городе номера «Гельголанд». Внизу комнаты в рубль, повыше в полтинник, а над ними во всю ширину дома шла одна большая подчердачная комната, разделенная перегородкой на мужскую половину и на женскую; углы от окошка в этой комнате шли подороже, углы черные — подешевле.

— Не рушь стенок, Дунюшка, не бесчесть балкон гадами, голыми девками да зверьем, — наказывала, умирая, старой девушке Евдокии Вараксиной ее маменька. И вот, как ни разбегались у Евдокии глаза на так называемый «стиль модерн», которым наперебой расцветился весь город, как ни соблазнял соседний балкон с богом моря, занесшим трезубец над головою прохожего, она не рушила воли покойной. Только всего и перемены, что по совету Арсения Половенского, почти архитектора, ученика местной школы, дом пущен под номера с названием «Гельголанд»,

Арсений уверил, что так было и образованно и не навязло в ушах, как разные там «Метрополи» да «Гранд Отели».

Две громадных рекламы: калоша летняя и калоша глубокая, зимняя упирались с обеих сторон прямо в крышу гостиницы, а кругом шло свободное поле с высокой травой, с неподвижными, будто врытыми в землю, коровами и барашками, похожими издали на дешевые игрушки. И рядом с бакалеей, с двухцветной портерной и с трезубцем, нацеленным на прохожих, «Гельголанд» был так особенно мил своею скромностью, что жить в него попадали все люди хорошие: если мужчина — значит, непьющий, а женщины средних лет — без малейшего визгу и сплетни.

Внизу, кроме самой Евдокии Вараксиной, две вдовы капитанши; обе живут на пенсию. Дальше бывшая классная дама столичного института, мадемуазель Топоркова, занимала одна с обезьянкой и горничной целых три комнаты.

— Я того мнения, — говорила она, — что даме из общества несравненно приличнее держать при себе не собачку, а обезьянку: обезьянка по улице бегать не станет, обезьянка всегда прикрытая, в красных штаниках, в безрукавке, только хвост голый...

Евдокия Вараксина как нельзя больше довольна этажом благородных; и деньги-то вовремя платят, и при встрече приветствия: каково поживаете, как ваше здоровье? А старичок чиновник, который приходит пить чай в гости с собственным вареньем, тот к Новому году из засушенных цветов абажур склеил да со стишком и поднес:

Представьте, что сам амур сей склеил абажур...

Но что чиновник. В этаже благородных — мастерская самого Арсения Половенского: красивый, стрижется бобриком и кончает с золотой медалью. Предложение недавно сделал: «Это, говорит, ничего, что я молод, я умный; мне, говорит, здание строить надо, мне не по ветру ваши деньги пускать...»

Этаж приезжающих тоже неплох: и купцы, и священники, и помещица с дочкой; одни уедут — других вместо себя пришлют.

Зато подчердачные, мужская половина и женская, — одни страхи: а вдруг крышу сожгут, а вдруг деньги просрочат, а вдруг дебош какой сделают. Им терять нечего — голытьба.

В подчердачной комнате пока было не много жильцов: на женской половине белошвейка Липочка с теткой Егорьевной, да бухарец Абдул-Ахмат, да газетный критик Вербинский.

Этот Вербинский еще не так давно помещался гораздо приличнее; тогда он писал по столбцу в газетах о том, как играли в театре и что такое случилось на улице. Но с тех пор, как Вербинский замыслил писать свою собственную книгу, его столбец появлялся в газете все реже и реже, сам он из хорошей комнаты перешел в худшую, а там, глядишь, попал и в углы, как раз против бухарца Абдул-Ахмата, который всю свою жизнь, до одного несчастного случая, был поводырем при слонах. Как иные собаки, оттого что они долго живут при людях, в конце концов человечатся, так и этот бухарец будто бы ослонел: из-под тюбетейки алого бархата у него торчали огромные уши, карие глазки терялись в жирных морщинах, а над чахлой бороденкою огурцом свисал нос.

Самая богатая в подчердачной комнате была Егорьевна: она владела большим самоваром и чайной посудой. Днем, набегавшись с утюгами, разглаживая работу племянницы, старуха любила ввечеру побеседовать и собирала всех угловых к деревянному, чисто выскобленному столу.

— Размотай с себя тряпки, с лимоном чай нонче! — кричала она в угол бухарца. — И ты, Липочка, и вы, сударь, пожалуйте.

Вербинскому Егорьевна наливала первому, подавала с поклоном, а бухарца хоть и жалела больше всех за то, что зяб, — когда с ним говорила, все будто ругалась; и не от злобы, а так, больше для порядку, чтоб, разленившись, на шею не сел да чтоб клопов не развел.

Абдул-Ахмат, с тех пор как переселился в «Гельголанд», чтобы как-нибудь прокормиться, таскался с мешком в подворотни и кричал не своим голосом:

— Халат, халат, стары вещи!

Но в холод и вьюгу с больными ногами ходить было трудно, и, кутаясь в свои непроданные тряпки, бухарец сидел в углу пестрым чучелом, охая от ревматизма. На призыв Егорьевны он оживлялся, бережно раскручивал с себя «товар» — несколько пар военных брюк — и, сложив их в хламовник, бежал рысцой, шлепая туфлями, к самовару.

Сегодня все были в сборе; худой Вербинский с нависшим чубом молча глотал чашку за чашкой, а Липочка сидела в единственном мягком кресле, вытянув на колени свои тонкие, иголкой поколотые пальцы, и смотрела в окошко на звезды. У Липочки голубые глаза и волосы русые, гладкие, на ряд; когда не работает,

она всегда так сидит и молчит; если ж заговорит, то негромко, протяжно, словно дитя баюкает.

— А для вас приятная новость, Абдул-Ахмат, — сказал Вербинский. — Проездом здесь новый зверинец, и хозяин ищет поводыря.

— Слон? — спросил хрипло бухарец.

— Два из Африки, с кенгуру и пантерой.

— Зачем из Африки слон — говоришь, Африка нет слон, Африка серый свинья, только Индия слон... Балабаш белый был, слон был.

— Белый слон — животная млекопитающая, и серый такая же, — вмешалась Егорьевна. — Не все ль тебе равно, за каким подбирать.

— Как все равно, совсем разница, — огорчился бухарец. — Балабаш родной был, старший брат был... Когда совсем болен стал, он делал хобот змеей, к себе обнял, у сердца держал, как человек: «Прощай, Абдул-Ахмат», — говорил...

— Отчего сдох Балабаш? — спросил Вербинский.

— Я на родину немного ехал, хозяин слону немца брал; что немец слону? Дрова крал, не топил, простудил... Хозяин убытки понес. Теперь серой свинье отопление, а она что за это? Хвост шатать, нос подымать.

— А все-таки тебе было грех животную обижать, — прозудила Егорьевна.

— Чего обижал! Подмету — веник брошу, свинья не чихнет, прочавкает, еще под клыки навернет, запас делает. Отчего Балабаш веник не кушал! Я раз уснул — свинья сапоги посымала, закинула, тюбетейку сжевала, на морду мне наплевала. А Балабаш когда выдал? Ну, водку выпьешь — Балабаш сеном покроет,

хозяину разбудить не дает... Ох, ох, какой слон! Белый слон.

— Балда ты, бухарец, право, балда, — покачала головой Егорьевна. — О животном позабыть не можешь, добро бы иное что, как у Липочки у моей в Соловецком. — Старуха подмигнула Вербинскому. — И сейчас небось о том думает...

— Красиво в Соловецком, — повернулся к Липочке Вербинский.

Липочка с удивлением посмотрела на него, будто только проснулась, но сейчас же охотно ответила:

— Там травы-цветы, каких нигде не увидишь. Я тропиночкой в церковь иду, промеж них заблудилась, а тут странничек: как, говорю, отче, в церковь пройти? Звон слыхать, купола видать, за цветочной стеной хода нет, а цветы топтать жалко. А мне странничек: «У нас не потопчешь, у нас молитвы кругом, золотая, молитвою воздух сильный, опять к небесам цвет подымет. Вот по цветикам ты пройдись-обернися». Ну что ж — цветы в рост мой, щеки щекотят, назад глянула — друг за дружкою поднялись, словно колос, когда ветер идет по овсам.

— Да ты что про цветы, ты бы, Липочка, про монаха, — напомнила Егорьевна.

Липочка вскинула глаза на тетку и, закрасневшись, продолжала:

— Старичка того уже нет, а предо мной церковка небольшая с площадкой; земляные сиденья на площадке устроены, в них старцы-монахи сидят, посреди кресло красное, там игумен. А перед всеми, как в поле березка, монашек такой тонкой, из древней книги читает житие. Сам молодой, от молитв да постов лицо

белое, а волосы из-под бархатной шапочки зонтиком, зонтиком... Я как глянула — он мне в душу и въелся: стою — не дышу. И он глянул, взмахнул веками и опять в свою книжку; покраснел сам, а в руках лист древний так и дрожит... Чтение это у них такое мужское, женщинам невозможно на него приходить. Залился монах краской и выдал меня; все как один клобуки обернулись. И не смотрят старцы, а будто насквозь видят. Слова мне ни один не сказал, так одними глазами прогнали. Стыдно мне сделалось, сжалась комочком и вон — уж бежала, бежала...

— Это тебе так привиделось, милушка, — сказала Егорьевна. — Старцы — совет да порядок, а молодой — искушение.

— Забыть его мне нельзя. Вот что главное, — вздохнула Липочка. — В сердце мне въелся. Швейцар Максютин сколько сватался, а я не могу...

— Монах сюда не приедет, ты к монаху не поедешь, другой раз не встретишь — забудь, — сказал ласково Абдул-Ахмат.

— Ишь советник, — проворчала Егорьевна. — Сам слона тычет каждому, не забудешь небось, а тут у Липочки человек... А и не было его вовсе, того монашка, верь мне, девушка, верь старухе. Тятенька покойный в Соловецкое тоже ездил, так совсем про иное рассказывал. Повели их пред всенощным бдением в коридор, значит к схимникам... Так им эта схима потом и мечталась — всех грехов отпущение; только нет, в своем в мучном лабазе скончались, царствие им небесное. — Егорьевна перекрестилась. — Да, так коридорчиком повели, а он узенький, тучному, без сомнения, в нем застрять. «Слава богу, говорили тятенька, что я с тела

спал, напостился перед богомольем, а то быть бы скандалу». Ну, а в коридорчике, конечно, окошки справа и слева: что ни окошко, за ним петух в клетке и схимник. Так и пищу дают обоим разом: петуху монах зерна сыплет, а уж схимнику просфору... Как петух закричит — схимник шасть на колени, за Петра за апостола молится да свои, если который не забыл, прегрешения поминает, — старцы ведь.

— Чего старику в клетке петух, а не курица? — спросил бухарец. — Курица неслась бы ему, яичницу кушал бы.

— Курицу да в монастырь! Ах ты... — рассердилась Егорьевна, — мусульман. Ишь, в халатах взопрел, ложись к себе в угол, керосин даром травите...

II

Вербинскому было скверно. Уже из третьей редакции приятель брал непринятую рукопись и заказной бандеролью высылал ему обратно.

— Черт знает, — ворчал Вербинский, шагая по городу, — хоть бы учащейся молодежи прочесть, только где же? В гимназию и соваться не стоит; с улицы не возьмут, да и пиджака нет приличного, да и сюртук давно съеден в нормальной столовой.

Вдруг Вербинский припомнил, что на том конце города ему как-то на днях метнулась в глаза ярко-зеленая вывеска с красными буквами: «Универсаль — заведение американского типа».

«Быть может, предприимчивый культуртрегер, — подумал Вербинский, — быть может...»

Парадную дверь неказистого дома открыл ему сам Скоробеев, учредитель «Универсаля». Был он в черной рубахе, подпоясан ремнем и, прежде чем впустить позвонившего, выставил волосатую голову и улыбнулся: чего вам?

— Я по искусству, я критик, — смутился Вербинский, — хотел бы прочесть у вас лекцию...

— С величайшим удовольствием, дорогой мой, с величайшим, пожалуйте!

Вербинский вошел в переднюю, а Скоробеев нажал кнопку и крикнул:

— Вивия Ивановна, Вассушка, Петр Вавилыч!

— Для чего кричите-то? — появилась грязно одетая босая Вассушка. — Переплетную в рисовальную повернуть не успеем, нагажено всюду.

— А рисовальный художник сказали, — процедила сквозь длинные желтые зубы другая, «чистая» горничная, Вивия Ивановна, — они сурьезно сказали, ежели будет анти-са-ни-тар-но, они совсем от вашего заведения уйдут...

— Вздор изволите говорить, — покраснел Скоробеев, — вы бы лучше, сударыня, натюрморты поставили: лук, морковь, бураки... У нас, знаете, все живое, — повернулся он к Вербинскому, — у нас символы к черту, у нас Зевс — метафора...

— Натюрьму всю ребята пожрали, — прервала простодушная Вассушка, — от моркви один хвост.

— Но где Леонид, где надзиратель? — закричал Скоробеев. — Чего он смотрит!

— В полпивной ваш Леонид, — буркнул из закрытой двери чей-то сердитый голос.

— Ученый столяр, Петр Вавилыч Глотай, — прошептал Скоробеев Вербинскому, указывая на закрытую дверь.

«Ну, здесь лекции не прочтешь», — подумал Вербинский и схватился за шляпу.

Но Скоробеев умоляюще посмотрел сквозь очки большими добрыми глазами и заговорил, прерываясь и кашляя:

— Разумеется, мой нежданный ценитель, дело у меня молодое, оно не налажено, но идея-то — «ремесло и искусство»...

— Нельзя ли куда-нибудь двинуться из передней, — сказал Вербинский.

— Ах, простите, бесценный, ради бога простите, как это я упустил...

Скоробеев ухватил руку критика, улыбался ему в лицо и опять суетился, подтягивая свисшие брюки.

— Пойдемте, голубчик, пойдемте.

Вербинский дал себя протащить по пустым комнатам, где навален был разный хлам: подрамки и ноты, кадочка с глиной, токарный станок и разбитая тыква.

— Должно быть, «натюрьма», — улыбнулся невольно Вербинский.

— У меня тут отделы: столярный, орнамент, еще бухгалтерские, фотография и счетоводство, — торопился Скоробеев.

— Чудеса! — удивился Вербинский. — Где ж это все помещается?

Скоробеев, так же внезапно, как все, что он делал, выпустил руку Вербинского, подошел к шкафчику, достал графинчик и налил две рюмки.

— Где это все помещается, желаете знать. Иными словами, отделов без счета, а комнат кот наплакал. Э-эх, выпьем, родимый.

Вербинский заметил, что у Скоробеева сильно дрожит в пальцах рюмка, что помято и припухло лицо его, а непрестанно спадавшие брюки кончаются бахромой, и с тоскою подумал: «Ну и Америка ж, черт побери».

— К чему ж у вас вывеска? — не удержался он. — Красные буквы «Универсаль — заведение...»

— Усмиритель змей, он же огнеед, — подхватил Скоробеев. — Видали, друг, объявление в балаганах на вербе, ха-ха... вот и я, как они, — «Универсаль». Но, скажите, любезный, где же имя у Онисима Скоробеева? Где миллионы его? Была тысяча для начала, да и вся сплыла. А не крикнешь, родимый, пес не залает. Вот и вышло: Америка здесь, вход двугривенный... Но ведь какая идея, какая, милейший!

И, шагнув к гостю, усевшемуся наконец на подоконнике, Скоробеев выкрикнул:

— Не американская, друг, она, а бездонная, мировая идея. Оздоровление проболевшего человечества — вот что зовется «Универсаль».

Вербинский смотрел на оконные переплеты, на фонари, которые, будто любопытные мальчики, заглядывали в окошки, и было ему как-то все, все равно: больше посылать рукопись некуда, а до учащейся молодежи когда там еще доберешься. Но уходить не хотелось: Скоробеев чем-то понравился, и теплей у него, чем в подчердачной комнате «Гельголанда».

«Может, от водки, — подумал Вербинский, — давно не пил».

И, чтоб заставить еще говорить Скоробеева, а самому сидеть молча, он спросил:

— Чем же думаете оздоравливать современное человечество?

— Трудом, друг, продуктивно-разнообразнейшим, — загорелся немедленно Скоробеев. — В этом физика, метафизика и пророки — да, да... Ибо незнакомство с здоровой действительностью есть главнейший провал человечества, а России особенно. Отсюда пугливо-позорное начало нашей истории: «Придите владеть и править нами», отсюда самоубийства, безумия и мало ли что. Но после «Универсаля» — долой катары, курсистка не выпьет эссенции. Нет уроков — сошьют чемодан, настругают комод. У меня, друг, в каждой комнате кинематограф: ученый сапожник, переплеты, столярное, сейчас вот художник. Эх, друг, если б не бедность! Взять бы домище страшенный, до самого неба, и всем двери настежь — только пожалуйте: и пригород и деревня.

Треск неистовых звонков прервал Скоробеева.

— Бог мой, публика, ученики... — схватился он за голову, — а в большой комнате лужи; сдуру я белошвеек пустил, старинные кружева мыли. Натюрморты поедены, воздух хоть топор повесь... Да где ж я им, черт побери, кислороду добуду? Батюшка, пособите, дело новое, не налажено, но идея-то — «Универсаль»!

— Идея хорошая, — сказал Вербинский, — только, право, не вижу, чем могу вам помочь?

— Да вы пиджак-то снимите, родимый, работа ведь черная.

И, всунув в руку Вербинского тряпку, Скоробеев провел его в комнату, которой тот еще не видал. Там

на подставках, какие употребляются для вышивания в пяльцах, стояли небольшие корытца с грязной водой, на полу были лужи, а у стенок помойные ведра.

Вербинский спустил на пол тряпку, тряпка вобрала в себя лужу, стала сразу тяжелая, и он не знал дальше, что ему с нею делать. Вербинский позабыл о своих неудачах и думал только о том, как бы не вымочить панталон.

А звонки, отдохнув, подняли новую трескотню.

— Вассушка, Вивия Ивановна, Леонид! — надрывался Скоробеев.

Дверь в комнату столяра приоткрылась. Из-под нависших бровей глянули острых два глаза, а рот, оставшийся за дверями, пробасил, беспощадно чеканя слова:

— Леонид в пол-пив-ной, де-ви-цы на улице.

Звонки вдруг замолкли, но взамен их послышались в дверь такие удары, будто ломился рассерженный конь.

— Откройте им, батюшка, ох, откройте, двери с петель сорвут.

Вербинский пошел открывать, почему-то волоча за собой набухшую тряпку.

Молодежь ввалилась в переднюю, смеясь и толкая друг друга: гимназисты, реалисты, барышни с косами, с муфтами...

Взглянув на Скоробеева с корытцем в руках, на Вербинского с мокрой тряпкой, так и взвизгнули; кто бухнулся на пол, кто шлепал по лужам, кто брызгался мыльной пеной. Впрочем, радостно и немедленно освободили от корыт Скоробеева.

А он улыбался и, все еще раздвинув руки, будто держал в них свое корыто, говорил растроганный:

— Дорогие мои, дорогие...

Через неделю Вербинский опять подходил к «Универсалю». Он так сильно наголодался, что решил было окончательно бросить мечты о своей собственной книге и писать снова в газетах — о том, кто как спел и сыграл и что такое случилось на улице. Но, вспомнив о Скоробееве, он подумал: «А что, если интеллигенция отозвалась, если расширено помещение, если подобрались идейные помощники?.. Затея-то ведь хорошая. И, чего доброго, та самая молодежь, что недавно смеялась над моей тряпкой, с интересом прослушает «Стиль и религия».

И Вербинский снова шагал в другой конец города к Скоробееву. Вот уже близко, вот уж должны бы порадовать глаз красные буквы зеленого поля — «Универсаль — заведение американского типа». Но вывески над дверью нет, ее, снятую и перевернутую наизнанку, держат ученый столяр и сам Скоробеев. Столяр нахлобучил лохматую шапку на брови, а брови на глаза и выкручивал застрявшие в дырках винты, а Скоробеев был как опущенный в воду.

— А, художественный критик, мое почтение, — протянул он руку, подставляя под вывеску колено, — мой «Универсаль» ведь того... прогорел.

— Что так? — смутился Вербинский.

— Материальная сторона, что поделаешь! Ну и сотрудники... Леонид-то, представьте, руководитель отделов, все пособия прокутил.

— Пойдемте, — сказал хмурый Глотай.

— Куда вы? — спросил Вербинский.

— Вывеску тут к старушке к одной занести, а сам-то уж и не знаю, родимый, самому будто некуда.

— Приходите ко мне в «Гельголанд», — нечаянно сказал Вербинский, — проживем как-нибудь, только, собственно говоря, целой комнаты нет; кроме нас с вами, там уже есть бухарец, а за перегородкой две женщины...

— Иными словами, углы, мой милейший, — прервал, повеселев, Скоробеев, — ну что ж, углы так углы, вот только вывеску отнесу. Слыхали, Глотай, углы в номерах «Гельголанд».

— Идемте, — сказал угрюмо столяр, — там на ночь глядя не пустят, не ваш, чай, базар.

— Я иду, я иду, — подхватил свой конец Скоробеев. — Но все-таки почему столь необычно: «Гель-голанд»?

Столяр решительным шагом завернул в переулок. Скоробеев, не попадая в ногу, кому-то кланяясь и спотыкаясь, семенил за ним слабым шажком, и казалось, он только держался за вывеску, а нес ее один Глотай.

Вербинский смотрел им в спины, пока они не исчезли в какой-то подвальной квартире, и тихо поплелся домой.

III

Скоробеев как нельзя более подошел к подчердачной комнате «Гельголанда». Угол взял он себе темный, против Вербинского, но бухарец охотно пускал и к окошку. А своим собственным чаем до десятого поту поила Егорьевна, которой Скоробеев напоминал чем-то папеньку, того самого, что на Соловках взыскан был схимником.

И Абдул-Ахмат полюбил Скоробеева; целый день говорил ему о слонах, о мечте своей попасть снова к белому, а не к слону свинской, африканской породы.

И Скоробеев до того увлекся бухарцем, что послал письмо о нем в консульство, с прибавкой в постскриптуме от себя: «Абдул-Ахмат — поводырь-идеалист, а это в стране Брамы и Будды не должно быть безразличным...»

Липочка рассказала про своего монаха и про то, что к ней сватается вот уж который месяц швейцар из соседнего дома, где под балконом бог моря держит трезубец, а у нее все сердце ждет такого, как вышло раз в Соловках.

— Сам монах, дяденька, тот высокий, лицо бледное, а волосы зонтиком, зонтиком...

— И жди, девушка, жди, — говорил Скоробеев, — когда еще раз случится такое, ну тогда что ж, иди... а не случится — не надо, и так проживешь. А швейцара того гони, девушка, в шею.

Как-то бухарец вернулся нахмуренный, в халат кутается.

— Опять к слону нанимают, с кенгурой и с пантерой...

— Нешто белый? — оживилась Егорьевна.

— Серый слон, свинский слон, из Африки слон, десять рублей, с нею спать, харч хороший...

— Не иди, если серый, удержись, бухарец, — сказал Скоробеев, — возненавидишь опять, разве что Балабаша забыл.

— Кто забудет — я помню, — огрызнулся бухарец и пошел скорей в угол, не в свой светлый, а в скоро-

беевский темный, сел на матрац, поджал по-своему ноги.

— Если насмешки над ней будешь строить, ведь грех, — сказала Егорьевна, — бессловесная ведь она, млекопитающая... А у тебя сердце к белому.

— А нам без сердца-то крышка, — прервал Скоробеев, — только этим и держимся. Мне, братец, можно место достать одно и другое, а не жажду. «Универсаль» в голове. Вот Вербинский — он свой грабежный столбец послал к черту, у него, братец, «Стиль и религия», — ну что ж, терпим, и ты потерпи.

— Нет у меня сердца к серому, ах, нет сердца, — ворчал в углу бухарец и, пугая тараканов своей подвижной черной тенью, долго качался на пятках, не то жалуясь, не то шепча молитву.

Вечером пришел столяр Глотай, как всегда мрачный и чисто одетый; вынул молча из кармана бутылочку, пяток яблок, положил за самоваром.

— Спасибо, милейший, — расплылся Скоробеев, — спасибо.

— Не всем раздевать вас, — буркнул Глотай.

Егорьевна степенно исчезла на своей половине, вынесла рюмку и кружечку: и мы не без посуды, дескать...

Но столяр как внезапно явился, так и пропал.

— Мне нельзя пить, — сказал бухарец, — на меня нет закона, чтоб пить.

— А тебе хочется? — спросил Скоробеев, опрокидывая рюмку. — Говори правду, бухарец, раз про закон помянул — значит, хочется.

— Сам знаешь, — сказал Абдул-Ахмат, — вино большую силу имеет. Выпьешь, неприятность сейчас поза-

будешь; я из-за серой закон нарушал. Бутылочку выпьешь, она побелеет, вторую возьмешь — Балабаш станет. А все ж грех оно.

— Ох, бухарец, — сказал охмелевший уже Скоробеев, — есть грех и грехи... нельзя, братец ты мой, целиком удержать всей души, невозможно сие человеку, что-нибудь да взорвет и свершишь. Кто же всю душу удержит, тот неподвижность безгрешная, бревно святое, не про того сказано: ты судить будешь ангелов, ты, человек грехопадший!

Скоробеев хотел продолжать еще, но вдруг встал Абдул-Ахмат и, не выпуская из рук только что выпитой рюмки, страшно волнуясь, сказал:

— Не надо десять рублей, не надо слон из Африки... Пусть лучше совсем похудею.

— Ур-р-ра... — закричал Скоробеев и схватил за руку Абдул-Ахмата.

— Молодец, бухарец, — побледнела Липочка, — я вот тоже надумала: не пойду за швейцара Максютина. Пока не подступит к душе, как господь дал в Соловках, вот и буду сидеть девушкой...

— Да здравствует «Гельголанд»! — еще громче прокричал Скоробеев.

— Человек ты душевный, — сказала вдруг Егорьевна, — зачем водку пьешь?

— Оттого пью, родимая, оттого пью, милейшая моя тетенька, — начал Скоробеев, не выпуская из рук бутылку, — что мне надлежит судить ангелов. Иными словами, удержать надо в сердце одну чистую точечку-с, преединую. И заметьте, милейшая, оно вполне безразлично, как именно сия точечка именуется: у вашей Липочки — монашек из Соловков, и волосы у него

зонтиком, у Вербинского «Стиль и религия», Колумбу — Америка, Галилею — e pur si muovo,[1] — а все вместе — не что иное, как белый слон Балабаш, из-за которого голодный бухарец не идет жить к слонихе. И да здравствует Балабаш!

— Великолепно, — сказал Вербинский, вышел из своего угла и остановился перед Скоробеевым. — Белого слона и я принимаю, только вот ведь история — кушать хочется.

Он вывернул пустые карманы.

— В одном вошь на аркане, в другом блоха на цепи, — засмеялась Егорьевна. — Уж бухара как-никак мы с Линочкой до его до индейских слонов посодержим, в гостинец шаль обещается, ну а уж ты, батюшка, извини: никак с собственной дури-то обнищал? Из газет в шею не гнали, ты б писал да писал.

— Легче, тетенька, легче, его белый слон для вас недоступен. Идите себе по хозяйству, — сказал Скоробеев. — У меня, друг, рубли и копейки; предостаточно на двоих, а если вывеску продадим — целый месяц роскошного содержания. Потому выпьем, друг.

Вербинский и Скоробеев опрокинули рюмку за рюмкой — последнее содержимое столяровой бутылки.

— Людоедного вида Глотай мой, а парень рубаха, — сказал Скоробеев и, окончательно опьянев, вспрыгнул на стол, всплеснул руками и закричал, как кричат на улице караул:

— Да здравствует белый слон, хвала углам «Гельголанда»! В честь белого слона дернем старинную

---

[1] А все-таки она вертится *(итал.)*.

немецкую камерун-польку. Эй, бухарец, подхватывай, прямо в хобот твоей африканской слонихе:

Wir brauchen keine Schwieger-ma-ma-ma,
Wir schicken sie nach Afri-ka-ka-ka...[1]

И Скоробеев запрыгал на столе, дирижируя пустой бутылкой.

— Ах, боже мой, до чего неприлично!

Курносая дама открыла дверь в подчердачную, выставила необъятную шляпу, но сейчас же подалась обратно, а вместо нее вошел в комнату сам Арсений Половенский, почти архитектор.

— Милостивые господа и вы, сударыни, — сказал он не без светской иронии, — мадемуазель Вараксина, владетельница отеля «Гельголанд», честь имеет просить всех вас о выезде. Да-с. Ибо дом подлежит перестройке окончательной, в новом стиле-с, и эти углы, в своем роде простодушнейший анахронизм, заменены будут мансардами, как в Париже. И вообще, мадемуазель Вараксина выходит за меня замуж, а я — архитектор. Вы поняли, я надеюсь?

— Чего не понять, — сказал Скоробеев и, соскочив со стола, подошел к архитектору:

— Может, вы нас и с новым стилем оставите, а? Мой совет, голых баб налепите снаружи — вот вам и новый стиль, а углы будем звать в нос, хоть по самому распарижскому: ман-сарды.

Скоробеев вдруг вспыхнул, подхватил кверху брюки, крикнул:

— А съезжать нам, сударь, не-ку-да!

---

[1] Ни к чему нам теща,
Ее мы в Африку пошлем... *(нем.)*

— Как вы смеете! — взвизгнула девица Вараксина, раскрывая двери. — Я не такая, чтобы украшать свой дом голыми... Арсений, скажите ему, у нас будут богини, я забыла какие, но скажите ему, они обе одетые, скажите ему...

— Успокойтесь, моя дорогая. — И решительно, совсем хозяином, архитектор еще раз твердо сказал: — Попрошу всех о выезде.

Арсений Половенский с Евдокией Вараксиной спустились под ручку вниз по лестнице «Гельголанда».

— Вот те и белый слон, — сказала тихо и злобно Егорьевна Скоробееву, — наплясал нам беду. Жили тут без тебя все непьющие, не скандальники. Накричал, наплясал. Куда выбраться, куда тормошиться? В ночлежных клоп съест, обжились тут...

И Егорьевна заплакала слабым старушечьим плачем.

Вербинский молча ходил взад и вперед от окна до окна. Липочка, вытянув на колени свои руки и тонкие, иголкой исколотые пальцы, смотрела на черный пустырь.

— Придет ваш монах, черта с два, — сказал ей Вербинский и, схватив шапку, выбежал.

— А и не было его вовсе, все привиделось, все приснилось, — сквозь плач скрипела Егорьевна. — Куды выбраться, куды тормошиться? В ночлежных клоп съест.

— Клопу порошок сыпать можно, — сказал Абдул-Ахмат. — Порошка нет — раздавить можно. С одного места гонят — на другое уходи...

— Бухарец, — сказал Скоробеев, моргая пьяными умиленными глазами, — бухарец, вы — и-де-а-лист,

АФРИКАНСКИЙ БРАТ

I

Аверьяныч, швейцар рисовальной школы, был прежде лакеем у редактора столичной газеты, чем и сейчас гордился. Доход в школе поплоше газетного, и Аверьяныч дорабатывал: договорился позировать в «натурный» класс на сюжет «героический» — почитай как мать родила, чуть разве под шкуркой или плащом.

Прасковья Ивановна, супруга, как-то признала мужа на школьной выставке, как ахнет — и в обморок; два дня обед не варила. Ведь Прасковья Ивановна не как прочие, пустельга да болтушка: душа ее «града взыскует». Зато путь ей к новому Иерусалиму открылся — спасение нашла.

Аверьяныч, наущаемый сатаной, за хлыст поначалу брался — поучить, чтоб жена на свой голос не пела, в штунду не бегала, да скоро азарт потерял...

Жена — руки крестом, глаза в потолок: бей меня, бей, готовь венец ангельский!

— Тьфу, баба!

Дознался Аверьяныч, что община, куда вступила Прасковья Ивановна, оно хоть и штунда, да будто одобрительней прочих: бывают в этой и господа. Больше того — сам квартальный надзиратель, к порядку приставленный, понадзирался сколько мог, да и накати на него благодать: вышел к кафедре проповедника, перед народом в грехах каялся. Карл Богданыч благословил его купить себе книжку святых стихов «Гусли», и стал православный квартальный значиться в новой вере.

Окончательно успокоил Аверьяныча свой барин — редактор.

— Жена у тебя, братец, неплодная, а без ребят какая же в бабе спорость? Радуйся, что спасением души занялась. А насчет правильной веры в Америке уж дознались: что ни чох, то свой бог. Помрем — разберем.

Все-таки в общину Аверьяныч — ни ногой; попрежнему возжигает лампады, но гнева уже нет. Пусть себе верещит про «заграничных братьев», даже словно лестно, будто и он через жену соприкоснулся с Европами.

— Английский брат, шведский брат, а недавно — совсем уж неслыханный объявился брат: а-фри-канский.

Аверьяныч стал чаще бриться и купил себе новых галстуков. Не препятствовал и обращению квартиранта.

У конторщика Петухова в комнате две двери: одна — в коридор, другая, запертая на ключ — в комнату Прасковьи Ивановны. Под эту-то дверь она на стул сядет и в сумерки, когда бесы вот-вот распухнут

и в силу войдут, свои «Кимвалы» раскроет и ну ограждать юного брата от козней.

— Где будешь проводить вечность?

— Где готовишь себе бесконечность?..

Петухов — молодой человек, черные усики кверху, золотые свои часы давно заложил и в своих вечерних делах сообразуется с пением Прасковьи Ивановны. Заведет она стихиру, а он сейчас к зеркалу: пробор сделает, духами опрыщется — и либо к барышням, либо в карты закатится, тех самых бесов как раз и потешит...

II

— Господин Петухов, чайку с нами откушайте да рассудите, уж такие-то дела. — В дверь к Петухову просунулась, как снежный ком пушистая, бакенбарда Аверьяныча и орлиный его нос, оседланный золотыми очками. — Прасковья Ивановна собралась близок свет — в самое в Африку.

Петухов был в большом проигрыше, злой, без пробора, лежал на кровати. Он обрадовался кипящему самовару и вышел.

Прасковья Ивановна сняла чайник дрожащей рукой, поставила не на поднос, а на скатерть, где отпечатался мокрый кружок: волновалась.

— Черные ходят в Африке голые, неумытые, я б их управила... своих деток нету.

— Не благословленны размножением—и терпите, — оборвал Аверьяныч, — к тому же эти черные нагишом охотники бегать. В пустыне Сахаре, читал я, жарища: птица страус снесется — яйцо тотчас вкрутую. А я без

вас, это точно, сопьюсь, и будет ваш грех непрощеный.

— Бог с вами, Аверьяныч, куды я уеду? Только... секира у древа, близок час... Душевно умоляю, пойдите нонече в собрание, африканский брат в последнее говорит. Секира у древа...

Не лицо у Прасковьи Ивановны — боб. Волоса желтые, кукишем на макушке, носик пуговкой, красный, и слезы бегом...

И вдруг Петухов:

— Я пойду, ей-богу пойду. Пусть африканский брат про людоедов расскажет, я люблю про людоедов.

— А за мою душу Елизарыча забирайте, — сказал супруг, — вот и наплакала двух овец. Елизарыч, выходи!

Из чулана вышел, щурясь на свет, приехавший из деревни свояк.

Это был деревенский бобыль, без хозяйки совсем заплошавший мужик. Еще когда швейцар жил лакеем у редактора, он обоих сыновей Елизарыча пристроил в типографию, да парни скоро спились и куда-то сгинули.

Елизарыч поклонился Петухову, присел на край стула. Петухов взглянул и подумал, что Елизарыч под мужика только подделан, а на самом деле это — не то профессор, не то писатель: вот наденет пенсне на сухой с горбинкой нос, близоруко выглянут из-за стекол глаза, и назовешь — кто.

— Припоминаешь, Елизарыч, — величественно тянет швейцар, — ровно три года назад твоей судьбы чудесное было решение. У нас в редакции завтрак был а-ля фуршет, и вслед за кофеем я тебе наказал —

в дверь с ребятками, да на коленки: «Ваше превосходительство, отец родной!» — Он это любил, народный, говорил, жанр.

— Мак рожал, а урожаю не видать, — усмехнулся Елизарыч. — От этого дела мне пользы не вышло, детей растерял. Баба померла — бобыль я; от земли шурья отпятили: хоть в пролубь, хоть в петлю — один конец...

— Ври, да не завирайся, в пролубь... Эк, хватил! В «Дневник происшествия», братец, попадешь, нам, твоим родным, срам...

— Елизарыч, душевно умоляю, секира у древа, ради спасения души... господин Петухов.

— Сходи, Елизарыч, я не иду — африканский брат про людоедов расскажет.

— Да я в простой одеже, от сапог не продыхнуть...

А Прасковья Ивановна:

— Апостолы ходили совсем без сапог...

— Завела граммофон! Уж идите, коль порешили.

И швейцар Аверьяныч сам унес в кухню пустой самовар.

III

Община снимала для бесед и молитвы большую залу у города. Коричневые скамьи амфитеатром взбегают доверху. Степенно уминаются по скамьям сестры и братья. Сколько их — лиц не схватить. Пиджаки, поддевки, белый платочек, как большой мотылек, на голове швейки, кухарки, поденщицы... Простой народ больше здесь собирается: кучера, дворники, мелкий приказчик. Есть и дамские шляпы, и студент,

и военный... У всех в руках книжки: «Кимвалы» и «Гусли».

— Сестра Прасковья Ивановна, мир вам! — подошла краснолицая, как из бани. — И меня господь привел стадо пополнить — от госпожи одной ученой вот-вот отмолим последнего беса... В следующий раз приведу.

— А уж я сподобилась привести, — вспыхнула гордостью Прасковья Ивановна и широко так рукой, как наседка крылом на цыплят, — вот мои: квартирант да свояк из деревни.

— Что же, вы, братья, покаетесь, — не скрывая зависти, напирала краснолицая, — венец хозяюшке, а вам, чай, пирог испечет...

Елизарыч обиделся:

— Ни я вор, ни я пьяница, чего это мне каяться? Шурья обидели, от земли отпятили...

— Гордыня, — отъехала краснолицая, — ну! и привела козлов.

— Подумай, где проведешь вечность... — завела было Прасковья Ивановна, но Елизарыч вслед за Петуховым отошел от женщин и стал смотреть публику.

На верхней скамье, в проходе — огромный мужик с разбойною рыжей бородой, в синей поддевке, тяжело сопя, шевелит губами, склонясь над книжкой, дрожащей в заскорузлых пальцах с серебряным кольцом.

— «Гу-сли», — по складам снизу прочел Елизарыч заглавные, толстые буквы и облегченно вздохнул: не одни бабы тут.

Он хотел выразить, что если уж такой здоровый мужик ходит, так, значит, есть из-за чего ходить,

И еще раз с удовольствием подтолкнул Петухова: не одни бабы тут!

А Петухову из-за этих скамей амфитеатра все цирк вспоминается: лошади, рыжий, такой забавник — как влепит, бывало, негру...

«Лошадям бы тут тесновато, — прикинул он глазом, — а вот шпагоглотательница, мамзель Фифи, та на одном лишь бутылочном горлышке все нумера как откалывает... Она могла бы».

На эстраду внесли кафедру. По ступенькам выстроился хор одинаково одетых, на пробор приглаженных девиц.

— Ну и прическа! — дернул усики Петухов. — Уж точно: корова лизала.

— Это барышни, заметьте, все были падшие, а нонче они спасенные, — поймала своих грешников Прасковья Ивановна, — святые стихи поют.

— Н-ну, и не гуляют? — Петухову хотелось про барышень подробней узнать, но в глубине дверь открылась, и на кафедру вошел высокий, худой человек. Волосы блестели, как под лаком, черной прядью свисали на лоб, отчего проповедник, словно коренник под дугой, то и дело вскидывал голову.

— Карл Богданыч...

И все — на колени, к эстраде спиной, лицом к скамейке, закрылись ладонями.

Петухов, Елизарыч, еще немногие остались сидеть, как сидели.

— Чего они раком-то стали? Молятся, что ли? — И досадовал опять Елизарыч на то, что пошел.

Проповедник, как все, закрыл лицо руками, потом дыбнул головой и — стал говорить. Он разъяснял стих

из Библии и приседал, и подпрыгивал, и выбегал перед кафедру, пояснял простыми примерами из жизни, и вдруг, набрав воздуха, с особым распевом, как колокол, бьющий в ухо, выкрикивал:

— Кто хочет в хорошую вечность? Кто есть призван господом?

— Ишь ты — шустрый, и не постоит! — и порицает и дивуется Елизарыч. От разбитного, будто военного напева «Гуслей» ему вдруг бодро, так вот и пошел бы куда глаза глядят, без грустной думки.

А проповедник уже о Страшном суде, о пришествии скором. Главное, торопит, вздохнуть не дает — спасай себя от жены, сегодня же, нет — сию минуту.

— Спасение поселилось в здешней общине, где сатана не имеет уже ни одной тронной залы, и можно даже выразиться: он ущемлен верующими за самый свой хвост.

Басовитый огромный брат регент взмахнул палочкой и спел с хором бывших падших барышень аллилуйю.

После аллилуйи Карл Богданыч воздел кверху руки, отчего манжеты, не пристегнутые к рукавам, съехали на самые кисти и между их каменной белизной и черным сюртуком зажелтела волосатая кожа. Потом Карл Богданыч помолчал и вдруг очень весело рассказал про гоголевского ревизора.

Смеялись женщины в платочках, извозчики и приказчики. У Елизарыча прыгала бородка.

— Ишь ты, ловко поддел публику, — отозвался он по адресу Хлестакова. И как посмеялся он со всеми вместе, все будто стали ему не чужие. Роднят людей слезы, роднит и смех.

А Карл-то Богданыч, экий непоседа, опять руки над головой, глаза куда-то бегут по скамьям снизу доверху, к себе людей тянут, и очень медленно, разделяя слова, отчего каждое приобретает особую важность, он говорит:

— Одной секунды, брат и сестра, довольно для твоей вечной гибели, и той же самой секунды, как разбойнику на кресте, довольно для моего и твоего вечного блаженства. Итак, последний раз: кто идет? Кто слышит божий зов? Кто? Кто?

В слезах — сестры и братья. Не выдержав напора, раскрывается простая душа.

— Кто позван, кто?

Встала одна; пошатываясь, идет к кафедре. Вихрь по скамьям — сатана отпустил.

— Я — великая грешница, я блудница, я пьяница, — торжественно говорит женщина.

А Карл Богданыч с одобрением:

— Магдалина была тоже блудница, сестра моя, — и слегка охрипшим от выкрика голосом, вскидывая черную прядь: — Помолимся за одну эту блудницу и пьяницу.

Встают как дети, как дети молятся.

Бежит по скамьям горячая искра, друг от друга зажигаются люди, отмягчаются одинокие души. Кайся в миру, мир поддержит, все братья, сестры, одна семья — дети божьи. Горе, скорбь — у каждого, чужое возьмешь — свое полегчает.

И вздохи, и шепоты, и все новые идут к кафедре, как к причастию, и непременно торжественным голосом, благолепно, как бы утверждая себя в почетном

чине, говорят про пьянство, про блуд, про драку и сквернословие.

Иные, стыдясь речи, кладут белый листок проповеднику и, повернувшись к народу, скрестив руки, стоят как бы скованные внутренним жаром, пока близорукий Карл Богданыч, свесившись своим черным чубом над бумажкой, так чудно, не по-русски выговаривает:

— Молитесь за слабого Адриана, он есть дебошир и ленивец.

И встают и молятся.

— Скажи, пожалуй, признался! — не перестает дивиться Елизарыч. Ему трогательно, жалко грешных братьев, жалко себя. Рассказать бы о своем бобыльстве, о шурьях обидчиках, чтобы узнали его тут, словно бы на руки подхватили, дали бы силу дожить. Как скажешь-то? Язык — суконный.

А ломовика-то ведь разобрало: сам в два обхвата, разбойная борода, а слезу так и сыпет.

— Должно, бабу свою уходил, ишь кулаки... — со знанием дела шепнул Елизарыч Петухову.

А Петухов-то — уж со всеми садится, со всеми встает!

Вот бывшие падшие девицы вынесли из глубины большие какие-то карты, развесили их на мольберты, брат проповедник сошел с кафедры, а на его место вспрыгнул очень легкий, небольшой человек.

— Африканский брат, — зашептали ряды, а он положил перед собой на кафедру какой-то белый узелок и взял из рук одной девицы длинную палку.

IV

Африканский брат, доктор, культуртрегер, говорил о громадном озере, где желтая лихорадка убивает приезжих людей, где черные, как деготь, туземцы, недавние людоеды, вместо бога поклоняются змеям.

— Одной дремучей змее, — как из пращи мечет тяжкий брат переводчик, возникший рядом с африканским, на кафедре.

Легкий африканский брат закрутился со своей длинной палкой направо, налево, гораздо лучше сам поясняя слова ужимкой, движением, всем быстрым лицом. Он любит своих дикарей, и во что бы то ни стало ему надо к ним вернуться со свежими силами.

— О, пожалейте, братья и сестры, этих наших черных братьев! — вопит переводчик, держа руки по швам. — Черные братья даже совсем раздетые, не знают наших «Кимвалов» и «Гуслей»...

Африканский брат длинной палкой указывает на картину, где, на кубовом небе и сплошной охре пустынь, десяток каких-то черных с кольцами в носу исполняют дикий танец перед толстой змеей, глуповато свесившейся с дерева.

— О, пожалейте черных братьев! Они умирают без веры и надежды... — И, помолчав, переводчик прибавил: — И без наших медикаментов. Тот, кто поедет к нам в Африку, будет друг ихний, ангел-хранитель. Всякий белый человек, не имеющий даже образовательного ценза, будет там очень нужный, он будет там... — И, вобрав в себя воздух, впервые подняв веки над водянистыми большими глазами, переводчик возвел к небу руки и, благоговея перед значительностью своих слов, сказал:

— Каждый белый человек будет в Африке — герр профессор.

Где была Африка, знали не все, но все, детски веруя, вдруг поняли, что именно там, в этой Африке, будет особенная, значительная жизнь, а они, такие здесь бедные, серые люди, там, у черных, будут первыми нужными людьми.

Африканский брат развязал свой узелок, по одному показывал убогие талисманы, которые дикие вынули из носов, из ушей в знак своей скорби о разлуке с ним и отдали с плачем ему на хранение.

Вставали со скамей, усмехались, трогали пальцами, вот уж особенно, будто кровью роднились через синие бусы, через эти ракушки и рыбьи кости с черными братьями.

— Это вынуто из одного носа.

— Этот камень распирал оконечность одного уха...

И, как дятел, долбит переводчик:

— Вы каждый будете там — герр профессор!

Вдруг культуртрегер сбежал по ступенькам с эстрады в залу собрания и стал показывать притчу о добром самарянине. Маленькой рукой махнул переводчику — перевод уже был ни к чему. Непонятны слова, но для всех понятна на лице проповедника и горькая мука раненого и черствость мимоидущего. И каждый вспоминал: это он сам прошел мимо, ведь это он не помог.

— Степку-то, Степку-то бросила, окаянная,— всхлипывает та, что каялась, а за ней все — в слезах, все, не отрываясь от африканского брата, как оркестр от палочки капельмейстера, заражаются тем самым чувством, которого он хочет от них.

Вот нежданная, всегда трогающая готовность врага, и опять тот же голос, той же женщины:

— Степку-то, Степку кормить надо бы...

— Что это он — словно актер! Так не полагается,— защищается от культуртрегера Петухов, и защититься не может. Самому словно жалко чего, а от жалости легкость какая!

И вспомнилось:

Идет это он из деревни с покойной матушкой-богомолицей в Ильин день в большой город к храму. Вспыхнут из-за пригорка золотые макушки, развяжет матушка узелок, тут же на траве приоденутся. И в красной кумачовой рубашке так весело, подхватишь себя под коленки, вот-вот взлетишь... Сейчас будто и непохоже, а ведь вот — летать захотелось.

— Братья, сестры!.. — завопил было переводчик и запнулся.

Африканский брат, легкий, весь свинченный, словно велосипед, такой ладный, схватил обеими руками грузную руку переводчика, гвоздил водяные глаза его умными быстрыми глазами, шептал что-то, словно заряжал своей прытью. Бросил руку, схватил рыбьи кости, на шею накинул бусы, понесся по рядам.

А брат переводчик, как хворост от огня, хватив жару от доктора, вдруг и голос нашел:

— Много ль вас кто здесь делает дело, о котором может сказать — это важное дело, братья и сестры? А там, в Африке, каждая протянувшаяся твоя рука утрет слезу, и научит, и спасет одну душу. И это наверно, и это там в А-фри-ке.

Доктор культуртрегер, обвешанный бусами черных, с рыбьей костью в руке, горя одним: к своим дикарям,

которых любил, привезти свежую помощь, — обежал все ряды, всем шептал, всех прожег зорким глазом.

Потом он сказал, ни на кого не глядя, совсем просто, как говорят только самые близкие:

— Кто со мной хочет в Африку?

Переводчик махнул. Все поняли. Стало очень тихо.

И вот, как столб, во весь рост, тяжкий возник извозчик с разбойною бородой и, скрипя сапогами, подошел к кафедре и хрипло сказал, кивнув толстым пальцем брату-переводчику:

— Вписывай, значит: ломовой, Терентьев Федор.

Из хора вышли две девицы, еще — часовых дел мастер, и еще...

Всех записывали, всем африканский брат тряс руку, все пели почетный стих из «Гуслей».

— Кабы мне да свободушка, — причитала Прасковья Ивановна, — сиделкой бы я к черным братьям или чем ни на есть.

— Русские, да в Африку! Вот вздор, вот идиотство, — и сердился Петухов и так ему странно, — вот напиться бы до отказа или штуку выкинуть.

А Прасковья Ивановна уж с плачем:

— Здесь что ни сделаешь, ведь все не наверное для души, а там-то, слыхали...

— Там самостоятельно, — подтвердил Елизарыч, — там дорог человек как мать родила, там человеку место, а земли в этой Африке — материк.

Елизарыч задергал бороденкой, морщинки, как солнечный зайчик, то лучились, то пропадали вокруг глаз.

— Прасковья Ивановна, что же это, ей-богу, уеду в эту самую... Ни кола у меня ни двора, а там черному-то я — ровно царь.

Африканских миссионеров поздравляли. Брат регент махал палочкой, зала пела, пела из «Кимвалов» и «Гуслей» в их честь. Потом брат-переводчик от имени доктора культуртрегера стал предупреждать записавшихся об опасностях, им грозивших:

— Желтая лихорадка, дремучие змеи, — заламывал белые пальцы с лопатообразными ногтями.

— На все на это воля божья, — густо оборвал извозчик, за ним и все: — Воля божья.

У Елизарыча вокруг глаз залучились морщинки.

— Господин Петухов, Прасковья Ивановна! Ей-богу, уеду я в эту самую... Ни кола у меня ни двора, а там черному я, выходит, царь...

И Елизарыч, проходя с Прасковьей Ивановной к выходу мимо кафедры проповедника, остановился, дернул, как козел, бороденкой и вдруг, тыча в грудь переводчика, зачастил:

— Крестьянин Сержейской волости, деревни Приснухиной, Елизаров Иван — значит, в Африку.

Петухов вспыхнул. В один коротенький миг пронеслось в его голове, что свою Диночку уже давно он не любит, что вся жизнь его — просто зря, а в самом-то в нем примечательного — разве что усики. Ну и черт возьми, когда так!

— Пишите в Африку, — сказал Петухов переводчику, еще не поднявшему головы от листа, куда, перевирая, заносил трудный текст Елизарыча, — шрейбен зи ейн, — и добавил: — Петухов, интеллигент.

В МОНАСТЫРЕ

I

Стоит, качается у грязной пристани свежепокрашенный монастырский пароход; на мачтах у него золотые кресты, а голубые билеты стрижет в кассе ножницами не обыкновенный угрюмый кассир, а сладкогласый о. Арефий.

Пропускает Арефий одного по одному серых богомольцев, а сам знай косит смышленым глазом на нестарых еще барынь-завсегдатаек, что павами проплывают в каюты. За барынями толкутся богомолки по обещанию, и купец, и военный, и батюшка в потертой ряске, и несчастный алкоголик Александр Иванович под руку с своим приятелем маляром.

— На излечение, — подмигивает паре Арефий, — ну что ж, не впервой, послушание примите — беду как рукой.

— Тягчайшего, отец, попрошу, наитягчайшего, ибо я есть ал-ко-голик...

— Последнюю трешницу в момент прочайпили, — прерывает маляр и, обхватив приятеля, ведет прилечь на канаты.

К Арефию подходит какой-то толстый в очках, трясет ему пухлую белую руку:

— Самому в монастырь нонче некогда съездить — вам, отче, крестниц препоручаю, девицы они пугливенькие...

— Уж мы досмотрим, попечение иметь будем, — щурится на розовых барышень Арефий, блестит зубами промежду черных как смоль бороды и усов, жмет барышням ручки и бежит обратно к своей кассе, почему-то другим ходом — мимо третьеклассников и багажа.

— Шельма, — хрипит Арефию независимый из богомольцев, с обмотанной шеей, — дом себе целый наплавал, и вменяется ему сие плавание в послушание...

Последний возглас иеромонаха, напутствующего молебном отъезжающих, последняя запоздавшая старушонка с жестяным чайником и узлом, пароход свистит, с неба сеется частый дождь, и сквозь него сразу далекими делаются красные фабрики берегов, а скоро и вовсе пропадают в густом, как туча, дыму парохода.

Долго охают и крестятся богомолки в платках, просят Николу о безбурном плавании, роются в своих корзинах и сумках и, сбегав за кипятком, тянут горячий жидкий чай.

— Гурий, слышь, Гурий, — высовывает из каюты Арефий черную бороду, — чайку бы нам с лимончиком да расстегайчика...

Гурий — молодой послушник при буфете. Чуть опушил ему первый пух лицо; волосы у него очень

черные, кудрявые, кожа белая, как бывает только у иноков, а глаза неподходящие — светлые, голубые; нельзя пройти мимо, этих глаз не заметить: как пустые, смотрят они на вещи и на людей, ничего для себя не удерживают, ничего никому от себя не дают.

Мысли одолели Гурия, да мудреные... Сплели душу, что буйный хмель оплетает тростинку, — вот-вот не выдержит она, подломится, где же тут воли взять мир принимать, себя миру давать. Тут впору одно: в пещере схорониться, света божьего не видать.

Просился Гурий у о. игумна совсем из монастыря, а тот, возлюбив юнца за тихость, благословил к Арефию на пароход: дескать, по молодости лет плаванием развлечется, мирской суеты насмотрится, а мирским душа чистого скоро пресыщается, вновь запросится в тихую радость обители.

И мог так просто думать немудрящий старец, ведь и ему, как никому из братии, своих тайных мыслей не открыл Гурий.

Да, Гурий... Вот носится сейчас по лестницам, из буфета на палубу, то с пирожками, то с кофеем, все молчит, пустыми глазами мимо лиц смотрит.

В каюте, слышно, пищат с Арефием розовые барышни:

— Мы и по скитам хотим потрудиться, мы и на полунощницу сходить не поленимся.

— Ой ли, не верю, — жеманится Арефий, — вы не на богомолье, вы для провождения времени, остров обозревать... хе-хе. На палубе дождик, что мак, сеется, а у нас в каютке вдвое теплей, с чайком и лимончиком — втрое, с вами, медмезель, — вчетверо.

— Ах, какой вы математик! — веселятся барышни.

— А на обед нам, слышь, Гурий, сижка-толстопузку да сладкого, что послаще.

Шумит, бежит пароход, везет пассажиров.

Опять богомолки на желтых корзинах, читает «Новое время» военный, бунтуется на канатах алкоголик, хочет сесть у борта, а приятель его не пускает:

— Не хорошо вам, Александр Иваныч, голова закружится, долго ль в водицу трах-чебурах; лучше отлежитесь — ан к обители дух излетучится, неблагоприятно ведь с духом-то. Вот как ослабли, — обращается маляр к публике, — а между всем прочим, они благородного происхождения-с; я хоть простого звания, а много их аккуратней.

— Протрезвится — не дешевле тебя будет, — обрывает независимый с кутаным горлом. — И большой пьяница сам исправится, а дурака, брат, могила.

— Слаб, слаб, — убивается Александр Иванович, тонкой рукой обирает с давно не бритого лица длинные волосы, упавшие на кроткие, нетрезвые глаза. — Сказано: аз есмь ал-ко-го-лик, погибший человек, а людей люблю. Вон там черти, — он махнул рукой на встречные баржи, — там черти рабочих гноят. Когда не пьян, я о них плачу; впрочем, пьян я всегда. Мира не приемлю! — Александр Иванович всхлипнул. — А мир меня; по-французски — реципрок.

К вечеру вышло солнце: молодыми барашками разбежались по небу облака, и вдруг под огнем заката в нарядном убранстве предстала обитель. Высоко на горе белый храм с уходящими в небо синими куполами, сады, огороды, золотые кресты часовенок, красные скалы в разноцветных бархатных мхах, лодки с монахами в тихих заливах.

Клобуки, яркие зонтики, картузы, платочки.

На козлах двухместного тарантаса, с парою толстых монастырских лошадок, подростки-послушники кучерами.

Вышли свежие пассажиры, смешались с встречающими — одна толпа.

Радуются монахи приезжим: больше гостей — больше доходов. Любопытны свежие гости, но сердцу милей старые знакомцы, притом же они с гостинцем: кому в руку коробку сардинок, кому табачку, а послушнику Дормидонту — «Тайны Мадридского двора».

Залился алою краскою Дормидонт — еще бы не рад! Подбирается у него понемногу светская библиотечка, как раз и помещение для нее недавно закончено: будучи в столярном послушании у о. игумена, нарочно благословения испросил кровать себе новую сделать — старую, дескать, червь источил.

Благословил усердное послушание простодушный игумен, и Дормидонт на диво сработал кровать, отполировал — смотрись ровно в зеркало, а дно двойное; по рисунку дерева кусок выпилен, ан под ним библиотечка малая: Нат Пинкертон, Арцыбашева «Санин» да Льва Толстого, великого еретика, сочинения.

Узнает о. игумен — по головке не погладит, особливо за Толстого: такого ересиарха, монахи говорят, в монастыре держать, все равно что бесам двери настежь — пожалуйте.

Недаром в коридоре вдоль кельи большие листы порасклеены с устрашающей аллегорией: Христос среди белых барашков. Со всех сторон еретики сквозь щели забора этих барашков увести норовят, и подпись под каждым еретиком: баптист, адвентист, братчик,

папизм — некто всех выше ростом с тиарою. Социализм — тоже ересь, расхлестанный парень: картуз набекрень, в зубах цигарка. У каждого еретика на плече черт хвостатый, а у стоящего на пригородке, не в пример прочим, графа Толстого — черт с языком змиевидным и всех хвостатее, для наглядности и сравнения.

Знает Гурий: одна цена любимцу Дормидонтову «Санину», совсем иная — книжкам Толстого, да толковать неохота; нужно будет Дормидонту — и своим умом доберется, а нет — и того счастливее дни протянет.

«Ох, познание — великая грусть», — часто, бывало, о. Павлин говорил.

Отец Павлин...

Есть о чем раздуматься Гурию, да где мысли собрать? Назначил о. гостиник дежурным; от богомольцев ни шагу, и ночью покоя не дали, перессорились из-за коек, до утра разнимал. А чай выпили — развози их по святостям.

Веселые розовые барышни бегут первые к паровому катеру, бежит и гостинодворская чета, старший приказчик с женой — стиль модерн: высокие каблучки, шиньон барашком. За ними грузный, багроволикий купец, важные барышни.

В третий класс, на огромные баржи, канатом привязанные к катеру, идет простенький, из провинции, батюшка с своей попадьей, и народный учитель, и картузники, и богомолки с пузырьками для святостей, и целая рота солдат.

— Са-адись, ребята! — командует молодой офицерик, еще без усов и — скорей к палубе первого класса, откуда кто-то машет платочком.

— Сюды, служивые, сюды... — наперерыв приглашают монахи, охотно теснятся, запахивают ряски, чтобы очистить просторнее место.

Доверчиво рады друг другу, шепчутся про начальников, про порядок, про пищу, про правила — все будто разное, а все похожее, и тут нет своей воли и там; а всмотреться — и лица похожие, даром что у монахов заросший лоб ушел под клобук и черный подрясник бьет по пятам; всюду те же простодушно-лукавые, или смиренные, или совсем продувные черты ярославца, москвича, тверичанина, все вместе — большие несуразные дети: Русь военная, Русь монашеская...

Две-три черты, и легко переделать одно лицо в другое: сбрить вот этому, что рядом с молодцеватым фельдфебелем, разбойничью рыжую бороду, от густых кудрей оставить слева чуб, заломить набекрень лихо шапку — чем не казак? А тихому солдатику, что на окрик «пос-суньсь!», когда и двинуться уже некуда, кротко поджимается, ему б вот клобук да ряску...

Спокойно греет солнце с ровного синего неба, бодро бежит паровой катерок, на буксире ведет за собой огромные лодки с монахами, солдатами, богомольцами; жужжат, как улей, пригретые люди.

Беззубый батюшка, которого матушка зовет Семочкой, а он ее Симою, поспел слазить и на колокольни и древлехранилище осмотрел и сейчас дивуется:

— Ирмологий-то, Сима, каков, пятнадцатого столетия, полуустав. Анфологион древний, алфавит фифами, фифами... еще архиепископом Иоанном Максимовичем составленный.

— Этого, Семочка, ничего я не смыслю, — отмахивается китайским веером от комаров попадья, — но мне любопытней река «времен всемирной истории», аль вериги весом с полпуда, аль вот еще...

— Если вы сами себя довольно уважаете, то в подобной тесноте извольте свой зонтик закрыть, — шипит на матушку толстая мещанка с мальчишкой-картузником на руках, — глаз ребенку выколете.

— Спицей и кепку ему не достать, от нахальности своей просите, — вспыхивает матушка.

— От нахалки и слышу!

На корме шепотком судачат монахи: недавно постриженный белокурый жалуется другому, постарше, на своего старца, что дюже капризен:

— «Ты, грит, Никандр, раздражать меня не помысли, почитай, духом слушайся. Ты меня, ты меня...» Кишки тянет.

— А я так Николая встретил намедни, — озираясь, вторит приятель, — тот за два шага благословлять норовит, буде встречный забудет, что он, Николай, в иеромонахи пожалован. А благословлять-то по правилу не обвык; сомкнет чудно персты в щепотку — ровно любимым своим табачком посыпает, любитель ведь был, хе-хе.

— Чего был? И есть и будет — где монах, там табак.

— У барынь нонче волосья густые пошли, с чего б это? — пытает послушник солдата.

— Не свои, чай, — смеется солдат, — песьи...

— С покойников, бесстыжие, носят, — ворчит седой, грубый монах, — с покойников. Штраф на них сотенный — опростоволосели б. К нашему Нестору-

послушнику одна такая о прошлом годе пристала. Нестору идти под призыв, а господь благословил его гущиной — до ремня. Золотые волосья, что рожь. Вот барыня и пристала: продай ты мне волосы, двенадцать рублей дает.

— Скажи-ите, — дивится солдат, — за волосья-то? Да неужто не продал?

— Ты и продавай, а наш Нестор отвещал сей сороке с гордостью: божьим благословением не торгую, где отрастил, там и оставлю.

Пересудники и сплетники монахи, что бабы, и таких много, большая часть. Мужицкий монастырь: грамоте братия здесь научается между тяжелыми послушаниями и почти непрерывным церковным стоянием, где тут к чтению пристраститься? В свободный час только и впору отдохнуть — посудачить.

Завернул пароход на скиты, потянул за собой огромные широкодонки с богомольцами, пошли служить молебны.

На минуту вспомнилось Гурию, как еще недавно, когда приходилось посещать эти маленькие острова с уютными церковками и часовнями, с пещерами подвижников, одна была мечта: благословил бы господь им сподобиться. И ведь вот не вернуть — увяла душа. Равнодушно указывает Гурий богомольцам на святыни, по готовому, печатному объяснению, не своими словами восхваляет пустынножителей; не забудет прибавить, как это принято у монахов для назидания мирян, в память какого святого не вкушают молока, где отреклись рыбного, где не пускают в храм женщин, — а на сердце, ровно в погребе, холодно да темно; вот только за пением чуть отпускает...

На обратном пути всю дорогу монахи поют «Красу обители» — вдохновенную, сердцу близкую песню. Каждое слово в песне им правда, каждое красота, как вторую отчизну, всякий нелицемерно любит тихие воды заливов, красные скалы, дремучие ели.

— Богоизбранная обитель, пречудный остров...

Хорошо поют монахи, словно распеленывают свои взнузданные, съеженные души в приволье песни; не могут удержать слез богомолки, подпевают солдатики, и батюшка Сема, и матушка Сима.

А только приехали — опять в церковь, акафист Иисусу сладчайшему.

Двумя каменными лестницами идут чернеризцы и богомольцы, кто поусердней, в большой верхний храм, а их будто провожают святые угодники очами, простертыми для благословления руками и паникадилами; все черные клобуки, все схимы, редко пышное княжеское облачение, еще реже — женщина.

В уснащенной золотом, хоругвями и образами церкви стоит у своего темного резного седалища о. игумен — глубокий старец с добрым, справедливым, мужицким лицом, стоит, молится, по сторонам не смотрит.

Славят певчие Иисуса, сравнивают его с крином райским, с миррой и нардом. То и дело проходит гоголем от одного клироса к другому о. Иустин, голосистый кононарх, и, не жалея горла, так, что в ушах щекотно, подает канон, а ему, как из пропасти, отдает голос октава.

Торопится Гурий к тихому монастырскому кладбищу — хоть до вечерней трапезы побыть одному, ан и на кладбище нет безмолвия. Тут как тут розовые барышни,

а с ними, всеконечно, Арефий, да еще учителек семинарии в желтых перчатках, с каким-то значком на груди. Фасонится Арефий пуще прежнего перед барышнями, про свой подвиг рассказывает. Гурий уже раз с сотню рассказ этот слышал: как пароход как-то прорезало якорем наскочившего в тумане судна, Арефий не растерялся, пробоину затыкал, пассажиров перепуганных успокаивал: уже не смирением иноческим, а своею, можно сказать, собственною натурою.

— Какая такая у вас натура? — играют барышни.

— Темпера́мент бурный имею!

Однако, подойдя к строгим монашеским гробницам, Арефий вдруг вспомянул свой сан, с достоинством, словно окутываясь добродетелью погребенных, читает: монах Исаакий, ревностно потрудившийся в послушании и в обилии источавший по кончине и при отпевании ток живой и чистой крови...

— Обратите внимание: плита серая, дорогого камня, буквы красные.

Духовник иеромонах Агафангел... иеросхимонах Анастасий, ризничий, письмоводитель, не знавший праздности, иеросхимонах Евфимий, пустынник и старец, просиявший глубоким смирением.

— Нет, вы сюда, медмезель, перекиньте глазок, — ревнует успеху Арефия учителек, — тут в сторонке и частные лица сподобились, примечательна орфография...

И, крутя ус, не без светской иронии, учителек водит тросточкой по камню:

Дотоле слезы будут литца,
пока мой дух с твоим не съединитца.
Благодарный муж из Детми.

Ударил на большой колокольне колокол, на руках донесло густой важный звон до кладбища, заторопилась компания, не опоздать бы к вечерней трапезе; опоздаешь — сиди голодным до утра, кому удовольствие.

Опять ползут по черным коридорам старушки-салопницы, картузники и девицы, чинно строятся в трапезной вдоль столов, уставленных тарелками с хлебом и жбаночками квасу, прикрытыми белым вышитым рушником, спеша крестятся, хватают ложки. Послушники, вихрастые здоровые парни, все словно бы не монахи, а запорожцы из древней Сечи, заносят ловко над головами горячую кашу, ставят миску враз промежду четырех богомольцев, с скороговоркой-молитвой:

— Сусе Христе, сыне божий, помилуй нас.

Насытятся богомольцы, помолятся и по кельям — окончен долгий монастырский день.

II

Ночью Гурий проснулся раньше звонка на полунощницу; вскочил и спешно вышел из своей кельи в монастырской гостинице.

Какое безмолвие! В пустых бесконечных коридорах чуть мигают лампы, и неподвижными, притихшими бесенятами, взявшими руки в бок, чудятся самовары, выставленные за дверь каждого номера. Только у богоматери, против входных дверей, во весь огонь, как и днем, неугасимая теплится лампада, бросает красные отсветы на украшающие образ фольговые цветы. Лик богоматери темен и велик.

Гурий тихо прошел черным ходом, мимо белых келий братии, мимо судомоечной. Там днем стрекочут без умолку богомолки, после трапезы моют посуду, а промежду них то и дело снуют с белыми чайниками и русокудрые и смолекудрые послушники, и красавец с иконы суздальских мастеров Нимфодор, и о. гостиник, что рыщет, как кот, зеленым глазом. Сейчас безмолвие.

Мелькнул дежурный монах с фонарем, чуть брякнул ключами и прижатым к подрякнику колокольчиком, бежит будить братию...

Спит за оградой цветущий шиповник, спят темные сосны, и заливы, и скалы, спит чудный весь остров. А над островом и небо и звезды.

Большой собор с немерцающими крестами многоголовый выходит из зелени на предутреннем небе; в открытые настежь двери храма видать — теплятся отдельными огоньками свечи, стоят два-три неусыпных старца в длинных черных мантиях. В притворе и на дворе еще пусто; без теней ровные, темные притаились деревья.

Гурию жутко: безмолвие, белизна, сотни притихших жизней, черная вода без течения под мертвыми скалами...

Но вот по красному огоньку фонаря можно следить, как, словно летучая мышь, черной тенью взлетает дежурный брат вверх-вниз по витой лестничке в келии братий, колокольчик дзинькает жидким звоном, а за ним надрывистый тенор: «Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас, пению, бдению время, молитве час...»

В часовне между розами, мальвами и другими кустами дрогнул вздремнувший старец, смигнул тонкий сон, оправил лампаду, ждет — не спросят ли свечку.

«Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас...»

Чуть звенит колокольчик от дальних келий, а из ближних уже плывут черные клобуки, не глядя ни на мальвы, ни на шиповник, уставя очи в одну землю; в притворе облачаются монахи в черные просторные мантии и, шурша ими по каменным плитам, идут в алтарь.

Видит Гурий издали аналой среди церкви, кто-то высокий читает из древней книги, освещая страницы желтенькой тонкой свечой, возвышает голос местами, где надо, и падают на колени монахи, склоняются к каменным плитам черные клобуки.

А с неба Денница — большая звезда, словно живая, смотрит на призраки зеленой северной ночи.

Всего год назад и он, Гурий, лежал на полунощнице дольше всех на холодном полу, плакал не только о грехах — о делах несовершенных, о тайных помыслах...

Теперь в храм не вошел, спустился никем не замеченный к озеру и, когда уверился, что поблизости нет никого, сел на камень и крепко задумался.

Вспомнил, как еще недавно, вернувшись с полунощницы, бывало, достаивал ночь в своей келье перед киотом с розовевшими от лампады окладами и ожившими в свете ликами.

«От юности моея мнози борют мя страсти...»

В изнеможении и сраме лежал долго, прильнув лбом к половице, пока вдруг, разрешенный от тягостей, окрыленный незримым утешителем, в сияющей

вере приветствовал восходящее солнце, благословлял радость, и горе, и все судьбы людей.

Два года выполнял Гурий тягчайшие послушания: и кашеваром был, и злому настоятельскому коню Соколу конюшню, как собственную келейку, выметал; и все это с пламенем, с такой ретивостью, что, случалось, его братия замертво выносила из церкви — немощна плоть была, не поспевала за столь борзым духом. Отец игумен обеспокоился, определил Гурия в иконописную мастерскую, сначала так, для отдыха, а оказались способности — и оставили. Тут вот и вышло знакомство его с о. Павлином, поэтом и первым иконописцем обители.

Пригрел о. Павлин Гурия ласковой речью, привязал к себе, что пса верного, душе его первый совет дал. Стихов знал он несметное множество и сказать их умел хорошо, ко времени. Где-нибудь в дальнем скиту, куда иной раз благословлялся у о. игумена с послушниками на этюды для фона, станет о. Павлин на высокой скале над обрывом. Огнем горит небо, внизу вода — золото, над водою, как памятник темной бронзы, недвижимый замрет о. Павлин, вознесет медленно руки, клобук долой, пушистые кудри, как сиянье вокруг чистого лба, голос душу пронизывает:

— Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной
я влачился...

Или вечером у залива, когда потухнет солнце, а ночи все нет и оставленной богом, холодной покажется вся обитель, о. Павлин у себя в келейке на сундуке сидит задумавшись, съежится, словно знобит его, и

вдруг немолодой, много чего испытавший, заговорит шепотком уже свое собственное:

— Лишь во тьме мы звезды различаем...

Тяжко Гурию вспомнить о. Павлина: душе он первую радость дал, он же и отраву влил.

Проступают, как огнем сжигают, события недавних дней: как-то в свободное время направлялся он по обычаю в келью о. Павлина, а путь перерезал ему седой, суровый монах, ненавистник женщин, о. Иона-постник.

— Ходи, ходи, до добра доходишься, — сказал, ровно плеткою стегнул.

О. Павлин к себе в келью впустил всего на минуту, стоял перед глубоким, в сад выходящим, окном, бледный и старый, с заплаканными прекрасными глазами. Обернулся, положил руки Гурию на плечи, сказал молящим скорбным шепотом:

— С тобой, юноша, честен был, таким меня и попомни... Иди.

К вечеру не стало в обители ни о. Павлина, ни послушника Петеньки, — обоих свезли сытые игуменовы лошадки в разные стороны, на отдаленные пустынные острова, а братия за трапезой есть не могла, шушукалась: на Гурия глумливо подмигивали, задавали непотребные вопросы, и когда он, далекий от монашеской сплетни, сказал, негодуя, что никакого он худа от Павлина не видел, только стихи его слушал да псалмы вместе пели, так и прыснула братия и пошли нашептывать со смаком, уснащая быль своей поганью.

Чуть держась на ногах, пошел Гурий в вечер того страшного дня не ко всенощной, а в монастырскую больницу, к доброму заведующему о. Паисию.

О. Паисий, благой лекарь, он хоть по званию фельдшер, а любого врача за пояс заткнет; кроме того, день-деньской ведаясь с различным монашеским недугом, знает он, сколь много приходится нести каждому человеку, и не обременит своей рукой никому и без того горькую ношу.

— Ты что, — обернулся к Гурию, на высокий морщинистый лоб вздернул стальные очки, — от какой такой болезни?

— Не могу пребывать с прочей братией, — сказал Гурий, зная, что Паисию выдумывать незачем.

— Эге, Павлином укоряют, — усмехнулся Паисий, — ну, иди на крайнюю койку, сейчас последнего болящего отпущу, пусто тут, отдохнешь. — Эй, страдалец, твой час!

— Ой, не можно дышать мне, отец Паисий, — пожалуется красноносый Демьян-пьяница, — к грудям подступает, удавиться мне впору.

— Отложи... И своей смертью, бог даст, помрешь, аквы жизни глотни — и отпустит. Сразу, брат, курица — и та пить не прекращает.

И разбавляет о. Паисий чистейший спирт водой, дает выпить о. Демьяну, а чтобы духу не слышно, оставляет на отдых до завтра — проспись.

Ушел спать Демьян, остались Паисий и Гурий одни. Паисий копался над чем-то в своем медицинском шкафу, спиной к Гурию, а тот шагнул вдруг к нему, от волнения бледный, и, дрожа весь, сказал:

— Где у вас правда здесь, где? Лучшие монахи: один развратник, другой пьяницам потатчик...

— Ой, щенок, — качнул головою Паисий, — глуп, а кусавый. Ты что видал от Павлина? Темной души своей просветленье. Добро его проглотил, а на грех пальцем тычешь. Не твое это дело, да и ничье. Кто судить Павлина берется, сложи стих столь дивно, сколь он их слагал, или образ богоматери скорбный измысли, что без сокрушения взирать невозможно...

— Зачем допустил себя?

— За-чем? — передразнил гневно Паисий. — А ну-ка кровь его буйную заместо своего лимонада в жилы влей, тогда и спрашивай. А лучше попомни, что до часа, пока Павлин бесом не уязвляется, сравнится ли кто с ним по высокому ладу души, по парению мысли! И меня моим пьяницей не кори: кому на горе́ стоять, охранять свои ризы белые, а кому к пьяненькому, к слабенькому в грязь его прыгнуть, попридержать, чтобы совсем, с макушкою не увяз. Тут вас, монахов, тысяча человек: и дураков, и мерзавцев, и ребят желторотых, как твоя милость, — всего вволю; а ближнему служителей, а богу представителей — раз-два, и обчелся; из них, сколь ни слаб в падениях, — Павлин заключается.

Принимает умом-сметкою Гурий оправдание Павлина, а своим чистым, нерасколотым, еще не знающим сердцем принять не может; помнит, как стоял он на скале, темной бронзы изваяние на золоте неба:

— И шестикрылый серафим на перепутье мне явился...

Не греха, не слабости простить Гурий Павлину не может, а обмана, а совлеченного белоснежного одеяния...

Из цельного камня, тверда душа юноши, и смертельно для такой души раз подсекшее ее веру сомнение. Как из прободенного меха по капле уходит вино, так и сомнение, пробравшись к тому, кто себе самому не умеет солгать, возвращается снова и снова, как злой тать, пока не расхитит последних сокровищ.

Вздрогнул Гурий, глубже наметилась между черных бровей первая морщина, обхватил руками голову и, глядя в черную, не оживающую без солнца воду, вспомнил другое, тягчайшее опустошение.

Спасаясь от смертельной тоски после отъезда учителя, как утопающий хватается за плавательный круг, в свободное от службы время с головой ушёл Гурий в рисование.

Неутомимыми пальцами зажмет уголь и, устремив внимание на мучительную Лаокоонову маску, уже как бы не принадлежит себе; прослеживает ромбической формы пятно с скорбной вздернутой бровью и в прозрачных тенях закатившийся зрак — и вот добился: удачное достижение, а с ним трепет, восторг, великое напряжение сил и знакомая спутница взлета — умиленное размягчение духа.

Боже мой, да ведь это ж то самое, что он изведал на полунощном бдении, в келейной молитве, в своей пламенной детской вере. Значит, что же? Не в молитве вовсе и дело, а в особенном устремлении, в собранном духе, в сгущенной жизни всего существа.

И у одного это дело молитвы, у другого — искусства, у третьего...

— У третьего, может быть, и греха.

К кому пойти Гурию, кто пуды с него снимет?

Есть один в обители, есть истинный сердцевед и помощник — Иларион-старец. Взять, что ли, лодку, поплыть к нему по тихим водам на дальний островок.

Благословил о. Илариона игумен на пустынное жительство, и ушел себе в облюбованное место легонький старец, волоса — белый пух. С собой взял Евангелие да поклажи необходимейший сверток. День-деньской о. Иларион в черной работе: то дрова колет, топит печи, рогожи плетет, огород лопатой возделывает, а чуть смеркнется, не раз видели мимо плывущие монахи, на всю ночь становится старец в «умной» молитве на высокой скале над водой, где, тесно прижавшись друг к другу, одним корнем-пяткой чуть держатся за обрыв кудрявые елочки.

Знает Гурий: возносится душа старца в умной молитве в беспредельное чистое небо, а в сердце его, как волны в одиноко стоящий маяк среди бурного моря, ударяется чужая злоба, и боль, и грехи.

Говорят про о. Илариона монахи: «Прибегни к нему хотя мыслью, и то облегченье получишь». А если кто маловер, из мирских, словам таким не поверит, суетой своей уединенье старца прервет, на островок его вступит, с каким бы грехом ни пришел, одинаково ответствует старец: подымет старые благословляющие руки, вмиг тяготу сымет, прошепчет: «Нет греха твоего, дитятко, нет страхов, родненький; один страх господень, один праздник праздников — святая пасха, Христос воскресе».

Нет, не пойдет к светлому старцу Гурий и в мыслях даже не призовет его в помощь, хотя верит, что есть такая сила у человека другому помочь и что этой силы старец сподобился.

Обманул первый учитель, и не принять больше сердцем учителя-человека. Может, прельщен Гурий злейшим из бесов, бесом тонкой гордыни, а может, и то: кому свою правду добыть суждено, тот ни у кого брать не может, тот сам и добудет.

III

Претерпел кое-как Гурий лето, плавая служкой на пароходе, замотался бегать по лестницам с кофеем да пирожками, до тошноты нагляделся богомольцев и так устал, что, кажется, и души нет — вся тут в побегушках истратилась.

Окончился монастырский сезон, облетели деревья, и белым снегом укрылась обитель; пушистые лиственницы, не поспев стрясти рыжих игл на опавшие листья, лениво добрасывали их на снежную пелену.

Монахи, еще сытые миром, встречали радостью эти первые безлюдные месяцы. Отцы плотники, маляры и слесари работали над ремонтом гостиницы, завернув к поясу подрясники, и, когда не видать было старших, пели вольные песни. На службы церковные послушники ходили по собственному добровольному наряду, поочередно, умеючи, распределялись по клиросам, чтобы игумену не казалось пусто в церкви. Оставшиеся по кельям ловко прятались под кровать, загораживаясь от своего старца сундуком, где по обычаю хранятся вещи и белье; шарит полузрячий старец деревянным посохом, а насторожившийся послушник выдвигает бесшумно перед собою защиту.

Выждав, когда монахи соберутся в церкви, удирают послушники в конюшню, гуськом друг за дружкою строятся под отдушиной: первый скручивает длинную цигарку, затянется и дает ближнему, тот соседу; и так до конца и обратно, пока пальцев себе не ожгут.

Расчихался как-то от дыма один злющий мерин, стал бить копытом да фыркать, прибежал на шум о. Иона, лихой добровольный дозорщик, насплетничал о. игумену. На целый месяц наказал игумен курильщиков бить во время трапезы поклоны перед тем самым образом, который столь дивно измыслил Павлин, что Гурию, бывало, глаз не поднять к умиленному лику, чтобы на людях не блеснула слеза.

Чавкают монахи щи со снетками, гнусавит протяжно о. Нимфодор житие святого Калинника, спотыкается на городах и трудных словах, припадает к распухшей книге, словно бодает ее клобуком. То и дело падают на колени пред иконой наказанные послушники, здоровые, бородатые парни, стукают лбом о деревянные половицы. Идут тягучие монастырские будни, наматывается черный клубок. Долгие службы то наверху, в светлой церковке, то внизу, в темной, разукрашенной позолотой, где вышитый золотом на малиновом бархате угодник прикрывает свои же, еще не открытые мощи.

На послушание Гурия опять поставили, по мнению братии, на легчайшее, а ему наигоршее — к буфету. У всякого на виду, на юру, в суете; к тому ж, на беду, по первопутку стал опять богомолец наклевываться, да самый плохой — богатый бездельник, тот, что смертного часа трепещет. Кого сюда путного понесет зимой — у всех свое дело-занятие.

Гурий за черной доской дежурит, куда богомольцы ключи от номеров своих вешают, то тому подай, то другому; а тут еще старухи в шелком крытых салопах в буфетную приплетаются, с о. гостиником об адских муках, о загробных наслаждениях шепчутся. И не хочешь — сам лезет в уши вздор, и с воли и монастырский; про Павлина монахи всю подноготную расписали: не первый, дескать, случай с Петенькой, а привычное дело, имена называли.

Полон Гурий уныния и совершенного изнеможения духа, ощущает себя как бы безводным облаком, гонимым ветром, куда и зачем — неведомо.

Тщетно предлагает ему крепкая память горячие предупреждения святого Иоанна Кассиана. «отбивать остна всепожирающей печали», которая если получит возможность обладать нашим сердцем, то пресекает в нем и созерцание и делание и расслабляет до погибели весь перстный состав. И глубокое знание Лествичника, и ободряющие напоминания Ефрема Сирина, — опустели былые меха, навеки ушло питавшее душу вино...

Как последний оплот в великой скорби уныния, раскрывает Гурий любимую свою книгу «Добротолюбие». На закладке сами собой распадаются листы, и жадно пытается он, как бывало, приобщиться житию великого подвижника, первого столпника Симеона...

Еще юношей в строгом монастыре, где братия вкушала пищу единожды в день, подвижник вкушает всего раз в неделю, обвивает вокруг тела жестокое пальмовое вервие, пока оно не вопьется ему до костей, не загноятся раны, не закишат червями и испуганная братия не донесет о сем игумну.

Дабы не смущать немощных, гонимый жаждой духа своего все дальше, покидает Симеон монастырь, живет вместе с гадами в безводном колодце. Извлеченный оттуда насильственно, подымается на бесплодную гору, цепью приковывает себя к скале, дабы по слабости не сойти долу. Наконец слагает столп высокий и всходит на многая лета, палимый зноем, омываемый дождями, претерпевая и глад и мучения.

Кому из мирских безумен святой, а Гурию — и прав и свят. Ибо постигал Гурий, как учат старцы, что все эти как бы жестокие и ненужные самоистязания — для избранного духа не что иное, как путь к совершенной свободе, к торжеству над перстью земной. И самое главное — к стократному умножению сил своих добро творить, людям светить, богу предстоять, достичь предела и верха блаженств — «боговселения», по истинному слову тайноведца, святого Антония великого.

И каким несказанным трепетом исходила, бывало, душа, когда доходил в чтении своем до страницы, где завершались ступени личного восхождения святого и далеко окрест уже действенной, живой силой и совершенным ведением пылал его дух. До конца познавший свое сердце познает без слов и другого — все люди.

И притекали к столпнику ученики, бесноватые и блудницы, и зловреднейший из разбойников, некий Ионафан, и всем, как владыка, разрешал старец узы неведения, и греха, и болезни...

— Есть ли власть большая, есть ли место царственней? — кривятся губы Гурия нехорошей усмешкой, когда сейчас, без прежнего уже пламени, одной хладной памятью перебирает минувшее. Да не вернуть головой того, что ушло из сердца.

Когда веровал, о соблазнах власти не раздумывал, не дозволял сатанинским проискам подрывать честь подвижника, несмятенным умом принимал: столь густой броней окутали землю грехи людей, их злоба и похоть, что не пробиться сквозь эту толщу самой божьей благодати, не упасть семенам животворящим. Глух, слеп, неприемлем мир. И, как в дальние времена, потребны и ныне добровольные очищенные сосуды для приятия драгоценной мирры господней, некие живые проводники, посредствующие звенья между небом и озверевшей глухой землей.

И молил, бывало, Гурий напролет долгой ночью, чтобы впустил его святой столпник к себе за ограду, коей окружен был некогда видимо всем мирским его столп высокий и за которую, только по долгом и тяжком искусе, впускались обрекшие себя служить миру.

Что же, бывало ведь, бывало — к рассвету впадал Гурий как бы в особенный тонкий сон и зрел он себя вознесенным на каменный столп у израненных ног подвижника. Лобызал его ветхую благословляющую руку и знал надолго, по разрешающим уныние сердечным слезам, по великому ликованию, что услышаны зовы его, и сораспят он господу, и приобщен он к ищущим скорби за всех людей и стенающих тварей.

О, сколь ничтожны, легко отметаемы, без соблазна, чудились грубые страсти плотских бедных людей перед этим огнем поедающим, перед жарким взлетом духовного делания. Да, так бывало, а ныне?

Мечется Гурий в мыслях-соблазнах, что белка в колесе: полно, вера ли то была? Не расчет ли тончайший, подсказанный духом лжи, ибо — где же есть место царственней, где есть власть большая? Можно ль умнее

придумать, чтоб ничто земное не смогло расточить гордую целостность духа?

Пусть лично и свят великий подвижник, путь-то его — не единый, а для иного и не истинный путь.

«Кому на горе стоять, миру светить, ризы белые охранять, а кому в грязь-то, к грязненькому, чтобы с макушкой совсем не увяз...»

Как ни защищается от слов Паисия, благого лекаря, Гурий, знает он, что горячие это слова и в них — правда. Как вспомнит их — заяснеется на душе, теплом ее всю обдаст, словно сразу накормит. Ничего и воображать себе не надо, ни молиться, ни дух свой настраивать, — слова эти сами, одной своей силой, в плен берут.

Ну, в плен Гурий ни к кому не пойдет, из желторотых выскочил, чужих знаний, чужой веры больше не примет. Однако и пути своего не видать и ледяной пустоты своей долго не вынести...

А в трапезной своим чередом наказанные послушники все еще бьют поклоны. Не боится больше Гурий взглянуть на образ богоматери, не умиляет его скорбная матерь печали: Павлиновы руки образ писали.

Как-то после трапезы один из наказанных послушников, веселый хохол, приступая к своим простывшим щам, вымолвил:

— Ще битый час от поклонов колени ноют.

— А все Иона-фискал.

— О, щоб бисов кит заново слопал того Иону, як першего, тильки вовеки б не отрыгнул...

Пока братия давилась смехом, подкрепляла, кто чем, затею хохла, Гурий благословился выйти из трапезной. Прошел было в келью, да воздуху в груди не хватило, не дошел. Опустился на деревянную скамью в коридоре.

Шел мимо отец Паисий, взглянул на Гурия, рядом присел; помолчал, потом рукой плечо его тронул:

— Невесело, друже? Ну что ж, потерпи... Боб турецкий видал? Здоров он прорастать-то. Так все нутро себе и разворотит, чтоб два листика каких на свет божий выпустить. Чего ж ради нам-то иной закон? Все как есть по-бобовому...

— Складно придумано, — усмехнулся Гурий, — ну, а что, если разворотишь себя попусту, да не прорастешь? Не лучше ль, как хохол Илья говорит: сиди себе да не рыпайся...

О. Паисий встал и, склонясь к Гурию, строго, почти гневно сказал:

— Такого случая еще, друже, не было, чтобы кто до конца себя разворотил, да не пророс, и быть такого не может — ибо тут закон. Только, брат, не жалей себя, гони до последнего, до смертного часа. Вот, коли живый для людей, а сам труп, и надежду на воскресенье утратишь, и Лазарев срок, не пикнув, пропустишь, — ан, гляди, и пойдут листики...

Еще раз тронул Паисий рукой плечо Гурия, толкнул иль погладил, и побежал по своим делам.

А Гурий поднялся и твердым шагом прошел к игумену. Чтобы избежать долгих увещаний да расспросов, просто испросил у старца благословения отбыть в город на зиму, в рисовальную школу.

Просьба была не удивительная: из монастыря было в обычае отправлять одного-двух монахов совершенствоваться в рисовании, а Гурий стоял на хорошем счету в иконописной. Игумен был в отличном расположении духа, отпустил Гурия легко:

— Вот с отцом Ионой и отправляйся, он двух жеребят в Савватиевский монастырь повезет; учись, милый, учись, церкви наши украсишь, а то, прости господи, все отцы-богомазы пошли. У них что Никола-угодник, что Варвара-великомученица — все одна примусия, в бороде только и разница.

Игумен благословил Гурия и дал в подставленную для поцелуя горсточку свою отекшую желтую руку.

Поехали в снежную пургу: снегу — что сахару намело, и еще подбавляет, конца нет.

О. Иона, суровый монах, указал кнутовищем Гурию место позади связанных жеребят, стеганул сытых лошадок, поехали...

Зудил всю дорогу, чуял седой дозорщик, что в монастырь назад Гурию не дорога; зудил, растравлялся безмолвием послушника, где-то в старом сердце глухо завидовал его юности и свободе. Вдруг не стерпел и ровно ненароком вытряхнул в сугроб Гурия. Назад не пустил, крикнул:

— Кони упыхались! На волю хочешь — сам дорогу найди!

Взмахнул кнутом, уехал старый, шепча скупыми губами молитву.

Что взять с него? По вере делал: знал твердо, что самый последний монах оттого только, что пострижен, в рай попасть может, а мирской, будь хоть бриллиантовый, в аду изжарится. За монаха, если грешен, братия замолит, а за мирского кому молиться? По своим же делам все разбойники, всем та же геенна.

Уехал о. Иона, остался Гурий один. Первые версты даже радостно: вольно дышать среди белоснежного океана. А как пошло мести через час-другой, и не стало

вдруг силы окостеневшему телу идти против белой стены. Пропадать, видно, тут, среди мертвых полей, ровно псу бесхозяйному...

Осел Гурий на сугроб, глубоко ушел в снег валенками. Не отряхивает со спины, с рукавов белых мягких хлопьев; клонит ко сну его, кружатся мысли, что снежинки. Вот слабеют, выцвели, стаяли — и нет больше мыслей.

Ничего нет: снег впереди, снег кругом. В ответ тоске предсмертной далеко в лесу один заяц, как дитя больное, плачет, низменный зверь лисица его сзаду терзает, скорой смерти ему не дает.

Нечем удержать себя Гурию, нечем отстоять свое особое место на земле, свой единственный, данный богом и принятый облик.

Принятый ли?

В самое ухо баюкает чей-то шепот: откажись, заглуши, вернись в безликую... О, сколь блаженно забыть, сколь отрадно, вдруг смирившись, *безвозвратно* не быть, вернуть солнцу душу, а телом пойти на питанье простых, нужных злаков и трав, и не знать, и не думать, не чувствовать, не иметь муки выбора, ни бремен свободы, ни самого имени — Человек...

С закрытыми веками в снеговой шапке чуть качается в дреме Гурий, еще тают снежинки на посиневшем лице, а дышит, а жив ли?

Едва-едва бьется ни с чем на земле не связанное, пустое сердце — смерть идет.

Не плачет в лесу заяц — прикончила с ним лисица.

МАРФУШКИН КРУГ

I

...И остался Иван Иваныч со старым дядькой Егорычем совсем один в своем Лесном Поселке. Что же, ему хорошо: деревья, теснясь, подступают к дому, берегут покой. Одна молодая зеленая елочка как разбежится, да под окошко; летом любит Иван Иваныч, сидя на подоконнике, чай пить, так отучила: чуть ветер, елочка расшалится, натрясет ему в чай свои иглы.

Другое дерево — береза; стоит дальше елочки, у нее белый крепкий ствол. Этих двух Иван Иваныч знает в лицо, с другим лесом не путает, и есть причина: кое на что деревца намекают; елочка, еще не колючая, в свежем зеленом наряде — будто Сонечка, та первая любовь, ни себе, ни ей не сказанная, а березка — уж разумеется, Марья Петровна, миловидная блондинка, с которой Иван Иваныч прожил столько лет, на день расстаться не мог, и вот недавно, в миг один, в самую малую часть времени — послал к черту.

То дохнуть без Марьи Петровны не мог, а подошла минута — все разбил, и склеивать нет охоты. Так вот и вышло: надоело Марье Петровне, что Иван Иваныч молчит да из угла в угол, как маятник, и сорвись у нее: «Из-за чужого какого-то инциндета вы совершеннейший истукан».

— Ин-ци-дент, а не инциндет, — не останавливаясь, поправил Иван Иваныч, и тем же голосом: — Пора расставаться нам, Марья Петровна, уезжайте-ка...

Плакала Марья Петровна, а Иван Иваныч — совершеннейший истукан: молчит и из угла в угол. Уехала Марья Петровна — стало легче. А сейчас, как в окошко Иван Иваныч глянет на два деревца, уже сдается ему: не было у него в жизни ни этой первой, несказанной, елочкиной любви, ни белоствольной пышной березки — Марьи Петровны, ни дней, прожитых с нею, ни даже ночей, вот все, что осталось — два деревца намекают. И что же это выходит: ничего не взять, много ли брать — все одно: ударит час, слизнет время лапой, только всего что лишний раз узнаешь — один человек рождается, один умирает, один проходит свой единственный в мире путь. Вот оно главное, что надо узнать человеку, но так тяжко ему это знание, что отгораживает он себя от него, пока может, последним заветным щитом — любовью.

На стенах большой комнаты, по которой любит шагать Иван Иваныч, старые портреты висят, далеко назад предки, все военные. И жалостно как-то и неловко Ивану Иванычу на них глянуть: все как один высокие и румяные, глаза бесстрашные, в деле сметливы, на себя решение брать дерзали, так что штабных умников за пояс затыкали. Один дяденька голыми барабанами

неприступную турецкую крепость взял: приказ — наступление, турок тьма, скалы отвесные. Эй, песельники, барабанщики, трубачи — айда вперед! С плясом, с гиком, с бубенцами. Увидали турки лихой авангард, решили, что за ним тысячи, — и наутек; высокой степени Георгия за его дело дяденька получил.

Вот и Ивану Иванычу так бы действовать, а не думать. Спохватиться б еще тогда, юнкером, когда в свободное от всяких фортификаций время практиковался в дортуаре, как похитрей свернуть чучелу, прикрыть на кровати одеялом, а самому удрать к Сонечке на журфикс.

Впрочем, уж и в те дальние времена душу Ивана Иваныча грызло желание чего-то другого, непохожего на то, что было кругом; но до времени желание это крылось в скромных и, можно сказать, одних отрицательных действиях: он не копил в своей памяти анекдотов, не произносил скверных слов и, главное, на журфиксе у Сонечки, в которую, как уже известно, был влюблен, вел себя по-иному, чем все, а именно: не без достоинства и раз навсегда отказался выполнять смехотворную фигуру котильона, изобретенную в угоду Сонечке одним портупеем, по прозванию Бешеный Хвост.

Фигура эта состояла в том, что, заложив руки за спину, танцующие, выстроенные в ряд против Сонечки, получали из благоухающих ее ручек по аршину тесемки в зубы и под ее голосочек: «Раз, два, три, четыре, ходят свинки по долине...» — должны были вобрать тесемку в рот. Счастливец, с первым полным ртом, получал право танцевать все танцы с Сонечкой. И хотя, убеждая Ивана Иваныча не нарушать гармо-

нии журфикса, Бешеный Хвост доказывал, что изобретенная им фигура вдохновлена самим Гомером и есть не что иное, как мифологический спорт, ибо Сонечка, разумеется, — нимфа Калипсо, будуарчик ее с розовым фонарем — нимфин грот, кавалеры с тесемкой во рту — Одиссеевы спутники, — Иван Иваныч оставался до того непреклонен, что заслужил от Сонечки иронический клич «самого Одиссея».

Иван Иваныч по бедности вышел в офицеры не в гвардию, а в провинцию, к доброму командиру. При добром командире — весь полк добрый, жили как одна большая семья, почти забыв о своем военном и, так сказать, разрушительном предназначении. В положенные дни чистились ружья, терлись до блеска штыки, но о том, что вот из этого именно ружья может вылететь пуля намеренно в чью-нибудь голову, а отточенный штык пронизать человека, как муху, — нет, об этом никто не думал. Давно не было войн и, казалось, больше быть уже не может; штыки и ружья готовили для маневров и инспекторских смотров. Поход на китайцев прошел малозаметным, да и пехотного этого полка поход совсем не коснулся. Кто-то из офицеров принес только в собрание от товарища, бывшего в Китае, рогатого тамошнего идола из ограбленного капища; посмеялись, потешились, кой с кем посравнили и подарили солдатику, черемису Труфашкину, который уже держал одного в таком роде в своем сундучке и кормил его оставшейся кашей, в чем помогала ему с удовольствием вся рота: «Айда, ребята, Труфашкина бога кормить!»

О японской войне тоже поначалу только и знали: высокий там такой гаолян, что лошадей с всадником

покрывает, к тому же уверены были, что вот-вот макак шапками закидают. Только как взят был Порт-Артур — пригорюнились: под Порт-Артуром у командира убили сына поручика, он с горя вышел в отставку; прощаясь, трижды крестил каждую роту и плакал.

После доброго командира назначили совсем другого: солдаты шутили, что он вместо молитвы и богу читает военный устав. Все подтянулось, притихло, как зеркало сверкали пуговицы, глаза с перепугу «жрали начальство», только и слышалось: «Эй, взводный, чтоб тебя дневальным, чтоб тебя...»

Полковника заметили, за отличную дисциплину приставили к ордену, и солдат его, как вымуштрованных образцово, стали иметь в виду для каких-то особых случаев...

Офицеры ходили как потерянные, про танцевальные вечера позабыли. Бешеный Хвост ушел из полка и готовился к университету; у всех появились штатские знакомые. Однофамилец Ивана Иваныча, Макаров II, высокий брюнет — запевало, тоже вышел в отставку, стал ходить в черной ластиковой рубашке, и на квартире у него какие-то собирались...

Как-то Макаров II пришел к Ивану Иванычу:

— Здравствуйте, не узнаете? Я, собственно, к вам по нелепому романтизму, — смеется. — Однофамильцы мы, а ну как и единомышленники вдобавок окажемся. — И говорил, говорил... поздно, на заре распрощались. — Ну, как хотите, — сказал Макаров II. — Вероятно, вы правы, мой путь не ваш путь; но одно, что верно для меня, верным должно быть и для вас всех, кто человеком себя почитает: мысли надо додумывать до конца. Я свои додумал и вот поместился...

Недолго и ждать пришлось, чтобы проверить, правду ли сказал Макаров II.

Приговорили его военным судом, за пропаганду в войсках; Иван Иваныч получил из тюрьмы записку: «Прошу вас быть со взводом...»

Наряжен был знакомый офицер, Иван Иваныч сменился, и, как ни ужасно было, пошел, не мог не пойти.

Макаров II был очень бледен, только раз поднял на Ивана Иваныча глаза, еще будто подтвердил — мысли додумывай до конца. Потом глаза опустил и затих, прислушивался к чему или с кем беседу тайную вел. Наряжен Макаров II был в белый балахон, как в маскарад; и тем более все казалось ненастоящим в этот утренний час на горе, среди зеленых деревьев, что рядом с Макаровым II стоял кто-то в ярко-красном, в маске, с привязанной бородой.

Однако, как там ни казалось Ивану Ивановичу все призрачным, с Макаровым II в действительности произошло все как раз так, как назначено было чьей-то недрогнувшей рукой. Дан был в свое время знак, красный в маске втолкнул человека в петлю; Макаров II повис, а Иван Иваныч Макаров I остался жить.

Иван Иваныч хотел убить себя — ему не дали, потом он был болен, потом вышел в отставку и поселился здесь, в Лесном Поселке. «Мысли додумывай до конца», — углем выложил кто-то в душе. Что же, в своей личной жизни Иван Иваныч уже исполнил завет товарища и остался вот один — выели мысли личную жизнь. Ювелиры, чтобы испытать, фальшивый бриллиант или истинный, говорят, яд такой резъедающий каплют, что никакая подделка не выдержит — замутнеет или в куски, а настоящему хотя бы что. Вот, должно быть, и

мысль, если не струсить, если додумать ее до конца — такой яд человеку. Все выест и в нем и вокруг.

Вот от Марьи Петровны письмо — больна, помирает. Правда ли или ей с горя сдается только, пишет: «Мне не жизнь без тебя». А Ивану Иванычу уж и не вспомнить, какая такая Марья Петровна, — а сколько лет вместе прожили!

— Егорыч, есть ли справедливость у человека или хотя бы у бога?

— Нету, батюшка Иван Иваныч, — говорит Егорыч, — у человека должна бы быть, да не может, у бога могла бы быть, да неподходяще — потому она человеком, не богом измышлена. А ты, батюшка, выпейка лучше сливанского, из пяти бутылочек слил, что тебе ерш, не только слова — и мечтания позабудешь.

И несет старый дядька из кладовки бутылочку, друг против дружки сидят, выпивают — и легче.

Кружатся разные мысли в голове Ивана Иваныча, чуется ему что-то, а не назвать что, почитать бы, с умным человеком побеседовать...

Книжек дома всего-навсего: отчеты скаковых обществ, календари да лечебники, а умного человека одного только и мог припомнить Иван Иваныч — журналиста Преснякова. Видывал он его как-то среди помещиков на званом вечере у предводителя; держался Пресняков отдельно, отвечал односложно и, по просьбе предводительши прочтя доклад о народном просвещении, не прощаясь исчез.

В докладе Иван Иваныч понял мало: слишком много было неизвестных определений и ссылок на неизвестные Ивану Иванычу, должно быть очень умные авторитеты. Но сердце Ивана Иваныча билось, и он тогда

же решил познакомиться с Пресняковым и расспросить его потихоньку обо всем.

И, как часто бывает, очень желая с кем-нибудь встретиться — встретишься непременно. На почтовой станции, куда ходил по своим делам Иван Иваныч, зашел и Пресняков.

— Вы меня не узнаете, — покраснел Иван Иваныч, — а у меня к вам дельце. — И, конфузясь как школьник, он рассказал Преснякову о своем желании развиваться, читать книжки, просил указаний.

— Я с удовольствием, — снисходительно улыбнулся польщенный Пресняков, исписал тут же в записной книжке страницу, вырвал ее, дал Ивану Иванычу. — Когда прочтете, милости просим поговорить, у нас и именьица рядом... Да, кстати: фактора Хацкеля знаете? Он у меня хочет снять вместо Довода мельницу.

— Вместо Довода! — Иван Иваныч вспыхнул. — Да ни в каком случае; Довод — отличный жид, я ручаюсь, а Хацкель — интриган и мошенник. — И, зная хорошо местных людей, Иван Иваныч стал доказывать.

Дойдя до своих лошадей, Пресняков, чуть заметно щуря внимательные серые глаза, сказал, прощаясь с Иваном Иванычем: — Уж если вы выбрали меня своим ментором, разрешите для начала одно замечаньице; в разговоре сейчас вы то и дело вместо «еврей» позволили себе сказать «жид»; так как вы — дворянин и военный, то, разумеется, юдофоб, но рядом с книжками, которые вы собираетесь читать, такие атавические понятия абсолютно несовместимы, — Пресняков поднял длинный белый палец, — и не-до-пустимы.

Иван Иваныч не поспел возразить, Пресняков сел в коляску и уехал.

«Юдо-фоб», — с недоумением повторял Иван Иваныч, и ему было обидно. Что же такого, что, защищая Довода, с которым рос он вместе и был приятелем, сказал он так, как в местности было привычно, как про себя и про своих говорил и сам Довод и старик Абель, у которого в детстве сидел он на коленях и закручивал на палец седые красивые пейсы, чтобы они держались локоном. Да разве их чем обманешь, что не спотыкнешься на слове?

А у этих в словах, видно, все дело. Скажите, *юдофоб!* Да разве те, с которыми рос бок о бок в деревне и целыми днями играл Иван Иваныч, на слово обижались? Разве не знал он всю их родню, как они знали его родню? Не ел он вместе с Гилькой мацу и не приносил он ему взамен своей пасхи? «Панич Ваня, принеси мне свичоной пасхи, — просил, бывало, Гилька, — в нее кухарка юзюм больше сыпет...» А разве не с Лейбой вместе, забравшись за полог к старой Сарре, перед зеркалом примеряли друг дружке ее парик?

А кто же к этой самой Сарре и к старому Абелю свежеиспеченным офицериком, заодно, как езжал к губернатору и к предводителю, явился в гости? Расцеловались по-старому, и кричала племянницам Сарра: «Хая, Роза, паничу Ване варите швидче какó и яички!» — юдофоб.

И не пошел больше Иван Иваныч за развитием к Преснякову. Но книжки, указанные журналистом, Иван Иваныч прочел и главное в них понял; по этим книжкам узнал про другие, купил и их; в других было о третьих, и так без конца — словом, в Лесном Поселке образовалась из книжек целая библиотека.

Никакого Преснякова уже не было нужно, книжки учили сами, но они же и мучили. Что для себя выбрать, куда себя поместить?

И почему в одно, а не в другое? Вот Макаров II, счастливец, твердо знал, когда говорил, что в его партии вся-вся истина, вся-вся справедливость. Но ведь и в ту памятную ночь, еще не читавший столько книжек, как сейчас, и тогда сумел выразить Иван Иваныч, что есть другие партии, непохожие на партии Макарова II, которые тоже уверены, что вся истина, вся справедливость только у них.

И где руководство, и что есть опора во всех этих исканиях?

Справедливость — самое большое слово, о котором писалось в книжках; все, дескать, всем поровну: земля там, вода... Ну, утрутся слезы, те, что льются оттого, что человек человеку волк, что и вовсе не все еще люди, но ведь не только другому, и себе самому чуть не каждый — лютейший ворог. И сердце прострелит и на крюк заглядится... А что касается справедливости...

— Егорыч, есть ли справедливость у человеков или хотя бы у бога?

— Нету, батюшка Иван Иваныч, у человеков должна бы быть, да не может, у бога могла бы быть, да ему негоже. Человеком справедливость измышлена. Человек фунт колбасы покупает и то глаза пялит, чтобы его лавочник не обжулил... А выпей ты лучше сливанского, не только слова — все мечтания позабудешь.

Так и спился бы Иван Иванович, не случись войны. Долго, казалось, продлиться она не может, а забыться

месяц-другой в привычной военной среде, где все на месте, идешь как в упряже, Ивану Иванычу очень было отрадно. Как муха в паутине, выбился он из последних сил в мыслях, вызванных книжками, а идти на войну — это делать бездумное дело, отдохнуть.

Бодро снарядился Иван Иваныч, поступил снова в полк и сразу в огонь.

После получасовой перестрелки пуля угодила Ивану Иванычу в ногу, и он, истекая кровью, упал далеко от своих в болото.

II

Когда Ивана Иваныча положили на операционный стол, он пришел в себя: понял, что человек, похожий на ксендза, в белых перчатках и круглой вязаной шапочке — хирург, который будет его резать, собрал силы и, мучительно морщась, сказал:

— Оставьте помереть.

Чувство отвращения и проклятия жизни было так сильно, что, хотя на лице его уж давно лежала маска с эфиром, его взбунтовавшееся тело все еще трепетало и хотело сорваться и ринуться вниз. И все время в редкие просветы между ужасами бреда единственной яркой и твердой мыслью Ивана Иваныча было изумление и негодование на то, что он остался жив, и упорное желание не жить больше, после того что с ним случилось, когда, раненный в ногу, он упал и остался лежать.

Случилось же с ним вот что: увидав обходившего раненых санитара, Иван Иваныч хотел позвать его, но всего-навсего пошевелил рукой. Санитар его заметил

и склонил к нему свое широкоскулое безбровое лицо. Иван Иваныч сразу успокоился, как наплаканный ребенок, завидя свою няню; санитар был знакомый, Еремеев, известный силой и бесстрашием. Спасший много людей из огня — спасет и его. Иван Иваныч закрыл глаза. Еремеев расстегнул для чего-то его шинель, засунул глубоко руку, нашарил и взял часы. Потом, больно упирая Ивана Иваныча коленкой в грудь, сорвал у него с шеи золотую цепочку с крестом.

И вдруг Иван Иваныч понял, что делает санитар. Он открыл глаза и сквозь пенсне, уцелевшее на носу и при падении, еще не с испугом, а как бы пробуждаясь глянул в спокойные, деловитые глаза. Глаза эти, встретясь с глазами Ивана Иваныча, вмиг посветлели от злобы, широкоскулое лицо дрогнуло: «Я тебе поглазею!» И, сорвав с носа Ивана Иваныча пенсне, санитар отбросил его в сторону.

— Еремеев, что делаешь? — собрав последние силы, произнес внятно Иван Иваныч. Теряя сознание, он поспел увидать, на всю свою жизнь, до смерти запомнить, как злые глаза стали добрыми, как по-иному, не звериной судорогой, а человечьей жалостью дрогнуло скуластое лицо, рука вложила ему в карман часы и цепочку, и, крепко обхватив его, Еремеев поднял с земли и бережно, словно баюкая, куда-то понес.

. . . .

Отрезали Ивану Иванычу ногу; по ночам мочи нет стал ныть большой палец, которого уже не было. Но хуже, во сто крат хуже боли была мука от того, что чудилось.

Идут будто солдаты в ногу, все как один: шинели скручены через плечо, амуниция, ружья, защитные

шапки, раз, два, раз, два... а лиц-то и нет, так, что-то мутное, вроде как блин, ни глаз, ни улыбок, — одна Поголовщина. А штыки играют, отчищены, и шинель и защитного цвета шапки...

Раздается команда, берут в руки ружья наперевес, против этих рук и штыков, глядь, другая стоит Поголовщина. Также все как один, и лиц нет, только шинель не серая, а темней.

Вскрикнет Иван Иваныч, поднесет ему сестра брому, успокоится, а чуть смежатся глаза — опять все она, Поголовщина. Режут пальцы у мертвых, шарят в пазухе, добивают того, кто шевелится. И так страшно Ивану Иванычу, что лиц нет, сами идут шинели, сами топают сапоги. Вот и ему шарят в пазухе, коленка давит в грудь, рука дергает шейный крестик и склоняется над ним лицо — чей-то блин.

— Еремеев!

И как только вскрикнет Иван Иваныч, так сейчас блин — в лицо, доброе, скуластое: «Так точно, вашбродь!» И кругом-то все люди, кто курнос, кто носат, под огнем тащат раненых, мертвым сраму не делают.

И только бы вот не забыть, окликнуть по имени, по имени... Но Иван Иваныч забывает. И опять перед ним все сначала: наперевес ружья, грабят мертвых, бьют раненых, пока не потянет с самого чья-то рука шейный крестик и не вспомнит он только тут, в смертный час: Еремеев.

Так было с Иваном Иванычем рано утром, когда дежурный приходил с щеткой убирать палату и сестра с привычной лаской, касаясь белой косынкой его лица,

ставила градусник, так было, когда приходили врачи и равнодушно замечали: «А этот все бредит». Так было, когда входил прямо от обедни священник, развевая в широком шагу золотые ризы, пахнущие ладаном, и прикладывал к губам холодный крест «исцеление души и тела»...

Тело исцелялось, душа умирала...

И вот как-то вечером, когда дежурный санитар внес дрова в печку и его зачем-то отозвали, вошел другой санитар с растопкой и спичками и, сев на корточки, стал растапливать.

Иван Иваныч не любил, чтобы рано горело электричество, и лежавший с ним в палате другой раненый, тихий, сговорчивый человек, разделял его вкусы; так что сейчас, когда за окошком густели сумерки, в палате от разгоревшейся печи было не светло; но сидевший на корточках перед огнем ярко чернел перед Иваном Иванычем.

Иван Иваныч вздрогнул, он узнал.

— Еремеев, — тихо позвал он.

— Так точно, вашбродь, — сказал весело Еремеев и подошел к Ивану Иванычу.

— Зажги около...

Еремеев щелкнул у стенки, лампочка рядом с Иваном Иванычем вспыхнула и снизу осветила широкое лицо и белые зубы улыбавшегося рта.

— Это ты меня вынес?

— Так точно; как вы меня окликнули по имени, я сгреб вас и выволок; немало волок, наши далече ушли.

Иван Иваныч смотрел в это, такое навсегда знакомое, скуластое лицо, и глаза эти, которые тоже навсегда запомнил иными, добивавшими, как штыки...

И вот Иван Иваныч видел, что виновным Еремеев себя не считает: ведь он же спас, и не стыдно ему ничего.

Иван Иваныч протянул руку к ночному столику, взял свои золотые часы, те самые, и не глядя отдал их Еремееву:

— Спасибо.

Еремеев покраснел от радости, весело, от души поблагодарил Ивана Иваныча и, нетерпеливый похвастаться перед кем-то, забыл свою печку и скорым шагом пошел из палаты.

Иван Иваныч заплакал: что произошло — он не знал, и нельзя было это назвать, только боль отступила. Пришло великое разрешение, и словно не он Еремееву подарил, а от него получил какой-то важный дар: «Как вы меня назвали, я вас и сгреб». А если б не назвал? А тогда бы обобрал и бросил заживо гнить в болоте. И это не два разных человека — один скот, другой брат милый, — это один, один человек, тот же самый.

Такое объясняющее, всем нужное надо было из этого вывести, но Иван Иваныч не умел, но все-таки боль отпустила, и он стал спать хорошо.

Прошло лето, и было еще тепло, когда Ивана Иваныча на плетеном диванчике выносили в сад к фонтану. На фонтане стояла статуя, девица с протянутыми вперед руками: она будто бросалась и не могла броситься в море. Девица возбуждала остроумие вокруг лежавших больных. Их было шестеро, неподвижных, раненных в позвоночник — «беспозвоночных», как прозвали они себя сами. Все были молоды, почти безусы, здоровы и крепки на вид. Люди эти приговорены были

к смерти, и чем больше был запас их сил, тем продолжительнее предстояло им умиранье.

Подпоручик смеется, играет с котиком у себя на груди, а Иван Иваныч знает от фельдшера, что у подпоручика чернеют ноги и начинается гангрена. И у этого, и у того.

— Посиди хоть сегодня, Костя, дома, — говорит капитан Моровой прапорщику, — у тебя нос заострился, сгоришь...

— Дожидаться недолго, — усмехается Костя и достает из кармана билетик, голубой и два розовых. Читает вслух: все три просят свидания — твоя, да твоя... а на голубеньком — твоя кристаллическая душа.

— Гореть так гореть, — усмехается Костя и идет к парикмахеру бриться.

Капитан Моровой рассказывает, как лез вместе с ротой на неприступную гору; половину людей положил, два дня не ели, влезли; а по телефону приказ — обратно и лезть на соседнюю гору. Вторую половину ухлопали, капитану руку оторвало, доползли донизу — отмена.

— Зеленая была гора, — усмехается капитан, — а теперь, почитай, белая от костей; хе, хе, высоким штилем сказать: лицо планеты меняем, новые снеговые вершины воздвигнули.

И вдруг из закрытой наглухо палаты, из-за черной занавесы, спущенной на окно, звериный, потрясающий вой...

— Казаринов закурил, — говорит, бледнея, поручик и снимает на землю котенка.

Казаринов, былой атлет, молодчина — сейчас ребенок расслабленный, не выносит света, день и ночь в

черной тьме; забудется, закурит, глянет, как вспыхнула папироса, и конец ему: сведет руки, ноги — и на пол... Говорят врачи — это от контузии на нервной почве, а вылечить все равно не умеют.

Стал Иван Иваныч понемногу к костылям привыкать; лучшие костыли у него, легкие, с мягкими наконечниками, а для него как пуды, непривычка. А все-таки хоть черепашьим шагом, а доберется теперь в одно местечко за озером, где выбирают зеленую глину для кирпичей. И никаких там «красот природы» нет, а вот тянет и тянет...

Дойдет Иван Иваныч, сядет на пенек, костыли рядом сложит и смотрит; перед ним большой вытоптанный круг; по кругу ходит лошадь, припряженная к вороту, мнущему глину. Лошадь старая; чтобы голова у нее не кружилась от топтанья на месте, глаза завязаны пестрым тряпьем, от тряпья красные тесемки болтаются в черной гриве. В своем головном уборе старая лошадь смешна и напоминает нелепо расфранченную негритянку.

— Эй ты, Марфушка, — кричит босоногий погонщик и, стегнув кнутом, непременно бранит ее так, как бранить подходило бы разве собаку, а вовсе не лошадь.

Марфушка трясет покорно нарядной слепой головой и подымает выше, чем надо, сбитые, давно не кованные ноги, должно быть, потому, что ее замотанной одурелой голове мерещатся какие-то иные, пройденные пути.

— А что, Федя, — говорит погонщику Иван Иваныч, — размотать бы Марфушке голову да кнутом не хлестать.

— Пастись, чума, станет, чего ей...

Возвращается домой Иван Иваныч, Морового встретит, тот тоже бродит, все о горе своей думает: лезли на нее, вся в цветах, зеленая — сейчас одна земля взрытая, черная, да над костями воронье...

Идут рядом безногий с безруким. Моровой свой быстрый шаг сдерживает, подгоняет к шагу Ивана Иваныча.

— А что, Колизей вы когда-нибудь видели?

— В Риме я не был, — говорит Иван Иваныч, — на картинке видал.

— Я как к живому к нему подошел, чуть было не заплакал; здание-то какое — молитва. Да вдруг так скверно стало: что ни шаг, то заплатка, на мраморе фута этак в два, золотом год, число, имя папы, который делал починку. Вдруг и здания не видать, каждый камень якает: я, я, я, я.

— Так, — вздохнул Иван Иваныч, — ну и что ж?

— А то, что и мы своей каши не сварим, все якаем, а истратиться, себя убрав, Колизей вывести — никому неохота. Истратиться надо.

Ох, ноют ночью пальцы на отрезанной ноге Ивана Иваныча, и нет их вовсе, культяпка коротенькая, а так болят, до крику. От бессонницы опять мысли лезут, впиваются: вот и нет пальцев, а болят, что же значит тогда слово *есть?*

Крутит боль, и крутится пред глазами Марфушка, расфранченная негритянка, выше, чем ей надо, подымает сбитые, старые ноги, крутит ворот, месит ворот глину... Что же это такое нудное, такое знакомое? Марфушка с замотанной слепой мордой спотыкается под кнутом, глупо заворачивает по кругу, и нет ей конца, нет начала... да это же она самая — это *Поголовщина.*

Кивает Ивану Иванычу замотанная морда, ничем ее не прогнать, лицо б чье-нибудь вспомнить, у кого есть лицо?

«Пресняков, Пресняков...» — как заклинание, шепчет Иван Иваныч, и сейчас один, два, три — тысячи Пресняковых: волосы длинные, воротничок, два пальца в воздухе словно такт отбивают; «Дворянин и военный — значит, вы юдофоб». И вся тысяча Пресняковых за первым следом то же самое, даже ветер от перебегающего шепота: «Фоб, фоб, фоб...» А лица нет как нет.

И вдруг капитан Моровой: «Колизей вывести — истратиться надо».

— Ис-тра-титься, — переговаривает Иван Иваныч, — а из какого, скажите, капитала? Досадно Ивану Иванычу, что давеча на эти слова он Моровому не ответил. Из какого капитала людям тратить, когда, быть может, пришло только время капитал им копить? Прежде чем истратиться — округлиться надо бы.

Округлиться.

Понравилось слово Ивану Иванычу, сел он на постели и, чтоб не забыть, пальцем круг обвел на одеяле. Все, значит, что без сил, без жизни, все чужое — не свое, из себя вон...

И уже не мыслями, а так просто, как чувствуешь радость или горе, ясно вдруг Ивану Иванычу, что все

скорби и все безумие жизни от этих вот остатков, что мертвыми в себе люди носят, своего загрести не умеют, либо трусят, либо труд свой жалеют, подешевле прожить норовят. А остатки те мертвые, не вошедшие в жизнь, разве так, без вреда пропадают?

Да если кто ночью бессонной кулаки на обидчика в гневе подымет, а днем, трусливо съежившись, ему улыбается, не оттого, конечно, что ту, высшую правду узнает, при которой нет ни обидчиков, ни обиженных, а так, по дряблости, по расчетцу, как на земле полагается, как живут...

Либо другой, кто об обиженном слезы льет, весь в слезах выльется — а на дело рук нет. А надсада сверхсильная, а боль? А все то, что днем и ночью, не выдавая себя действием, таится под масками, все, что тяжкой больной испариной идет от земли, где оно? Где несвершенное?

Где, спрашиваю, не-свер-шенное?

Кричит громко Иван Иваныч, а сестрица ему компресс к голове, успокоительные капли капает. Поймет он, что громко нельзя говорить, притаится и тихонько, как Марфушка по кругу затопчется. Молча, терпеливо, одно к другому ладит — авось глину свою разомнет: что ж это *несвершенное,* как туман, развеется, как дымок веселенький? Из болота вода, и та в небе в тучу сбивается, а тут слезы, тут пот и кровь — тут дорого плочено.

И вот в одну такую бессонную ночь узнал наверно Иван Иваныч, он *увидел:* пониже облаков, повыше роста человека тянется над всей землей как бы покров плотяной, густого бурого цвета, как багрово-сизый подтек, где оранжевый, где болотно-зеленый. Густ тот

покров, будто кровь нечистая в венах, не продохнуть, не увидеть небесной лазури, позабыть птичку божию...

И вот, если схватит людей где-нибудь злыдня, разóгнятся страсти, дохнет, ринется туда, как в открытую шлюзу, оно, сизобагровое... *Чум-ло*. Ринется и родит. — *Поголовщину*. *Чумло* — вот имя.

— Так что, как вы, вашбродь, меня назвали, я вас и выволок.

Назвать всех по имени, нарушить Поголовщину, вырвать щит у Чумла — вот он, вот дар Еремеева, милого брата.

III

И произошло наконец на Руси то, чего все ожидали. Свершилось в далекой столице, а прокатилось по дорогам, лесам и рекам, зажигая огнем три алмаза: свобода, равенство, братство. И в лечебницу, где еще находился Иван Иваныч, пришла газета, пахнущая обыкновенною типографскою краской, а на самом-то деле это вовсе не была газета, а было чудо, был огненный меч архангела, пронзивший дракона Чумло.

Нет больше Поголовщины и не будет, потому что всем, всем заказано иметь свое лицо.

Приехавшая из столицы к одному раненому молодая сестра рассказывала, как все было, как у нее на глазах посланные с ружьями на братьев своих безоружных с этими братьями обнимались. И какое было солнце на синем небе и как чисто сверкал белый, не запятнанный кровью снег, а мальчишки гурьбой продавали «на память» пульки, засевшие в телефонных

столбах; это нарочно, с радости, что не в людей, впустую солдатами дан был залп.

Странно было одно, говорила молодая сестра, странно, что не звонили колокола, потому что была ведь пасха, ведь каждый знал в этот день: Христос воскресе.

Всем, всем, всем.

Нет Поголовщины и не будет.

Иван Иваныч вдруг научился легко ходить, словно подлетывать, на костылях. Совсем позабыл, что у него отрезана нога, и, радостный, забредал далеко от лечебницы, уже не к Марфушке, ходившей по кругу, а в настоящий, в густой, в душистый лес.

И если дело было вечером и зарево, не смягченное облаками, пожаром зажигалось на плачущих ветвях старых берез, Иван Иваныч, прислонившись к заалевшим стволам, посылал с ветерком пожелание бодрости утомленным, призывал утоление сердцам гневным, греховным и страстным. Жизнь природы — отзвук жизни людей.

Когда Иван Иваныч приходил к лесу в полдень, то небо было ярко-синее, и густопенным стадом, как старые овцы, по небу двигались облака. Иван Иваныч, словно от самого солнца черпнув силы, раздавал ее мысленно бодрым и сильным, чтобы бодрые стали бодрей, чтобы сильные стали еще сильней.

В розовый утренний час, когда, тихонько проходя под окнами лечебницы, чтобы не разбудить спящих, Иван Иваныч видал, как в чашечке оранжевой настурции, словно жидкое золото, дрожит роса, он посылал привет и улыбку детям всего мира, охранял заброшенных, улыбался балованным.

А ночью, часто и по-старому бессонной ночью, потому что отрезанная нога все еще болела, чутко вздрогнув от лая собаки, садился Иван Иваныч на постель, но уже не пытала его Поголовщина, а сам он, бессонный, благословлял бессонницу старых, обиженных и больных. Так, по мере слабых сил своих, всем, всем, всем правил свою обедню Иван Иваныч.

Но безмятежности его служения пришел скорый конец: поприехали новые столичные люди, рассказали иное: пасхальным-то выдался всего-навсего один первый денек, а там, словно статуи в последний день Помпеи, полетели с крыш люди, столкнутые другими.

Сразу устали, не вынесли люди того, что всем предлагалось свое лицо, и, чтобы по-старому быть самим без ответа, возвели себе новых идолов.

Зацацкали их, как дурацкие обезьяны ребенка, оглупили лучшие имена, между плясом и пением повели к рампе «бабушку».

— Не поспели округлиться — не сумеют истратиться.

И вместо чаемого Колизея замерещились Ивану Иванычу одни дрянные заплатки: я, я, я, — якает каждый камень, и нет его, нет Великого Здания.

— Не поспели округлиться... — горестно шепчет Иван Иваныч и вот уже видит: сизо-багровая зараза Чумло тащит щупальцы над смертельно усталой землей, и в дурмане Поголовщины закипают в ней новые войны, и безумные новые казни, и предательство, и расправы.

Перепуганный Егорыч приехал из Лесного Поселка, дом сожгли какие-то ребята, а его, старого, вон:

не служи буржуям. Главная обида Егорыча та, что за старшого Емелька-глупак, которому он вихры надирал. Что же я, дешевле Емельки?

Кто разберет человека: тот же Егорыч, глядя в окошко на матроса, солдата и рабочего, с тайной гордостью говорил: «Ишь ты, наши министры идут!»

Вот и в маленький городок, где была лечебница, однажды приехали воины: одни на мохнатых небольших лошадках, здоровые, вихрастые, с румяными лицами, другие пешие и голодранцы. Своими глазами в одно чудесное утро видал Иван Иваныч, как обступили небольшую лошадку пешие. Закуривали папироску у вихрастого, смеялись, болтали о том, о сем не только на одном языке — на одном наречии: о́кал вихрастый, о́кали пешие. А потом, через столько-то часов, не слишком далеко от города затокали пулеметы: это те же самые друг друга расстреливали.

Затокали пулеметы, Иван Иваныч вздрогнул: пора.

Пора разбить Поголовщину, подойти вплотную к врагу, подставить без гнева свою грудь и кротко, но твердо, как владыка, сказать ему имя: Чум-ло.

Это наверное знал Иван Иваныч: все силы души и воли направить не на того, кого люди зовут врагом, а на то, что за людьми этими, что их движет, на отъевшееся их дрянью Чумло; враг сегодня один, назавтра другой, а Поголовщина — неизменна.

«Так что как вы назвали меня, вашбродь, я вас и выволок», — как живое, ухмыляется перед Иваном Иванычем скуластое лицо Еремеева. Да разве не все они там Еремеевы, окликнуть их — и скотское угасится, как у милого брата, в тот незабвенный час проснется душа.

Что надо сделать, как окликнуть их там, заряжающих пулеметы, Иван Иваныч не знал, но он взял костыли и пошел к выходу.

Дошел Иван Иваныч до озера, до того места, где лошадь Марфушка с замотанной головой, как расфранченная негритянка, топталась по кругу. Присел на знакомый пенек, и вдруг тяжелыми сделались костыли, знакомой болью заныла нога, и понял он, что никуда дальше он не пойдет и никакого крылатого слова он не знает.

Нужно слово: разбить Поголовщину, округлиться, истратиться — найти зодчих Великому Зданию.

Марфушка, как заведенная, топталась по кругу: и даже кнута ей уж не было нужно; кнут валялся под деревом, куда залез погонщик Федька, чтобы смотреть, как рвутся снаряды.

Иван Иваныч смотрел на Марфушку и плакал, а Федька, приметив его, так и прыснул: ишь наклюкался!

ГНЕЗДЫШКО

У Софочки нет родителей, ее взял к себе дядя: он вдовый, а сын его, большой Мика, только по субботам приходит домой. Дядю Софа почти и не видит: за утренним чаем он ей подставляет для поцелуя свою душистую бритую щеку, а сам в ответ, разведя на затылке золотые косы, вкусно чмокает в шейку и всегда пропоет: «Софочка — умница, про то знает вся улица, кот Ермошка да я немножко», сунет в руку шоколадку, поправит очки и юркнет за газетную простыню «Новое время».

С высокого стульчика Софе видна только отставленная вбок нога с светлой шпорой, повыше — красный лампас да две суконных руки с белыми пальцами: в пальцах газета. Тянет Софа из розовой чашечки молоко, а глазами следит, как нет-нет, а вынырнут из-за газеты седые усы, горбатый бледный нос и лоб без волос, во всю голову. И зимой и летом дядя бреется наголо, говоря: «На то военному смелость, чтобы идти навстречу событиям». Окончив чтение, дядя, позванивая шпорами, проходит мимо Софы в переднюю. На пути еще раз дернет ее за обе косички и скажет свой

второй стишок, прощальный: «Возился медник, таз куя, и думал он, тоскуя: „Задам-ка Софе таску я, и разгоню тоску я...“»

— Mademoisele, — звякают дядины шпоры перед француженкой.

— Monsieur, — привстает француженка.

И дядя пропадает в дверях до завтрашнего утра.

Леонтина учила манерам, песенкам, а больше усаживала вышивать по крупной канве разноцветного попугая: старинный узор, привезенный ею из Франции вместе с «водой Лурда», черными четками и духами. Все эти вещи жили вместе в затейливой коробке из разноцветной соломы — работы кайеннских каторжан.

Каждое утро, после урока французского языка, Леонтина открывает ящик, достает попугая и, отметив карандашиком, сколько следует вышить сегодня, завершает свои обязанности воспитательницы краткой моральной беседой; указывая розовым отточенным ногтем на кайеннский ящик, Леонтина вздыхает:

— Скажите, Софи, кто это сделал?

— Люди, попавшие в галеры...

— Но почему они туда попали?

— Потому что они плохо себя вели.

— О да, они убивали, они брали чужое, они пили водку... Вы не должны следовать их примеру.

К Леонтине то и дело приходят подруги француженки, с такими огромными шляпами, что приходится звать Стешу открывать вторую половинку дверей.

Софочка вышивает кусок попугая и думает со страхом о том, как бы ей никогда не украсть, не убить и не выпить водки, чтобы не таскать в наказание тяжелые тачки с камнями.

После завтрака Леонтина одевает Софу в белый капор, белое пальтецо и водит взад и вперед по главной улице.

Стоит весна; склоны высоких бульваров усеяны розовыми примулами и баранчиком, желтым пахучим цветком.

Но сорвать их нельзя: Леонтина крепко держит за руку и, чтобы выкроить себе дома лишний свободный час, заодно с прогулкой дает уроки арифметики...

И так каждый день.

Зато и ждет Софа воскресенья, когда домой приходит большой Мика.

По воскресеньям Леонтина исчезает куда-то до вечера, а дядя дает юнкеру денег, чтобы он, прихватив Софочку, «для здоровья» прокатил ее за город. Перед поездкой Мика особенно долго плещется в уборной, душит чистый платок, послюнив пальцы, ровняет перед зеркалом брови, щиплет что-то на верхней губе.

Всякий раз, когда проезжают мимо бульвара, в том месте, где за заслуги перед городом поставлен навеки совсем голым один бронзовый герцог, Мика останавливает извозчика, оглядывается по сторонам и скорым шагом подходит к красивой даме, которая всегда сидит на одной и той же скамье, прижав к смеющимся губам душистый платочек. «А если я не поеду!» Но эти слова нарочно, дама садится с Микой рядом, а Софочку берет к себе на колени, и все время, пока едут городом и встречают знакомых, она возится только с ней одной, достает из плюшевого мешочка разные разности и смеется: «Повтори-ка, кто я? Я — тетя Фантазия!»

И всякий раз, пока дама с нею возится, Софочке верится, что она ее страшно любит; от радости она крас-

неет и ловит душистые пальцы в веселеньких кольцах.

Но за околицей Мика с досадой ворчит:

— Да спустите же ее...

Останавливают извозчика, усаживают Софу в ногах и туго натягивают над головой ее гадко пахнущий кожаный фартук. Вместо зазеленевших полей, алого закатного неба Софочку вдруг охватывает тошнотная полутьма, в которой противно слышатся все толчки и ухабы дороги.

Софочка плачет, но, боясь Мики и того, что ее в следующий раз не возьмут, сворачивается клубком, как собачка, и дремлет. Сквозь сон слышно ей, как целует Мика тетю Фантазию, а она весело поет: «Любовь — пташка, но не простая, ее поймать ника-ак нельзя...» — «Если б я только мог тебе верить, о, если б я мог!» — прерывает ее страстным голосом юнкер.

Когда подъезжали к домику бабушки Марфы Ивановны, белому с голубой вывеской «Гнездышко», фартук отстегивали и Софочку выпускали.

Там, где улиц больше не сделали, а дачи, окруженные садами, лепились, как попало, друг к другу, стоял бабушкин дом, повернувшись своим балконом к морю и к большому красному камню, торчавшему, словно Ноев ковчег, из воды. Ласково, как родных, встречала всех бабушка, тете Фантазии целовала ручку и через свои маленькие комнаты в вязаных скатерках, по красному половику-дорожке проводила в большую гостиную. В гостиной стоял диван, крытый бархатом, а на стенах картины: боярин наливает чашу вина, зеленые русалки плещутся в зеленой воде. Мика и тетя Фантазия оставались одни в этой комнате,

а Софочку бабушка уводила к своим внучатам Павлутке и Степе.

Дети, взявшись за руки, по белой песочной дорожке бежали прямо к морю, там играли в свою игру. Из-под плоских, излизанных волнами камней отдирали маленьких крабов, их сажали друг дружке в волосы, пока головы не становились вороньим гнездом, тогда кричали:

— Царь морской, выходи!

— Я себе рыбий хвост попрошу, — шлепает губами Степа.

— А я мертвого водолаза возьму, одежду с него надену, в стеклянные буркалы глаза вставлю, словлю на дне жемчугу на сто рублей, куплю бабушке корову, а вам пряников, — суетится Павлутка.

Софочка ничего выдумать не умеет, она визжит и трясет головой — крабы очень щекотят. Идет к детям по песочной дорожке бабушка Марфа Ивановна, садится на камень, к себе в колени берет все три детские головы, выпутывает из волос крабов.

Еще играют дети: из морского песку строят скотный, ставят колодец — «журавль», как помнит Павлутка, об одной ноге стоял там, далеко, откуда они приехали, среди самой деревни, а вокруг «журавля» — с него же ростом гнезда, в гнездах утки на яйцах сидят.

— Откуда утки несутся, — спрашивает Софочка, — из-под клюва?

— Не из-под клюва, а из-под пупа, — тяжело ворочает языком Степа, — все так в деревне неслись.

Степа, как постройку смастерит, сейчас обхватит ее пальцами и скажет непременно: «Тут мое, я построил».

А Павлутка, курносый, веснушчатый, врет и хохочет.

— У бабушки яйцо есть протухшее, с прошлой пасхи. В том яйце крокодил развелся; разобьем, пусть поплавает.

— Из куриного яйца, окромя цыпленка, ничего не вылупится, зачем глупишь девочку! — останавливает бабушка. — Садитесь-ка, детки, на камушек, вкруг меня, попросохните.

Садятся дети, тесно жмутся к бабушке, глядят в море: ничего нету в море, рябятся волны, где-где дельфин перекрутится, и лови его — уплыл к молу встречать пароход.

— Рыба-нарвал, морской еж, чертов ерш! Стань передо мной, как лист перед травой! — заклинает Павлутка.

— Морского старика, старика... — перебивают Софочка со Степой.

О морском старике еще в первый раз договорились дети — все одинаково его видели: ус моржовый, рот китовый, глаз вареного судака.

Сидит с детьми, молчит бабушка Марфа Ивановна, старушка белая, в кружевной черной наколке. Она на море не смотрит, перебирает толстую шерсть деревянными длинными спицами — шарф на продажу вяжет. Всегда бабушка, даже в дожди, из дому выходит, когда в большую горницу приезжают «гости». И молчит бабушка: стыдно ей. Думала ли она, когда жила за своим Аверьян Саввичем, старшим дворником, что вот таким делом займется? Под легкую любовь сдавать станет комнаты.

Долгую жизнь честно прожила бабушка в своей маленькой дворницкой там, на родине; Аверьян Саввич, спасибо, не пил, хоть и бедно, а всего в комнатах было вдоволь, даже старенький граммофон завели для единственной дочки, для Оленьки. Все для Оленьки, а ее-то самой и нету. Гроши сколачивали, в гимназию отдали, из гимназии замуж за учителя; учитель сюда, к теплому морю, всю семью и увез. Да что радости! Павлутка с Степкой чуть подросли — Оленька скончалась, а учитель спился; ищи его, где пропадает...

Вот Павлутка и Степка на старых на бабушкиных руках; да разве себя одной ради стала бы бабушка пачкаться, голую старость свою ублажать?

Это их выучить, их поднять, их прокормить да обучить. А сапоги... не оглянешься — все в ошметках, ведь камни тут. И все тут дорого. Что поделаешь? Павлутку со Степкой в море не выбросишь. Заработок бабушки — три пестрых шарфа в месяц продать, а тут с легкой любовью само собой вышло: не сама ведь придумала, где ей, и в жизни такого не видывала, что здесь, у моря, проделывают.

Приезжают с весны на короткий срок одни жены, одни мужья, никто их тут не знает, а солнышко греет, а розы цветут... Ну и крутятся.

Домик этот, «Гнездышко», высмотрела бабушке красивая барыня Ида Павловна, она от чего-то тут лечилась, а муж в Сибири служит. Ида Павловна себе большую комнату взяла и диван этот, крытый бархатом, что теперь, добрая душа, на память оставила, а бабушку с внуками в двух маленьких поселила и платила за все одна. Ну, как было на это бабушке не пойти! Квартиры ведь тут — не доступишься, не ноче-

вать же под кустиком с внуками? Да и посетитель Иды Павловны, инженер Андрей Иванович, не пьяница, не дебошир... Кому какое дело...

А уезжать Ида Павловна собралась — подружку на свое место привела, та с военным, ну пошло и пошло... Уезжают; одной рукой прощальный подарок дают, другой заместителей вводят. И поначалу будто ничего стыдного не было, словно бы все по знакомству, по снисхождению; бабушка старая, те женщины молодые, красивые, про мужей расскажут — еще с ними же и поплачешь: все пьяницы, все разобидчики...

Даже весело, что здесь месяц-другой отдохнет от него бедная женщина, а греха словно и нет. Но вот попривыкли, что у бабушки «Гнездышко», уж перестали стесняться, и нехорошее такое пошло: жизни своей больше никто не рассказывает, сунут деньги — и баста, купили! И как бабушка горестей ихних не знает, кажется ей, будто ничего за душой у этих людей больше и нет, кроме того, что вот в большой комнате занимаются, хохочут, и вино пьют.

А сменяют друг дружку теперь уж без всякой рекомендации. «Сколько вам в месяц?» — и все тут... Торговля. Торгует, вышло, бабушка Марфа Ивановна чужим срамным грехом. Да, она самая, что, бывало, щепотку рису по соседству займет, так ведь спать не ляжет, чтоб в тот же день не отдать.

Не шевелит бабушка спицами, уронила старую голову: «За что мне, господи, срам такой?»

Горько вспомнилось, как на исповеди священник корил: «Сводня ты старая, притон содержишь».

— Батюшка, а Павлутку со Степушкой кто подымет?

— Бог подымет, молись богу...

Молилась бабушка, ох, коленки щемят, и ведь как раз после такой вот молитвы послал бог ее, добрую барыню Иду Павловну. А с нее и пошло...

Все путается в старой бабушкиной голове: стыдно и страшно ей бога, и людей стыдно и внуков — Павлутки с Степой... А ну вырастут да в могилу ее камнем бросят? «Лучше б с голоду уморила, чем на подлые деньги вскормить», — люди злые расскажут. Ну и что же их, уморить? Щенка слепого, и того жалко, а они детки, чистые душки.

Старая, от горя глупая, бабушкина голова только и помнит, что, пока сама была честная да почтенная, так вот точно про других говорила: про девушку Пелагею, что ребеночка прижила, про Катю-воровку, да мало ли про кого. Сама ведь строгой жизни была, душу свою берегла на день судный, чтоб без пятнышка, без зазоринки нашел ее душу судья праведный.

«Сберегла — черту в пекло». Смахивает слезинки бабушка и опять кличет разбежавшихся детей — не простудились бы, измочившись. Утирает бабушка нос Павлутке и Степе, гладит по золотым коскам Софу, греет ее покрасневшие в воде ручки своими шершавыми, давно не теплыми руками, сейчас вместе и разогреются. Жалеет бабушка Софу, — ишь сиротка, чего ни натерпишься, чего ни насмотришься!

И Софа жмется к бабушке, слушает мальчиков; Павлутка Степу поджигает, один перед другим сказки врут.

А бабушка опять думает: «Ах, как нехорошо теперь в большой комнате! Приезду настоящего еще нет, так по дням разбирают; оно хоть и не дешевле выходит, да

уж очень гадостно. По воскресеньям, в самую обедню, этот вот Софочкин юнкер, безусый мальчишка, а ей, поди, за тридцать, срамота!..»

Шевелит бабушка длинными спицами, подхватывает последние петли, кончает пестрый шарф; остался от него маленький клубочек, такой веселый: из голубой переходит шерстинка в розовую, в зеленую, в желтую...

— Всехцветник-клубок, — говорит Степа, — подарика мне его, бабушка.

А сейчас и Павлутка и Софочка тоже: «Подари, подари, бабушка!» Сощуривается бабушка, от улыбки, как в пещерку, далеко губы в рот втягиваются, и дает всехцветник-клубочек Софочке — она сиротинка, кто ей даст?

Весело Софочке: ее клубочек, ее и бабушка, такая же стала собственная, как Павлуткина и Степина.

— Милая бабушка, мы с тобой, верно, родня?

— Что ты, что ты, генерал тебе дядя.

Разматывают и наматывают дети клубочек, все вместе придумывают: зеленый кусок — травка, аленький — мак, оранжевый — одуванчики.

Рано вышел на небо месяц, и кругом все потемнело; из оврагов выползли облака — не прозрачные, как дневные, а тяжелые, будто смокшая вата.

— Ночные облака заколдованные, — говорит Павлутка, — кого накроют, тот станет камнем.

Зато вечернее море добрей дневного: легче взбегают волны, веселей зажимают в свой гребень камешки и тише сползают обратно.

Софа бросает мертвой волне носовой белый платочек. Первая волна, покачав его, как качают дитя

в колыбели, дает его новой волне, и так дальше и дальше, пока белое пятнышко не попало в столб света, не слилось с его серебром.

— Платочек-то денежки стоит, — говорит бабушка, — нехорошо это, другие спины не разгибают, чтобы денежки получить, а ты не бережешь. — И она рассказывает, как трудно беднякам жить на свете.

— Я больше не буду, бабушка! — Софочке жалко людей, которые спины не разгибают, но не страшно от них, как от тех Леонтининых кайеннских пьяниц: сама Софочка хочет работать, как те люди.

— Я, бабушка, попугая окончу вышивать, тебе принесу, ты продай, раздай бедным.

— Что ты, что ты, без спросу тебе нельзя, — пугается бабушка.

— Дельфины в чехарду играют! — кричат мальчики.

По лунной дорожке то колесом ходят дельфины, то извиваются в одиночку, топорщат жесткие плавники, а то канули — чуть-чуть морщит рябь.

— До луны им не допрыгнуть, до луны тысячи верст, — знает Павлутка.

— А подпрыгнут, все равно не сдернут ее плавниками, не сшибут хвостами: луна крепко к небу прилажена, — языком шлепает Степа. — Поищем-ка лучше Каина с Авелем.

И подымаются к небу детские головы и бабушкина старая...

Долго сидят, глядеть не устанут, но выходит из «Гнездышка» Мика со своей дамой — тетей Фантазией; бегут мальчики скорей за извозчиком, бабушка чего-то пугается, низко кланяется. Софу берут на руки, и отдохнувшая лошадь мчит домой крупной рысью.

При въезде в город тетя Фантазия соскальзывает с извозчика, Мика вместо нее крепко обхватывает Софу, чтобы она, сонная, не выпала на камни, и довозит до дому.

— Если проговоришься — убью, — шепчет он ей перед крыльцом.

Зачем проговариваться? Больше в «Гнездышко» не отпустят, а Софе только и радости всю неделю, что мысль об этой воскресной поездке.

И вот вдруг все окончилось.

В одно радостное воскресенье, когда люди шли в церковь с цветами, тети Фантазии под бронзовым герцогом не оказалось. Мика в бешенстве ткнул кучера кулаком в спину и заорал: «Пшол обратно!»

Дома Мика заперся в своей комнате и схватился за книгу Фридриха Ницше «По ту сторону добра и зла».

— Если она насмеялась, я ее убью, — шептал он, хрустя пальцами. Потом вскочил, долго рассматривая в зеркало свое гладкое лицо, черные, сросшиеся над носом брови, нащипанные усы чуть светлее бровей, глаза, которые тетя Фантазия прозывала «мои озера-бездны», и заплакал.

Софа тоже плакала у себя в пустой комнате, сидела на полу и дергала бабушкин всехцветник-клубок: зеленая нитка — травушка, желтая — подсолнечник, голубая — море. У моря Павлутка с Степой мастерят скотный двор, а бабушка на камне свой пестрый шарф вяжет — такой, как старый, или другой? Бабушка, бабушка...

Никого нет в доме. Дядя и Леонтина до вечера не приедут; такой страшный этот дом, когда ни светло, ни темно и не знаешь, что делать. Внизу, у кухарки, ден-

щик на гармошке играет, а горничные пляшут. Вот к ним бы пойти! Софа встает было, да раздумывает: сколько раз прогоняли, денщик увидит — играть перестает, а Катерина строго скажет: «Пожалуйте в свою комнату, не мешайте».

Разматывает Софочка, наматывает свой всехцветник-клубочек, все хорошие слова для шерстинок уже вышли, и подбирает она слова злые и гадкие, какие слыхала на улице и в ругани от солдат. Хоть бы Мика вышел, хоть бы побил, так скучно...

А Мика все взаперти в своей комнате: перед ним томик Ницше и Крафта-Эбинга «Половая психопатия»; то за одну книжку хватится, то за другую, то в дневнике напишет: «Я довольно силен для мести — вот только б решить, кто во мне действует: сверхчеловек или... павиан».

И к вечернему чаю выходит он с этими двумя книжками.

— Что почитываешь, молодежь? — спрашивает дядя и, взглянув на заглавие, фыркает. — У нас это было проще. Гм! Здоровей и проще.

Как-то в воскресенье, после того как в дневнике своем Мика кратко пометил: «Я готов», он приказал Софе одеваться, чтобы ехать за город.

— В «Гнездышко»? — спросила робко Софа. Ей не нравилось, как в прошлый раз, кататься по городу, не заезжая к бабушке, и страшно было одной с безмолвным Микой.

Он сдвинул брови, зарычал:

— Одеваться!

Когда колеса пошли вдоль бульвара месить весеннюю грязь, стало весело; вдали на скамеечке сидела

тетя Фантазия. Лицо Мики прояснилось, он остановил лошадь, взял Софу за руку, подошел к скамейке и, краснея, спросил:

— Поедем?

Тетя Фантазия улыбнулась:

— Ах, воо-бра-зите, у меня к дальним поездкам совсем вкус пропал. — И, как бывало, напевала: «Любовь — пташка... ее поймать ника-ак нельзя», — сейчас иное: «Вот сижу, ка-аго-то жду...»

— Только и всего? — побледнел Мика.

— Только и всего. — И, вынув из мешочка шоколадку, тетя Фантазия протянула ее Софе. Мика вырвал у Софы шоколадку, швырнул в кусты и скорым шагом, так что ей пришлось бежать, чтобы поспеть за ним, протащил девочку к экипажу и крикнул кучеру:

— На стекольный завод!

Софа заплакала и стала проситься домой. Она не любила завода, где рядом тянулся желтый острог и большие пустые сараи.

— Хочу-у домой...

— И хоти...

Подъехали к заброшенному заводу. Мика отпустил кучера попасти лошадь на свежей траве, ввел Софу мимо толстых кирпичных столбов в длинные коридоры, где в полу были круглые отверстия, притиснутые заслонками; одно отверстие не прикрыто. Софа заглянула: черно, дна не видать. Стало страшно. Молчит Мика, брови насуплены. Вот возьмет туда и спустит.

— Микочка, Мика!

— Микочка... Вырастешь — такая же дрянь будешь... — В одно слились черные брови, и большая рука как стиснет Софину ручку. Больно.

Пошли дальше, к обвалившейся стене; под южным солнцем семена, занесенные сюда ветром, дали всходы, и среди красных раздробленных кирпичей ярко зеленела молодая крапива.

— Набери-ка на щи зеленые, — сказал Мика, сел сам на камень, тяжело засопел. — Щи с яйцом, цыпленок с огурцом — самый весенний обед. А весна — краса природы, тэк-с, и пора любви. Набирай, говорят тебе!

Софочка набирала, что-то весело лопоча. Она радовалась, что перехитрила крапиву: рвет ее в перчатках, а руки-то и не колет; вот уже и полный платочек, только завязать его крест-накрест узелками.

Мика взглянул на чуть видный бульвар, и в глазах его стали слезы.

— Микочка, это ты оттого, что тетя Фантазия не поехала с нами? — Софа обхватила его ручонками, поцеловала: — Не надо, Микочка, плакать...

Он отдернул ее руки и опять злобно сказал:

— Вырастешь — такая же дрянь будешь. Все вы... Ну, набрала крапиву?

— Полный узелок... — подала испуганная Софа.

Мика вспыхнул, вытряхнул крапиву и хриплым голосом, словно давило ему горло, сказал:

— Снимай штанишки, я тебя высеку.

— Ой, ой! — Софа вскрикнула и бросилась бежать. Мика прыжком догнал ее, скрутил назад руки, перевязал их белым платком, положил на холодные плиты, путаясь в пуговицах, отстегнул белые штанишки и, подобрав разбросанную крапиву, не спеша начал сечь. Он сек и бормотал:

— И перешагнем по ту сторону, перешагнем...

У Софы темно стало в глазах; ей было так, будто

Мика спустил ее в тот глубокий черный колодец, куда она недавно заглянула. Вот сейчас закроет заслонкой отверстие и бросит ее умирать, сам уйдет. И еще стыдно было, и крапива жгла больно...

— Я умру! — крикнула Софа и больше не кричала.

Опомнилась она на обратном пути, когда подъезжали к дому.

Испуганный, бледный Мика, вынося ее на руках, шептал в ухо:

— Ничего не было, тебе приснился страшный сон, а станешь болтать — напущу на тебя... Набегут мыши, тараканы, съедят заживо... молчи!

Леонтине Мика сказал, что Софа вдруг заболела, чтобы ее сейчас уложили в постель.

Софа сразу крепко заснула, и, когда проснулась, была глубокая ночь. В ногах у ее постели стоял темный комод, на нем добрым светиком светил ночник с розовым колпаком. Зарозовели от ночника белые стены и платье на вешалке. Рядом с Софочкой с одной стороны была комната Леонтины, с другой — Микина.

Уже Леонтина, сняв с головы шиньон, повесила его на ночь на статуэтку бронзовых часов и, кликнув горничную Таню, растопырила руки, чтобы та расстегнула ей тугой лиф и корсет. Леонтина облегченно вздохнула, накинула розовый пеньюар и, надев пенсне, как всегда, минут на десять перед сном уселась в покойное кресло смотреть открытки с видами родного далекого города.

А Мика, намазав руки филодермином, чтобы кожа не трескалась, надел на них замшевые старые перчатки и изменившимся вследствие этого почерком писал в своем дневнике: «Сегодня сознательно совершил

первый шаг на пути к «великому насилию» — угрызений совести никаких. Для сверхчеловека убийство изменницы — право».

Мика положил перо, прислушался; из комнаты Софы слышался плач.

Софа сидела на кровати. Она вдруг вспомнила все. Она дрожала, пощипывая одной рукой другую. Ей хотелось позвать Леонтину, или Таню, или все равно кого-нибудь; так страшно чудились злые брови Мики: «Только пикни, нагоню на тебя мышей, тараканов...» Вдруг уже нагнал?

Софа знает стихи про епископа Гаттона и страшную картинку. Она боится пикнуть; вдруг тараканы на нее наползут черной тучей, как на епископа мыши...

И все-таки едва вспомнит, как скрутил Мика руки, как первый раз жиганула крапива, дыханье станет комочком и сердце кто-то лапой так хвать — кричать надо.

Вот уж и рот Софа открыла, вдруг дрогнуло перекошенное личико, смигнули глаза слезки, и Софа тихо, радостно улыбнулась, словно кто-то расправил, обласкал ее душу. Перед ней стоял ангел. Должно быть, он вот-вот слетел с неба, потому что весь еще был розовый, с большими несвернутыми крыльями, далеко уходившими в белые простыни, которыми закутаны были висевшие на стенной вешалке платьица. Лицо ангела не хорошо было видно, но Софа знала, что он, как и она, улыбается, а кудри у него золотые. Она так обрадовалась, так стало ей весело, что вдруг выпала злая память о том, что случилось в кирпичном заводе.

— Ты прямо с неба, — спросила Софочка, — тебя ко мне бог прислал?

— Что с вами, Софи? — Испуганная Леонтина в белом чепце со свечой подошла к кровати.

— Ангел, у меня в гостях ангел! И Софа в восторге показала рукой.

— Но это же обыкновенная простыня. — Леонтина обдернула розовую от ночника простыню, простыня упала прямыми широкими складками, а Леонтина, вспомнив, что она воспитательница, прибавила: — Даже в болезни человек должен стараться владеть собой и не тревожить покой своих ближних.

— Но это был ангел, сам ангел, — твердила Софа. — Мне так было обидно, и вот мне его сам бог послал.

— Полно, — рассердилась Леонтина, — перестаньте дурить. — Она взяла Софу на руки, поднесла к простыне, заставила тронуть.

Софа коснулась горячими пальцами холодного полотна и наконец поняла, что ангел ей только почудился. Она соскользнула с рук француженки на пол, затопала босыми ногами и закричала во весь голос, уже не боясь никого и ничего на свете. Мика выскочил из своей комнаты взъерошенный, бледный, в замшевых перчатках, которые не успел снять. И дядя тоже пришел.

Он был в халате.

Леонтина суетилась около графина с водой, в то же время не забывая надвинуть на лоб белый чепчик, чтобы прикрыть свои седые пряди, скрытые днем под шиньоном.

— Дяденька, милый, — кинулась Софа, — ангел неправда, пошлите скорей за бабушкой в «Гнездышко», одна бабушка меня любит... Меня Мика высек крапивой, пусть меня бабушка пожалеет! Если ангел неправда, пусть бабушка...

Мика бледный и злой проворчал:

— Девочка бредит, ангела в простыне увидала.

Опять рядом с Софой страшные черные брови. Софа перестала плакать, собрала силы и, чувствуя, что Мике будет какое-то зло от ее слов, сказала ясным, раздельным голосом:

— Он рассердился, что тетя Фантазия с нами не поехала, и меня высек, а я никого здесь не люблю, отдайте меня бабушке Марфе Ивановне: она живет у самого моря, у нее не дом, а «Гнездышко»...

— «Гнездышко», — дядя стал багровый, яростно кинулся и подступил к Мике. — Негодяй! Впрочем, пойдем объясняться ко мне. Уложите ее, — кивнул он Леонтине.

Леонтина раскудахталась над кроваткой, то поила Софу одними каплями, то другими. То, горя любопытством, пыталась кое-что выспросить, но одно заладила Софа:

— Отдайте меня, отдайте бабушке в «Гнездышко»!

На другой день Софа проснулась поздно; голова у нее очень болела. Леонтина вошла на цыпочках, спустила шторы и сказала:

— Сейчас дадут вам молоко в постель, не вставайте до доктора.

Софе было приятно, что она больна и может не бояться Мики: он бы, наверно, убил ее.

Вдруг Софа услышала в коридоре гневный крик дяди, а в ответ знакомый старческий голос. «Бабушка!» — узнала Софа, а кричит дядя опять на Мику, и так ему и надо.

В голове ее спутались часы, казалось, что это все еще вчерашний день. И какой это дядя добрый, что скоро послал за бабушкой; может, он и вправду навсегда отдаст ее в «Гнездышко».

Забыв запрещение Леонтины, Софа влезла в халатик и туфли и выбежала в коридор.

Дядя стоял одетый, как обыкновенно, в тужурке, с пушистыми, расчесанными бакенбардами, но такой же опять багровый, как вчера. Правой рукой он стискивал крепко трость и, казалось, делал усилие, чтобы не поднять ее.

У его ног на полу кто-то копошился, не видно было лица, только серый платок на плечах, черный, поменьше, на голове.

— Старая сводня, в тюрьму засажу... — Но, увидав Софу, дядя понизил голос и сказал брезгливо: — Встаньте и убирайтесь.

Шатаясь, встала старуха. Она была бледна, неживая, вся будто из желтого воску. Платок с головы съехал, седые пряди болтались по плечам.

Да, это была бабушка. Она смотрела на Софу помутневшими, наплаканными глазами.

— Бабушка, милая бабушка... — кинулась Софа.

— Обратно в постель! — крикнул строго дядя.

А бабушка пожевала губами и чуть слышно сказала Софе:

— Прости тебе господь, жалела я тебя, а ты меня... ровно Иуда. Теперь с голоду пропадать.

ЖЕНА ХАМА

— Милая Гоѓо, — говорила тетушка, сидя по воспитанию своему в кресле прямо, не прислоняясь к спинке, — будь моя воля, я бы с тобой не рассталась, но вот письмо... — она махнула синим конвертом с твердыми буквами, — сын Андрей вызывает. — Тетушка понизила голос, стесняясь, как это делается, когда говорят слегка позорящие, но неизбежные вещи: — Ведь тебе, моя душенька, придется зарабатывать!

Евдокия Ивановна, или, как родные все еще звали ее, Гого, вдруг поняла, что и для тетушки, как для всех, она после смерти отца из балованной, богатой девицы стала нищей, заплакала и беспомощно вытянула свои тонкие пальцы.

— Но чем же, ma tante? Я ведь домашнего воспитания, у меня нет диплома.

Тетушка взяла пальцы Гого в свои усыпанные кольцами руки, улыбнулась подрисованными губами и сказала с весом, как некто, хитро обдумавший дело:

— Ты будешь, душенька, давать уроки лепки, сейчас это очень принято в самых лучших домах. К тому

же ты, слава богу, не курсистка какая-нибудь или там суфражистка, тебе и Григориани и Петровские поручат своих малышей.

— Но, ma tante, — изумилась Евдокия Ивановна, — я ведь скульптуре нигде не училась!

— Полно, милая, — брезгливо поморщилась тетушка, — какие там науки! Маленькие создания тебе налепят уродцев, а ты слегка критикуй, щади самолюбия. Слышала я фребеличку: «Лепите, детки, кошечку на подушечке, у кошечки лапки спереди, хвостик сзади». Я не стерпела. «Вы бы им, говорю, мадемуазель, показали, поправили, неприлично, если дети таких монстров родителям поднесут». Так ведь огрызнулась: «Это в ваше время за детей учитель работал, а у нас, по новой системе, развитие самодеятельности». Да с этакой, душенька Гого, самодеятельностью можно преподать что угодно и кому угодно, благо мода.

— Мне стыдно, ma tante.

— Брось, брось! — И, привстав, тетушка обняла Евдокию Ивановну за плечи. — Бесспорно, что приличней всего, душенька, когда женщину содержит мужчина, но для этого, извини меня, ты все сроки пропустила; и к тому же сейчас у тебя, как это говорится по-русски, ни кола ни двора, а потому совесть ты свою успокой. В преподавании лепки решительно ничего нет против морали и религии; ведь до греческих голых богов не долепитесь?

Тетушка долго еще говорила с большим знанием жизни, и Гого не могла не признать, что лучше в хороших домах учить детей, чем, как выражалась тетушка, бог знает с кем стучать бок о бок на машинке.

— А в заключение открою сюрприз, — добавила тетушка. — У Григориани и Петровских уроки налажены, идем завтра вечером, и помни: твой час дорогой... Твой папа ведь был сослуживцем министров...

Евдокия Ивановна, оставшись одна, долго ходила по комнате, ломая руки; осмотрела сундучок, заветную шкатулку с былыми драгоценностями; все давно продано, еще за болезнь отца, в сундучке пустые футляры да тряпки. И в зеркало посмотрелась; ну что же: когда-то пикантное, сейчас просто увядшее личико, испуг в глазах, а ведь было все, и как было-то. И молодость и возможности...

— Жених к нам, что муха на сахар; чем тебе, Гогушка, не угоден? — говорила няня. — Выбирай, этот князь, тот помещик. Смотри, ты девица — что ягода: ягоду в вёдро не сымешь — она тебе в дождик скошлатится...

Не князь, не помещик — учитель русского языка Сергей Иваныч, один он нравился, за одного Сергея Иваныча хотела Гого замуж. И, чтоб достойной его учености быть, как отца ни боялась, осмелилась:

— Не хочу выезжать, хочу учиться, знать хочу...

— Замуж выскочишь — все, что надо, узнаешь; ты не рожа какая-нибудь, чтобы синие чулки собой множить.

Учителю в тот же день отказали, и скорехонько он и вовсе из города улетучился; Евдокия Ивановна, не встречая Сергея Иваныча на улице, ведь в адресный стол бегала узнавать квартиру. Там пошушукались, этак боком глянули, и один низколобый брякнул:

— Выслан неизвестно куда...

Евдокия Ивановна заболела, в бреду все про записку твердила: «Милый друг, приезжай». Это, ей чудилось, от учителя из далекого края.

— И пойду, — кричит, — на край света пойду...

Выздоровела. Записочки никакой не было. Женихам даром свататься надоело, да ведь и она уже не прежняя хохотушка Гого. Поплакивает старая няня, свое шепчет:

— Девица — что ягода: ягоду в вёдро не сымешь — она тебе в дождик скошлатится.

— Скошлатилась... — стоя сейчас перед зеркалом, сказала себе Евдокия Ивановна. — Теперь одно осталось: у кошечки лапки спереди, хвостик сзади...

Верная своему обещанию, на другой же день тетушка повела Гого и к Григориани и к Петровским. Вышло все как по маслу, не боги, в самом деле, горшки обжигают. В обоих семействах поминали общих знакомых, бабушек, тетушек, пили чай с кексом, потом шутя, словно играя, Гого лепила с детьми уродцев. Дети часа два не капризничали, молча сопели над глиной, всем в доме был отдых.

Благодарили тетушку, благодарили Гого за то, что она «совершенно своя», и нехорошо вспоминали прошлогоднюю фребеличку, которая так нелюбезно сейчас после урока бежала на следующий, отказываясь всякий раз выпить чаю.

Тетушка подарила Гого руководство по лепке одного немецкого педагога, наняла ей комнату у приличного вида женщины, правда сектантки, не православной, но что поделаешь, зато, наверное, не пьяница и не воровка.

Тетушка, пролив слезы, уехала к сыну, а Гого взяла себя в руки, один за другим изучила все три тома немецкого руководства и на последние деньги купила «Героев Эллады», справедливо припоминая, что скульптура главным образом пошла от греков, почему хорошо время от времени назвать их на уроке, и вес придаст.

Действовать по руководству «Детский рай» сначала было как-то стыдно. Но немец-составитель во всех трех томах так важно верил в свой метод, что и Гого поверила:

«Учитель должен войти каждый раз в класс отменно веселым и радостным и рассмешить детей вопросом: Кто видал апельсин? Кто летал, как ворона? Кто то, кто другое?» Дети должны засмеяться, и урок должен идти весело.

Гого напрактиковалась дома над безделушками своей этажерки: выбирала какого-нибудь «слона в чепчике» и веселила им юных скульпторов. Потом она предоставляла им «самодеятельность». Пока дети налаживали слонам хоботы, Гого говорила о героях Эллады. Родители и дети были в восторге. А скоро и самой Гого стало не на шутку казаться, что веселый метод, усвоенный ею от немца и сдобренный древними греками, дает ей настоящее право обучать кого угодно и делает это она не хуже других.

Словом, первое время новой жизни, несмотря на отъезд тетушки и одиночество, тяжелым не было. Беготня по урокам, непривычное напряжение мысли утомляли приятно, родители обучаемых помнили отца ее, которому, по словам тетушки, должны были суммы. А люди всегда ласковы, когда отдают много меньше, чем взяли.

Но вот Григориани уехали за границу, одних Петровских не хватало на жизнь, пришлось идти к совершенно чужим, богатым Полуботкиным.

Хозяйка, миловидная блондинка, с изумрудом в розовых ушах, при первом свидании задала Гого́ те свои два вопроса, которые она считала приличным задавать всем вновь поступающим педагогам: где вы кончили и давно ли даете уроки.

Гого вспыхнула до слез, начала в чем-то оправдываться, что-то доказывать — ведь она нигде не кончала.

— Извините, я должна сейчас выехать, — прервала Полуботкина. — Значит, для гимнастики первый утренний час.

— Но я гимнастику не берусь, — испугалась Гого, — я скульптуру...

— Ах, почему, ведь это, кажется, проще скульптуры, — досадливо поморщилась Полуботкина. — И гимнастика также всюду теперь принята как искусство; неужто мне еще хлопотать, еще нанимать новую? Надумайтесь, плата та же.

Но Гого не надумалась, вдруг вспыхнула и как отрубит:

— Никаких уроков я у вас не желаю, — повернулась и вон. Полуботкина не поспела лорнетку к глазу приставить, вслед посмотреть.

Гого сидит у себя в комнате, в кресле с высокой спинкой, огня не зажигает, боится встать, боится глаза отвести от той точки, куда они попали и глядят не мигая. Отвести глаза — пустить в голову мысли, а мыслей нельзя пускать, потому хотя бы, что делать с ними нечего, только ночь будет бессонная, а назавтра уроки...

Опостылели эти уроки до отчаяния, больше того — так вдруг сделалось стыдно, так нестерпимо.

И Фидия с Праксителем язык уже не повернется поминать после того, что на днях случилось на улице.

Словом назвать — ровно ничего не случилось. Шла Евдокия Ивановна по тротуару, перед ней шел человек: широкие плечи, пальто потертое, но чистое, на шее белое кашне; шляпа, несмотря на продвинувшуюся весну, еще зимняя — войлочный пирожок.

Вот забилось-то сердце. Ну точь-в-точь как тогда, много лет тому назад, когда, выскочив в переднюю, видела, как швейцар ровнял наспех брошенные, стоптанные большие калоши; учитель, Сергей Иваныч, значит, пришел, сидит в классной.

Этот человек не он, конечно, но чем-то родной тому. Зашла Гого вперед, обернулась; усы, бородка клинышком, глаза умные, перед собой не видят, а ноги бегут, бегут. Так и тот вечно бегал, на улице не узнавал.

Пронесся человек, о чем-то своем задумавшись, Евдокию Ивановну и не приметил, а у нее и пойди все вверх дном. Чудится: учитель Сергей Иваныч здесь, рядом, все знает, что она делает.

Вот из-за него перед Полуботкиной вспыхнула, от гимнастики отказалась, из-за него Праксителя с Фидием поминать больше не будет, да и вовсе, кажется, на урок не пойдет. Стыдно, самой бы учиться надо. А поздно учиться...

Ресницы смахнули слезинки, однако скрепилась Евдокия Ивановна. Твердо, как в чужом месте, во враждебном, оглянулась вокруг; вещи фамильные на местах: комод жакоб, стол ореховый, безделушки на старинной горке.

«Осколки былого, осколок и я, — кто это меня жить послал, а из рук жизнь всю и вытянул?»

И мерещится, как, бывало, в летний день присосется муха к сахару, а ее кто-нибудь — хлоп — и накроет: полетайте, мушка, под колпачком.

Под таким колпаком и детство, и юность, и до сих пор...

На ночь заплетая тонкую длинную косу и, как живому, улыбаясь нежно учителю Сергею Иванычу, Гого дает ему слово стать очень честной, обещает «сеять разумное, доброе, вечное».

— Повторю грамматику, географию, это науки точные.

И тут же — ах! — и даже ушки красные. Ведь намедни по точнейшей науке-то как осрамилась! Вздумали дети словно заданный урок повторять, а на самом деле как-то там на разные лады браниться озером «Титикакой», а Евдокия Ивановна, педагог уж в себе уверенный, и оборви со строгостью:

— Болтать болтаете, а где озеро, где?

— В Южной Америке.

— Хорошее дело: Америку с Африкой спутали.

— Да это же вы, это вы сами!..

И визжали, и в ладошки, и друг другу на голову глину шлепнули. А ее тут же навеки: «Титикака курносая».

В прежние трудные минуты очень помогло бы Евдокии Ивановне дешевенькое издание «Жизнь мудрецов». Демосфен, с полным ртом мелких камешков, побеждающий косноязычие, или спартанский мальчик с лисицей, опять-таки Муций Сцевола...

Прочтет Евдокия Ивановна про чужой героизм, корсет потуже стянет, пристегнет тугой белый воротничок, словно воин доспехи наденет, а с ними и мужество протащить бодро день.

А вот после этой встречи на тротуаре, как встал почти забытый Сергей Иваныч опять живой перед глазами, уже ни мудрецы, ни герои, ни тугой воротничок — ничего не помогает. Проснется утром в постели — так бы до вечера и осталась.

Однако, пока живешь на земле, есть-пить надо; заставила себя встать, одеться, идти на урок. Вот и мостик над здешней рекой и фонарь; очень похоже на канавку, где в опере «Пиковая дама» героиня бросается в воду.

Подошла Гого к перильцам, засмотрелась, как качаются в воде золотые чешуйки — весеннее солнышко шутит, купается. «Ах, истомилась, устала я!..»

Это не Герман обманул в опере Лизу: это Евдокию Ивановну вся жизнь ее обманула. Была Гого хохотунья, сейчас «Титикака курносая» — скошлатилась. А главное: гнилая, душная ее жизнь. А как попасть в ту, настоящую, которой живет он, Сергей Иванович, — не знала она и не узнает. Что же ей остается? Да вот прыгнуть в эту воду, на золотые чешуйки.

Улыбнулась Гого, будто Сергей Иваныч тут рядом стоял, и в первый раз в жизни улыбнулась ему этак гордо, как равному, даже несколько свысока: не позвал, дескать, на край света, а теперь уж и не надо, теперь сама себе место нашла.

Евдокия Ивановна перекрестилась, прикрываясь муфтой, перегнулась низко и покорно ждала, когда закружится голова, без сопротивления, само собой, легко

перекинется тело через перила и булькнет в золотые чешуйки.

— А вы на это дело наплюйте, ей-богу, — сказал вдруг кто-то сзади и взял крепко Евдокию Ивановну за плечо. Она вздрогнула, обернулась и, как в сказке, ну, право, увидала того, с рыжей бородкой, в шляпе — войлочный пирожок, — словом, единственного, кого бы ей увидеть хотелось.

— Мой приятель Касперович это самое пробовал, и, представьте, на этом самом месте, — сказал человек, — и, к счастью, столь же неудачно, как, надеюсь, и вы. Сейчас Касперович — мой сотрудник, сообладатель ковчега и носорога и прочее, а ведь там-то, в воде, всего бы навсего рыб накормил. Касперовича я пресек. Но от времени до времени сворачиваю сюда в качестве инспекции насчет случаев однородного, так сказать, пафоса. Должно быть, фатальная декорация из «Пиковой дамы» — людей прыгать тянет. А знаете что: не зайдете ли к нам?

Евдокия Ивановна съежилась, и стыдно ей, и слезы вот-вот, прижалась лицом к муфте, не пошла, побежала.

— Вам налево и мне налево, — не отстает высокий человек и вдруг строгим голосом: — Куда бежите? Успеете. Послушайте, что скажу; может, это сама ваша судьба говорит с вами. Читали Уэльса, «Калитка в стене»? За гривенник продают на вокзалах.

— Не читала...

— Там аллегория. К черту аллегории, терпеть не могу, бессилье ханжей, которым живая жизнь не по зубам, но здесь исключение, здесь, представьте, какая-то истина затесалась. Да я вам своими словами

расскажу, вот послушайте: человеку всего-навсего надо было толкнуть калитку, чтобы войти в сад настоящей радостной жизни, а он все себе врал, все тянул ненужную лямку. Вот и вы: минуту тому назад здесь над водой задумались, а сейчас опять уж на старые рельсы. Да вы хоть по сторонам гляньте, другого пути поищите, ведь не все пути к черной воде! Самого страшного не боитесь, а шоры с глаз снимать жутко?

Евдокия Ивановна наконец нашла в себе силу взглянуть на высокого человека. Да, это тот, почти Сергей Иваныч, лицо простое, умное, шляпа — войлочный пирожок.

— На шляпу смо́трите, не по сезону, точно. Вздор, скоро с перьями купим. В Италию с Касперовичем дернем, с целым петушьим хвостом купим, этакими берсальерами загуляем. Видали берсальеров?

— Видала, — против желания сказала Гого, — мне налево.

— И мне налево, — свернул вслед за нею незнакомец. — Зовут меня обыкновенно — Иван Иваныч, фамилия разная, сейчас Феденко, потому что едем с Касперовичем в Малороссию, там впервые «Ноев ковчег» покажем; здесь, на севере, народ не смешливый, катары у всех, черт их проймет, того гляди полицию кликнут и в узилище сволокут.

— Что это за «Ноев ковчег»? — спросила робко Гого.

— Предприятие... в двух словах не расскажешь, вот зайдите. Тут за переулочками, хоть и не близко, а добредем. Касперович сейчас дома, завтрак стряпает, нас рассмотрите, мы ребята простые, может и в пред-

приятии участие примете. Ей-богу, насчет вас пришло в голову...

Иван Иваныч улыбнулся, отчего глаза стали совсем молодыми, но, внимательно взглянув на Евдокию Ивановну, взял ее под руку и крикнул извозчика:

— Устали вы, давайте ехать!

Евдокия Ивановна, дивясь самой себе, будто всю жизнь знала Ивана Иваныча, беспрекословно села, и он, как ни в чем не бывало, опять за свою болтовню:

— «Ноев ковчег» — антреприза, имеет будущее, но что поделаешь, зверей всего один носорог — молодчага, два аршина с половиной длины. В игрушечном магазине двадцать пять рублей плочен. Его Касперович у своего племянника выудил, за что ему теткой от дома отказано. А для «Ноева ковчега» у нас древний сундук, гробового вида. Касперович проектирует носорога этого поперек лесенки ставить. А лесенка в ковчег — вроде пароходных мостков для циркуляции в ковчег, — вы понимаете хитрость? Зверей у нас больше, натурально, никаких, а запинка всей циркуляции якобы из-за упрямицы носорога. Вдруг гром и молния и божий глас:

Отгоните от порога
Эту сволочь... носорога!

Рассмешили публику — увертюра! А дальше деятельность, ну, ей-богу же, просветительная, — смеялся Иван Иваныч, засмеялась Гого.

— И вот если бы вы захотели... Да нет, вы рассердитесь!

— Не рассержусь, скажите, — очень тихо сказала Гого.

— Кроме носорога, еще персонаж один очень нужен. Костюм — зеленая юбка в блестках, корсажик, па-

рик в буклях. Местожительство — дно сундука, только на время действия, разумеется. Социальное положение — как бы это поделикатнее сказать...

— Да уж скажите, — совсем повеселела Гого.

— М-м... не блестящее: жена Хама. Прочих жен трогать нельзя, найдут, что кощунственно, ну, а этот сын Ноев довольно скомпрометирован. Так вот-с, первый наш ресурс — носорог, второй — жена Хама. Бок сундука откидной, жена Хама возлежит на дне и публике эдак ручкой. Ничего более. И на юге, и на севере, и за границей — только ручкой. Хотите с нами? — совсем серьезно спросил Иван Иваныч.

И только подумать: у Гого в ответ такой радостью сердце... Ну вот, будто записка та, всю жизнь жданная, пришла-таки от учителя Сергея Иваныча: «Милый друг, приезжай».

— Поеду, — шепчет Гого, — поеду куда хотите.

— Вот и «Ноев ковчег», пожалуйте в поднебесье!

Иван Иваныч помчался вверх по крутой лестнице и забарабанил кулаком в дверь. Открывающий проворчал:

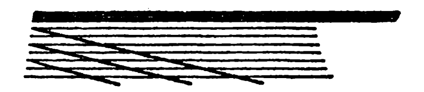
— Чего это тебя в такую рань принесло, я еще котлет не нажарил...

— Касперович, — сказал торжественно Иван Иваныч, — жарь на радостях вдвое, у нас, братец мой, комплект полный. Ковчег двинем в плавание, ибо рекомендую — жена Хама! А ты, братец, больше не сирота; рекомендую — носорожище!

Все взялись за руки перед мордастым зверем из коричневой бумазеи и пропели:

Отгоните от порога
Эту сволочь... носорога!

ЧТО КОМУ НРАВИТСЯ



ЧЕРЕШНЯ

Опять Таня и Ната на юге, опять кругом них родные горы, опять скрипит арба, татары едят шашлык, по набережной бегает серенький ослик... Таня и Ната хотят обнять и горы, и татар, и серого ослика.

Сестры только что вырвались из института на лето, и особенно весело им носиться, как вихрь, по аллеям городского сада, громко смеяться, махать руками; и попадись им сейчас навстречу классная дама Луиза Карловна, с каким бы вздохом она сказала: «Oh! Les mal élevées...» [1] Наверно, нарядные дамы, украшавшие аллею, были такого же мнения: они глядели на Таню и Нату строго и недружелюбно, когда те, визжа от смеха, чуть не сбили с ног небольшую старушку в очках.

— Ах, дети, смех не так далек от слез! — добродушно сказала старушка. У Наты и Тани на минутку скребнули кошки за сердце, но тут же, схватившись за руки, они свернули в уединенную тропинку и помча-

---

[1] О, плохо воспитанные... *(франц.)*

лись что было духу через камни и пни, пока не стукнулись об огромное дерево.

— Здравствуй, черешня! — подпрыгнула Таня, протянув руку к ветке, а за нею следом и Ната. Но тотчас обе взвизгнули и шарахнулись от дерева. Сзади них из земли вырос огромный черный татарин, и прежде чем Таня поспела сделать шаг, чтобы бежать, он схватил ее за косу.

— Черешня крал, хады в кантор, — и сонным голосом по-своему крикнул в кусты: — Келе мунда, Гассан!

Немедленно вырос другой татарин, ростом пониже, покоренастее первого, и широко развернул руки, чтобы не допустить побега.

— Что вы от нас хотите, что вам надо? — едва сдерживая слезы, бормотали Таня и Ната.

— Черешня крал — сам знаешь, в кантор проведем, штраф платить будешь.

— Неправда, ты лжешь, мы не крали, — закричала Таня, — мы только руки протянули...

— И почем мы знали, что их рвать нельзя? — всхлипнула Ната.

— Глаза есть? Читать знаешь...

Татарин повернул Нату за плечо и смуглым пальцем, на котором был желтый от табака ноготь, ткнул в зеленый столб, стоявший как раз в двух шагах от черешни. На столбе крупными буквами чернела надпись: «Собак не водить, фруктов не рвать...», а помельче красными: «За нарушение правил в конторе взимаются штрафы».

— Ах, ах! — пискнула Таня, а Ната вытащила из кармана плюшевое красненькое портмоне и высыпала

ближнему татарину все, что там было. Гассан и первый высокий татарин внимательно посмотрели на деньги, для чего-то сочли их, покачали головами, и высокий протянул обратно черную руку с монетами.

— В кантор деньги дашь... Ну, хады!

Высокий двинул вперед и буркнул по-татарски Гассану. Гассан немедленно замкнул шествие, чтобы отрезать отступление.

— Возьми браслет, возьми зонтик, все возьми, только отпусти домой! — взмолились Таня и Ната, теребя татар за рукава, плача от стыда и страха.

— Нельзя пустить, много черешня пропал, хозяин сказал: «Мустафа, хады вон или веди воры в кантор», — деловито пояснил Мустафа свою непреклонность.

Гассан, шедший сзади, обладал более чувствительным сердцем.

— Ничего, нэ плачь, — утешал он Таню, — дэнги дашь — хады домой, не ты первый, тут всякий дрянь попадает...

Между тем Мустафа повернул на широкую аллею, заполненную публикой: здесь были дети с мячами и тачками, реалисты и гимназисты, почтенные дамы и та добродушная старушка в очках. О, правда, тысячу раз правда — смех не так далек от слез.

— Скоро твоя контора? — шепнула Мустафе Таня.

— Правый рука у ворот... — убил Гассан.

— Правый рука у ворот... — с ужасом повторила Таня, измеряя глазами, как много еще оставалось пройти.

Поравнявшись с прочей публикой, Таня и Ната сделали попытку идти быстро и независимо, как будто они сами по себе, а татары тоже сами по себе.

Гассан имел великодушие понять их чувства и отступил на шаг дальше, но зато Мустафа стал так часто оборачиваться и проделывать своей черной костлявой рукой такой пригласительный жест, что всякому стало ясно: татары ведут девочек под конвоем.

Многие смотрели с изумлением на эту странную группу и долго провожали ее глазами.

— Барышни, может, татары обидели вас? Куда ведут? — участливо спросил было старичок инженер, но тотчас отпрянул.

— Он вместе черешня крал, — объяснил Мустафа, — в кантор штраф платить надо.

В серой деревянной будке сидел горбоносый грек, хозяин конторы. Таня и Ната приготовились, тихонечко уплатив штраф, бежать что есть духу домой, но Мустафа для чего-то палил словно из пушки, собирая толпу:

— Воров привела! Воров привела!

Из будки высунулся греческий нос и прогнусавил:

— Два рубли штраф.

Все гулявшие по аллее, привлеченные Мустафой, окружали ужасную «кантор» тесной любопытной стеною.

Таня и Ната слышали, как фыркали мальчишки, как жалели в толпе их бедную мать, как желавший освободить их старичок инженер вымолвил: «Так вот оно что!» Всё, всё они слышали, и им хотелось только одного — поскорей умереть.

Таня долго путалась в своем портмоне, никак не могла отсчитать двух рублей и кончила тем, что высыпала перед греческим носом все содержимое красного

плюша и, взяв сестру за руку, пустилась с ней что было прыти из сада.

— Стой, обернись! — кричал Мустафа.

— Опять... — простонала Таня и, упав на скамейку, залилась слезами.

— Чиво ты? Глюпый... — сказал добрым голосом Мустафа. — Пэтьдесят копэк дал болше.

Мустафа положил на скамейку деньги.

— К черту, к черту!.. — крикнула не своим голосом Таня и запустила в Мустафу мелочью.

Сестры рванулись вон из сада без оглядки... мимо гор, моря, серого ослика и татар с шашлыком, — о, как они сейчас это все ненавидели!

ИНДИЙСКИЙ МУДРЕЦ

В дремучем лесу сквозь изумрудные сети лиан луна чуть серебрит корни огромных деревьев.

Спят, напрыгавшись, обезьяны. Перестали порхать попугаи, подвернули зеленые головы под красные крылья — угомонились.

Слон давно уж направил тяжелые шаги к своему дому.

Полосатый тигренок похрапывает, как сытый домашний кот.

На больших серых камнях, близко один к другому, сидят люди, скрестивши поджатые ноги.

Они так исхудали, что кажется, темная кожа прикрывает одни заостренные кости. Уже много лет сидят они неподвижно, воздев к небу руки, выкликая бескровными губами: «Брама... О Брама! Великий...»

Десять тысяч раз в день положили они себе называть имя главного бога и только однажды, рано утром, опускать помертвелые руки, чтобы проглотить тридцать зерен вареного риса и сделать глоток из долбленой маленькой тыквы.

Шаловливые обезьянки то и дело укатывали желтые тыквы, но люди соседней деревни, почитая отшельников за святых, наперерыв приносили им новые.

Птицы не пугались поднятых рук и, случалось, свивали гнездо в сведенной, как чаша, ладони. И тот, кто сменял воду, клал уже сам тридцать зерен пустыннику в рот.

Все заботы о старцах жители поделили между собой и, как дети, нередко ссорились: чей отшельник сидит дольше на камне, кто вывел больше птенцов на иссохших ладонях...

Но, как ни чтили в деревне худых старцев, никому не пришло на мысль бежать к ним с своим горем, смущать их покой.

Старцы сидели так неподвижно, что люди забыли считать их живыми.

И только одна, обезумевшая Суджита, посмела покрыть диким криком мерный шепот молитв.

Но ведь с ней приключилось такое, что она уже не видела блеска прекрасного солнца, а всех уверяла, будто небо сплошь заткано черной, густой паутиной.

Суджита на зеленом дворе около дома погружала в жбаны с горячею синею краской ею же тканное полотно, а единственный мальчик ее играл у забора под цветущим кустом.

Обернувшись с ответной улыбкой на веселый смех сына, Суджита вдруг увидала, как, словно живая, вытянулась одна из темных ветвей, чуть коснулась, поцеловала мальчика в лоб, и он, еще улыбаясь, упал без движенья.

— Он ужален кустарной змеей, а ее яд страшней яда кобры, — шептали соседи, сбежавшись на крик Суджиты.

Долго мать согревала горячими губами синие губки ребенка: не хотело понять ее сердце то, что видали глаза.

— Я пойду к старцам, — прояснилась надеждой Суджита, — они ведь святые, святые всё могут... Они мне разбудят малютку!

— Безумная! — закричали соседи. — К старцам близок сам Брама, их тревожить нельзя!

Но Суджита побежала к священному месту с окоченелым малюткой в руках.

Она не спугнула в своем легком беге даже чутких, словно драгоценные камни сверкающих бабочек.

Только маленькие обезьянки закрылись морщинистыми, как у старых женщин, руками, защищаясь от холодного ветра ее покрывала.

Но вот и большие деревья... Кольцами удава извиваются черные корни...

Луна уж совсем пробралась сквозь лианы, и дрожат серебром листья манговых пальм.

Бронзовыми изваяниями сидят старцы в белом свете луны.

Все до последнего видны ребра, чуть раздуваются в редком дыханье.

— Брама... О Брама! Великий... — шевелятся блеклые губы.

— Отцы, помогите!

Ни один не прервал свой размеренный шепот, ни один не поднял век, прозрачных, как перепонки летучих мышей.

— Вы только взгляните, как прекрасен мой спящий малютка! Отцы, опустите воздетые руки на черные кудри уснувшего, попросите великого Браму его разбудить!

Но не дрогнули воздетые к небу, как черные сучья, сведенные руки.

— Отцы! Вы не люди! — закричала Суджита. — Вы даже не звери... И тигр пожалел бы меня, растерзав... освободил бы от страданья. Вы хуже деревьев: деревья хлестали меня по плечам, отвлекали от мысли, съедающей сердце... А вы! Даже не подняли век... Вы просто камни, как те, на которых сидите.

И, уже не надеясь на чудо, Суджита вернулась в деревню и сложила погребальный костер для малютки.

С последними струйками синего дыма навсегда вышла она из опустелого дома.

Шла она долго, шла она много дней, а от своего горя уйти не могла.

Оно шло с ней рядом, не отставало.

Изнемогла Суджита, села у пыльной дороги, закрыла глаза, не хотела вовсе смотреть. Все ей делало больно. Лучи восходящего солнца разбегались по небу, словно сверлящие душу мечи.

Она вся дрожала, как заблудившийся путник во время дождей: весь холод из тела малютки перешел в ее сердце.

. . . .

— Женщина, зачем так скорбеть? — сказал голос, нежный как звон тетивы.

— Женщина, разве уж все перестали петь птицы?!

— Разве все губы детей без улыбки?!

Перед Суджитой стоял человек в желтой одежде странствующего монаха — бикшу.

Его глаза посмотрели ей прямо в сердце с такой теплой лаской, что распалась на нем ледяная кора и росой подступила к глазам.

Прорываясь, уносилась слезами черная паутина, заткавшая небо, и, словно омытое, улыбнулось вновь солнце.

— Дорогая сестра, я могу облегчить твое горе, — продолжал незнакомец, — обойди двадцать дворов в той деревне, что видна за зеленой горой, и спрашивай везде только одно: «Дайте мне несколько зерен горчицы!» И если найдешь такой дом, где никого не коснулся мечом бог смерти Шива, то принеси мне сюда эти зерна.

Быстро, забыв утомление, вскочила женщина, побежала в деревню, еще быстрее вернулась.

— Такого двора не нашлось, — сказала она, — горчицу давали охотно, но горьких утрат у всех было больше, чем маленьких зерен на моей ладони.

— Заметила ль ты, сестра, как одинаково у всех людей дрожат губы, когда они вспоминают о горе, как одинаково, словно незрячие, потухают живые зрачки?

— Я думала только о том, чтоб облегчить свое горе, зачем мне было смотреть на чужих? — удивилась Суджита.

Человек в желтой одежде с тихой грустью поник головой и, помолчав, промолвил:

— Женщина, ты очень плохо искала, пойди еще раз.

— На ногах моих чуть держатся сандалии, посмотри, как распухли... — сказала Суджита; но так как

душа ее все-таки болела больше, чем тело, она снова пошла, но, вернувшись, без слов повалилась на землю.

— Много ль обошла ты домов? — нагнулся над ней человек.

— О, я не вынесла больше пяти, — простонала женщина. — Опять везде давали горчицу, но как только я спрашивала: «Не умер ли кто, близкий сердцу?» — они столько боли вплетали в слова, их слезы так выедали мне душу, что мне показалось — они говорили о моей же утрате. Ах, господин, зачем научил ты меня смотреть на лица людей?!

— Сестра моя бедная, — такой дивной грустью пожалел незнакомец, что цвет миндальных деревьев упал на Суджиту. — Сестра моя милая, — еще раз повторил он, — сейчас ты искала гораздо лучше; собери свои силы для третьего раза, поверь мне — уже близко зерно, что поглотит навек твое горе.

Безмолвно, как бегущие тени деревьев, вновь скрылась Суджита за зеленой горой.

Вот уж солнце пошло умываться в священную реку, утомившись само своим жаром.

Вот уж остыл накалившийся за день песок, и человек в желтой одежде порадовался, что женщина снимет сандалии и ей будет легче ступать по земле. Но Суджита не шла.

И только когда выбежали на небо первые, самые любопытные звезды, она показалась из-за зеленой горы.

Незнакомец поднялся и, светлый, пошел ей навстречу.

— Я не пошла дальше первого дома, — быстро заговорила Суджита. — Там, на полу, я увидала калеку-

ребенка, отец его пьяный валялся на улице, а мать несколько дней как сожгли. Я все время возилась с ребенком. О, если б ты видел, как он был грязен.

— А зерно горчицы ты, конечно, спросила? — улыбнулся, как добрый отец, незнакомец.

— Подожди... Ребенка надо было мыть... но вода не согрета, корыто одно, в нем едят свиньи... Я побежала к соседям...

— Ты, конечно, спросила о зернах?

— Представь, я забыла... Я прибежала просить у тебя, не дашь ли ты что для ребенка? В деревне все так бедны, не нашлось даже тряпки, а ты такой добрый.

Блаженный Будда — так как это был он, самый мудрый из всех мудрецов, — снял с себя верхнюю желтую одежду, отдал ее женщине, а сам остался в одной длинной полотняной рубахе.

— О женщина, только забыв о себе, ты нашла для себя утешенье.

И, подняв благословляющие руки над всей землей, улыбаясь распустившимся лотосам, тихий мудрец пошел дальше.

В НЕАПОЛЕ

Андрей уставил локти на подоконник, смотрел на площадь. Справа белела словно из сахара высеченная колоннада, напротив — солдаты в серых панталонах и черных мундирах стерегли важное здание.

Андрей чуть-чуть поласкал глазами блестящие каски солдат, пропустил коринфские капители и уперся в Везувий.

— Опять белый дым... вот черт. А Вовке-слюнтяю как повезло. Хныкал, что всю ночь спать не мог от рычанья и подземного гула.

Андрей уже отдал Луиджи вперед все свои карманные деньги, чтобы наготове была белая лошадь, лишь только Везувий начнет курить черным дымом.

А он и не думал: чуть колебал своими вздохами белый туман да обвивался на закате, словно барышня, розовой кисеей.

— Врут, что ли, геологи, будто он неспокоен, а слюнтяю просто приснилось, — ворчал Андрей, глядя со злобою, как быстро сменяются прозрачные кра-

ски, как дрожат лиловые тени в уносящихся к небу клубах.

Вдруг что-то знакомое потянуло глаза его вниз.

— Папа́, ты уже? — крикнул Андрей господину в белом полосатом костюме.

— Из окон кричать неприлично, — дернул папа́ недовольно плечом и пошел дальше.

Андрей для скорости съехал по перилам лестницы не боком, а на животе и в минуту сравнялся с нарядным папа́.

— Я знаю, ты едешь в Баию, возьми меня, Сольфатаро ведь тебе по дороге, а он вулкан... Может быть неспокойно.

— Ты глуп, — сказал папа́, — Сольфатаро потух еще при царе Горохе, а я еду в Баию по делу, изучать местные нравы...

И папа́, бросив сольди красивой продавщице цветов, украсил петличку кровавой гвоздикой.

— Я заметил, папа́, у тебя невелик интерес к геологии! — неодобрительно сказал Андрей.

— К геологии? — папа́ рассмеялся. — Вот что, мой друг, — повернулся он к Андрею, обдавая его смесью духов и гвоздики, — пойди-ка развлеки мама́, она, как всегда, утомлена пред отъездом. Почитай ей по-французски, ты это, брат, отлично производишь, когда в тебе спит озорство.

И папа́ скрылся за нишей, где навеки поставлен был герцог Анжуйского дома с такими толстыми икрами, что Андрей всякий раз принимался завидовать его силе.

Андрей сел на холодную туфлю герцога и, сузив глаза, слегка засвистал. То самое озорство, о котором

в недобрый час помянул папа́, вдруг проснулось, веселым огоньком запрыгало в сердце и, добравшись до головы, немедленно изобрело такую затейливую штуку, что столкнуло Андрея с туфли герцога. Как был, без шапки, Андрей полетел сломя голову в темный переулок, к грязному порогу кучера Луиджи, обладателя белого коня. В конюшне курчавый мальчик чистил скребницу и мурлыкал песню.

— Беппо, — сказал Андрей, ломая французский язык так, чтобы он, по его мнению, походил на итальянский. — Où esto tuo pèro? [1]

— Dove? [2] — удивился Беппо. — Конечно, в трактире.

— Слушай, переменись со мной платьем; смотри, у меня куртка английского полотна, а у тебя одна рвань.

Беппо положил на пол скребницу и похлопал себя по лоснящимся панталонам.

— Ишь блестят, а ничего... крепкие... Только дурак я, что ли? Отец твой отымет платье назад, а меня выпорют.

— Мое слово — слово Аристида... — Андрей задрал голову и засучил левый рукав. — По самый локоть кожу испек, видишь. Учитель уж больно хвалил там одного из римской истории, я и сказал товарищам, что сам сделаю не похуже. Пообещал и испек — не пикнул! А выследить не поспеют: мы послезавтра совсем отсюда уедем.

— Совсем? — обрадовался Беппо. — Ну, тогда это дело.

---

[1] Где твой отец?
[2] Где? *(итал.)*

У Беппо разгорелись глаза от одной мысли, что белая Андреева матроска с шелковыми якорями станет его собственной, и больше он ни о чем не расспрашивал; он поспешно развязал шнурок, на котором держался весь его костюм, и влез в узкие панталоны Андрея.

— Где ты их столько набрал, Беппо? Кусают, как собаки, — почесывался Андрей, ставши обладателем лохмотьев. — А на голову что ты мне дашь? Здорово жарит.

Беппо взял с окна пестрый вязаный мешочек и, вытряхнув из него табак себе прямо в новый крепкий карман, подал Андрею.

— Настоящий шелковый, как носят pescatori.[1] За него подавай сапоги!

— А почище нет ничего? — брезгливо спросил Андрей.

— А почище ищи в мерчерии, — равнодушно ответил Беппо, кладя колпачок на окно. — Только с чистым тебя теперь как раз вздуют: подумают, что украл...

Андрей взглянул на свои лохмотья и решил, что Беппо прав.

— Ну ладно.

Андрей снял сапоги и чулки и, жестоко чихая, напялил бывший кисет себе на голову, а Беппо, как коршун, схватил сапоги, нырнул с ними в сизую мглу лошадиного стойла и, разрыв в ящике овес, спрятал их на самое дно.

— Так отец не пропьет, овес-то я сам засыпаю!

---

[1] Рыбаки *(итал.)*.

Туда же, в ящик, Беппо укрыл и белую матроску, нежно погладив выпуклый шелк якорей: узкие панталоны снимать было нечего, так как других не было, а чтобы отец не заметил обновки, Беппо надел длинную блузу.

— Спрячь заодно и чулки, — предложил Андрей.

— Если б пестрые, годились бы на колпак, а то куда они?

Беппо презрительно подкинул ногой чулки, но вдруг передумал, взял один чулок в руки, перерезал кривым ножом выше пятки, пересыпал в него табак из кармана и положил на окно.

— Отцу новый кисет — это здорово, — засмеялся Андрей и прибавил деловым тоном: — Не знаешь, от нас сегодня заказана одна лошадь или пара?

— Сегодня в Баии богатая тарантелла, — прищелкнул Беппо зараз языком и пальцами, — все едут на парах, я и сам собираюсь...

— Прицепишься сзади? — спросил радостно Андрей, зная хорошо способ передвижения, которым всегда пользовался Беппо. — Вот и мне как раз по дороге, прицепимся вместе, — идет? Только узнай, милый Беппо, у своего отца, когда он моего папу повезет обратно? Мне ведь надо всего до вулкана, там я выпрыгну, сделаю опыт и с вами назад.

Беппо молчал.

— Даю перочинный ножик, знаешь, с инкрустацией, — понял Андрей безмолвие друга.

Беппо молчал.

— Прибавляю свисток...

— Так ладно.

Через полчаса по набережной Санта-Лючиа летела коляска. В ней, не глядя на море, с моноклем в глазу сидел нарядный папа́, а сзади, скрючившись под нависшим кузовом, болтали ногами два одинаково грязных подростка.

Андрею было необыкновенно весело. Ему казалось, что за все три недели он сейчас только впервые увидел Неаполь. Все совсем другое и гораздо интереснее тех вещей, на которые во время прогулок по-французски указывала мама.

У зеленого моря стоят все лари, совсем как у нас на базаре, только вместо сала старый рыбак отхватывает покупателю кусок розового ноздреватого спрута или вертит перед чьим-нибудь носом огромную камбалу, одноглазую плоскую рыбу с глуповатой улыбкой.

Торговки зеленью, цветами и кораллами говорят все разом, будто стучат голосами, как вороны клювом. На всех балконах предместья яркими пятнами сохнет белье. После темной улицы вдруг сверкнул мрамор площади: на ней, словно брызги крови, рассыпались красные помидоры, а выше изогнулись узором мосты.

И вдруг, все заслоняя собой, налево выставляется древний-предревний дом. У него как попало натыканы окна, стены все в разноцветных подтеках — ни дать ни взять те одеяла из разноцветных кусочков, которые любит на досуге мастерить нянюшка.

— Эй, держись! — шепнул испуганно Беппо. — Да смотри не вскрикни...

Из темного извилистого переулка, как горох, высыпала куча полуголых мальчишек: все стали на головы

и пошли колесом, да так скоро, что на минуту обогнали коляску, потом они саранчой облепили подножки и стали требовать сольди за труд.

Папа́ кинул им пригоршню мелочи. Большие всё взяли у маленьких и, заложив деньги за щеку, кинулись снова к коляске, чтобы прицепиться...

Тут Беппо толкнул Андрея в бок, и оба угрожающе выставили такие крепкие ноги, что мальчишки в ответ только плюнули и показали смуглые фиги.

— Poeta Virgile... poeta, poeta... — как на пожар, заорал Луиджи, тыкая грязным кнутовищем в скалы.

«Poeta! Как будто был еще какой-нибудь другой Вергилий, повар, что ли...» — недовольно подумал Андрей, завидуя, что папа́ сейчас пойдет на гору, и, чего доброго, там останется, и Вергилий покажет ему всех до одного грешников в аду, как этот волшебник уже раз с кем-то проделал.

— Кого он водил в ад, Беппо, он был ваш же, итальянец? — спросил Андрей, вспомнив, что в Италии все мальчики знают то, что надо показывать иностранцам.

— Il Dante, он, как старая баба, носил чепчик... — шепнул Беппо.

— Вези скорей в Баию, — махнул рукой папа́ кучеру.

— Ну вот, история папе так же мало интересна, как и география, — проворчал Андрей.

— Сольфатаро сейчас, готовься к прыжку, — защекотал опять на ухо Беппо, — а к семи часам вечера будь здесь опять, у белого камня. Если прибавишь три перламутровых пуговицы, я спрыгну тебя подсадить.

— Отпорю у мамы, у нее где-то сзади пришито... — так же тихо ответил Андрей и, спрыгнув, упал, как щенок, на четвереньки.

Бегом, не взглянув больше на коляску, Андрей бросился по узкой дорожке в густую рощу каштанов и одичавшей орешины. Из сочной травы смотрелись какие-то розоватые мясистые колокольчики, еще невиданные Андреем. Он сорвал один, понюхал и сейчас же заплевал... от цветка несло гнилым, трупным запахом.

«Надо набрать для гимназии, вот здорово можно подвести!»

Андрей оторвал часть шнура, на котором теперь держалась его одежда, развил его пополам и подвязал крепко внизу панталоны. Потом он, заткнув нос, стал рвать цветы и пропихивать их сквозь рваные карманы. Но спина так сильно ныла от непривычной поездки, что Андрей скоро бросил свою затею, растянулся на мягкой пригретой земле и широко раскинул руки.

Ему стало так приятно, как бывало в теплом море, когда под самое горло подходят зеленые волны, а рыбки щекочут колени. Андрей смотрел не отрываясь в синий дрожащий воздух и не думал, а будто знал всем своим телом все, что происходит вокруг. Знал, как с трудом пробиваются из-под земли разные травы, как путешествует бархатный крот по своим коридорам, как тяжко держать тонкому стеблю грузную чашечку цветка...

«А кратер вулкана? — вспомнил он. — Ну его, успею, здесь и так хорошо...»

Андрей совсем ослабел, сладко закружилась голова, и он заснул.

Когда Андрей проснулся, солнце уж садилось, трава больше не грела, а сквозь дыры блузы от локтя до локтя продувало.

«Скоро, верно, семь, а кратера-то я и не видел!» — с тревогой вскочил Андрей и, как заяц, кинулся по тропинке, пока она вдруг не оборвалась и вместо прекрасной изумрудной травы не оказался огромный, совсем лысый круг грязно-желтого цвета, весь изборожденный глубокими морщинами. Это и был потухший кратер вулкана Сольфатаро.

— Только-то... — протянул было Андрей, но, всмотревшись, нашел, что занятно.

Обнаженный кусок земли был как будто живой: то здесь, то там слышался как бы сдержанный рокот, шипенье, и сквозь трещины кто-то подземный тяжко выбрасывал удушливые серные пары. Андрей забыл все на свете, устойчиво расставил ноги и ждал, что сейчас произойдет необычайное. Земля не простит, что он подсмотрел ее настоящую жизнь, везде прикрытую, будто кожей, травой и лесами... Земля отомстит... Вот-вот сгустятся тяжелые пары от напора подземных, и, вывернув глыбу земли, они, как косматые корни, оплетут с головою Андрея и потянут его к себе.

. . . .

— Вот это и есть Forum Romanum древних, теперь здесь добывают много серы, — произнес громкий мужской голос, и, вздрогнув, Андрей увидел господина и нарядную красивую даму.

— Вы знаете, уже восемь, увертюру пропустили, идемте...

Андрея словно окатило холодной водой: «Как, уже восемь! Значит, папа́ вернулся; чего доброго, поднял

на ноги полицию... Испуганный Беппо, разумеется, проболтался; сейчас заберут отсюда и с насмешками водворят домой; а мама-то нездорова...»

— Синьоры! — вдруг загородил Андрей путь господину, — синьоры, я гид по вулканам... Послушайте, умоляю вас, послушайте, как происходит всегда извержение! — по-французски, с отчаянием выкрикнул он.

— Отстань, мальчик, некогда, — махнул рукой господин.

— Но он прекрасно говорит, он не итальянец... — сказала дама.

Господин повернулся и внимательно посмотрел на Андрея, будто что-то припоминая. Андрей сконфузился: он видал этого господина зимой в Петербурге, когда вечером собирались большие гости, но, сообразив, что господин видал его только мельком и совсем в ином костюме, успокоился и продолжал:

— Синьоры, вы только послушайте: тысячная толпа спокойно сидит в амфитеатре, и вдруг свинцовая туча покрывает все небо. Подземные удары отвечают чудовищным раскатам грома, багровые молнии освещают падающие колонны... Старого патриция несут юноши, с храмов летят статуи, почтенный сенатор заслонился рукой, как будто это его спасет. Сам художник с ящиком красок на голове... тьфу, черт! — по-русски оговорился Андрей, но тут же, вежливо шаркнув, подхватил по-французски: — Извините, синьоры, художник это в Петербурге, в Эрмитаже, а на самом-то деле при извержении погиб Плиний Старший.

— Ну, погиб он еще до потопа, — докончил господин по-русски, — под пеплом пусть там и лежит. А ты

лучше скажи мне, мальчик, где твои родители и сам кто ты таков?

— О, синьор! Моих родителей давно поглотила морская пучина, а я, я — гид по вулканам, получаю за объяснения днем одну лиру, а вечером две.

Дама засмеялась, а господин, взяв Андрея за руку, серьезно сказал:

— Вот что, «гид по вулканам», две лиры я тебе, конечно, с удовольствием дам, но вот в придачу моя карточка; приходи завтра непременно. Родителей твоих, если хочешь, оставим лежать в пучине, но, быть может, ты мне все-таки расскажешь, что именно натворил, и я тебе окажусь не без пользы.

— Если уж вы так добры, синьор, — не выходя из роли, сказал Андрей, — то посадите меня на извозчика и прикажите отвезти в отель «Виктория», а то я в таком виде, что ни один меня не повезет. Если ж опять прицепиться сзади, то от этого очень больно спине. Кроме того, мне надо скорее домой: мама, верно, места себе не находит.

— Мама? — удивилась дама. — А кто же в пучине?

— Синьоры, — сказал Андрей, теребя в руках свой пестрый колпачок, — синьоры, я вам обо всем напишу из Петербурга, и, честное слово... — он запнулся и покраснел, — честное слово, за извозчика я вам верну две лиры обратно...

. . . .

Андрей незаметно прошмыгнул с черного хода в свою комнату, переоделся, пригладил вихры мокрой щеткой и с тревогой направился в соседнюю комнату.

— ...И вот Плиний Старший привел меня так неожиданно к вам, — кончал кто-то фразу.

«У мамы гости, вот отлично», — обрадовался Андрей, не поспев понять, почему ему вдруг стало холодно при имени Плиния Старшего.

Андрей порывисто вошел и с особой нежностью поцеловал бледную даму, сидевшую в креслах.

— А папа́, верно, куда-нибудь заехал?

— Ну, очевидно, если его еще нет, — сказал Андрей, довольный, что все так удачно выходит.

— Мой сын, — улыбнулась мама господину, стоявшему у окна.

Андрей подошел поклониться и, вспыхнув, опустил глаза.

Пред ним был опять господин из Сольфатаро.

— Судя по вашему цвету лица, вы только что с большой прогулки? — спросил господин.

«Узнал или нет?» — мучительно думал Андрей, исподлобья косясь на его веселые умные глаза.

— Да, он очень любит природу, особенно вулканы, — чуть насмешливо протянула мама. — Но что с тобой, Андрей?

Андрей высоко поднял голову — захлебнулся от волнения — и проговорил, будто прыгнул в холодную воду:

— Да, я люблю природу, я люблю вулканы, но еще больше я люблю римских героев... Они ничего не боялись, и, что самое главное, они, наверное, никого никогда не выдавали.

Андрей, багровый, с сверкающим взором, смотрел в упор на господина.

— Полно, Андрей, иди спать, ты переутомился! — с тревогой сказала мама.

— И советую вам, — с лукавой улыбкой сказал господин, — включить в число ваших симпатий не одних только героев, но также и мудрецов: мудрецы научат вас никогда не попадать в смешное положение.

— Благодарю вас, — засмеялся Андрей, — я непременно займусь мудрецами. — И, с чувством пожав руку господина, он поцеловал маму и убежал в свою комнату.

М. Горькому

МЕДВЕДЬ ПАНФАМИЛ

I

Когда Панфамил убежал от своего хозяина, шестилетний Фомка сидел у него на плечах и визжал во все горло от радости. Вышло все совсем так, как он думал. Давно обвыкший, добрый медведь, как всегда при встрече, облизал его щеки красным пламенным языком, и все время, пока Фома, насупив брови и сопя во всю мочь, прилаживал к замку медвежьей цепи украденный ключик, Панфамил на всю комнату чмокал сахар. Потом мальчик вскарабкался медведю на шею, обнял за щеки двумя руками, пришпорил бока крепко пятками и поехал.

Сначала, словно генерал на смотру, важным, медленным шагом по комнатам, потом мелкой, опасливой рысью в ворота и неудержным галопом в неоглядную чащу Чернокутного темного бора. Там Панфамил осторожно стряхнул обомлевшего Фомку, облизал его сверху донизу и стал считать своим собственным медвежонком.

Научил Панфамил Фому лазить на дерево до самого неба. Научил, как выискивать сладкие корни, как выбираться обратно в берлогу по разным приметам из непролазного лесного малинника. Только одно: на двух ногах очень долго стоять не позволял, обижался. То и дело опрокидывал лапой, чтобы, как правильный медвежонок, больше двигался четырьмя.

Хорошо провел Фома лето, куда веселей человечьего: пищи — ешь сколько хочешь, и все на подбор, самой вкусной. Землянику с черникой будто кто-то па всех базарах скупил и в Чернокутный бор разом высыпал. От черники хоть рот и делался черный, как печная труба, а барыни такой нигде в лесу не видать, чтоб приставала к Фоме зубы чистить. И меду на выбор: темный, удушливый, цветов гречихи, или липовый, как густая смола.

Медведь не по книжке, а сам собой, наизусть обо всем ведал.

А поспели орехи — пошла потеха, стали белки притаскивать их в огромнейших лопухах. Старая ежиха поскрепляла их ежовыми иглами. Только и дела в ореховый сбор Панфамилу: шустрых белок на мохнатой ноге на березу подкидывать, а они к нему сверху обратно на другую ступню нависают. Он их снова... и так разов до ста, все смотря по тому, кто сколько орехов поставит.

Фомка живо нагнал типунов полон рот, — так нащелкался. А медведь испугался, стал язык ему медвежьим салом скорей смазывать. Из своей лапы надавливал.

И вот к осени Фома омедведился. Стал жить с зверями — звериной жизнью. День они все начинали по

солнцу, какое бы оно ни влезало на небо из-за дальних пригорков: кутаясь в белые ватные простыни, как из ванны, или ярко-желтое, будто яичный неразбитый желток от неслыханно крупной курицы. С появлением его зоркого глаза на небе каждый зверь навострял уши и знал уже сам, без указки, что кому надо делать.

Панфамил с Фомой вечером шли на большую поляну. Медведь, опрокинувшись на спину, задирал кверху лапы, зайчики на них становились все четверо, а пятый — уже посреди живота. Фома кричал громко: «Скок в четыре угла». Зайцы, как барышни косами, хлестали свои спины ушами, летели стремглав с медвежьей ноги на другую, сшибались мордами, путались в Панфамиловых космах. Жуки-олени, выбрав песчаное место, бодались до последней возможности, пока один другого на рога не вздымал. Червеедка-ежиха всю шестерню еженят за собой на луг волочила, дома покормить удосужиться никак не могла.

В последние сумерки перед темной ночью выходили из цветов хорошие запахи, все в зеленых чулках, и водили Фому по туманам. Запахи научали ни о чем ровно не думать, а быть как семечко одуванчика. Фома любил веселиться, а потому легко всему верил... Взявшись за руки с хорошими запахами, он, как по спинам волнистых баранов, карабкался по воздушным лестницам. С тяжелых болотных туманов на легкие, надполянные. С надполянных — в надлесные.

Если аист еще стоял на ноге, пока аистиха лягушками кормила аистят, он приветливо щелкал Фоме: «Просим милости, загляните в гнездо». Фома ловко прыгал с туманов на верхушку сосны и по-турецки, под себя вобрав ноги, усаживался в круг прожорливых

аистят. Аистиха из любезности и ему предлагала лягушку, но Фома неизменно уступал ее младшему, чем старый аист был очень доволен.

Когда Фома хотел спать, аист выщелкивал сигнал Панфамилу. И где бы ни был медведь, он непременно слыхал. Лез на дерево, вызволял своего омедведыша. На себе приносил загулянку домой, пихал мордой в угол, притыкался к нему мягким боком, и спали.

Так и прожили: от ягод к орехам. От орехов к огородному сбору. Дождались гороха, морковок и полосатых арбузов. На пустопорожнем куске за селом чего-чего мужики не насеяли!

Все бы шло как по маслу, если бы не зима. Как ударили холода, закручинился Панфамил. У него к зиме сама собой шуба густела, а мальчишка хоть бы пухом оброс. Все по-летнему, как яйцо гладкий, одна кожа пупырится с холоду. В штанишки дует, от них за целое лето одни клочья мотаются... Первая выпала Панфамилу задача, как от холода Фому защитить. Несколько дней беспокоился, терся лбом о березу, припоминал, как одеваются люди. И однажды, уставясь в свою мохнатую шкуру, припомнил. Такая-то ободранная висела у хозяина на стене. Когда за окном наметало сугробы, хозяин снимал с гвоздя шкуру и, обернув на себя мехом внутрь, шел на улицу.

«И все-то у них с обманом, — презрительно думал медведь, — со зверя сдерут, сверху гладким обтянут, и как будто своя...»

Тяжело, медленно ворочал мозгами старик Панфамил, но зато, что поймет, непременно уж сделает. Так и тут: разослал белок за полевыми мышами. Зоркому кобчику дал склевать двух глубоко ушедших в заднюю

ногу клещей. Даром что знал — норовит кобчик с мясом выхватить. На все решительно шел Панфамил ради мальчика.

В один миг рассмотрел на окраине кобчик подходящую пушистую падаль. Волчонка охотники пристрелили. Языками пошли воробьи стрекотать, по приказу медвежьему мышей на работу сгоняли. Мыши огрызли ожерельем вокруг волчью шею и от глотки до самого низа протянули аккуратно по шкуре дорожку, чтобы медведю сподручнее было ее обдирать. Как только Фома надел шкурку, червеедка-ежиха вмиг ее посередке скрепила молодыми неломкими иглами, что надергала из провинившихся малых ежей.

Теперь от Фомы пошел дух хороший, совершенно лесной, и все звери от малого до великого с ним побратались... Но как ни любил медведь мальчика — одно знал наверное: нельзя мальчику человечьи слова забывать, нельзя ему в лесу зимовать. Свести его надобно к людям. Как подумает об этом, опустит голову, закручинится старый медведь и пойдет усердней Фому зализывать.

Наконец с первым снегом скрепя сердце решился. Раным-рано, чуть запахи, утомившись ночными гуляньями, вновь полезли в цветы, Панфамил растолкал Фому теплой мордой. Сам нащелкал орехов, чуть не удушил, столько сразу за зубы упихивал. Накормил лучшим медом, а сам не поел. Открыл было рот, чтобы хорошенько куснуть, да из лап соты выронил. И завыл очень жалобно...

Однако скрепился, тронул лапой Фому и повел за собой из берлоги. Как дошли до последних овсов, примыкающих к самой усадьбе, медведь сунул мальчику

в руку пребольшую морковку и, тихонечко воя, будто в каждой лапе засела заноза, повернул к Чернокутному бору. И побежал восвояси, не озираясь на мальчика.

II

В большом белом доме с колоннами проживала некая Помидора. Было у нее имя, была и фамилия. Но как прозвал один шутник: Помидора, так и осталось. Очень уж подошло: румяная, всегда веселая, то и дело варенье варит, грибы маринует или еще что-нибудь. Без дела никогда не сидит. Любит, чтобы все у нее было на месте и под своим названием.

Вот когда шкаф большой для провизии заказывала, то день-деньской на бумаге ящики перегородками решетила, чтобы ни один из припасов без своей собственной клеточки не оставался. Есть такой один вроде апельсиновых зерен: кардамоном его называют. Это из-за него выборгский крендель так вкусно пахнул. И хоть этого кардамона на весь год меньше фунта выходит, Помидора и ему уделила квадратик.

Она не любила, чтобы зимой была оттепель и в мае хватал зеленя лихой утренник. И не только потому, что убыточно, а не по календарю. Детей у Помидоры вовсе не было, и когда стала старая, она очень соскучилась.

Вот почему, когда старичок повар притащил к ней волчонка с человечьим лицом, иначе говоря — Фому в волчьем мехе, Помидора обрадовалась и сказала:

— Волчью шубу сдери да в помойницу, самого в бане выпари, и пусть живет в комнатах.

Сразу Фоме даже очень понравилось. В бане вытерли докрасна. Кушать дали, и после лесных сладостей все по-старому вкусные вещи: свиные уши, хрящами да жиром насквозь прошедшие, и вареники со сметаной. И когда теплый суп полился по душе, так вдруг стало приятно, как бывает от радости.

Вечером Фома очень скоро понял, как ему Помидора приказывала, стоя перед ней на коленях, раскорячивать руки, чтобы ей удобнее было сматывать шерсть. Теперь уж нельзя было не видеть, как сильно он в лесу омедведился. Разговоры хотя скоро стал понимать, но самому говорить было лень, да и скучно. Привык, что звери и без слов понимают и как раз то, что нужно, а люди под одним словом каждый свое разумеет.

— Как держишь руки, как? — высоким голосом кричит Помидора, распирая его ладони, пока шерстяные качели не станут тугой, ровной полоской, как проволока на телеграфном столбе.

— Так, так, — прибавляет она одобрительно густым, успокоенным голосом.

А Фоме сейчас видится, что слово «как» — это высокий тоненький гриб на выжженном солнцем пригорке, а «так» — такой вкусный крепыш боровик, сидит в ямке, зеленым мохом обложен, а над ним переспелая земляника.

И очень долго совсем дураком он пришептывал: «Как так, так как...»

Но к весне Фома сильно соскучился у людей. Научился всему, что кругом него делали, и опять его в лес потянуло. В лесу добрый медведь на каждый день самое главное выбирал — только выполни. А тут люди нарочно дела придумывали, и так много, одно за дру-

гим, а играть уже некогда. Помидора никогда не играла. Утром с ключами она бегала по кладовым, ворочала припасы с места на место, потом холсты мерила, а шить из них ничего вовсе не шила. Так большими тюками все опять назад девки стаскивали. Но больше всего, без конца, целыми вечерами, мотки мотала. Как разноцветные апельсины, они в просторных комодах давили друг друга. А для вязанья хорошо, если моток на день приходится.

Перезимовал Фома у Помидоры туда-сюда, ни хорошо, ни худо, а как в форточку весной потянуло, стал опять понемногу медведиться. Шерсть мотать не идет, под диван лезет. Со всех сторон подоткнется, чтобы сделалось темно, как у Панфамила в берлоге, и ревмя ревет. Очень в лес ему хочется. Много раз бежать ночью надумывал, да к окну подойдет и раздумает. Белым-бело еще от снегов, чуть только стаяли. Ни звезд, ни луны, небо — дикого коленкору. А в случае синее и от звезд глазастое, не все ли равно? Где пути, где тропинки, где заметки жилья Панфамилова?

Белка не выскочит, кроту-седохвосту на двор еще слишком холодно, даже дягел примет не сдолбил. Мертвым сном до весны отдыхают лесные, пока солнышко не разбудит. Это у людей без порядка круглый год неугомон все идет.

Затосковал как-то особенно раз Фома и пошел по всем комнатам: не слыхать ли где, как лес шумит. Пригибал ухо к темным углам, животом приникал к половицам, оттянул тихонечко веревочку душника — ничего, кроме черных слежавшихся хлопьев.

Наконец, расшарившись, носом ткнулся в огромную пятнистую раковину. Прижал ее невзначай к уху

и услыхал шум и гудение, как от теплого ветра в густом лесу.

Омедведыш себе не поверил: целовал раковину в гладкую выгнутую спину, пробовал пальцами и языком к ней пробраться в средину, но разворачиваться она не хотела, только язык ему чуточку нарезками розоватых краев придержала.

Фома пошел спать вместе с раковиной и все время, пока не заснул, слушал в ней лесной шум, а к утру ему приснилось, что Помидора вышла замуж за Панфамила.

«Все бы вместе и жили, — проснувшись, размечтался Фома, — зимой в большом доме, а летом в лесу. Только Панфамилу одежду приискать очень нужно. Так, как он ходит в лесу, здесь ему ходить совсем неприлично».

Между тем время близилось к пасхе, и особенно сильно несло с кухни поджаренным постным маслом.

Помидора потащила Фому ко всенощной.

Хотя на дворе еще можно было играть в орла и решетку, в приземистой сельской церкви было совершенно темно. В узком окошке под Николай-чудотворцем продернулись в небе две ярко-красные дорожки зари.

И, взглянув после них в темный угол, Фома чуть что не вскрикнул. Ему почудился вставший на ноги Панфамил. Но, вослед Помидоре подойдя к старику с восковыми свечами, он рассмотрел, что огромный в углу был не кто иной, как великан управляющий графским имением. Он приехал встречать заутреню и, как всегда, собирался переночевать у Помидоры в доме.

Управляющий опустился земным поклоном и выставил на Фому две аршинных подошвы.

«Вот с кого одежда подойдет Панфамилу», — вмиг прикинул Фома и задумался. Вечером, когда управляющий пошел в отведенную ему комнату ночевать и за дверь вынес платье для чистки, Фома живо стянул его брюки, меховую курточку и башлык.

Помидора со всеми прислужниками по первому звону, подоткнув свои юбки, отправилась в церковь, а Фома проскользнул с украденным тюком к большому дуплу, упихал туда вещи и во весь дух пустился к медвежьей берлоге.

По оттаявшим черным кустам, по знакомым камням и другим, теперь видным приметам он без запинки пробрался к Чернокутному бору.

III

Зимний сон Панфамила удался как нельзя быть. Снилось ему, что кто-то угощает его на подбор чистыми сотами, без единой мертвой пчелы, а заслуженные вороны чистят ему шубу. И так успокоенно ему было, как будто в детстве, под матерью-медведихой. И чудилось: омедвеженный мальчик тут рядом и совсем никуда уже больше не рвется, знай себе наедается земляникой...

Но вот пошли таять снега, поползли ручьями, мелкой сетью разузорили землю, прозмеились к Панфамилу в берлогу. Захолодало у него в ушах, защекотало в носу, пошел он чихать и прочихиваться. От частого

чоха прикусил лапу, как пчелой ужаленный вспрянул и вдруг пробудился.

Сейчас пошел шарить своего омедведыша — нет его: ни меж лапами, ни по темным углам, ни в кладовой, где до последнего все как есть корни целы. Вспомнил все Панфамил и завыл.

Истомился, весне не рад. Тут ему, выходит, себе жену-медведиху присматривать, а свое, звериное больше не нравится. И медвежат заводить неохота: чему звери раз научились, то уж всегда одинаково делают. А мальчуган норовит все по-разному, и хотя иной раз за ним мудрено усмотреть, а забавно.

И понятно, что когда вдруг нежданно-негаданно в пасхальный вечер в берлогу просунулась человечья калоша, а за нею сам Фома, Панфамил зарычал на весь лес в сильной радости и так крепко прыгнул, что головой проскочил сквозь кротами налаженный потолок.

— Больше с тобой не хочу разлучаться, — целовал омедведыш медведя. — Панфамилушка, золотой мой, женись на Помидоре, тогда будем все летом медведиться, а зимой жить в хоромах.

Панфамил терся мордой об мальчика и, хотя не умел думать четко, как люди, понимал все не хуже иного.

— Памфамилушка, выходи, сейчас служба. Ночью станешь около Помидоры, ночью в церкви, должно быть, темнее, чем днем, батюшка не рассмотрит и как раз тебя обвенчает.

Медведь улыбался и, как маленький, шел послушно за мальчиком. Был небольшой морозец, но совсем добрый, даже щеки не щипал. На прощанье в последний раз он сковал тонким льдом придорожные лужи.

И Панфамил с каждым разом похрустывал, словно шел по яичным скорлупкам. Небо будто бы отдыхало. Без труда лили звезды свой свет. Из облаков уже никто не сновал больше без толку. Луны вовсе не было, видно она суетилась, отправляя последние куличи прямо в солнце.

Как зачарованный подходил Панфамил с омедведышем к освещенному храму.

Далеко выкинуты были лари. Бабы, все до одной в красных новых платочках, стерегли куличи, у которых в средине была проделана выемка для принятия святости.

Фома задержал Панфамила в кустах. Из дупла с трудом вытянул тайный узел, натянул медведю шаровары, закрутил в башлык голову и просительно зашептал:

— Вскинься на ноги, Панфамилушка, крестный ход.

Крестный ход двигался медленно, мужики страшно вскидывали волосами, усердные бабы молились:

— Матерь божия Иверская, Казанская, Козельщанская.

Осторожно протискиваясь к певчим, выставляли вперед узелки с разноцветными яйцами. Мальчики, отмытые в бане так, что носы их казались покрытыми лаком, вдруг смолкли и с радостным перепугом воззрились на регента. Учитель Аким Иванович всеми легкими вобрал в себя дух, удержал его сколько мог и, внезапно всплеснув руками, густым звоном грянул: «Христос воскресе!»

В это самое время перед крестным ходом произошло чрезвычайное. Батюшка в светлой ризе, с расче-

санной бородой, приняв медведя за управляющего графским имением, поклонился ему, как знакомому, на особицу. Дьякон следом за батюшкой подбросил кадило прямо в нос Панфамилу.

Панфамил до того вдруг растрогался, увидав, что люди его не пугаются, не отличают совсем от своих, что не выдержал, опустился на четыре ноги и завыл умилительно...

Меховая куртка, не вдетая в рукава, соскользнула, суконные шаровары как ни были добротны, а лопнули, и обозначился явственно пушистый коротенький хвост.

— Авоиньки, нечистая силушка! — заголосили бабы и покрылись подолами. Разметали разноцветные яйца. Народ весь шарахнулся по кустам, и кто-то, первый опомнившись, кинулся с криком:

— Ой, воры, держи!

Фома, ровно белка, взвился на медведя, дернул за ухо и шепнул:

— Выноси, Панфамилушка.

Панфамил встрепенулся. Вдруг припомнил железо в губе, холод, проголодь и, смахнув одним махом башлык, полетел, как мохнатая бомба, в берлогу.

По дороге он с удовольствием потерял и куртку и штаны управляющего и раз навсегда порешил, вместо того чтобы самому человечиться, лучше брать в лес на лето Фому.

Пусть медведится.

Диме Форш

ДУХОВИК

I

Кухаркин сын Ганя, хотя не умел ни читать, ни писать, был все-таки очень умный. Он все выдумывал из одной своей головы, которая сидела у него на узких плечах большая-пребольшая.

— Котел-голова! — говорила о ней кухарка Плакида, мать Гани.

Игрушек у Гани не было, в «чистые комнаты» пускали его неохотно, и поневоле принялся он высматривать да выведывать все, что в кухне находится.

Вот принесет утром кухарка Плакида корзинку с базара, поставит на стол, а сама пойдет с нянюшкой тары-бары-растабары — позабудет и думать о своей корзине.

Тут Ганя подкрадется и выхватит все самое интересное: морковку большую с наростами по бокам, будто с детками, или с пальцем-мизинцем; хрен жилистый, у которого два глазка, да не рядком они, а глазок над глазком, и мало ли еще что!

Но удивительней всего было то, что в громадных венках толстого рыжего лука, развешанных по стене в кладовой, Ганя знал, как ему выискать луковку Двоехвостку.

Эта Двоехвостка была луковка не простая, а волшебная.

По виду ничего не скажешь: все самое обыкновенное, луковое, только два ровных зеленых росточка торчат, отсюда и прозвание ее — Двоехвостка.

Если на эти ростки насадить по сырой макароне, чтобы походило, будто луковка стоит на ногах, и положить ее на ночь в духовой шкаф, то в полночь дверцы сами собою расхлопнутся, и в Двоехвостке окажется Духовик.

Переходя вместе с матерью из одной кухни в другую, Ганя узнал наверно, что в каждом духовом шкафу живет Духовик.

Днем в этом шкафу пекут пироги с капустой, с визигой и с рисом, а по воскресеньям — воздушный пирог, тот самый, за который часто бранят кухарку, будто она дала ему убежать.

И это знал Ганя: пироги убегать не умеют, они безногие. А если сидит пирог в печке пышный да рыхлый, а как вынут его — одна черная корка на сковородке, это значит, все вкусное выел сам Духовик.

Ганя думал сначала, что Духовик в каждой кухне разный: где часто делают сладкие пироги — толстый, где редко — худой. Но потом он узнал, что Духовик никакой. У него самого нет ни рук, ни лица — один дым печной, оттого-то и следует класть ему Двоехвостку.

Он войдет густым дымом в луковку, из макарон, будто черные сапоги, выставит комки сажи, дверцы раскроет, прутиком хлопнет: раз, два! А в прутике колдовство. Прутиком делает Духовик превращенья: кого хочешь с кем хочешь обменит.

Если с мышкой, вползешь в мышиную норку, если с блошкой, вздохнуть не поспеешь — запрыгаешь! А с клопом поменяешься, клопомора не бойся — не помрешь.

Если и брызнет, случится, — вскочит прыщик, вот и все.

Одно условие в кухне: быть всем без обмана.

Сколько договорились сидеть в чужой шкурке, столько времени ты и сиди, отдыхай! В кухне все честно разменивались.

У котика Ромки, случалось, животик заболит, на улицу ему бегать холодно, он и ластится к Гане:

— Я в постельку хочу, компресс теплый, микстуру... А на небе ракеты пускают!

Знает хитрец, чем мальчишку поддеть! Чтобы ракеты смотреть, Ганя ночевать готов где угодно.

Вот и сменятся, *превращенками* станут: мальчик — котиком, котик — мальчиком, и довольны.

Обо всем кухонном, что знал мальчик Ганя, знал и Петрик, хозяйкин племянник. Петрику очень хотелось с кем-нибудь обменяться, но с прусаками, клопами и блошками ему было противно, а котик Ромка ни на один день не желал превращаться в хозяйского мальчика: боялся зубной щетки и французского языка.

II

Барыня, которую Петрик звал попросту «тетя Саша», куда-то съездила по железной дороге и привезла вместе с грибами, вареньями и соленьями настоящего ручного зайца.

Заяц сидел на полу в кухне не двигаясь, длинноухий, будто бы не живой, а сшитый из мохнатой материи, из какой делают медвежат.

Тетя Саша, добрая старая дама, звеня на ходу длинными серьгами, поставила зайцу блюдечко с молоком и прошла дальше в комнаты. Заяц дернул раз, два плоским носом, задрал кверху уши и стал очень похож на осла.

Петрик с Ганькою засмеялись, а заяц как хлопнет на них изо всей силы задними лапами и марш к молоку.

Но вот увидал кота Ромку, попятился.

Кот Ромка, задрав кверху ногу, искал в хвосте блох, а со стороны похоже было, будто он играет на виолончели.

«Как тут зверей перекручивает, уж не от этого ль молока!» — подумал с опаскою заяц.

А кот словил блоху, раскрутился и сердито сказал:

— Пей, дурак, а не то выпью я.

Кот сказал не по-кошачьи, а по-звериному вообще, так что заяц его сразу понял. Он пригнул опять уши к спине и окунул поскорей в молоко всю морду с седыми усами.

Ганя и Петрик молча гладили зайца, щупали ему хвост и холодные ушки. Когда заяц втянул последнее молоко в свое пушистое горло, кот Ромка вытер

его блюдце шершавым своим языком и сел в сторонку.

Кот вытер блюдце из вежливости, потому что считал себя в кухне хозяином, а зайца гостем.

Но все же, чтобы заяц не зазнавался, кот ему сквозь зубы смурлыкал:

— Будешь съеден в сметане!

— Брысь, негодный! — закричал коту Ганя, который отлично понимал по-звериному. Он швырнул в кота старой катушкой, а зайца взял на руки.

— У меня мама вдова, — сказал грустно заяц, — она с перешибленной лапкой, а папеньку съел мужик. Зимой маме с голоду пропадать!

Ганя задумался и спросил:

— А далеко к маме сбегать?

— Куда далеко! — обрадовался зайчик. — Сейчас за городом лес, за лесом поле, за полем речка, за речкою хутор, за хутором ляды, вокруг пенышек земляника, под земляникой нора, в норе моя мама.

— Землянику поди-ка теперь посвисти! — насмехался Ганька. — Клюкву — и ту поморозило. Поститься, брат зайчик, всю зиму твоей матери Серохвостихе!

Заплакал зайчик, просит:

— Отпусти меня!

— Отпустим его, — догадался и Петрик, — что мучить!

— Пропадет с голоду, припасу у них никакого, а зима на носу, — раздумывал Ганька. — Вот обменяйся с ним, Петрик, да снеси-ка маме его, Серохвостихе, всякой штуки: капусты, моркови, кореньев, — тогда и его домой пустим.

Петрик даже пискнул от радости:

— Наконец поживу в чужой шкурке, своя так надоела!

— Нынешней ночью и вызовем Духовика, четверо нас, — сказал Ганька с важностью, — двое людей, двое зверей. Эй, кот Ромка, слышишь ты, не смей удирать!

— Мурлы-курлы! — неохотно согласился кот, которому смерть как хотелось нынче бегать по крышам.

Ганя взял на руки длинноухого, и пошли мальчики с ним по углам и закуткам: вещи трогают, называют, суют зайцу под самую морду, чтобы он назавтра, когда станет мальчиком-превращенкою, ничего не напутал.

Когда позвали обедать, Петрик посадил зверя рядом с собой.

— Брось, Петринька, зайца, — сказала тетя Саша, — животному за обедом не место.

А няня прибавила:

— Грех оно, Петринька, грех: заяц нечистым считается.

Петрик спустил зайца, а тот, рассердясь на больших, как хлопнет под дядиным стулом ногами, дядюшку испугал.

— Загнать в чулан его! — кричит дядя.

Петрик отлично сидел за обедом, ничего не ел руками, попросил супа вторую тарелку. Как только тетя Саша его похвалила, он к ней заласкался и сказал тонким голосом:

— Позвольте завтра совсем не учиться, у меня что-то головка болит.

Это Петрик заботился, чтобы зайчика-превращенку завтра не очень мучили.

— А когда болит — не шали, — сказал строго дядя, — когда болит — ложись спать, боль заспишь.

Только лампы зажгли — уложили Петрика в кроватку, а он как раз этого и хотел. До ночи выспался, а как стала няня свою перину взбивать, так уже притворно пустился храпеть зараз и носом и горлом, совсем так, как выучил его котик Ромка.

Нянюшка, обрадованная его крепким сном, повздыхала, поохала, сколько ей было нужно, и ушла с головой в свою перину.

Тетя Саша пощупала у Петрика лоб, обрадовалась, что нету жара, и, как всегда, побрякивая серьгами и браслетами, пошла к себе.

Часы пробили одиннадцать. Щипал себя Петрик то за одно ухо, то за другое, чтобы как-нибудь не заснуть, пятнадцать раз сказал: «Турка курит трубку, курка клюет крупку», и всякий раз неверно: все выходило, что курка курит, а турка турит, — а Ганька и не думал ему сигнал подавать, как уговорились.

«И что такое может делать кухарка Плакида? — с досадою думал Петрик, видя на кухне свет. — Быть может, она лицо меняет: днем оно у нее кухаркино, а ночью принцессино, и она куда-нибудь улетает на гусиных перьях? Всегда ведь просит, когда жарит гуся: «Разрешите, барыня, перо взять себе!» А на что ей оно?»

Туп-ту, туп-ту... — побил Ганька пестиком в ступку.

Петрик вылез в одной рубашонке из кровати, обошел вокруг няни на цыпочках и пробрался на кухню к Гане.

III

На кухне, как раз над духовым шкафом, был прикапан стеарином огарок.

Ганя вытащил из кармана волшебную луковку, насадил ей на ростки макаронки, а повыше провертел шилом дырки, чтобы Духовику было куда продеть руки.

Когда Ганя стал облупливать с Двоехвостки ее желтые юбочки, те самые, что зовут «луковые перья» и прячут к пасхе для окраски яиц, Петрик заметил, что луковка пахнет прескверно, а значит, ничего в ней и нету волшебного. Но Петрик сейчас же испугался такой мысли: а ну как Духовик угадает, что он подумал, и не захочет явиться! И, схватив скорей Ганю за руку, он с ним трижды сказал:

В печке, за заслонкой,
Духовик живет.
Ноги — макаронки,
Луковка — живот.
С дымовой
Головой,
Чародей,
Покажись нам скорей!

Петрик так крепко зажмурил глаза, что перед ним стали плавать разноцветные пятна и голова закружилась: вот-вот подломятся ноги, и он упадет.

Вдруг за заслонкой будто горошинка набухла и лопнула, одна, другая. Дверцы духового шкафа распахнулись — выскочил Духовик.

Луковка в середине, над луковкой длинная дымовая головка с курчавою бородой. Из проткнутых дырок

крученым дымом вылезают пять пальцев — мышиные лапки. А ноги — крепкие толстые макароны, в коленях без сгиба.

Как выскочил Духовик, сейчас в лапку взял прутик из веника, а в прутике — колдовство.

Сидит Духовик на плите, макаронками в изразцы постукивает, сам себе такт отбивает, свою песню поет:

Тук, тук тук!
Мой животик — лук,
Макаронки — ноги,
Ходят без дороги;
Дымовая голова
Знает тайные слова.
Тук, тук, тук!
Я не зря стучу:
Становитесь в круг,
Превращу, превращу...

Нянюшке старой чудится, будто это дождик идет, кап да кап; а звери и насекомые вмиг догадались, что стучит Духовик.

Вот полезли из щелок тараканы, клопы, уховертки, все домашнее побросали. С потолка мухи попадали: так заспешили, что из ума у них вон, что летать умеют, крылышки свои посложили, лапки поджали, и бац — прямо на пол, к Духовиковым ногам.

Из подполья пришли мыши, крысы. На квартирах одни только мамки с грудными остались.

— Строй-ся! — махнул прутиком Духовик, а в прутике, знают все, колдовство.

Ганька с Петриком поклонились, а за ними и заяц и кот.

А кругом сидят мыши, кота не боятся, на прусаков блохи прыгают, чтобы им лучше видать: блохи ростом

ведь крошечки. Духовику все поклонились, все кричат ему:

— Ваше кухенство! Ваше кухенство!

Скомандовал Духовик:

— Строй-ся!

— Кочергу! — заорал из немытой кастрюли Кастрюльник.

— Кочергу! — сказал с важностью Духовик. — Беритесь, кто с кем меняется.

Седые крысы подали в зубах кочергу и, приседая как хорошие дамы, отступили назад.

— Эй, вы, держитесь, сейчас превращение! — заорал снова из немытой кастрюли Кастрюльник. Перегнулся на тоненьких ручках, хихикает. Шишковатый лоб, нос крючком, вместо волос голова кашей измазана, каша на брови сползает.

— Эй вы, — хихикает, — кто от кочерги руку пустит, рука ногой станет, нога — рукой.

Петрик зажал кочергу в обоих своих кулаках, правый ухватил над левым, а зайчик сверху лапочки положил.

Духовик стукнул макаронками в изразцы и сказал:

— Повторяйте:

Я зайчик, я мальчик.
Мы меняемся:
Мальчик в зайчика,
Зайчик в мальчика
Превращаемся.

Кастрюльник выскочил до половины из своей немытой кастрюли, как гаркнет:

— Ушко к ушку — меняйте душки!

Петрик пригнул свое ухо к уху длинному заячьему и в ту же минуту почувствовал, что оно уже его собственное, что шевелится и дрожит его плоский нос, на губу выбежали седые усы, а задние ноги вот-вот подскочат и хлопнут об пол.

И Петрик-заинька хлопнул что было силы ногами, будто стрельнул пистолетом.

Вдруг из няниной комнаты послышались охи-вздохи, и, завидя свет, няня, шаркая туфлями, направилась прямо в кухню.

Духовик побросал на пол свои макаронные ноги и волшебную луковку, а сам черным дымом ушел живо в дырку для самоварной трубы.

Кастрюльник прикрыл себя крышкой. Ганя шмыгнул в свой чулан, мыши, крысы ударились врассыпную.

Одни тараканы, показавшиеся Петрику вдруг огромными, как щенята, бесстрашно заползали по стенам.

— Петринька, прости господи, что ты здесь делаешь?! — вскрикнула няня и, схватив на руки что-то громадное, понесла его с причитаньями в детскую, а проходя мимо настоящего Петрика, толкнула его туфлей в нос и проворчала:

— Из-за тебя, зверь проклятый, дите заболело.

Петрик собрался было крикнуть, что ему это очень обидно, но из горла вылетел только писк, а когда он поднял руку, чтобы почесать свой зашибленный нос, оказалось, что вместо человечьей руки у него просто-напросто заячья лапка, пушистая, с коготками.

Понял наконец Петрик, что вправду обменялся с зайчиком, и, хотя сам этого очень хотел, теперь вдруг обиделся и заплакал.

IV

Итак, мальчик Петрик стал зайчиком, а настоящего зайчика, вошедшего в тело Петрика, няня снесла в постельку, побрызгала с уголька и, подождав, пока он сделал вид, будто спит, пошла обо всем доложить тете Саше.

А зайка, ставший мальчиком, вскочил по привычке на четвереньки, при помощи Гани надел на себя костюм Петрика, перекинул за спину большой мешок со всякой всячиной и ну драла́, в лес, к Серохвостихе, своей маме.

Уже светало, когда он наконец доискался следа. Солнце выплыло из лесу румяное от холода, будто большой красный мячик; первый мороз отполировал землю, и зайчику-превращенке идти с непривычки всего только на двух человечьих ногах было очень трудно. Скользил и хлопался носом. Одно хорошо было — холода не боялся: под одеждою мальчика все еще будто чувствовал свою прежнюю заячью шубку.

— Тетя белочка, как здоровье моей старой мамы? — спросил он пушистую белку, которая кувыркалась через голову ради собственного своего удовольствия.

Белка, увидя подходящего к ней человека, махнула стрелой с одного дерева на другое и уселась на самой верхушке.

— А я твой секрет воробьям расскажу! — крикнул ей вдогонку превращенный зайчик. — Кто в прошлом году крал орехи из соседнего склада? Воробьи белкам скажут, белки хвост тебе выдерут.

Тетя белочка засмеялась. Она поняла, что это зайчик из Серохвостиной норки, колдовством ставший мальчиком, вскочила ему на плечо и сказала:

— Про себя знай да помалкивай, а твоей мамы нора вот тут, как раз под корявыми пнями.

Превращенка-зайчик лег на землю и просунул кудрявую голову в черную нору, где его мать Серохвостиха лежала грустная, вдовая, со впалыми боками и прижатыми ушками.

— Маменька, — сказал зайчик-мальчик по-заячьи, — я ведь старшенький ваш Серохвост, сменил только с мальчиком шкурку, нате, маменька, вам гостинец. А если вы мне не верите, хотите, скажу, где у вас тайная родинка... Под переднею левою лапкою.

Серохвостиха подняла свою лапку, проверила родинку и сказала:

— Дай я тебя оближу.

Превращенка-заяц вставил в нору свою голову, и зайчиха поласкала его лапками и языком столько, сколько хотела, потом отодвинулась и сказала:

— Подавай гостинец!

Зайчик вытащил из мешка все, что было: орешки, морковки и сахар. Мама его подгребла все это под себя и пустилась зубами точить.

Тупа-та, тупа-ту... сбежались со всех сторон зайцы, зайчихи, ежи и ежихи, даже приплелся один крот седой. Воробьи-любопытники далеко разнесли: пришел с виду мальчик, а на самом-то деле он зайчик.

Звери все превращенку обнюхали, потолкали, потрогали, своего в нем признали. От смеха за животики ухватились, катаются: мальчик, а зайчик!

И опять его трогают, опять нюхают, с сапог гуталин весь слизали, потом стали лестничкой друг дружке

на плечи, слепой крот последний, и башлык лапкой тронули: все, все как у человека.

Вдруг на пенышек выскочил старый заяц Ушан Бесхвостый, от которого все здешние зайцы пошли. И сказал превращенке:

— Серохвостин сын и внук Серохвоста, колдовством ставший мальчиком, слушай: не разменивай своей шкуры, будь до самой смерти твоей превращенкой, таскай нам от человека припасы.

Превращенка-зайчик сложил вместе руки и стал изо всей силы звать на помощь Духовика. Он очень ведь мучился, не зная, что делать: своих жалко, но и Петрика обмануть неохота, добрый он. Да и на двух-то ногах всю свою жизнь проходить невеликая радость.

— Выручай, Духовик! — просит заинька превращенный. — На двух ногах пяткам больно ходить.

Духовик хотя спал еще, но сейчас встрепенулся и послал честному превращенке наговорную муху Шептуху.

Муха Шептуха почистила крылья и, не прожевав даже завтрака, полетела на поиски Петрикова дяди, который давно уже взял извозчика и ездил по городу, ища всюду пропавшего мальчика.

Наговорная муха Шептуха села дядюшке на ухо и сказала:

— За городом лес, за лесом поле, за полем речка, за речкою хутор, за хутором ляды, вокруг пенышек была земляника, под бывшею земляникою нора, у норы стоит мальчик.

Дядюшка похвалил сам себя за догадливость, отмахнул муху прочь и поехал скорее за город.

— Го-го, — закричал он, увидав издали превращенку-зайчика, которого, конечно, принял за своего племянника Петрика.

Звери кинулись кто куда, а заяц-мальчик сейчас догадался, что Петрикова дядю прислал ему на помощь сам Духовик, и побежал дяде навстречу.

V

Дядя по дороге не говорил ни слова, только, сдав дома мальчика-зайчика нянюшке на руки, сердито буркнул:

— Уложить в постель!

Тетя Саша и няня от радости так мальчика целовали, что даже побранить позабыли, а что он — превращенный зайчик, им совсем невдомек. Это только в лесу разнюхали звери правду, а люди разнюхивать не умеют, они глазам одним верят. А для глаз зайчик кажется мальчиком, мальчик кажется зайчиком.

Но куда приятней было бы превращенке, если бы люди его побранили, да не сделали б таких неприятностей: холодной водой вымыли и лицо и руки, а потом дали горькую хину, которая жила в хинном домике, похожем на белую толстую пуговицу.

Кухонный мальчик Ганя лежал тоже в постели, только вместо хины ему влили ложку тягучей касторки — «оттянуть глупость от головы», — сказал седой дядюшка.

Дело в том, что наутро, едва няня хватилась, что Петрика нет ни в шкафах, ни под стульями, и поднялся в доме плач, Ганя не выдержал, схватил на руки

зайчика — превращенного Петрика и, дивясь про себя, что нести его так легко, рассказал старшим, в чем дело: и про Духовика, и про превращения, и куда и зачем ушел мальчик-зайчик.

Плакал Ганя, просил подождать всех до полуночи. В полночь как раз превращенки между собою разменяются...

Но большие ничего не поняли, большие ничему не поверили. А мать, кухарка Плакида, еще за вихор отодрала и, пихнув ногой зайца-Петрика, проворчала:

— Все из-за этого, из-за ухастого, обдеру ему завтра шкуру.

Ганя так испугался, что слова у него в горле застряли, и до самой до полуночи неподвижно лежал он в постели, нащупав под тюфяком волшебную луковку Двоехвостку: «Духовика ночью вызову, Духовик все распутает...»

А под Ганиной постелью присел, ни живой ни мертвый, превращенный Петрик в трусливом заячьем теле.

Он дрожал, дергал носом и проклинал все, что знал на свете: Ганьку за то, что подбил обменяться, зайца за то, что лежит в чистой кровати, а он тут в грязи, в паутине, и чихнуть не смеет: услышит Плакида, возьмет да в сметане зажарит.

Сердится Петрик и на тетю, и на дядю, и на няню: «Значит, они меня никогда не любили: сменил шкурку — узнать не умеют».

И превращенный заяц тоже метался в тоске по чистой Петриковой кроватке: «Ужель всегда буду мальчиком! Есть горячее, умываться холодной водой, чистить зубы — все страшно!»

— Дай, Петринька, ноготки остригу, — идет няня с ножницами, а превращенка ушами задвигал, нос сморщил и шасть под кроватку!

Душа ведь осталась вся заячья: чуть что, сейчас задрожит, будто студень.

— Ай, ай, ой, ой, как он вдруг изменился, — заплакала тетя Саша.

— Розог ему, розог, пусть только будет здоровым! — сказал строго дядя.

Одна только нянюшка ничему не дивилась: дитя растет, все это к росту.

VI

Ночью сполз Ганя кое-как с постели и вместе с зайцем-Петриком прокрался к духовке Духовика вызвать. Вот уже на луковку Двоехвостку насадил макароны, проткнул дырки для рук и положил в духовой шкаф. Еще карамельку Ганя прибавил, не пожалел, только бы Духовик объявился.

Вдруг бежит котик Ромка, мяучит:

— В детскую дверь на ключ заперта, нету выхода, не разменяться теперь превращенкам!

Всхлипнул Ганя, а зайчик-Петрик подумал: «Съедят меня в жирной сметане!» — и упал с горя в обморок. Лапки вытянул, рот разинул, лежит неживой под скамейкою.

Котик с Ганькою, оба в слезах, взялись перед печкою за руки и сделали вызов.

Злой выскочил Духовик, хмурый; вместо обычной команды «стройся» как чихнет черным дымом!

— Знаю, знаю, — ворчит, — мальчик с зайчиком разменяться не могут из-за умных старших людей. Двери заперли, ключ в карман положили. Один раз убежал — думают, всегда будет бегать.

Разворчался Духовик.

Ганька с котиком стали на коленки и взмолились ему:

— Дяденька миленький, разменяйте у превращенок душки!

Духовик чихнул опять дымом и, конфузливо озираясь, забормотал:

— Я за глаза разменять не могу, надо вызвать начальника...

Духовику было очень неприятно признаться, что не он самый главный на кухне. Вот почему вместо команды «стройся» он чихнул только дымом. «Пусть, — думает, — один только кухонный мальчик узнает, а прочая мелочь — крысы, мыши, прусаки и клопы так и считают, что я самый главный на свете».

Духовик, качаясь на своих макаронных ногах, прошел к большому котлу с горячей водой, который был вмазан рядом с плитой.

— Ваше высококухенство, Евмей Фуфаней, — поклонился он низко-пренизко.

— Их громкобульканье! — взвизгнул в немытой кастрюле Кастрюльник.

В котле с горячей водой вдруг из множества мелких вспух один громадный пузырь. Дулся, дулся и вздулся — куда толще всякого мыльного. Лопнул — а из него выбулькнул сам главный кухонный житель — Евмей Фуфаней.

Пузо круглое и прозрачное, сквозь него сковородки виднеются. Голова тоже пузырь, но поменьше, и руки пузырные. На руках пальцы-пузырьки. Глаза, нос и уши — все, все надутое, вот не выдержит — лопнет или вверх улетит.

— Пуф, пуф! — сказал Евмей Фуфаней и с каждым словом пускал в воздух переливчатый крепкий пузырь. Так эти пузыри и летали, не лопаясь, над плитой.

Духовик высоко поднял колдовской прутик, ударил им изо всей силы по своей макаронной ноге, нога сломалась, и он встал будто бы на колено, стегнул по другой — стал на оба и пискнул:

— Помогите, ваше высококухенство, разменять зайца с мальчиком!

— Пуф, пуф! — опять выпустил пузырьки Евмей Фуфаней, всплеснул руками и пошел лопаться. Сначала пропали пузырьки-крошки, потом пузыри, потом толстое пузо-пузырище. Громадное пузо-пузырище так громко лопнуло, что кухарка Плакида ахнула и увидала страшный сон.

А на кухне вот что случилось: едва лопнули Фуфанеевы пузыри, как взвилась над котлом преогромная муха Шептуха с мешочком за крыльями.

Муха села зайчику-Петрику на нос и хоботком втянула в себя его душку, пропихнула ее в мешок лапками, задернула крепко нитку, взвалила себе мешок на спину и сквозь щелку влетела в детскую.

Петрикова душа от большого страха такая вдруг сделалась маленькая, что без труда поместилась в мешок мухи Шептухи — еще даже место осталось.

Когда наговорная муха влетела в детскую, там чуть видно ночник горел. Превращенка-заяц спал крепко с открытым ртом.

Муха Шептуха живо стрясла ему в рот душу Петрика, которую он и проглотил, а заячья душка давай бог ноги, прыг-прыг прямо мухе Шептухе в пустой мешок.

А муха Шептуха опять затянула мешок крепко-накрепко нитками, перекинула его за спину и мах-махом в кухню под стол. Зайцу нос лапочкой щекотнула, чихнул заячий нос, заяц вобрал в себя свою собственную душу, да к выходу.

— Проваливай, ну тебя! — заорал радостно Ганька и открыл настежь двери. — Проваливай!

Мелькнул белый заячий хвост, и поминай как звали, удрал заяц.

К плите вернулся Ганя сердитый, ворчит:

— Если не ты, Духовик, самый главный, зачем же ты важничал?

Смотрит: ан Духовика вовсе нет никакого. Валяется луковка, валяются макаронки.

— Тьфу! — сказал Ганя. Взял корку хлеба, посолил ее, посолил луковку Двоехвостку и съел.

Утром Петрик встал прежний, веселый, ничего не боялся. Какао выпил три чашки, все хвалил да похваливал. Тетю Сашу целовал, чуть серьгу из уха не вырвал, рассмешил старого дядю, нянюшку с ног сбил.

— Ну, слава богу, теперь пойдет рост хороший! — сияла нянюшка.

А Ганька так разоспался, что его мать к обеду едва добудилась:

— Ты, пострел, двери ночью открыл, настудил?

Молчит Ганя, хохочет.

О пропавшем зайце никто не жалел. Большие так даже порадовались: ну его! Из-за зайца все хлопоты приключились.

А Ганя с Петриком веселятся: по-нашему, дескать, вышло — у зайцевой мамы хорошее продовольствие, а сам он домой убежал, целый, не жареный.

Одно только мальчикам жалко: Евмея Фуфанея не пришлось больше видеть. Пришли печники, котел вынули, дыру заложили кирпичом и замазали. А для воды тетя Саша купила огромнейший жбан белой жести, который Плакида переворачивала на ночь вверх дном для просушки, а потому в этом жбане ничего не смогло завестись, даже ржавчины.

Тамаре

ХИТРЫЕ ЗВЕРИ

I

У кадета Васи папа с мамой давно умерли, и он должен был слушаться только бабушку с дедушкой. Зимой Вася учился в корпусе, а летом ездил в деревню. В деревне дом был большой, с стеклянным балконом, а за домом и сад и огород.

Дедушка, толстый и ласковый генерал в отставке, чинил все, что было поломано: будильники, кофейные мельницы, или снимал с фруктовых деревьев червей. Бабушка, небольшая и тоже толстенькая, целый день варила варенья на стеклянном балконе, перебирала грибы, сушила малину и то и дело кричала: «Лукерьюшка, банку! Лукерьюшка, уксус, перец, лавровый лист!»

Старуха Лукерьюшка жила на кухне, пекла пироги, чистила клетку зеленому попугаю, а когда господа уезжали в город, ей одной отдавали ключи. Зубов у Лукерьюшки было всего-навсего два — один наверху и один внизу. Слышала старая плохо, а видела и того

плоше: зачастую с пустым барыниным капотом говорила, как будто с самой барыней.

— Сожжет дом старуха, недослышит, недосмотрит, воров в окно пустит! — охала бабушка всякий раз, как ездила в город.

— Ничего, обойдется! — успокаивал дедушка. — Зато меня старая вынянчила!

Вася-кадет был ужасный шалун: кроме удочек и ружья, привозил на лето еще и переэкзаменовку; но вместо того, чтоб за книжкой сидеть, он — на дереве, он — в конюшне, в курятнике...

У кур Вася яйца таскал и себе бил из них гоголь-моголь. Вот из-за этого гоголя-моголя и вышла в доме большая история.

Дело в том, что в тот же курятник, но не за яйцами, а за цыплятами, кроме Васи бегала еще и лисичка. Она подползала неслышно, как умеют ползти одни только змеи, и хвать одного цыпленка за горло, и другого, и третьего.

Кричит петух на лисицу: «го-го, го-го!», кричит курица: «куда ты, куда ты!». «Го-го» и «куда ты» слышится только по-русски, а по-звериному это очень бранные слова, да лисе все равно. Наестся до отвала, а убьет еще больше, чем съест.

Вот однажды под вечер и встреться лисичка с Васей-кадетом в курятнике. Лиса живо зарылась в рогожи, с которыми была в один почти цвет, чуть дышит, не шелохнется, а сама глазом сквозь дырку все видит и ушки наставила.

Торк... торк... крутит Вася ложечкой гоголь-моголь. Побьет, побьет и полижет: по лицу видать — очень вкусно.

«Вот попробовать!» — глотает слюнки лиса.

И только Вася вскочил на минутку за бабочкой, лиса скок к гоголю-моголю и слизнула.

— Эге! — говорит. — Надо б и мне этак кушать.

Еще посмотрела лиса, что спит Вася на белых подушках, под беленьким одеялом.

— Эге! — говорит. — Вот и мне этак-то спать.

И задумала.

II

В густом лесу жил смешной зверь барсук. Он чуть больше лисы, неуклюжий, а по морде и по голове у него идут белые полосы. Барсук не очень-то умный, но жизни порядочной, аккуратной; нору роет на солнечной стороне, обложит ее мохом и листьями, а вверх трубы проделает, для чистого воздуха, — не любит, чтобы пахло дурно. А лисьего духа барсуки совсем не выносят.

Лисица все это знала отлично, и так как барсук ей был нужен для ее затеи, она выждала, когда он темной ночью пошел за припасами, и прыг в его чистую норку; кругом себя хвост распустила.

Уже светало, когда барсук, нагруженный кореньями, возвращался к норе. Устал он, вспотел, язык высунул, — отдохнуть бы! Споткнулся об острую лисью морду, как рассердится:

— Пошла вон, пошла!

— Хоть сама я уйду, да мой запах останется, — сказала лисица, — а на завтра своих лисенят приведу, на послезавтра племянников, — после нас не продышишь!

Заплакал бедный барсук, сложил на землю припасы, а глаза утер лапками. Хвостом ему нельзя вытираться, у него хвост короткий.

— Утри, барсук, слезы, утри, — смеется лиса, — я тебе лучшую норку нашла: будешь спать на белой подушечке, под беленьким одеялом, будешь грызть сахар, и яблоки, и изюм. А изюм — это спрятанный на зиму виноград.

Барсук потер лапкой лапку, он очень любил виноград; но, вспомнив, что лисица зверь хитрый, с опаской сказал:

— А что вы с меня взамен спросите?

— Хвост мне расчесывать — это первое, — сказала важно лиса, — а еще ты научишься быть на двух только лапах, потому что в моей новой норке ты будешь зваться уже не барсук, а Вася-кадет. Если хочешь узнать все подробности, беги за мной следом.

Лиса побежала в лес, даже не оборачиваясь на барсука: она знала, что в испорченной норе он все равно не останется. И правда, понюхал барсук хорошенько берлогу, с досады плюнул и побрел за лисицей.

Шли звери, шли, занозились, измазались, пробираясь сквозь чащу, наконец, когда рассвело, увидали медведя.

Разлегся медведь на лужайке, задрал кверху лапы, лежит себе, греется. Над ним солнышко, под ним мох зеленый.

— Эй, медведь! — кричит лиса еще издали. — Хочешь стать генералом?

— А чем я дешевле? — ухмыляется мишка.

— Дурень, дурень, нашел что сказать, — смеется лиса. — Ходишь грязный, косматый, без галстука; жрешь что встретится — хорош генерал!

Мишка-беспутный, так звали его все в лесу, был медвежонок, только что выросший в пестуны, очень сильный, громадного роста, но такой ленивый, такой обжора, что родители даже о нем не жалели, когда он своих братцев маленьких побросал и пошел где попало таскаться.

— Теперь, пестун, зима скоро, — сказала лиса, — а зимой хорошо в норе теплой. Ты как: сам нору сделаешь или обратно в родительскую?..

Лиса отлично знала, что родители мишку выгонят, если он к ним вернется, а самому ему нору сделать лень, да и поздно — вот-вот землю изморозь хватит.

Опечалился толстый пестун, взял прутик, прутиком когти чистит, чтобы скрыть слезы.

Лиса выждала минутку-другую, села рядом с мишенькой на бугор и погладила его мягкой лапкой.

— Не кручинься, — ласкается, — я все пятки отбегала, а тебе зимнюю норку нашла, да какую! Будешь есть каждый день что угодно, будешь спать на перине под беленьким одеялом, будешь спрятанный на зиму виноград есть, который люди называют изюм. И меду, мишенька, какой выберешь: и липовый есть и гречишный.

Медведь обрадовался и сказал:

— Даже очень хочу.

— Вот это, мишенька, дело, ай, умник! — похвалила лисичка. — Через неделю господа уезжают: генерал, генеральша и кадет ихний Вася. Старушка останется старая, чуть видит, чуть слышит, да попугай зеленый.

— Попугай — кто такой? — спросил с опаской мишка. — Он по морде меня не побьет, как мамаша?

— Что ты! — хохочет лиса. — Попугай сидит всегда в клетке, он птица, хоть и ругается, как человек. А старушка, чуть увидит тебя в генеральской одежде, наверно сочтет генералом!

— Гы... гы! — с удовольствием крякнул пестун. — А откуда одежду возьму?

— Об этом сама позабочусь, — сказала лиса. — Ты одно мне скажи: согласен идти в генералы? Подумай только, пестун: мед кушать, сахар, наливку хоть ведрами!

— Гы... гы... — кряхтит мишка, — даже очень согласен.

— И отлично, значит, все господа налицо, — ухмыльнулась лисичка, — медведь — генерал, барсук — Вася-кадет, а я — сама барыня, сама генеральша.

И лиса побежала к усадьбе налаживать дальше свое хитрое дело.

III

Было еще совсем темно, когда лиса прокралась чрез густой барский сад к стеклянной террасе и против самых ступенек шмыгнула в кусты. На террасе блестела при полной луне попугаева медная клетка.

Попугай, зацепившись за железные прутья лапами, перевернулся вниз головой и думал о своей милой родине.

К опрокинутой голове кровь приливает, а попугаю чудится — это греет его индейское жаркое солнце, вокруг на пальмах качаются обезьяны, под обезьянами

тяжелые носороги идут медленно к водопою, а вверху и внизу порхают чудесные птицы, такие ж, как он, попугаи.

И слышится вдруг сладкий шепот в кустах:

— Славный попочка, умный попочка, хочешь быть над зверями царем?

Живо перевернулся попугай, голова вверх, хвост книзу стал, как у всех попугаев, и скривил набок голову, слушает. Ничего. Кругом же одно огорчение: вместо пальмы береза, сам сидит в крепкой клетке, а птиц всего-навсего курица да петух. Опечалился попугай, закрыл глаза белыми веками. Опять голос идет от кустов, еще вкрадчивей прежнего:

— Хочешь, попочка, быть над зверями царем?

— Что такое! — закричал попугай недовольным бабушкиным голосом. — Пыль вытирать чисто, чисто.

Однако раскрыл оба глаза и с удивлением разглядел в кустах острую лисью морду.

— Меня к тебе, попа, звери прислали послом, — заюлила лиса, — хотят тебя вместо льва звать в цари. Ты по разговору почти человек, а человек даже льва держит в клетке.

— А-а! — сказал важно попка и поднял вверх лапку, а лиса знай свое тараторит:

— Как только люди уедут, принимай, попа, посольство.

— Клетку открой, клетку открой! — заорал попугай.

— Ах, попа, хотела бы, да не смею. Надо мной есть старше послы, барсук да медведь. Они и то мне не верят, что ты говоришь по-людски. Ты сперва дол-

жен при них по крайней мере дня два покомандовать над Лукерьюшкой, чтобы звери видели: человек попу слушает.

Попугай вычистил клюв, повел кругом глазом да как начнет нараспев:

— Ме-еду, Лукерьюшка, а масло, а сыр?

И вдруг взвизгнул:

— Дура, дура, дура... хлеб позабыла.

— Ох ты, попочка, царь лесной! — залилась лиса тихоньким смехом. — Ты нам два дня покомандуй, а на третий мы выпустим тебя на свободу, посадим на львиный престол. А сейчас до свиданья!

И она убежала.

— Пыль вытирать чисто, чисто! — сказал гордо попка и уже не перевернулся вниз головой. Ему казалось это неподходящим при его большом сане. Попка чувствовал на спине своей львиную гриву и топорщил зеленые крылья, чтобы казаться побольше.

IV

Была глубокая осень. Хлеб давно уже сжали, смолотили, а зерно увезли на соседнюю мельницу. Лен тоже повыдергали и сложили его мокнуть в речку. И так долго лежал в речке лен, что уже перестал бояться простуды и совсем позабыл, что когда-то цвел нежным голубеньким цветком.

Подвалы в усадьбе битком набили огородным добром: бураками, картофелем и морковью. Яблоки с грушами, как батальоны солдат, лежали рядками на полках. Всех девушек, работавших в огороде, барыня

уже отпустила домой, наградив на прощанье алой и синей лентой.

Вася-кадет, зажав крепко уши, готовился с утра и до вечера к обеим своим переэкзаменовкам. Дедушка делал бесконечный список того, что ему надо было купить в городе, а бабушка, хоть и охала, хлопотала с Лукерьюшкой над коржами, индюшками и пирожками.

Попугай, думая о предстоящем посольстве, что есть силы учился командовать, передразнивал барыню: «Лукерья, кур не забудь, Лукерья, одно тесто сдобное, другое крохкое, третье тесто так себе, на дрожжах!»

У дедушки разболелись ноги, ехать ему неохота, ходит себе да вздыхает:

— Ой, быть беде! Ой, лошади понесут, ой, ось пополам, не доедем до города.

А попугай подхватил, надрывается: «Ось пополам, ось пополам!»

Однако ничего себе, все обошлось. Лукерьюшка вовремя подала всю провизию, кучер смазал на славу колеса, тройку козырем подкатил к крыльцу.

Бабушка нанизала ключи на большое железное кольцо и заперла его в саквояж. Кадет Вася со слезами прощался со своим попугаем, в последний раз набил пазуху и карманы морковками и, взяв в руки сумочку с переэкзаменовками, уселся грустный на передней скамье.

Прозвенел раз-другой колокольчик и стих. Лукерьюшка старая долго стояла еще на крыльце, крестя рукой воздух, чтобы господам путь был легкий, дорожка скатертью.

Вот уже смерклось, вот уже Лукерьюшка дом обошла с длинною палкою, в кустах ближних пошарила,

нет ли где вора. Никого не нашла, успокоилась. Вот уже обеденных щей похлебала, сейчас будет ставни захлопывать.

И невдомек старой, что почти под носом у ней диво-дивное. На стеклянной террасе стоит столб мохнатый, от пола до верхней форточки, в нее конец столба лапами лезет.

Со стороны ничего не понять, а попугай в медной клетке все знает: столб мохнатый — посольство, его пришло звать на царство. Внизу, первый, медведь; упер свои лапы в колени, стоит сам на задних, морда веселая ухмыляется. Мишке на спину влез барсук, барсуку стала на спину лисичка. Вот она почти вся уже и в форточке. Прыгнула лиса в комнату, ключ в дверях повернула, двери настежь: пожалуйте, господа. Облизнулся барсук: войти хочется, а дрожит, очень страшно. Медведь как поддаст ему сзади лапой, оба вместе влетели.

А лисичка, совсем одетая, уже кружится перед зеркалом: на ней капот барыни, ушки спрятаны под кружевную наколку.

Видят куры с насеста, смеются: ай, барыня!

Медведь еле-еле надел человечью одежду, кряхтит. Всюду тесно ему, неудобно. Зато барсук с удовольствием пролез лапами и головой в белую Васину рубашку, подтянул себя ремнем с бляхой, совсем Вася-кадет. А лисичка хватила утюг и обоим зверям хвосты поутюжила.

Потом лиса звонок взяла в лапу и сначала чуть-чуть, а там громче и громче позванивает: динь, динь, ди-динь!

Старая Лукерьюшка приставила заборами руки к ушам тугоухим: «Никак колокольчик! Назад господа возвращаются, не беда ль, прости господи!»

А беда ль не беда, одно знает Лукерьюшка: раз возвращаются, самовар чтоб сейчас на столе, потому час чаепитный.

Только Лукерьюшка в комнаты, а ей уж навстречу барин и барыня и кадет.

— Гы... гы!.. — как рявкнет вдруг барин медведем.

— Прости господи! — шепчет Лукерьюшка, пятится.

А лиса не глупа, схватила в лапы попугаеву клетку, сует когти меж прутьев. Забыл попугай про почет, про посольство, дух дикий близко почуя, как заорет вдруг последнее, что запомнил: «Ось пополам, ось пополам!»

— Сами-то живы остались, слава богу, — радуется Лукерьюшка и торопится ставить на стол все, что надо: и булки, и коржики, и оставшиеся пирожки.

— Варр... ренье! — кричит оправившийся попугай голосом Васи-кадета и гордо хорохорится в клетке.

Он уже не боится, что лиса его может съесть, как съедает обыкновенную птицу, он отлично знает: лиса, и барсук, и медведь — посольство из лесу его звать на царство. Для того и господское платье надели, чтобы в доме пожить, посмотреть, как командует он человеком.

— Лукерья, наливку! — говорит попугай барином-генералом. И спешит, спотыкается старая, ставит перед медведем бутылочку:

— Выкушай, батюшка, ваше превосходительство.

Наставила Лукерьюшка полный стол всякой всячины и ушла. Звери сейчас цап руками и в рот. Медведь

банку с вареньем как опрокинул над пастью, так и не отнял, пока дна не увидел. Барсук густой пенкой морду измазал — не видать черной шерсти, весь белый, как мельник, ищет, чего бы еще ему съесть. В минуту все пусто.

— Попочка, покомандуй! — шепчет лисица. — Посольство в тебе сомневается.

Склонит попугай набок голову и заведет:

— Ме-еду, Лукерьюшка, масло и сыр...

Носит Лукерьюшка, носит, других мыслей нет в голове: «Натерпелись господа страху, свой страх заедают. На здоровьечко!»

Носит Лукерьюшка, носит, все чисто едят господа, пустые блюда назад подают.

Одно она не удержала да на пол, нагнулась осколки поднять, завизжала не своим голосом и на кухню. Медведь не успел сапог надеть, позабылся и мохнатую лапу выставил, старуха в медвежью-то лапу руками и въехала.

Хорошо, лиса дернула попугая за хвост; он разозлился да как зачастит: «Дура, дура, дура...»

Услышала «дуру» Лукерьюшка, опомнилась, посветлела. «Что это, — думает, — мне бог знает что померещилось, должно быть заморские туфли барин надел».

Убрала все тарелки Лукерьюшка и спать полегла, а звери ее испуга сами так испугались, все за ширмой столпились, дрожат: а ну как старуха сейчас закричит караул? Прибегут мужики, кто с ружьем, кто с дубьем, снимут шкуры.

Медведь и барсук ни за что лисе не позволили огонь зажигать, хоть урезонивала их она, что за ставнями

ничего со двора не видать; чуть стемнело, одежду с себя поснимали и положили для чистки на стулья за дверь: лиса сказала, так люди делают.

Вспотел медведь, пока толстыми лапами складывал, двадцать раз в мыслях и лисицу ругнул и себя самого за то, что из леса удрал.

Когда звери разделись, ширмы плотно к кровати приставили, заперли двери входные на ключ, чтобы Лукерьюшка не вошла ненароком, и закрыли себя с головой одеялами.

Утром прыгнула лиса первая из кровати, капот со шлейфом надела, ушки спрятала под наколку и скорее в столовую. Занавески спустила, чтобы Лукерьюшке в слабом свете звериных морд не видать. А напрасно трудилась: если б Лукерьюшка и заметила, что неладно под чепчиком барыни, сама бы первая себе не поверила.

Опять звери много съели и выпили, а еще больше в узлы навязали: «Понемножку все в лес перетащим», — учила лисица.

Осмелели звери, костюмами занялись: медведь галстуки все перерыл, что ни станет завязывать — в лапах порвет. Наконец выволок чистое полотенце и обернул себе шею.

Лисица все баночки, все пузырьки перетрогала, напомадила хвост себе так, что капает, а барсук часы нацепил. Не ест больше барсук, не пьет, лапы расставил и слушает: тик-так, тик-так, часы тикают.

Медведь нашел очки барина, надел себе за уши, взял в руки старую кофейную мельницу, уселся удобненько в кресло и знай себе... крутит.

Крутит мельницу медведь, крутит, и кажется ему, что он делает самое важное генералово дело. И такой сделался у него важный вид, что как стал барсук у пестуна сзади кресла на цыпочках, так и остался стоять.

А лисица задумала до конца все господское перепробовать, через попугая заказала Лукерьюшке ванну. «Вот, — думает, — буду-то после ванны пушистая».

Пока Лукерьюшка напускала горячую и холодную воду, лиса торопилась набрать всякой всячины из комодов. Себе кружевные наколки и бантики, барсуку красный Васин пояс, а медведь сам принес свою мельницу и очки.

— На сегодня, — говорит, — я накрутился, а завтра крутить буду в лесу, надоело мне здесь: ни крякнуть, ни пикнуть, всего-то боишься.

— Ладно, мишенька, ладно, — кивает лисица, — сегодня вечером и уйдем, дай только ванну возьму. Ты мне, миша, спинку намылишь, а барсук хвост расчешет.

Лисица отлично знала, что настоящие господа не сегодня-завтра должны возвратиться, из осторожности приказала барсуку узлы стащить в ванную комнату: «Чуть что, мы с узлами в окошко махнем».

Лежит лиса в ванне, распарилась, разморилась, ко сну ее клонит. Под мордочкой у нее подушечка-думка: медведь приспособил генераловы галстуки — все связал, поперек протянул, а на них подушку.

Вот уж и хвост лисий от помады отмылился, сам собой вылез наружу, барсук его высушил, теперь гребнем расчесывает. Вот уж медведь взял мохнатую простыню, расставил лапы, держит: выходи, лисонька.

— Ах, всем косточкам весело! — хвалит ванну лисичка. — Будто под летним солнышком; еще, миша, минуточку... и еще... и еще.

И заснула лиса. Сладко спит, снов не видит. Жалко медведю ее разбудить, стоит с простыней, позевывает, охота ему снова мельницу помолоть.

«Вот, — думает, — скоро как я сделался генералом».

А барсук не думает ничего, сидит себе на скамеечке, хвост лисий чешет.

И не чуют звери, что тройка в ворота влетает. Едут без звону, с подвязанным колокольчиком. Надоел в пути барыне, приказала убрать. Обочлась днем лисица, скорее в городе управились господа и обратно.

Вот подъехали. Что такое? Лукерьюшка пьяная или помешалась, спрашивает: «Как прикажете доложить?»

— Дура старая! — крикнула барыня.

— Дура старая! — откликнулся попугай.

Вошли в комнаты — все перерыто, в граммофонной трубе торчат старые кости, ковры залиты; воздух такой, что без зажатого носа и шагу не сделаешь.

Открыла генеральша дверь в ванную, да назад хлоп! — и в обморок. Заглянул за генеральшею генерал.

— Эй, жандармы, — кричит, — полицейские!

А медведь на него как оскалится. Генерал себя хвать за голову и упал с генеральшею рядом.

Лисичка очнулась, как была, мокрая, прямо из ванны командует:

— В лапы узлы, айда!

Стал пестун под окошком, барсук пестуну прыгнул на плечи, лисица — сверху. Раскрыла окошко и раз —

сама, два — барсук, три — пестун. Узлы за плечо перекинули — и лови, кому бегать охота!

Очнулись генерал с генеральшей, глядят: в ванной пусто.

— Слышишь ты, — говорит генеральша, — не смей никому говорить, что вместо нас жили звери: это еще ни с кем не случалось, а потому оно неприлично, и над нами будут смеяться.

ИВАНОВ ДЕНЬ

Обед в этот день был какой-то суетливый: все знали, что толпа латышей уже вышла из городка и в праздничных одеждах с дубовыми венками на головах скоро придет к пансионам петь свои песни.

Горничные Минна и Лиза, разносившие кушанья, перепутали столы, всем русским поставили сладкий суп с черносливом, которого никто из них в рот не брал, а немцам — лапшу.

Фрау Штильман, хозяйка, извинялась направо и налево, объясняя, что сегодня необыкновенный день и всем должно быть весело, а то святой Ян рассердится на недовольных и не пошлет хорошего урожая.

Русский и немецкий стол весело обменялись тарелками и стали наперерыв расспрашивать местного старичка об обычаях.

Старик, пряча свою аккуратно сложенную салфетку в вышитый дочкой чехол, только поспел объяснить, что в сегодняшнем празднике латыши воздают зараз славу Иоанну и древнему языческому богу Яриле, как маленькая Урсула крикнула: «Фрау Тереза едет!» И все, схватив блюдечки, кинулись с своих мест.

Фрау Тереза, мороженщица, всегда приезжала к концу обеда, сама правя черной клячей, впряженной в ярко-синюю колымагу, где, стуча друг о дружку жестянками, тряслось мороженое разного цвета и вкуса.

«Фрау Тереза, мне на три копейки!», «Мне на пятак!», «А мне всякого поровну и с деревянной ложечкой!..» — наперерыв кричали дети.

Фрау Тереза, сухая старуха с крючковатым носом и доброй улыбкой, в своем белом фартуке и белом платочке ни дать ни взять — хорошая колдунья из сказки. Она длинной круглой ложкой удит мороженое из своих бездонных жестянок и раздает всем гладкими разноцветными шариками. Когда дети уткнулись в свои полные блюдца, старик попытался было продолжать свое разъяснение, но вдруг из-под горки показались зеленые громадные головы; это в дубовых венках нарядные девушки и юноши пришли петь праздничные песни, или, как говорили латыши, «лиговать».

Высокий Ян-запевала начал:

— Ej ar Deevie Jána diena..,

А хор с радостным ликованием подхватил: ligo, ligo!

У Иоанна, как прежде у светлого бога — Ярилы, просили люди хлеба, и сыра, и хорошего сена для своих кормилиц-коров.

Красивый Ян, с загоревшим лицом, ставшим темнее белых волос, выкрикивал свои просьбы навстречу ветру, не спуская глаз с уходившего за лес огненного Ярилы — солнца, а хор, шумя дубовыми листьями своих венков, радостно подхватывал: ligo, ligo!

Окончив песню, лиговщики возложили венки на присутствующих, а сами с радостным смехом побежали к огромным дубам плести себе новые.

За ними следом устремилось все молодое население пансиона, даже маленькая Урсула с братом Вольфом, который на ходу подтягивал оба съехавших на сандалии носка и наконец со всего маху шлепнулся носом в траву.

— Эх ты лиговщик, зарыл редьку! — крикнул на лету гимназист Коля, несясь через пни и кустарники прямо к высокому Яну.

— Позволь мне лиговать!

Ян улыбнулся, показал один к одному белые зубы и, радуясь празднику, радуясь своему пению и тому, что как раз сегодня он был именинник, весело сказал:

— Лигуй себе на здоровье, а потом ко мне в гости.

Коля очень обрадовался. Ян давно нравился ему уже одним тем, что зимою он учился в местной гимназии и шел первым в седьмом классе, а летом занимался извозом, как простой извозчик-латыш.

Отец Яна, бедный крестьянин, сколотил малую толику денег, обзавелся домиком на горе, огородом, тройкой лошадей — и ослеп. Мать с дочкой Майкой одна не могла управиться, работника нанять было не на что, вот и стал Ян летним извозчиком: возил дачников смотреть имения соседних баронов с сыроварнями и озерами и развалины древних замков, где всем особенно нравилось выпить шипучего латышского меду.

Но сейчас самым удивительным было то, что Ян оказался отличным запевалой, и Коля, не спуская с него глаз, старался так же, как и он, открывать свой рот.

Ян, в новом густом венке, спадавшем отдельными длинными ветвями на самые плечи, с своими яркими голубыми глазами, круглым безусым лицом и важностью юноши, который рано стал хозяином, сам, казалось Коле, был молодым богом Ярилой.

— Лиговщики, вперед! — крикнул Ян.

И нарядная толпа, шурша свежей душистой зеленью, стройно двинулась за своим запевалой.

Когда шли по узорному мосту, легко переброшенному с одного лесистого берега на другой, солнце уже садилось, и река плыла, золотая, среди красных обрывов и густых черных сосен; эти сосны, будто нарочно, чтобы не впустить в свою чащу острых, как стрелы, лучей, переплели непроглядно свои лапы-ветви.

Сегодня Иванов день, сегодня лес колдует, сегодня лес стережет драгоценный цвет папоротника.

Из лесу с пляской высыпала толпа ряженых: жрецы в длинных белых плащах с горящими факелами, зеленые лешие, на помелах ведьмы, древние старцы с привязанной паклевой бородою, кто с бубном, кто с дудкой, все в дубовых венках, все с радостным выкриком: ligo, ligo...

Коля, украшенный, как все, зеленым венком, щекотавшим ему уши и шею, казался сам себе главным жрецом какого-то языческого бога и, ловя взволнованным ухом слова непонятной языческой песни, с восторгом подхватывал: ligo, ligo!

По городу лиговщики шли степенно, хотя петь не переставали. Толстые булочники, колбасники и владетели медовых лавочек, стоя у порога своих магазинов, весело притопывая на месте, провожали толпу ласковой улыбкой и невольно ей вторили: ligo, ligo!

На островерхих черепичных крышах, казавшихся мокрыми от закатного освещения, остановились коты, в недоумении перебирая лапками.

На балконах уютных домиков, затканных сверху донизу красным бобом и душистым горошком, появились старушки в кружевных черных чепцах и замахали белыми платками.

А за городом опять веселые зеленые холмы, засеянные льном и пшеницей, один обгоняя другого, побежали к синему лесу. Меж холмами, то тут, то там, желтела на солнце река, а по реке, облитые закатом, мчались в Ригу огромные бревна.

Высоко на горе черный замок с четырьмя башнями, с крестообразными сводами и лиловым мраком витых узких лестниц. По этим лестницам, вспомнилось Коле, спускались в круглую трапезную рыцари Ливонского ордена и в тот страшный, в последний день, когда полчища Ивана Грозного штурмом брали город.

Не удалось рыцарям спасти город, не хватило воинов и оружия, и вот, чтобы не даться живыми, не выдать тайн ордена, они в своих мантиях, белых с красными крестами, собрались здесь в последний раз. В последний раз обнялись, простились навеки, зажгли фитили у бочек с порохом и в страшном громе, дыму и пламени взлетели на воздух перед разгневанным грозным царем...

Коля так задумался о ливонских рыцарях, что уже не глядел по сторонам до самого Янова дома, где ему опять стало весело.

Толстощекая Майка выбежала из чистого садика и, сказав брату что-то по-латышски, указала рукой на высокий шест с прикрепленным вверху бочонком.

— Что такое? — спросил Коля Яна.

Он вынул из кармана спички.

— Пора зажигать, наша горка всех выше и другим кострам служит сигналом.

Коля вышел вслед за Яном на совершенно круглую зеленую горку и помог ему держать прислоненную к шесту лестницу.

Ян с горящим факелом, от которого его поднятая голова и дубовые листья венка казались золотыми, взбежал по ступенькам к бочонку, бросил в густую смолу зажженный факел и скорее спустился обратно.

Из бочонка со свистом взвились вверх ракеты, и разноцветные огненные шары брызнули в черное небо.

Сейчас же на всех пригорках по руслу быстрой речки запылали ответно костры.

Жрецы, жрицы и все венчанные дубовым венком окружили широким хороводом высокий шест с горящим бочонком.

Переливалась из бочонка на землю пламенная смола и выжигала траву и цветы. И курились они легким дымом в честь древнего бога Ярилы, в честь доброго Яна.

РУСАЛОЧКА РОТОЗЕЕЧКА

Морской царь был вдовый, только всего и родни у него, что наследник-царевич Бульбук да дочка, русалочка Ротозеечка. Ротозеечкой прозвали царевну за то, что она как задумается, так сейчас ротик и откроет.

А задумывалась она часто и все об одном и том же: как бы ей сделать для всех хорошее дело.

На морском дне ведь дел не то что хороших, а и самых обыкновенных не было никаких. Всем места много, всем пищи много — знай себе плавай! Правда, по утрам морской царь охаживал дозором морское дно: щупал, крепко ль сидят на скалах губки, учил рака-отшельника прятать мягкий хвост в домик, сыпал перламутровой раковине между створок песок, чтобы она не ленилась плакать, крупней жемчуг делать. Все же прочее время морской царь спал себе сладко на цветных водорослях.

Ротозеечку, как ни просилась она, царь ни за что не хотел брать с собой по морскому дозору — потому, говорил он, не женское это дело!

— Ах, няня, мне ску-учно... — плакала царевна усатой Дельфинше.

— Посчитай-ка свои жемчуга, посмотри, как актинии оплетают серебряных рыбок, — наставляла Дельфинша, старая няня.

— Мне все надоело, все ску-учно...

— Выдадут замуж, сейчас станет весело...

— А что делать-то замужем?

— В новом море считать новый жемчуг.

— Опять то же самое! А как попасть в новое море?

— Дай срок, прилетит аист-сват, царевичу нашему притащит невесту, а взамен тебя снесет куда надо.

— А скоро ли прилететь аисту-свату? — не унималась Ротозеечка.

— А вот как волосики твои вырастут до хвоста, тогда уж прости-прощай! — сказала ласковая Дельфинша-няня и, сделав русалочке своим твердым усом пробор на головке, заплела ей две длинных зеленых косы, а концы их украсила красными бантами, которые царевич Бульбук утащил для сестры из человечьей купальни. Ротозеечка смерила глазками, долго ль расти зеленым косицам до хвостового плавника, и весело засмеялась: оказалось, не больше вершочка.

Наступила весна, потемнело море, и совсем по-другому, чем зимой, принялся купаться в нем месяц. Побежали, пыхтя, по зеленым волнам пароходы, а за ними по шипучему белому следу во все плавники закувыркались дельфины.

Кряхтит старая Дельфинша-няня, а туда же, за ними кувыркается.

И вот узнала Ротозеечка, что в первую темную ночь, когда безопасней лететь, принесет аист-сват Бульбукову невесту, а ее снесет в новое море.

Отец, морской царь, стал теперь особенно ласков:

— Чем могу угодить тебе, доченька?

— Ах, возьми меня, батюшка, хоть один только раз дозором по твоим по морским делам.

Уступил Ротозеечке отец-царь, ну и наплавалась она так, что хвостик у нее заболел, а все-таки ничего интересного в мужском морском деле для себя не нашла.

Все там, по правде сказать, само собой происходит, хоть и вовсе дозором не плавать: рак-отшельник не сегодня-завтра сам научится свой хвостик прятать, губки и кораллы растут, как им надо расти, а перламутровую раковину уж лучше бы вовсе не мучить: жемчуг, конечно, красивый, да ведь и без него прожить можно.

И Ротозеечка приняла крепко-накрепко одно решение.

Вот настал вечер той безлунной ночи, когда свату-аисту прилететь. Расчесала Дельфинша-няня в последний раз длинные зеленые волосы, и покрыли они Ротозеечку густым шелковым покрывалом с руками и с плавниками.

Заплакала старая Дельфинша-няня:

— На кого меня, дитятко, покидаешь?

Отдала Ротозеечка обратно царевичу два красных банта, чтобы он ими украсил свою невесту, обняла няню, и рыбок, и рака-отшельника и села, тихая, к отцу на колени. Едва вышла первая звездочка на безлунное небо, морской царь вывел дочку на большую

скалу, торчавшую башней из моря, а сам, чтобы не очень расстроиться, поскорее уплыл. Однако на дне царь не выдержал и как был, в короне и мантии, сел на свой морской пол и заплакал.

— Папенька, пересядьте, прошу вас, на трон, — сказал царевич Бульбук, — ведь сейчас моя невеста прибудет.

Царь опомнился, вытряхнул из бороды мягких рачков-креветок, взял в руку коралловый скипетр и сел на свой трон.

Недолго оставалась на камне Ротозеечка одна. Вот послышался шум сильных крыльев, и аист, держа что-то большим клювом и лапами, опустился на камни.

Из черного плаща выскользнула чужая морская царевна, тоже с зелеными волосами, только не скучная, а, напротив того, очень веселая, и с громким смехом, даже не взглянув на Ротозеечку, прыгнула в воду.

— Из чего сделана эта неприятная материя? — спросила Ротозеечка аиста, трогая пальчиком черный плащ. — У нас на дне нет таких водорослей.

— Это резиновый плащ одного мальчика-растеряхи, — сказал аист, — я его подобрал для свадебных путешествий морских принцесс; если пойдет дождь, они под этим плащом не вымокнут в пресной воде, столь неприятной для морских обитателей.

— Милый аист, — попросила Ротозеечка, — вы все знаете: снесите меня туда, где я могу сделать хорошее дело!

— Эге, — проклектал аист, — от хорошего дела вам не очень-то поздоровится! Хорошее дело вы можете сделать только в пресной воде. Поступайте-ка лучше в морские царицы...

— Ах, это скучно мне, аист: ведь я никому на дне моря не могу быть полезной, все там навеки устроено, все там по правилам.

— Ну, а чем же вы, собственно, могли б стать полезной? — спросил аист.

— Я умею плескать моим хвостиком так, что при месяце кажется, будто в воде купается драгоценное серебро.

— Очень похвально... А еще что умеете? — качнул аист носом.

Заплакала Ротозеечка и сказала:

— Больше ничего не умею.

— Если вы уверены, что плескать хвостиком очень красиво, я могу снести вас поближе к земле: никого нет хитрей человека. Человек из всего извлечь может пользу.

Ротозеечка легла на резиновый плащ и сложила ручки.

— Ах, умный аист, несите меня поскорей...

— Сейчас понесу. Только я должен вас предупредить: от пресной воды сокращаются дни жизни морских обитателей, а для вашего дела мне надо снести вас не иначе как в Мертвую лужу.

— Несите, несите!

Аист завернул Ротозеечку в черный плащ мальчика-растеряхи и взвился с нею над морем.

Долго летел он, спускаясь отдыхать на болотные кочки и снова вздымаясь над ними; наконец, когда небо уж стало алеть, он бережно вытряхнул русалочку над небольшим озером.

— Плавайте себе на здоровье! — крикнул аист, улетая.

Ротозеечка очень обрадовалась воде и нырнула. Но, глотнув вместо привычной горько-соленой противную сладковатую, сделала гримаску и всплыла на поверхность.

Невысокие холмы по берегу покрыты были кустарником, у самой воды росли широкие листья мать-мачехи, колокольчики и ползучие травы; впрочем, около одного, самого отлогого берега все это было вытоптано до самой черной земли.

Озеро было круглое и такое тихое, будто уснувшее. «Мертвая лужа», — вспомнила Ротозеечка, как назвал его аист, и, грустная, скрылась на дно, но жгучий глаз солнца нашел ее и на дне, и после зеленого сумрака моря светлая пресная вода не дала Ротозеечке ни отдыха, ни прохлады, и только сильная усталость заставила на минуту закрыть глазки.

Ее разбудил топот, чей-то дикий рев и сопенье. Стадо рыжих коров, чавкая копытами, входило в озеро; все жадно вытягивали рогатые морды и ревели во весь голос.

За коровами шел пастушок, грустный мальчик в лохмотьях. Пастушок лениво, будто с трудом, подымал над стадом свой бич с длинной веревкой и хлопал им, как стрелял из ружья, так громко, что у Ротозеечки заныли от непривычки уши.

Когда мальчик сел на камень, Ротозеечка увидала близко его драные лапти и бледные щеки. Она захотела, чтобы он улыбнулся, и сделала единственное, что умела делать, — заплескала хвостиком. Спокойная гладь озера, взбаламученная только у самых берегов пьющим стадом, вдруг взялась светлою рябью и весело понесла эту рябь до самых песков побережья.

Казалось, солнце упало в воду и разбилось на золотые чешуйки.

От ожившего озера кусты сделались зеленей, молодые листочки мать-мачехи развернулись, коровы подняли мокрые морды, а невеселый пастушок повеселел; забыл все свои горести и смотрел не отрываясь на ожившую воду, пока ему не закричал кто-то сверху: «Эй, гони стадо доиться!»

Пастушок встал с камня, но, щелкая бичом над коровами, он все оглядывался назад, и Ротозеечка заметила, что походка у мальчика теперь бодрая, как у хорошо отдохнувшего человека.

Когда короткие сумерки сменила синяя многоглазая ночь, пастушок пришел снова. Теперь он был еще грустнее, чем днем, и, обхватив руками нечесаную, лохматую голову, горько плакал о том, как трудно быть маленьким сиротой.

Ротозеечка разрывалась от жалости и опять, не зная, чем утешить мальчика, не умея ничего сказать, только с новой силой ударяла плавниками об воду.

Вот прорезала луна синий бархат неба, и, вдруг побледнев, ушли к богу жаркие звезды. Луна одна, как царица в зеркало, смотрелась в воду, а волны-барашки, поднятые Ротозеечкой, будто молодые пажи, передавали друг другу драгоценные блестки с серебристого шлейфа царицы.

Мальчик смеялся, звал озеро ласковым именем, и казалось ему — это покойная мама выпросила для него у ангелов серебряные игрушки...

А насмотревшись вволю, он тут же и заснул, в сухом нагретом песке.

Скоро Ротозеечка заметила, что теперь все время, пока коровы стояли в воде, мальчик, вынув из кармана уголь, царапал им что-то по камню, и при этом у него было такое же счастливое лицо, как у морского царевича Бульбука, когда отец украсил его в первый раз морскою звездой.

Однажды в полдень, едва стадо затопталось в воде, а мальчик по обыкновению пачкал углем раздобытую где-то тетрадь белой бумаги, к нему подошел чужой человек в широкополой шляпе, с ящиком красок в руках.

Чужой человек взял в руки тетрадку мальчика, похлопал его по плечу и, ласково разговаривая, пошел с ним вместе за стадом.

С этого дня Ротозеечка больше не видела пастушка. Вместо него на водопой водил стадо совсем другой мальчик, который на озеро не смотрел и только и делал, что бранил коров плохими словами.

От тоски по родному соленому морю и от разлуки с мальчиком, которого полюбила, Ротозеечка начала тосковать.

Потускнела ее переливчатая чешуя, поредели зеленые косы, а хвостик без прежней силы плескался в воде.

Наступили осенние холода, и сердитый ветер засыпал озеро желтыми и красными листьями. Русалочке очень хотелось уснуть на мягком илистом дне, но она из последних сил выплывала ночью к белому камню, где сидел, бывало, пастушок, и смотрела в черное небо, не летит ли сват-аист в свои теплые страны.

И аист наконец полетел, а на пути спустился к белому камню, стал на длинную ногу и качнул красным носом:

— Не хотите ль на родину?

Ротозеечка грустно сказала:

— Я здесь останусь и буду ждать мальчика-пастушка: его увел человек с длинными волосами, в широкополой шляпе.

— Обыкновенно такой человек у людей зовется художником, — прервал Ротозеечку аист. — Но зачем же художнику ваш пастушок? Или он срисовал, как вы плескали хвостиком по воде? Я ведь вам говорил: человек из всего извлечь себе может пользу...

Но теперь уже Ротозеечка не дала кончить аисту, она захлопала в ладошки:

— Ну конечно, мальчик только и делал, что рисовал, как я била хвостиком по воде! Но мне казалось, что у него выходили одни черные пятна; кроме того, он так ужасно пачкал себе лицо и руки, что едва ли это могло понравиться художнику.

— Ну, разумеется, все черные пятна, кроме тех, которые мальчик сделал себе на носу, пришлись как раз на своем месте, — сказал аист несколько свысока, — потому что иначе знаменитый художник не взял бы мальчика к себе в ученики. А что он взял именно его, теперь я знаю наверное.

— Ах, милый аист, опять вы все знаете, расскажите же мне поскорей!

Аист продул ноздри своего красного клюва и начал:

— На зеленой горе есть сосна с опаленной верхушкой; на эту сосну крестьянские дети насадили деревянное колесо, чтобы жене моей было удобней устроиться с аистятами; туда же и я, само собой разумеется, прилетаю с лягушками в клюве.

Как раз против нас, в белом доме с высокою башней, живет художник. Обыкновенно он жил один со своими картинами. Но этой весной он привез с собой мальчика. Мальчик мне сразу понравился тем, что не дразнил моих аистят, а день-деньской бегал на речку и рисовал ее быструю воду и в дождь и в вёдро.

И я даже обеспокоился, когда мальчик просидел раз безвыходно в своей башне. Пролетая утром за кормом для жены и для маленьких аистят, я заглянул к нему в открытое окошко и — представьте! — не мог удержаться от клекота, а уж, кажется, видал виды и умею держать себя в обществе.

Но разве мог я предположить хоть минуту, что встречу там вас, Ротозеечка, с вашим хвостом, плавниками и зелеными косами, и притом не в воде, а на белой стене круглой башни? Должно быть, вы очень понравились учителю мальчика, потому что, взглянув на стену, он обнял своего питомца и подарил ему такой большой ящик красок, что я бы в нем мог поместить все мое семейство.

Ротозеечка слушала, открыв ротик.

— Как мог мальчик меня срисовать? Ведь я била хвостиком под водой, и ему это не было видно.

— Этот мальчик оказался художником, — сказал аист с знанием дела, — а художники видят то, чего не видят другие, и даже то, чего совсем нет на свете. Один из приезжих гостей написал вместо меня какую-то грязную лиловую птицу и подписал: «Злая совесть». Каково? Это после того, как я выкормил лягушатами аистят, а для чистоты брал болотную ванну!..

Аист еще долго бранил художников и толковал об искусстве, но Ротозеечка его больше не слушала.

Она опустилась на мягкий ил, сложила крест-накрест ручки и стала ждать мальчика. Теперь она знала наверное: если он сумел увидать ее на дне озера, он узнает и то, как она его ждет и как любит.

— Эй вы, — закричал Ротозеечке аист, — ведь поплескали хвостиком сколько надо, возвращайтесь в соленую воду!

Ротозеечка ничего не ответила, аист обиделся и улетел.

Отошла осень, прикатила на санках зима, соскочил у нее с запяток мороз да как дунет на озеро!

Льдом схватило воду, а вместе с водой и опавшие осенью листья; и стало озеро зеркалом в оправе из желтых и красных каменьев.

Ротозеечка слабела с каждым часом, все глубже и глубже уходила в мягкое дно и наконец скрылась в нем с головой. Зато весной, когда берега озера оделись новой мать-мачехой и ползучими травами, из глазок русалочки Ротозеечки появились чудесные незабудки, из зеленых волос вырос аир — душистая трава, а к середине лета из самого сердца протянулся вверх белоснежный цветок водяной лилии.

Случилось так, что как раз в это время бывший мальчик-пастушок, теперь любимый ученик известного художника, проезжал с учителем мимо родной деревни.

Мальчик сейчас же побежал к озеру и, махая шапкой, сказал:

— Здравствуй, мой милый первый учитель, здравствуй, дорогая русалочка! Ты мне часто снилась, когда я пастушком спал у белого камня, и, поверь, я тебя никогда не забуду!

В ответ на его слова цветок водяной лилии, выросший прямо из сердца доброй Ротозеечки, дрогнул белыми лепестками и раскрыл, как огонек в белой лампаде, свою яркую сердцевину.

Мальчик прыгнул в воду, подплыл к лилии и сорвал насколько мог длиннее, ее коричневый гибкий стебель.

НА ЧЕРНОМ ДВОРЕ

В чистый двор, с воротами на улицу, выходили квартиры богатых жильцов: чиновника, дьякона и подполковницы. У них посредине был общий палисадник, с сиренью, жасмином и тремя шарами на желтых столбах.

Детям черного двора в этот садик не было ходу; богатые жильцы опасались их: кто за то, что выдернут с корнем махровые маргаритки, кто за то, что вспашут тяжелыми сапожищами золотой песок ровных дорожек, а самое главное, каждый опасался, что разобьют его шар.

Дьяконов был темно-синий, подполковницы — желтый, а у чиновника как будто из чистого серебра.

Вот почему, когда однажды утром Сима, конюхова племянница, и неразлучный с ней мальчик Туфтя стали наклеивать на стену, против дьякона, белый лист бумаги, подполковница открыла окно и крикнула:

— Чего вы тут топчетесь, марш на свой двор!

Сима не испугалась и, таща за собой Туфтю за руку, прошепелявила:

— Шпиктакель клеим!

Подполковница, не выпуская из одной руки чашку чая, а из другой книжку — она любила делать два дела зараз, — вышла в лиловом капоте посмотреть, что случилось. От Симы и Туфти уже след простыл, а на стенке была приклеена слюнями афиша следующего содержания:

1) Путешествие на три полюса: холодный, умеренный и южный.

(Сильно комическая, или Море смеха.)

2) Чудеса китайского колдуна Фу-ты-Ну-ты.

(Захватывающий интерес.)

3) Похищение индейским племенем «Черный зуб» малых детей.

(Нельзя не плакать.)

— Драть их некому, — покачала головой подполковница, — без штанишек бегают, а туда же: «сильно комическая!» Для кинематографа небось находится гривенник...

Но, прочтя самые нижние строчки, подполковница смягчилась. Там стояло в скобках: «Милосердные господа, придите на представление, потому что Петруше нужны два учебника — по русскому и по арифметике, часть 2-я».

Петруша был старший племянник конюха и, в сущности, главная опора всей семьи. Игнат, второй конюх при генеральских лошадях, женат не был и все заработанные деньги пропивал в кабаке.

Когда померла его единственная сестра, оставив сирот: Петрушу, Симу и Туфтю, он взял их к себе частью от доброго сердца, частью в надежде, что заботы о детях отвлекут его от водки: уже давно самому надоело, что люди срамят, да и в голове чад стоит.

Только не вышло оно вполне по-Игнатову. Сироток он пожалел, а от водки совсем оторваться уже не было силы, и скоро повернулось дело так, что заправилой в доме оказался двенадцатилетний Петруша.

Мальчик навострился так ловко подстерегать, когда дядя свое жалованье получает, что в доме теперь не переводились мука, крупа и все самое необходимое.

Сам себя Петруша и в городское училище определил. Выждал, когда дядя был в самом своем трезвом виде, упросил его надеть новый пиджак, волоса смочить квасом и повел за собой, как говорил всем на черном дворе, единственно для «точки опоры».

Дядя упорно молчал и топтался на месте, Петруша объяснялся с начальником сам и после экзамена принят был в школу бесплатным.

А грамоте Петруша научился, как говорил дядя Игнат, «побирушкою». У знакомого гимназиста буквы повыспросил, у другого букварь выменял за обрезки вожжей, а там и пошел себе упражняться по вывескам да по газетам, и глядишь — вечером в подвале лампа горит, Игнат сапоги себе чинит, а Петруша, ровно шмель, гудит да гудит себе по складам. Так вот к школе и подготовился.

Одна теперь у Петруши забота: от платы освободили, а учебники знай покупай. То-то он и надумал спектакль поставить.

На черном дворе актерами хоть пруд пруди. Палашута, косоглазая нянька у главного кучера, девчонка такая шустрая и отлично поет. Она со своей мелюзгой, кучеровой тройкой: Гришкой, Мишкой да Сашкой, изображать будет умеренный полюс. Толстый Туфтя с кривыми ногами и курчавою головой — Южный полюс.

Петруша географии еще не проходил, а слыхал от своего гимназиста, что есть на земле разные пояса и разные полюсы, чего-то из них три и чего-то два; спросить сейчас некого весной, в свободное время знакомого гимназиста с собаками не сыскать. Как вспомнилось, так на афишу и поставил — сойдет. Одно известно наверное: на Южном полюсе жарко оттого, что он на юге. А там, где очень жарко, тоже наверное известно, живут татары. У татар от верховой езды ноги кривые, у Туфти — от английской болезни, — значит, ему и быть татарином. И весь спектакль Петруша в таком роде придумал: сразу будто и странно, а как подумать, так даже очень разумно выходит.

А все-таки страшно волновался Петруша, места себе не находил до самого вечера, а когда сквозь дырку занавеса вдруг увидал на садовых скамьях и на ящиках всех соседних кухарок и дворников, так и захотел совсем провалиться сквозь землю.

Кроме того, у дверей стояла подполковница с вязаньем в руках и мопсом под мышкой.

Но отступать было уж поздно.

— Занавес! — крикнул дрожащим голосом Петруша, и две старых лошадиных попоны разъехались пополам...

Первая декорация изображала Южный полюс.

На заднем плане стояли четыре искусственных пальмы в рыжих горшках. Эти пальмы дяде Игнату давно подарил знакомый буфетчик, и теперь, к спектаклю, старик их собственноручно подновил зеленой краской, оставшейся от крыши, и привесил к ним на нитках пустые апельсины. У подполковницы делали по воскресеньям апельсинное желе, и Петруша убедил кухарку, чтобы она вычистила половинки, не портя кожи, и подарила их ему для пейзажа, за что он ей тут же вымыл посуду.

Дядя Игнат все свободное время провозился, мастеря из пустых половинок снова целые апельсины, не успел поэтому ни капельки выпить и сидел теперь совсем трезвый, страшно гордый собой и своими апельсинными пальмами.

Перед самой публикой на столе, покрытом зеленой тряпкой, изображавшем высокую гору, стоял раскорячившись крохотный кривоногий Туфтя с огромными наведенными углем усами.

Туфтя держал себя двумя руками за широченные чужие шаровары и выкрикивал по складам пронзительным голосом, будто его давили за горло:

— В Кры-му живут та-та-ры
И но-сят ша-ро-ва-ры.

Публика хохотала:

— Ловко, малый! Ишь ты, сам, а с усам! Где апельсинов-то стибрили?

— Не зевай, Туфтя, дальше!.. — крикнул из-за пальмы Петруша.

Туфтя полез в необъятный карман, вытащил из него какое-то чучело с петушьими перьями и, важничая и надуваясь, сказал:

— На Южном полюсе так жарко,
Что от жары там дохнут галки.

Потом Туфтя сел на высокую гору и, свесив с нее ноги, выговорил, не переводя духа:

— Сии оба стихотворения сочинены учеником старшего приготовительного класса городского училища Петром Евстигнеевым.

Петруша вышел из-за апельсинных деревьев и раскланялся под аплодисменты публики.

— Господи, вот привелось-таки дожить, — шептал растроганный дядя Игнат.

Черная попона сомкнулась, и через минуту, в ответ на крик, занавес вновь разъехался, трепыхая нашитою внизу бахромой.

Теперь в щели пола были вставлены совсем еще голые прутья с набухшими почками, и над ними билетик с надписью: «Это лес». Направо и налево перед лесом на четвереньках стояли все дворовые дети.

— Рекомендую почтеннейшей публике, — сказал из-за кулис голос Петруши, — под нераспустившимися еще деревьями умеренного полюса сидят направо животные, прирученные человеком, так называемые домашние, а налево — главные хищники, бичи умеренных стран — волки и медведи. Эй, звери, крутите хвостами в знак приветствия почтеннейшей публике.

Звери подняли вверх одну ногу и подрыгали ею в воздухе.

Косоглазая Пашута вышла из скрывавших ее прутьев, поклонилась публике и запела тоненьким голоском, обращаясь к домашним животным:

— Где же ты был, мой че-е-ерный баран?
«Муку молол, муку молол...» — сказали домашние,
опустив хвосты.
Как же тебя били, мой че-ер-ный баран?
«И метлами и швабрами. Ме-ме... ме-ме...»

При этих словах хищные звери кинулись на домашних, вооруженные кто чем попало, и все сбились в кучу. На этой борьбе за существование в умеренном полюсе падал занавес.

Дальше представителем холодных стран уже явился один Петруша в вывороченном полушубке. Он благополучно выехал на собаках Мухтаре и Бобике, посреди сцены сказал им «тпру...» и вылез.

Но едва поспел он раскланяться с публикой и начать им свою остроумную речь:

— Милостивые государыни и государи, я самоед, но, как видите, сам себя я не съел...

Вдруг Мухтар злобно зарычал на мопса подполковницы, а тот спрыгнул с рук своей госпожи и, с пронзительным визгом устремившись на сцену, впился в Мухтара. Подполковница, бросившись вслед за собакой, потеряла в публике свое вязанье и, боясь быть покусанной, кричала на Петрушу:

— Ах ты, шалопай, шалопай!

Собак растащили, рассерженная подполковница ухватила под мышку мопса и унесла его домой, однако же выслала с горничной Петруше полтинник. Представление продолжалось, перейдя сразу к следующему номеру, чему Петруша был, в сущности, очень рад, так

как не знал, что ему дальше сказать про холодный полюс. От гимназиста, кроме самоедов, он про север больше ничего не слыхал. А китайских фокусов знал зато целых два: «Чудесное исчезновение» и «Платок изрезан, но цел».

— Почтеннейшая публика, — сказал Петруша, одетый китайцем, в синем кучерском армяке и с привязанной сзади мочальной косой, — не может ли кто одолжить для опыта свой несморканный носовой платок?

Носового платка у хороших знакомых Петруши не оказалось вовсе, а приказчик из мучного лабаза сказал:

— У меня хошь такой есть, да не про твою, китаец, честь, издырявишь — нос в дырку пролезет!

Рассердился Петруша и вместо двух показал всего один фокус — «Чудесное исчезновение».

Петруша-китаец широко раздвинул руки с белой простыней, перед которой стоял маленький Туфтя, так и оставшийся в своих широченных шароварах.

— Почтенная публика, перед вами общеизвестный ребенок Туфтя, вот он всем виден с головы и до ног! — кричал Петруша страшным, не своим голосом. — А сейчас:

Колдун Фу-ты-Ну-ты пройдет перед ним,
И Туфтя исчезнет как дым!

Петруша, не опуская простыни, прошел перед Туфтей, тот ловко вскочил ему на плечи, и, пятясь спиной к выходу, не опуская простыни, Петруша ушел с малышом за кулисы.

— Обошел публику, ай, ловкач! — смеялись на скамейках.

Настала чувствительная сцена похищения детей.

Те самые четвероногие, которые изображали домашних животных, сидели теперь вокруг своей матери Пашуты в шалаше, покрытом разными тряпками. Едва раздвинули занавес, дети принялись изо всех сил дрожать, указывая пальцами на индейцев.

Петруша, Гришка, Мишка и Сашка, скрипя черными зубами, натертыми для этой цели углем, выставили утыканные перьями татуированные головы из-за дверей и показали детям по апельсину, связанному нитками.

Петруша, делая ужасные рожи, запел:

—Кто хочет быть мне добрый сын,
Тот скушай вкусный апельсин!

А свита Петруши, ударяя о пол деревянными копьями, воскликнула:

— Тот будет носиться на борзых конях
И драться с врагами в веселых боях!

Дети один по одному протягивали руки за апельсинами, воины их хватали и, завязав тряпками рты, налагали на руки и на ноги бумажные цепи, которые дядя Игнат склеил еще зимой на елку.

Когда все плененные дети выстроились в ряд перед публикой, с заткнутыми ртами и в разноцветных цепях, их мать, косоглазая Пашута, которая до этого времени благополучно спала, чтобы ничего не увидать раньше, чем нужно, хватилась детей, стала плакать и по-бабьи причитать.

— Ишь, бедная, убивается, — жалели кухарки.

Но вот Пашута оправилась, очень хорошо спела старинную песню: «Уж я золото хороню, хороню»... и

тогда только выглянула из шалаша и, всплеснув руками, повалилась в ноги вождю «Черного зуба».

— Без выкупа пленных не отпускает вождь «Черного зуба», о женщина! — сказал ей гордо Петруша.

Дети стали потрясать цепями и оглушительно визжать, а Пашута, взяв двумя пальцами кончики фартука, вышла к публике и пропела:

— Почтеннейшие, выручайте...
На выкуп сироток давайте!

Все засмеялись и пошли бросать медяки — кто копейку, кто две, кто пятак, а приказчик и дворник по целому гривеннику.

Все дивились затейнику Петруше, поздравляли дядю Игната с смышленым племянником и, щелкая подсолнушками, разошлись по домам.

А Петруша с актерами подсчитал выручку: оказалось без малого два с четвертью. Он высчитал то, что следовало на учебники, а на остальные деньги купил в лавочке всех гостинцев, которых дают побольше: стручков сладких, карамель «Шура», пастилы, мармеладу, и поделил поровну всем актерам. А Мухтару и Бобику купил в мясной лавке на пятак легкого. Вся труппа ела и хвалила Петрушу.

Наде-Пумпе

ПУМПИН САД

Пумпа! Так звали эту девочку папа, мама и все знакомые. Девочка была толстая, белая, игрушками не очень любила играть, зато как встретит больного жука или улитку с раздавленным домом, сейчас отдаст им свою котлетку, манной кашей перед носом покапает и конфетку откусит в прибавку.

Добрая была девочка!

У Пумпы в саду лежал серый камень, обвитый плющом. Под ним жила многоножка-сколопендра, а к ней в гости прилетал жук-носорог.

Сам будто сделан из лучшего шоколада, на носу рог, назад загнут и крепкий-прекрепкий.

Этого жука Пумпа спасла от смерти. Соседний мальчик накрыл его стаканом, а сам убежал за эфиром. Пумпа стакан отвернула, а жука подержала на ладошке, пока он, сделав зум-зум, не улетел.

Под вечер жук-носорог вызвал на совет сколопендру и лягушку-тетеньку из бассейна.

Лягушка-тетенька, чувствуя ночью себя в безопасности от мальчишек, хлопала лапой озорных головастиков, убеждая их, чтобы ложились спать в тину.

— Тетенька! — позвал ее жук-носорог.

Тетенька отпустила лапку, и головастики немедленно заегозили в воде.

— Сегодня девочка Пумпа спасла меня от эфировой смерти, и за это я ей хочу показать, как мы веселимся в бассейне. Я скажу над девочкой заговор, она станет крошкой и обтанцует себе все ножки на нашем балу. Но вот беда: девочка родилась бескрылой, и ей надо два крылышка, чтобы она не была между нас неприличной.

— Перепонки на лапках, я полагаю, красивей...

— Я не спорю, — шаркнул вежливо жук-носорог, — но для Пумпы годятся и крылья. А вот не знаете ль, где их достать? Вы давно тут живете, а я ведь залетный.

— Ка-ак вырастет, та-ак и растопчет и вас и нас! — сердито квакнула зеленая тетенька.

Зато божья коровка, которую никто не спрашивал, пропищала:

— Ах, крылья, непременно крылья!

— Помогать надо делом, с пустяками не лезьте, — оборвал сухо жук-носорог.

Божья коровка хотела обидеться, но вспомнила, что она считается кроткой, и сдержалась.

— Однако смеркается... — забеспокоился жук, — скоро девочка ляжет спать, помогите нам, милая тетенька!

— Пару крыльев ты можешь достать тут поблизости из пчелиного склада.

И тетенька, указав лапкой, повернулась с вопросом к сколопендре:

— Какая это девочка? Правда, добрая?

— Я так устала кусаться и ползать, — сказала грустная сколопендра, — что мне трудно судить о чьей бы то ни было доброте, но когда Пумпа меня встречает, она не берет в руки камня и не орет во все горло: «Фу, гадость!»

— Значит, я покажусь ей совершенной красавицей, ведь я же куда лучше вас! — И зеленая тетенька, расправив свои перепонки на лапках, затрещала божьей коровке: — П-р-р-ри-води ее... п-р-р-ри-води ее...

— Божья коровка, — скомандовал жук-носорог, — извольте немедленно вызвать Пумпу к окну. Я скажу над ней заговор, смеряю плечи и полечу в склад за крыльями.

Пумпа сладко спала, притиснув к себе суконную уточку.

Сразу поняв, что уточка не живая, божья коровка проползла смело к самому ушку Пумпы:

— Беги поскорее к окну, тебе будет весело...

Пумпа сейчас схватилась с постельки, босыми ногами шлеп-шлеп к окошку.

А там уже ждет ее жук-носорог. Боднул чуточку рогом и гуднул свой заговор:

— Пум-па, зум-зу!
Пум-па, бум-бу!

Пумпа вздрогнула и сделалась крошкой, ну просто с маленький нянин наперсток. Захотела она испугаться, да не успела, все вдруг ей сделалось такое новое да интересное: божья коровка ни дать ни взять та монашка, что по домам ходит с черной книгой, только красный плащ привесила за плечами. А коричневый живот

жука-носорога будто ореховый мамин комод с выдвижными ящиками, мохнатая мордочка наверху.

— Извольте садиться мне на спину и держитесь за рог! — подставил жук вежливо шоколадные крепкие крылья.

Пумпа со смехом вскарабкалась на жука и, словно шею лошадки, охватила двумя руками его гладкий отполированный рог. Загудел жук и тяжело двинулся над кустами и травами прямо к большим листьям старого лопуха.

Один из мягких листьев скреплен был какою-то клейкою гусеницей так, что получилась глубокая изумрудная пещерка. В пещерке этой лежала черная куколка улетевшей бабочки, а в ней мягкий пух одуванчика.

Вот в эту постельку жук положил Пумпу и сказал:

— Досыпайте ваш сон, пока я вам не устрою нарядного платья.

Жук осыпал девочку маком, девочка заснула, а он направился к старенькой казначее, начальнице пчелиного склада, где хранились мед, воск и прозрачные крылышки умерших пчелок.

Жук шаркнул ногой казначее-начальнице и склонил вежливо рог:

— Будьте добры, не откажите мне парочку крыльев, нештопаных и нелатаных!

Пчелка знала, что попусту такой важный жук и слова не скажет, любопытство свое затаила, распечатала непочатую дюжину и подала жуку-носорогу два самых лучших крыла.

— Зум, зум... — от души сказал жук и отнес осторожно крылышки к Пумпе.

— Теперь дело в шляпе, вот только бы крепких ниток достать! — И, не отдохнув, жук-носорог опять полетел.

Между ветками пестролистного клена расселся огромный паук-крестовик в своей паутинной квартире. Он сожрал только что десять мух, и ему сейчас казалось, что он стал очень добрым и больше никого никогда не съест.

Сытый паук смотрел на круглую серебряную луну, считал ее пятна и думал, что, быть может, это не что иное, как тоже большущие пауки, конечно все же поменьше его самого, которые, вот также наевшись, отдыхают в своей паутине и, в свою очередь, принимают его паутину за простую луну, а его самого за пятно на луне.

Жук-носорог, как только заметил, что сытый паук размечтался и уже безо всякого толку пустил свою нитку, тихонько подкрался к нему, намотал себе полные лапки и дралым-драла!

Девочку в отсутствие жука стерегла многоножка-сколопендра; она сейчас же ухватила паутину за кончик и размотала ее на желудь.

— Девочке, кроме крыльев, нужны башмаки, — напомнила жуку сколопендра, — в свои прежние она теперь спрячется с головой, а ходить босиком для людей неприятно.

— Здесь готовые башмачки есть, да мне не под силу их снесть, — вдруг сказал кто-то сверху.

Жук-носорог поднял рог и увидел на спелом подсолнухе старую пчелу-казначею: не утерпела она, полетела-таки поглядеть, для кого нужны жуку крылышки.

Жук-носорог поднялся на подсолнечник к казначее, и старушка ему указала двух маленьких червяков, живших в семечках. Червяки давно съели вкусные зерна и лежали в совершенно пустой скорлупе.

— Червяки, не угодно ли вам на другую квартиру? — предложил носорог. — Все равно вам в пустой делать нечего.

— А ведь в самом деле, — сказали червяки, — чего здесь сидим, сами не знаем, давно кушать хочется!

Червяки вылезли, носорог боднул пустые семечки, они вывернулись из своих чашечек. Одно из семечек жук насадил на свой рог, другое обнял передними лапками и снес к девочке. Туда же, в изумрудную пещеру, положил он Пумпе лиловую юбочку — цветок колокольчика.

— Ну, теперь у вас все готово для выезда, будите-ка девочку, — сказала многоножка-сколопендра, — а я уползу под камень, сколопендрята скучают...

— Бум-бум, зум-зум! — гуднул весело жук.

Пумпа проснулась и кинулась одеваться.

Как влезла в туфельки, так и заплясала: уж очень понравилось ей, что они в атласных полосках: одна черная, другая белая. Лиловая юбочка колокольчика как раз была впору, носорог обкрутил паутинкою вокруг пояса, чтобы не свалилась, а к зеленой кофточке пришил за каждым плечом по крылу.

Девочка стала такая красивая, что носорог не выдержал, забыл свою важность и стал приплясывать, подпевая неизменную свою песенку: «Бум да бум, зум да зум...»

— Вот теперь, когда вы крылатая, вас с радостью заберут с собой наши пчелы, — сказала старая казначея, — они сейчас понесут к бассейну царицу.

— Прекрасно! — обрадовался жук-носорог. — Вот вы и им представьте мою девочку, а я должен слетать к речке, вычистить рог свой песком.

Только жук улетел, как появились пчелы в зеленой упряжке с Гуделой-кучером, толстым шмелем. На липовом листе стоял трон из желтого воска, на троне сидела царица с длинным бархатным туловищем и узкими крыльями. Царица держала вверх голову, так как она очень гордилась тем, что не умеет работать, как рабочие пчелы, а всю жизнь кладет яйца. Увидав крылатую Пумпу, царица приняла ее за чужую пчелиную матку и наготовила было жало, но старая казначея с низким поклоном пошептала ей на ухо, что это всего-навсего девочка с пришитыми крыльями, и царица, посторонившись на троне, пригласила Пумпу сесть с собой рядом.

Навстречу дул ветер, и пчелки тихонько летели к бассейну по аллее ровных, будто остриженных тополей. Пумпе почудилось, что в каждом тополе сидит по тонкой зелененькой девочке, и это вовсе не ветер, а они, взявшись за руки, пригибают верхушки деревьев к земле, чтобы поздороваться с расцветшими за день цветами.

Но вот прилетели к бассейну: кругом белые камни, оплетенные темным плющом, а посредине скала, из которой по праздникам бьет фонтан.

Навстречу Пумпе вылетел жук-носорог. Он уже сделался распорядителем вечера, и поэтому на его отчищенном роге насажена была красная бузина, а за плечами болтался белый маковый плащ.

Поблагодарив за любезность царицу, носорог взял девочку на спину и взлетел с нею к верхнему камню, откуда все было видно очень хорошо.

Только одно место было еще выше этого камня, но ведь оно принадлежало царю этого сада — оленю-жуку. В ожидании его прилета четыре стрекозки, трепеща крыльями, держали в воздухе узорный балдахин — настурцию.

— Разве будет дождь? — испугалась Пумпа за свое новое платье.

— Балдахин делают не ради дождя, а ради почета, — сказал носорог.

— Жж-гу... Жж-гу... — словно птица пронесся на свое место олень-жук и, обняв лапками ветку, встал во весь рост под узорный цветок балдахина.

Непослушные головастики, завидя начальство, вмиг нырнули на дно, показав хвосты тетеньке, а на белых камнях вокруг бассейна расселась публика, вся под рост, вся по чину, по важности. Крупные повыше, мелюзга на песочке.

Первыми — черные блошки, комарики и козявки; потом мухи всех возможных сортов: и цветочные, и салатные, и свекольные, и злые мухи жигалки-кусалки. Эти большие серые мухи особенно драли голову кверху и не втягивали колючего хоботка; они лезли на лучшие места на камнях и, толкая всех встречных, кричали о родстве своем с знаменитой мухой-цеце, которая живет в жарких странах и жалит насмерть скотину.

Муравьи так привыкли трудиться, что даже на вечер притащились кто с яйцом, кто с листком, расселись на лучшее место, а огромные богомолы в нарядных

зеленых фраках принуждены были из-за этого встать где попало.

Богомолы промолчали, но зато, отвернувшись в кусты, живо захлопнули передними лапами опоздавшего муравья, стерли его в порошок и отправили в рот; впрочем, они не забыли, что называются богомолами, и, вытерев рот, сложили на молитву свои хищные лапы.

Жук-олень раздвинул рога и, сведя их обратно, простукал открытие вечера. Четыре жука-щелкунчика вышли на главную щепку, поклонились направо и налево низким поклоном и под звон комариков начали свое представление.

Сперва жучки опрокинулись на спину и притворились мертвыми, потом уперлись шеей и крыльями о твердую щепку, сделали громко: «крик-крак!» — и взлетели на воздух. В воздухе щелкуны перевернулись и стали как раз на место друг дружки; один только из всех не рассчитал прыжка и, перемахнув через щепку, бухнулся в воду. Хорошо, старая тетенька подхватила его своей перепончатой лапой и выудила из воды. Хотел покраснеть бедный щелкун и не смог: сквозь его черноту даже сильный конфуз не пробрался.

После щелкунчиков вышел на щепку усач-дровосек: свои большие усы он откинул назад, а в рот взял бальзаминовый лист с каплей меда — наградой для победителя. На эти усы выползли состязаться две мухи: огромная, важная, родня мухи-цеце, а вторая — просто мушонка из кухни. Обе стали на самый край жукова уса, одна правого, другая левого. А лететь мухам не позволено: одними лапками, пехтурой, доберись-ка до бальзаминовой чашечки! Которая первая доберется, той и капля меду.

Важную муху, родню мухи-цеце, даже бросило в жар при виде ничтожной соперницы, мушонки из кухни; она выпятила свой хоботок и, глазея на публику, побежала что было духу по гладкому усу и бух... прямо в черную воду.

Подхватила сама себя крыльями важная муха и улетела с злобным гуденьем под хохот всей публики, а мушонка из кухни дотащилась благополучно до меда и выела его весь. Мушонке все хлопали крыльями, а олень-жук сделал ее фрейлиной и велел сесть себе между рогами.

Пумпа так хохотала и била в ладоши, что у нее сделалась икота; ей пришлось выпить воды и, глядя на звезды, считать до ста; считала она не очень-то бойко, пока справилась, блошиные скачки пропустила.

Еще был бег зеленых червей-землемеров, состязание на скорость улиток с домами с улитками голыми и в заключение — прыжки кузнечиков.

Тот самый паук-крестовик, которого перехитрил носорог-жук, протянул по всей щепке нитку, для того чтобы у кузнечиков был одинаковый разбег. Едва паук рванул к себе нитку, кузнечики, вытянув ноги, как английские скакуны, лягнули воздух и полетели на берег.

В честь победителей грянула музыка: тарарум-бум!

Одни козявки ударили по цветочным разрывным семенам, другие же просто-напросто по своему толстому брюшку.

И это толстое брюшко жуков-барабанщиков, дубильщиков, пильщиков и просто навозных жуков гудело так славно, как у людей загудит медный таз, если его хватить палкой.

Но вот олень-жук опять широко развел рога и, сведя вместе, громко стукнул три раза, дал приказ начать танцы. Заплясали козявки попарно и кучами, а муравьи, потеряв своих дам-поденок, топтались глупо на месте, обняв свои муравьиные яйца.

Главная тетенька лягушат занозила о щепку свое белое брюшко и опрокинулась навзничь, — хорошо головастики тут как тут, сволокли ее в тину и приставили к брюшку пиявок: пусть сосут, пока занозу не вытянут!

Пчелкам-медоноскам тоже до смерти хотелось плясать, но они держали каждая по цветку львиной пасти, наполненному медом. По распоряжению оленя-жука мед полагалось пить только под утро, чтобы все обошлось тихо, смирно; но не угодно ль, под общий-то пляс, стоять пчелкам недвижно с своей сладкой ношей?

Шушукались пчелки, шушукались, — и, была не была, сорвались разом с мест — шасть к оленю-жуку с угощением. Ничего усиками не сказали, молча львиный зев ему подали.

Ничего пчелкам и олень-жук не сказал, в мед впился и рогами не двинул.

И пошло угощенье...

За оленем-жуком напились богомолы, напилась и большая медведка, стрекозки, и жук-барабанщик, и пильщик с дубильщиком, и вся мушиная мелюзга. Пила мед и девочка Пумпа, да еще самый липовый-разлиповый. Выпила, в пляс пустилась: прежде всего с носорогом-жуком, потом со стрекозами и даже с мушонкой из кухни, которая взяла первый приз. Только от нарядного зеленого богомола отвернулась Пумпа, сколько ни качался он перед нею на длинных ногах, сложив лице-

мерно хитрые щупальца, те самые, которыми он стер недавно в муку муравья.

Но вот комары хватили камаринскую, богомолам хмель в голову кинулся, забыли они про то, что святоши, да как на задние лапки вскинутся, а передними — дрыг-подрыг! Все чины свои, все заслуги отбросили — и ну плясать танец негров — удалой кэк-уок.

Хохотала девочка Пумпа, хохотала, да и спать захотела: один глазок у ней сразу закрылся, а другой успел подсмотреть, как олень-жук развел вдруг рога и зажал богомолов. Сколько ни ерзали богомолы, сколько ни крутили зелеными лапками — не вырваться им, клещами затиснуты.

Хорошо, медоноски догадливы: поднесли оленю-жуку нового меду, такого крепкого, что он, как выпил, сейчас рога распустил, сам на спину — хлоп, и почетный балдахин продырявил.

Освобожденные стрекозки порхнули встречать восход солнца, богомолы, крадучись, выбрались из кустов, мушки, мошки, комарики — кому куда надо.

Кузнечики затрещали в кустах — ночь кончилась, началось утро.

Добрый жук-носорог расправил шоколадные крылья и снес спящую Пумпу в кроватку.

Там он сказал над ней заговор, снял с рога красную бузину и, положив ее девочке в правую ручку, улетел восвояси.

Когда наутро Пумпа разжала свою ручку, увидела красную бузину, она так ей обрадовалась, что сейчас же спрятала в золотую коробочку и надписала чернилами: «Носорогов подарок».

ФАРАОНОВЫ ЗМЕИ

Девочки по утрам убегали в гимназию, к Мишеньке приходил репетитор, который, наверное, был сродни людоеду, потому что за завтраком, не подымая глаз от тарелки, он мог съесть одну за одной очень много котлет. Молча прокалывал вилкой, клал к себе на тарелку, делил надвое и глотал.

Степе очень обидно, что в гимназию он не ходит, а репетитор к себе в комнату даже тогда не пускает, когда делает с Мишенькой фонтан. Репетитор говорит с большой важностью, будто этот фонтан — какой-то там «физический опыт», а Степа в щелку подсмотрел и знает, что ровно ничего ученого нет, одни глупости!

Поставили обыкновенный кувшин с водой на шкап, а из него рыжую кишку спустили в таз на пол. Репетитор снял палец с дырки, держит кишку кверху, а из кишки вода бьет... Да за такие дела маленьких наказали бы!

«Вот и я что-нибудь сделаю, — думает Степа, — уж такое... а скажу: «Физический опыт». Уж я сделаю...»

И Степа ищет.

Няня Лукинична завозилась на кухне; варит себе постный борщ. Степа один в детской, он это любит. Можно перетрогать все вещи у девочек, никто не взвизгнет, не щипнет больно за ухо.

На полке у девочек всегда то же самое: на столике пред диваном куклы, Нелличка и Аглая, а пред ними пустые тарелки и блюда с сделанной ветчиной и пирожным. Куклы смотрят на них, выпучив круглые глаза, а съесть не могут.

Степа отколупал ножницами ветчину и пирожные, поделил куклам поровну на тарелки, а раз уж ножницы под руку попались, отстриг заодно Аглае и Нелличке косы.

«Если б девочки были умные, — подумал он, — они бы должны теперь обрадоваться, потому что куклы у них стали новые».

Но, вспомнив, как больно девочки щиплются, с смущеньем отвернулся от остриженных кукол и стал смотреть в окно.

Уж вставлены были двойные рамы, и между стеклами положена разноцветная вата, с зеленым мохом, с цветами-бессмертниками; глядя на них, вспомнился лес со своими лужайками, с земляникой, с грибами, и сделалось грустно, что еще не скоро в него попадешь.

— Чувик-вик, — сказал щегол над головою у Степы.

Когда девочки дома, к этому щеглу Степе совсем нету хода: только палец просунет в клетку, сейчас кричат девочки: «Пошел, пошел, ты задавишь!»

А Степе давно надо узнать, сколько раз в минуту у щегла сердце бьется. Вмиг забыл о грибах и лужайках, открыл дверцу клетки, растопырил руку, а щегол

не дурак — смазал его крылом по носу и порх! Сидит на печке, клюв чистит; лови его, кому охота.

— Я тебе покажу! — погрозил щеглу Степа, однако ловить не полез; вдруг заметил — около клетки лежит в серебряной бумажке кусок шоколада. Развернул его, понюхал, лизнул раз-два и стал думать:

«Спрятали девочки шоколад нарочно или просто бросили, оттого что наелись? Если нарочно бросили, съесть не стыдно; ну, а если спрятали...»

Помучился Степа чуть-чуть и вдруг просиял:

«От сладкого может сделаться золотуха, пусть лучше делается не у девочек, а у меня...»

И он, не теряя уважения к себе, проглотил с удовольствием шоколад. Но едва слюни из коричневых стали белыми, Степе сделалось скучно-прескучно, и для того чтобы не заплакать, он опять начал думать о физическом опыте.

Вытащил из няниного тайника за зеркалом припрятанную коробку спичек, обрезал спичкам головки, уложил их на пустое фарфоровое блюдце из щегловой клетки и зажег. Фук! — вспыхнул длинный огненный язык, и опять ничего. Опять скучно.

— Эге, мы запалим хороший костерчик, — топыря губы, сказал басом Степа, точь-в-точь как летом говорил кучер Петр на рыбной ловле: «Эге, мы устроим знатный маяк...»

Степа выгреб из печки горячей золы, умял ее в блюдце так, что вышла порядочная гора, вставил в середину карандаш, и, чтобы он стоял крепче и больше походил на маяк, который Степа видел в Крыму на скале, он обложил карандаш внизу твердыми белыми

лепешками «эмс», которые лежали тут же на комоде, так как мама дала их няне от кашля.

Когда все было готово, Степа взял у девочек одеколону и, облив им всю историю, чиркнул спичкой.

Отличным голубым пламенем вспыхнул маяк и стал похож на тот огненный столб, который вел в Ветхом завете евреев.

Но что это! Какой ужас!

Из пепла выползают вдруг черные толстые змеи, вздуваются кверху, свиваются кольцами, ползут вон из таза... Да они живые, они ужалят!

Степа заорал благим матом и кинулся в дверь к репетитору.

— Змеи! — мог только выкрикнуть он и шмыгнул Мишеньке под постель. Репетитор вытащил Степу, взял его на руки и, как тот ни отбивался, понес его в детскую. За ними следом Мишенька с циркулем, мама с вязаньем, испуганная няня прямо из кухни с засученными рукавами, девочки в ранцах и шубках...

Маяк догорал, а из блюдечка во все стороны болтались черные распухшие змеи, похожие на тех, что продаются в яичках на вербе.

— Ура, фараоновы змеи! — сказал репетитор. — Степа сделал открытие, да струсил, эх ты, горе Колумб! Признавайся, бросал в золу лепешки от кашля?

— Бросал... — прошептал сконфуженный Степа, глядя, как девочки, хохоча, захлопывают в ладоши черных змей и они легким пеплом разлетаются по комнате.

Репетитор подсыпал свежих лепешек, Мишенька зажег одеколон.

Змеи снова закорчились, девочки завизжали от радости, нянюшка охала, мама забыла побранить Степу за шалости со спичками, и всем было очень весело. А Степа весь вечер ходил, выпятя живот от важности, что сделал открытие. Даже не моргнул, когда девочки щипнули за выпущенного щегла и за остриженных кукол.

ЧТО КОМУ НРАВИТСЯ

Они встретились на игрушечной полке у мальчика.

Он был кусок виноградной лозы, узловатый, с наплывами, с родимыми пятнами, с серою чешуей — ни дать ни взять, черт со скрипкой, и звали его Алвей-Кочевряж.

Алвей было его настоящее имя, которое дал ему Главный дух запахов, трав и цветов, а Кочевряжем назвал его старый садовник, когда остриг в сердцах ножиком от лозы. Но об этом в свое время.

Она была уродец картошка Мафёла, с короткими бородавками-ножками, круглым брюшком и громадною головой. Когда Мафёлу выбрали вместе с другими картошками из земли, баба, работавшая в огороде, невзначай рассекла ей сапкой как раз под «глазком», и с той самой поры, была ль Мафёла в духе или сердилась, рот ее улыбался до самых ушей. Впрочем, ушей вовсе не было у Мафёлы, на все про все у ней рот да «глазок».

Алвей-Кочевряж приехал с дедушкой мальчика из далекого Крыма, а картошку Мафёлу привезла бабушка мальчика из своего имения.

— Забавная игра природы, — сказал дедушка, давая сучок внуку. — Смотри, черт играет на скрипке!

— Это вовсе не черт, а дух виноградной лозы, — отгадал внук, и он отгадал сущую правду.

В сучке, как в тюрьме, заключен был на время дух — охранитель горного виноградника — за то, что он не послушался Главного духа запахов, трав и цветов.

Весной, назначая всем на лето работу, Главный дух сказал: «Алвей, ты должен незримый жить под землей в отведенном тебе винограднике, охранять корни лоз, делать завязи, пригонять соки к ягодам; и до тех пор ты не можешь выходить из земли, пока ослы в длинных корзинах не увезут из виноградника последние грозди. Тогда возвращайся обратно в пещеру запахов, трав и цветов!»

Но Алвей был дух молодой и всего в первый раз охранял виноградник. Он не мог удержаться, чтобы не взглянуть на синее небо и на синие волны.

Алвей принял вид сучка с наплывами, с родимыми пятнами, с серою чешуей и так задумался, засмотревшись по сторонам, что не заметил, как старый садовник подкрался к нему в своих мягких туфлях-чувяках и чикнул кривым ножом.

— Как это я просмотрел его осенью, — проворчал он, бросая сучок, как негодный, на камни. — Этакий кочевряж!

Дух Алвей сразу понял, что он останется в заключении до тех пор, пока сучок не засохнет, огорчился, но взял свою скрипку и стал петь и играть.

— Вот дивлюсь я на вас, — сказала Алвею Мафёла. — Не пивши, не евши играете и поете! Неужто не

хочется вам черной земли, с червяками, с навозцем? Только б посыпали, я бы сейчас проросла!

— Ах, мне бы взглянуть еще раз на то, что я видел с горы! — вздохнул Алвей-Кочевряж.

— Ну, ну, — перешлепнулась грузно с ножки на ножку Мафёла, — послушаем, что вы видали!

— Были сумерки, — начал Алвей, — и солнце уже ослабело и собралось спать за морем, а поднявшийся с гор ветер торопился задуть красное зарево на небе.

Земля и небо меняются одеждами в этот вечерний час.

Деревья и горы вбирают в себя всю глубокую синеву и сгущают ее в фиолетовый мрак, а кусты розовых роз и оранжево-красные камни отдают свои пестрые краски небу.

Люди зовут это вечернее чудо коротеньким словом «закат», и только редкий из них в это время взглянет на небо.

— А дальше-то что?

— А дальше вот что: когда земля и небо укрылись наконец в одинаковый дымчатый сумрак, внизу, под горой, в черном городе вспыхнули светляки фонарей, и сейчас же в ответ им, будто аукаясь с ними, вышли такие же яркие светляки на небе — звезды.

А как превращаются горы, едва спрячется солнце! Даже самые простодушные, те, что днем торчат, будто горбушки черного хлеба, кажутся ночью слонами, подвернувшими хобот.

По склонам гор пышные сосны протягивают свои кривые черные ветви, как руки, в белый туман и при каждом порыве ветра стрясают в бездну свои шишки и иглы, а из пропасти...

— Но, любезный мой, в том, что вы поете, нет ни малейшего содержания, — осадила Алвея Мафёла.

— Что вы называете этим именем? — спросил грустный Алвей; ему было душно рядом с грузной картошкой, без воздуха и без света.

— Вот вопрос! — рассердилась Мафёла. — Содержание — это когда что-нибудь случается. Неужто, пока вы разиня рот смотрели по сторонам, так-таки ничего кругом не случилось?

— Ах, Мафёла, я совсем позабыл, что картошки не знают солнца.

— И в добрый час! — сказала Мафёла. — Наше дело заботиться только о том, чтобы прорасти и размножиться!

— Ну хорошо, — улыбнулся Алвей, — я теперь расскажу вам кое-что с содержанием. — Над моим виноградником стояла пастушья сторожка, и туда в особый загон приходили доиться козы.

Загон — это дочерна вытоптанный кусок земли, охваченный поясом голых громадных камней.

Один татарин в бараньей шапке усаживается верхом на ушат, а другой открывает калитку загона и впускает коз. Врываются козы, белые, черные, серые, давят друг друга, трясут бородками и мемекают человечьими голосами — хотят скорее доиться.

Худой татарин сажает козу за козой на ушат. Звонко доится молоко, звонко шлепает татарин козу подоенную по остриженной жирной спине, приглашает садиться другую...

— А что дальше делают с молоком? — оживилась Мафёла. — То ли самое, что с коровьим: творог, простоквашу, сметану?

— Откуда мне знать? — удивился Алвей. — Оно белое и гладкое, как вода, но облака в нем не отражаются.

— Когда люди работают, — сказала важно Мафёла, — они всегда говорят, для чего их работа, и что она стоит, и где будут ее продавать. У нас в огороде люди всегда говорили о ценах...

— Должно быть, мне заглушал людской говор быстрый горный поток, — ответил задумчиво Алвей, — из лиловой расщелины несется он через пни, через камни, будто неистовый конь, закусив удила...

— Вы опять позабыли о содержании, — прервала резко Мафёла.

Алвей хотел рассердиться, но вовремя вспомнил, что Главный дух запахов, трав и цветов всегда говорил: «Надо давать каждому то, что ему по зубам!» — и собрался опять петь про коз и пастушью сторожку.

— Ай, ай! — закричала Мафёла. — Я вас заслушалась, не удержалась и пустила ростки. Что же будет со мной без земли?

Мафёла шлепнулась своей громадной головой на дно картонки и задрала вверх бородавки-ножки.

Мальчик услыхал шорох в картонке, открыл ее и сказал: «А картошка моя проросла!»

Мальчик зажал Мафёлу в кулак и пустился с ней в огород. Там он вырыл ей ямку, засыпал черной землей и полил из лейки. А вернувшись домой, Алвея-Кочевряжа выбросил в печку.

Сгорел Кочевряж, а освобожденный Алвей упорхнул на свою родину, в пещеру запахов, трав и цветов.

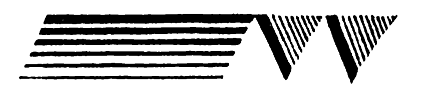
Там он запел что попало, не выбирая, с содержанием его песня или нет. И он был свободен и счастлив.

А Мафёла выбивалась все лето из сил, чтобы сделать к осени как можно больше новых картошек.

А она тоже была по-своему счастлива, а главное — очень довольна собой.

А в красоте она не нуждалась.

ОБЫВАТЕЛИ



ШЕЛУШЕЯ

Так жили они там на горе: отец и сын. Дом был не то чтобы очень стар, а расхлябанный. Осел до перекошенных окон в землю, весь в подтеках, с синяками. Крыша, как черный захватанный чепчик на очки старой барыне, сползла на оконные стекла. Комнат было шесть — восемь, но жилых всего три: старикова, сыно́вья и кроличья.

Пустил старик как-то парочку кроликов — черного с беленьким — посмотреть, как в приплоде краски смешаются, а они навели вдруг бог знает какой разноцветности: серо-желтые, бурые, а то просто-напросто зайцы — ни капли не кролики.

Приличного хода в дом не было, хотя и выдвигался навес, а под ним две колонны с широкою дверью, но крыльцо не достроено.

— Антресоль у нас без последствий, — говорил хриплым голосом Заведей-дворник. Говорил он вприкуску, будто слово слову костыль подавало, сам запухший, глаз не видать. Если не было дела, закрывал себе голову Заведей шубой и спал.

Вот он да глухая одноглазая Аннушка сторожили дом на горе. Аннушка — старуха, в молодости носила юбку зад наперед, полосатые чулки шерстяные наизнанку, а к старости все позабыла, только печку истопить да щи с кашей сготовить.

Старик, живший в доме, был почти знатного рода. Если б какой-нибудь любопытник хорошенько пошарил под толстой кроличихой Секлетеей, он воочию мог бы убедиться.

Родословная хоть куда: на гербе два забрала тевтонского рыцаря, девять графских шишечек и еще что-то. Понадобилось под заболевшую Секлетею дать помягче подстилку, старик заодно сгреб с ветошками родословную, от времени вся она стала мягкая, просырела.

Другие бумаги, где написано было на французском, немецком и английском языках, как с успехом старик обучался, сама Аннушка истребила на домашние нужды.

И так жил уже дальше старик на горе без бумаг, с одним своим человеческим видом. Хотя в полиции был он прописан с обозначением немалого чина, но когда случалось ему выставлять в форточку голову, круглый год выставлял ее просто-напросто так, без шапки. Город был в верстах трех, а старик и за дверь не выглядывал, так что когда одежа сносилась, одеваться придумал в самокрасные ткани. Собирал он мешки, окунал их в корыто с темно-синею крепкою краскою, Аннушка кое-как портачила.

Жили в доме на пенсию, которую по доверию старика получал Заведей-дворник, а занятием старика были чучела. Вся его комната со съехавшим полом заставлена была зверем и птицами. Под кроватью оска-

ливал зубы маленький крокодил. Марабу стоял твердо на крепкой ноге, а на другую, поджатую, Аннушка вешала сухие грибы, лук, чеснок. Нахохленный, злой какаду держал в клюве перец, и старик говорил ему тихонько, нараспев:

— Да, какаду, делал все на ходу, оттого ты печальный!

Или выдвигал он крокодила из-под кровати:

— Крокодил, крокодил, плодороден твой Нил, ах ты, братец крокодил...

Как только размножились кролики до числа двадцать пять, старик прошел в крольчью и сказал громко родоначальнице Секлетее:

— Слушай, матушка, прекрати, из *числа мне* — ни шагу!

Но Секлетея и в ус не подула, навела бог весть откуда опять разноцветных, белоснежных с красноватым дрожащим зрачком, желтых, бурых, а то простонапросто зайцев — ни капли не кроликов.

— Секлетея, Секлетея, никуда твоя затея! Вот я, рыцарь плодороднейшей, охранитель числа двадцать пять, принужден взять секиру!

Старик выбирал кроликов мужского пола и проносил их за длинные уши через комнату сына. Кролики забавно опадали на задние ноги, будто делали гимнастические упражнения, и бубнили губами.

Сын отрывался от своей тетради и с мукой в глазах говорил:

— Снова резать?

— А на что беспорядочит? Родила — из числа выбилась. Нету выхода из числа. Не должно быть.

Комната сына была поприличнее стариковой: цветы на окошке — герань и зеленые листики чьи-то, без цвета.

Каждый день, как вставал, сын стирал пыль с окна, брал в стакан воду, с терпением обмывал каждый листик, а цветы долго нюхал. У сына — стол, стул. На столе много белой бумаги, перо, чернила. И сын все писал и писал. Для домашней нужды не давал ни клочочка исписанного, хранил на запоре.

Весной сын писал очень мало, больше короткими строчками, часто пропуски, а за пропуском черные точки. Вскакивал со стула, подбегал герань нюхать, рукой трогал листики.

Зато зимой перо скрипело с утра и до вечера, иногда ночью, иногда целую ночь... Старик в своей комнате сердито покрякивал: Секлетея зимой не плодилась, и делать ему было нечего. Сидел день-деньской на постели, выдвинув под ноги, как скамеечку, крокодила:

— Какаду, какаду, делал все на ходу, оттого ты печальный!

Иной раз сын, исписав все чернила, начинал вдруг кружиться по комнате, легко прыгая с носка на носок, плеща руками с радостным выкликом.

Старик отворял дверь, выставлял в нее оскаленную пасть крокодила:

— Посмотри-ка, крокодил,
Плодороден он, как Нил.

Заливался сын алой краской, подскакивал к старику, смотрел ему в глаза с вызовом, будто проглатывал.

И когда они были рядом, они были очень похожи. Такой же лоб крутой и высокий у сына, закрыт пока русыми волосами, а у старика поголее, с морщинами. И глаза те же самые: у сына ясного голубого неба, у отца цвет пожиже, стеклянный, а все то же лицо.

У сына в комнате грязи как-то само собой не накапливалось, хотя Аннушка убирать никогда не ходила; зато у старика и у кроликов — хуже конюшни.

Аннушка птичьи чучела повернула под вешалки для припасов, а на зверей для просушки расстилала белье.

В дом никто не ходил. Заведей-дворник, если нужно что, стучал старику в оконко.

Обед готовила Аннушка в русской печи каждый день, что умела: щи, кашу. И отцу и сыну лила поровну в миски, набуривала в щи кашу вулканом, сверху в ямочку клала масло.

Сын съедал спехом, кое-как, чтоб отделаться, и пока Аннушка еще доковылять не поспевала до двери, кричал ей брезгливо:

— Забирайте обратно!

А старик ел медлительно и всегда до конца, но посуду не любил чтобы брали тотчас. Говорил:

— Пусть стоит: завтра снова обедать.

Кругом дома ходили и хрюкали свиньи, кудахтали куры, все взапуски множились как умели. Если хотели, они могли видеть синие дали, буерак, весь поросший кудрявым кустом, бурливую речку и мельницу.

Старик же и сын ничего никогда не видали. Старик говорил:

— Все, что человек может видеть, я уже перевидел!..

И даже после того, как вспухали весенние грядки и в стекло бил крылом майский жук, норовил он днем прикрыть свои ставни.

— Это весна, — говорил он, — а я видал весну ровно восемьдесят восемь уж раз. Все то же самое!

И сын не любил, чтобы окно отворяли.

— Через стекла мне легче представить, как я хочу чтобы было, а не так, как оно в самом деле.

Так вот и жили они на горе годы.

Старик делал чучела, сын писал. Все реже старик приносил к себе за уши кролика, все ленивее сын притворял к нему дверь.

А когда сын скрипел по бумаге весь день до заката и, покрутив лампу, надышавшую вокруг черным пеплом, собирался еще проскрипеть до утра, старик, в свою очередь, входил к сыну, ощупывал ему голову.

— Спи лучше, спи! Сон сокращает дни жизни. Все, что могли написать, уже написано.

Сын понемногу писать перестал. Кое-что иногда перечитывал, по привычке клал опять под запор, но чернил не требовал. Все больше лежал на постели.

Пауки оботкали все ножки стола, герань завяла, и растение без цвета стало тусклым коричневым прутом.

По сыну бегали мыши: со лба по всему телу до носков сапога и обратно. Он не двигался, улыбался, терпел щекотку, приучал себя к ней.

Старик не набивал чучел. Новых кроликов не рождалось, так что оберегать число больше не было надобности. И старик все сидел на постели, спустив ноги на выдвинутого крокодила, как на скамеечку:

— Какаду, какаду, делал все на ходу, потому ты печальный...

Теперь, когда сын ел свои щи и кашу, он не кричал уже Аннушке: «Уберите скорее!», а так же, как и отец, оставлял свою миску до завтра, только б лишний раз рта не открыть.

И вот случилось.

Старик вошел как-то с миской в комнату к сыну, сел на стул пред столом:

— Неприятно мне с нею вдвоем, не привык.

— К кому не привык? — спросил сын.

— Да к Шелушее. Завелась у меня там в пыли, слышу, все ворошится да растет. С каждым днем в тело входит. Уже действует, у Аннушки шаль забрала.

— Вы больны, — сказал сын, — а я было думал: крепкий старик. С меня, думал, начнется.

— Ты пойми, — оживился отец, — все, что есть, — уже было, а она, Шелушея-то, новенькая. Из меня одного завелась. Да вот, если против ничего не имеешь, познакомиться б. Втроем как-то лучше оно — веселее.

— Пусть ее входит, — согласился сын.

— Мадам, пожалуйте-с, ангажирую! — сделал ручкой старик.

Из соседней комнаты протянулась по полу, будто грязная пуховка от пудры, пыхнула к стулу, разрослась — Шелушея.

Аннушкина шаль на плечах, ее же праздничная кпка на голове. Лицо все пуховое, серой клочковой пыли, в глазах пуговицы с давнего старикова жилета. Там, где рту быть, — окурок, а носа нет вовсе. И ни рук и ни ног.

— А! — сказал сын, — это очень приятно.

— Вот от чучел моих завелась, крови кроличьей да что комнату убирать не даю... — топотался старик вокруг Шелушеи.

— Дождался-таки, дождался, а теперь и помереть. Вот он каков человек, когда дураком быть перестанет!

— Когда быть перестанет... — продохнула чуть-чуть Шелушея.

Изо рта папироски она не выпускала, говорила с развалом и одышкой.

— Верно, и из меня что-нибудь завелось, — сказал сын, — бумаги-то что исписал. А думал... все тут, окошек не открывал.

— Не открывал... — продохнула опять Шелушея, привстала, поклонилась кому-то за сыном.

— Мадам, вы кому? — оживился отец.

— А Индрыга бумажная, — мне одной пока видно. От молодого негустой дух идет, пусть еще полежит. Индрыга окажется.

Скоро стали жить на горе вчетвером: сын, Индрыга, старик, Шелушея.

Сын с кровати уже не вставал, сломал перья, все выбросил. Аннушка печь подтопила.

Индрыга бумажная, как лапша в большом сгустке, бледная, с морковными волосами все смелей шмыгала, юркала в комнате, с Шелушеей встречалась за кушаньем. Макала в борщ пальцы, тоже белые, вермишельные. От теплого делались пальцы тряпками, кисли, их Индрыга сосала. И вся она ерзала, дергалась, а Шелушея сидела комочком.

Аннушка старая окривела еще на второй глаз: чулочной спицей в полусне наколола. Заведей-дворник распух и забыл все слова, даже в город за пенсией не

ходил; для кого-то она там копилась, а дома съедали запасы.

Что ни день, Шелушея с Индрыгой набирались нахальства, хватали горшки прямо с печки, жрали первые, старику с сыном — донышко. А те чуть глотали, безмолвные. Шелушея ругалась, толкала в бок Аннушку, а та только: «Барыня, барыня»...

Съели они кроликов, кур, индюшек, пошли жевать чучела. Крокодилом Шелушея совсем подавилась, уж Заведей-дворник под ложечкой разминал. Растолстели они, нагуляли себе руки, ноги, на лице брови людские, кое-где бородавки и родинки: чем не барыни?! Одна — Шелушея — полнокровная, в теле. Другая — поджарая, крови легкой — Индрыга бумажная.

Старик пошел чахнуть, заскучал по своем крокодиле. Ноги спустит, а выдвинуть нечего. Когда у Шелушеи бородавка надгубная пустила вдруг волосы, стариковы седые разлетелись по комнате: моль у них корни подъела. Стариков же костяк так и остался сидеть на кровати, и Аннушка, как раньше на марабу, теперь уже на него вешала лук, чеснок, красный перец.

Сын не сох как старик, а все мякнул. Скоро вовсе пошел вермишелью, как была поначалу Индрыга. В простынях его — чуть-чуть, кот наплакал.

— Нехорошо у вас в комнате, милая, сырость... — морщила нос Шелушея.

Она с каждым днем все важнела, Индрыгу повернула своей приживалкой. У Заведея-дворника нашла календарь, приказала читать себе вслух от доски до доски, про людей, их обычаи, кушанья, правила жизни. Выучила все наизусть. Вдруг надумалась, укрутилась в ковровый платок, а на плечи надела салоп, крытый

бархатом, еще давний, стариковой жены — Аннушка в табаке сберегала от моли, — и ушла себе в город за пенсией.

Домой, на гору, Шелушея уже вернулась с покупками, на извозчике.

Приказала прибить на стене между окон железную доску, а на ней красной краской написано: «Сей дом купчихи Шелушеевой» крупными буквами, а помельче: «И девицы Индрыгиной».

— Эй! — крикнула громко. — Заведей-дворник, чтобы выбиты были матрацы!

Заведей-дворник, запухший, забывший слова, снес на улицу обе кровати. С отца снял мешки, а костяк его продал студенту всего-навсего за два с полтиной. А сын в простынях развелся, так себе, зеленоватой водой. Ни застирать его, ни можжевелевой кислотой вывести. Думала, думала Аннушка и порезала в кухню на тряпки.

БЕЗГЛАЗИХА

Накануне густо клубились туманы. Молочными хороводами тянулись они между сосен, плыли над цветущими травами, а в низине, у желтых дач, осели серым сбившимся облаком. И казалось — это большие седые старухи в белых саванах тесно прижались друг к другу, сучат пальцами белую вату, паутинной фатой убирают кроваво заходящее солнце.

Грузные седые старухи как плюхнулись в низину у желтых дач, так и сидят там глубокою ночью, не двинутся, не моргнут безвеким глазом-бельмом, не шелохнутся. Даже под утро не рассеялись они легким паром, а мокрыми жабами ухнули в глубокие лужи, в вонючие канавы с бурой водой, где кишмя кишат головастики, а кухарки дачников полощут кухонные полотенца.

Самая большая старуха — Безглазиха — съехала из низины по мокрой глине прямо в громадную яму, которую вырыли, когда строился Никаноров дом; там под бережком, в корнях нависшей над ямой березы, увязла Безглазиха на дне, в желтой глине, и пошла сучить, как сучила туманы, мочальные корни размытой травы.

Сидела Безглазиха дремотная, хлюпала тину беззубым ртом.

. . . .

Никаноров дом, желтая крайняя дача, только-только поспел к весне. Внизу жили сами, а верх сдали дачникам. Перед верандой окопаны клумбы: одна круглая и две завитушки; дачники насадили бархатцев и левкоя. В углу, как полагается, — гигантские шаги.

В этой местности на каждом участке, раньше чем дом строить, ставят два столба: один для гигантских шагов, другой с дощечкой: *«Сея земля арендована, ходить воспрещаеца»*. Если пойдешь — откуда ни возьмись босая девчонка-сторож — и прогонит. А гигантские шаги издалека чернеют железной своей головой, первые выслеживают чужого человека, будто стали они тут при дачах вроде домашних животных, каких-то новых собак, что ли.

Помойных ям владельцы дач не устроили: и так, дескать, сойдет; жильцы не генералы какие, пусть себе льют на соседний участок! Да и ров около дома нигде не засыпан — как выкопали его, чтобы глину брать для построек, так и бросили.

У Никанора такой ров сильно дожди размыли, зеленой водой полным-полно; да, верней сказать, и не вода там вовсе, а кисель гороховый.

В этом-то киселе сейчас старуха сидит, Безглазиха, губой шлепает, рукой корешки сучит, и на поверхности от нее пузыри толстые: буль-буль...

Не знает Никанор, что в его глиняной яме старуха сидит; он с утра и до поздней ночи все в городе: там у него ямской двор, десять извозчичьих лошадей, де-

сять пьяных извозчиков — дело не плевое, скоро с ним не управиться.

Не знает ничего о старухе и жена Никанора, Авдеевна: распустеха она и ленивая; в участке своем — ни лопатой копнет, ни веником подметет, — так и копится у нее мусор кучами. Картошку во мху печь задумала — пожару наделала; сколько березок да елочек топором уложили, тушивши-то! Такая-то, как она, ни за чем не досмотрит; такая-то ничего не увидит — только у крыльца знай себе семечки лузгает.

Не знают ничего про старуху и мальчики; а много их здесь на участках. У Авдеевны — двое: Коля да Ваня, оба босоногие; у верхней жилицы — Бобик, этот в носках и в сандалиях; а соседних не счесть: Гаврик, Минька, Санька, и кто их там знает. Летом все стриженые, все загорелые, даже матери путают.

День-деньской играют мальчики в рюхи, в попа-загонялу или дерут штаны на гигантских шагах. Веревки — длинные, бежать неохота, то ли дело носиться на «звездочке» или «на казенный счет» плавать! А проедутся раз-другой по песку — продырявятся. К полудню перессорились мальчики из-за рюх и попа, набегались досыта на шагах и пошли обедать. Соседние так и не вернулись; должно быть, матери поставили их на работу или сами в лес ушли: черника кое-где поспела...

После обеда Колька, Ваня и Бобик втроем бегали вокруг желтых дач, пароходами.

Впереди Бобик, приличный, в вышитом фартучке и сандалиях, старался пыхтеть так, как, он слышал, пыхтел на море броненосец; за Бобиком Колька, не видевший никогда броненосца, пыхтел, по доверию к Бобику, на его манер; а сзади них, отставая, подхватывая сам

себя, захлебываясь и выбрыкивая без всяких уж правил, в одном только диком восторге, месил пятками пятилетний Ванька. Завидя булочника, разносящего дачникам хлеб и пирожные, Ванька стремглав ринулся к матери за копеечкой.

По копейке дала своим мальчикам Авдеевна, пятачок кинула сверху Бобику высокая дама, его мать. Ничего другого на копейку, кроме черных ломтей из ржаной муки с медом, бычьего языка, не дал булочник Кольке и Ване, и Бобина мама, глядя, как жадно они ухватили их грязными руками, косясь на пирожное Бобика, вдруг испугалась чего-то, позвала бонну и сказала:

— Скорее, скорее ведите моего мальчика за цветами.

И пока дети жевали купленное, щеки их сверху казались особенно толстыми, высокая дама не унималась торопить бонну.

— Keine Ruhe...[1] — ворчит бонна, протыкая булавкой тугую шляпу, и тянет за собой упирающегося Бобика. Он хочет быть еще с мальчиками, он еще чувствует себя пароходом и, уныло покоряясь увлекающей в лес руке, шарпает сандалиями по песку и вздымает пред собой тучи пыли.

— Боже мой, боже, — шепчет высокая дама, капая себе в рюмку валерьяновых капель, — опять мне так страшно, к несчастью это или к грозе?

Колька и Ваня, не переставая быть пароходами, протопали за желтую дачу, за погреб и за дрова, прямо ко рву, из которого брали глину.

— А ну, поплывем! — придумал Колька.

— Агу... — согласился радостный Ванька.

---

[1] Никакого покоя *(нем.)*.

— Будет Бобик от нас убегать, будет Бобику кукиш с маслом! — приговаривал Колька, спуская в воду полена: одно себе, другое Ваньке.

Кругом дачного места и реки и озера, но дети туда одни не ходили: кого напугали матери водяным, кого утопшим с черными раками, кого просто повели с собой полоскать белье да, погрозив скрученным полотенцем, сказали: смотри мне, один побежишь — дён пять не присядешь!

И не бегали дети к большой воде; ну, а лужами никто не стращал, луж они не боялись. Этот ров с глиною свой был ведь, домашний. Сам отец его выкопал, батраки глину брали на глазах у всех. На глазах у всех ливмя лили дожди и заполнили ров до самого края, и хоть должен быть он глубок, а не кажет таким, и не страшно его ничуть. Привыкли.

А про то где детям узнать, что под утро ухнула в ров из туманов Безглазиха, притаилась в корнях мокрой жабой, распустила лапы и ждет...

От жары, что ли, или просто тяжелая, густая вода ее притомила, только не сучит она больше пальцами корешков, расставила свои пальцы и ждет, шевелит толстой губой... Чего ждет старуха?

— Седлай свою коняку! — кричит Ване Колька; сам он сидит уже по пояс в воде на бревне верхом, а руками держится за березу.

— Я бу-юсь... — И Ваня босой ногой осторожно давит бревно; страшно ему и нравится, что оно погружается в зеленый гороховый кисель, в густую воду.

— Эй вы, примите в игру! — вдруг сбежались со всех сторон, как воробьи на кусок, Гаврик, и Минька, и Санька.

Ванька видит знакомых мальчишек, ему уж не страшно, а чтобы не перегнали — скорее хлоп в воду, хотел верхом на полено — да не вышло, брыкнулось под ногами полено — да в сторону, и угодил Ванька с головой в теплый кисель.

Ой, темно; крикнул бы, да нет крику — залепило рот тестом, глазам зелено, чьи-то лапы тянут в глиняную перину... буль-буль...

Буль-буль... вместо крика на дне издает Ваня; ручонками раз-два дерг — и затих. Держит его крепко Безглазиха, к себе под корни втянула, зеленой глиной обмазывает.

В последний раз трепыхнулся Ванька, как крик Колькин услышал и самого его сквозь зеленую воду увидел. Раскорякой на дно летел Колька, глаза выпучены, руки раздвинул, будто кого схватить хочет, и... рраз!.. — глубже втиснул Ваню в подол к старухе, в жидкую вязкую глину, а сам сверху камнем налег.

Последней мыслью мелькнуло перед Ваней пирожное, бычий язык, и все стало темно. Окончены Ванины дни.

. . . .

Рядом с полустанком и лавчонкою «Детские вещи», около самого узкоколейного пути, стоит парикмахерская для дачников. На вывеске гребешок, щетка, мыльница и прейскурант стрижки:

По-немецки . . . . 15 коп.
Голова с бородой . . . . 25 »
Эжиком . . . . 20 »

— Не дело это, Пал Иваныч, — говорит парикмахеру мещанин в красной рубахе и черной жилетке, — не дело это, что у вас «эжиком» значится «бобр». В Москве оно

и господам не обидно, и на двадцать на пять копеек проставлено, а пишется «бобрик»...

— Одним безрассудным обида может быть в эжике, — цедит сквозь зубы напомаженный Павел Иванович с бараньею белокурою головой, — безрассудным и малообразованным: кто хорошо образованный — знает, что и эжик и бобр равно российские звери, и ежели стрижка по их оперению...

— Эк сравнил, Пал Иваныч! Бобр — богатеющий зверь, а эжик, можно сказать, дерьмо...

Авдеевна-распустеха, полный фартук у нее покупок, только собралась полюбопытствовать: кто такой эжик, кто бобр, как из переулка ринулись на нее Гаврик и Минька с Санькой:

— Ванька с Колькой в луже утопли!

Мальчишки крикнули радостно, как на пасху «Христос воскресе!», и промчались дальше голопятым табуном. Так неслись мальчишки и кричали в лавочки, и в сады, и просто в чистое поле: «Ванька с Колькой утопли!»

И видно было: нельзя остановить их ураганного бега, так уж им надо сейчас бежать да кричать: бежавши-то легче размыкают, что у лужи видели.

Всплеснула руками Авдеевна, разбросала покупки, сразу поверила. Еще бы не поверить! Каждый ведь год так-то вот в глиняном рву кто-нибудь тонет!

Поохают, покричат, а места забором не обнесут.

Бежит Авдеевна, спотыкается, падает... Посидит минуту, разбросав широко голые пятки, и опять бежит. Рядом с ней Павел Иванович с напомаженной бараньей головой, мещанин в красной рубахе, да дворники, да девчонки.

Причитают бабы, ругают мужчины хозяина лужи, ругают Авдеевну, что недосмотрела, ругают мальчиков, зачем утонули...

— Православные! — кричит Авдеевна. — Православные, кто в бога верует... — и падает, расставляя голые пятки. Скоро ли добежит, век бежит... — Вот она, лужа-то, своя ведь, домашняя, Никанор копал, прыгайте, православные, прыгайте!

Синее без зазоринки небо; раскалилось на нем солнце за день, без прохлады, без облачка плавая, и ярко-зеленая от этого солнца трава на земле. Отражается это солнце ясным кружком в тихой воде глубоких синих озер, дрожит оно разбитой зыбью на быстрой реке, на больших водах, куда без старших боятся, не ходят малые дети.

В одной этой поганой зеленой луже не отражается как есть ничего. И всего в ней размеру — квадратная сажень два аршина, а вот по краям вопят люди, сидит черная мать, из-под синей юбки с букетами расставив худые желтые ноги. Уже совсем встать не может мать, знай качает руками вверх и вниз:

— Прыгайте, православные, прыгайте!

Разделся медлительно рыжий мещанин, серебряные часы сдал на хранение Павлу Ивановичу, сам прыгнул в воду, и стала вода ему по рыжую бороду. Ничего не видно в гороховом киселе; где толкнется о дно, там только ногою и шарит:

— Где утопли-то?

Кто же знает где? Лужа всего квадратная сажень два аршина, только не видать в ней ни зги. А бежит время: минутная стрелка за секундной, бегом мчатся часы...

— Сколько минут, как они утонули? — тихим голосом спрашивает высокая дама, Бобина мать.

И, глядя на доверенные ему большие серебряные часы рыжего мещанина, стучит зубами весь бледный Павел Иванович.

— Пят-надцать минут, как мы здесь.

— Доктора... первую помощь... — стонет высокая дама и дает белой рукой направо и налево деньги.

Молча берут деньги и не двигаются. Словно врытые, стоят и смотрят не отрываясь, как толчется в яме рыжий мещанин.

Павел Иванович опять открыл часы и торжественно говорит:

— Восемнадцатая минута.

Потом он становится на колени и, обхватив березу для чего-то, мочит правую руку в воде.

Вдруг Павел Иванович вскрикивает, бледнеет до зелени, вытаскивает за белую рубаху Кольку. Рыжий мещанин помогает ему снизу.

У Кольки — вниз голова, зализаны волосы по самые брови, ручьями стекает вода с упавших рук и ног.

На берегу подхватывают Кольку на старое одеяло и хотят качать, но высокая дама с лечебником гомеопатии ложится всем телом на утопленника и, потеряв голос, шепчет то, что запомнила:

— Очистить рот от слизи.. — и лезет пальцами Кольке в горло.

— Ваничкю-ю, православные, Ваничкю-ю! — кричит мать, хочет встать и не может... — Меньшень-кой.

Рыжий мещанин пропадает с поверхности лужи и через минуту подает на берег совсем будто ком глины с увязшими в нем чьими-то ногами.

— Ваничкю... — мать летит птицей, смывает глину, целует. — Жив, жив!

— Еще нашатырного... — шепчет Павлу Ивановичу высокая дама и трет вздохнувшему Кольке виски.

— Православные, ох! Говорите, жив Ваня, жив?!

Качают, как вздувшийся парус, полосатое ватное одеяло, перекатывается от края к краю посиневшее Ванино тело, мелькнет то черным волосатым затылком, то неподвижным лицом со стеклянным подводным взглядом, с прикушенным толстым языком.

— И ему прежде всего очистить рот от слизи... — задыхается высокая дама по лечебнику гомеопатии и силится остановить раздувшийся ватный парус слабыми руками.

— Не извольте-с беспокоиться, — говорит вежливо Павел Иванович, — в простонародье первое средство откачивать-с, и, случается, не безрезультатно-с.

Приводят доктора, больного, усталого человека. Он скрылся сюда от пациентов, и сам чуть жив, бритый, с синими кругами вокруг глаз; он щупает Ваньке пульс, берет сжатые кулачки; раз-два — искусственное дыхание...

— Ой, плечико вывернет, — стонет мать, — покачать бы верней, православные.

— Уведите ее! — машет утомленный доктор рукой.

— Мать она — как увести ее? Мать...

И никто не уводит.

Тянет доктор щипцами Ваньке язык изо рта, колет шприцем, слушает сердце — качает головой.

— Поздно...

И доктор тихо отходит к ожившему Кольке:

— Этому горячую ванну, горчичники...

— А тому, Ваничкю? — очнулась мать.

— А тому... все равно.

Слышит мать и не верит, не хочет поверить:

— Качайте, православные, ох, качайте!..

Перенесли обоих в комнату, навалились люди. Жарко, нечем дышать. А мать еще созывает в окно новых людей, еще не выпускает из рук окоченевшее тело, кричит:

— Православные — жив, жив!

Возится доктор над ванной, сыплет сухую горчицу, бредит оживший Колька, орет не своим голосом:

— Караул, тонем!..

Садится за лесом солнце. Последним лучом бьет по стеклам, а к стеклам без счету прилипли глаза: голубые и карие, глаза стариков и младенцев, что поглазеть на чужую беду с собой взяли матери.

Машет Авдеевна голым трупиком, уже с хрипотой умоляет:

— Православные, жив Ваничкю, жив...

И открываются рты, и младенческий и тот под седыми усами, беззубый, — стоит стоном вокруг желтых дач: жив, жив!

. . . .

А едва скрылось солнце и потянул между сосен туман, из поганой глиняной лужи вышла Безглазиха, прокатилась в траву, стала пухнуть, белеть и грузным облаком села в низину. Безвеким глазом-бельмом смотрела Безглазиха на желтую дачу, не сучила в нитку туманы, а дышала спокойная, будто бы сытая, шеве́лила толстой губой.

КАТА́СТРОФА

К августу их в санатории было не много: кто по нисходящей линии шагнул в сумасшедший дом, а кто, нагуляв себе недостающее для равновесия духа количество фунтов, пошел снова тянуть свою упряжку.

Новых больных сейчас не брали, потому что старший врач уехал за границу, а санаторию перестраивали и расширяли под руководством младшего врача, Аггея Ивановича.

Здание вырастало огромное, но пока отделан был только нижний этаж да «висячие сады Семирамиды» — так звал Аггей Иванович большую террасу над парадной дверью, хотя, по собственному его выражению, самого в ней висячего был турецкий боб, сползавший красными цветами по каменным столбам до земли. Здесь после раннего обеда вытягивались больные и всеми порами глотали солнце.

Сейчас, поджав ноги под серую юбку, качалась в качалке учительница-неврастеничка, а подальше — иссохшая барыня с желтым лицом и огромными глазами, разрезанными шире, чем вообще бывают разрезаны

глаза у людей, с одной ярко-седой прядью волос над прочими иссиня-черными.

У этой барыни под ложечкой лежала грелка, напоминавшая свернувшегося спиралью гигантского стального червя. Открывая глаза во весь их необыкновенный размер и, должно быть, страдая, она говорила толстому дьякону:

— Расскажите мне что-нибудь, ну, скорей...

Дьякон Вавила в парусиновом подряснике, облегавшем, как трико, его самоварный живот, сидел на тумбе под деревянной вазой с настурциями и, по-женски ловко перебирая пальцами, вплетал в жидкую белесую косицу красную ленточку.

— Только всего и осталось от дня свобод... — хихикнул дьякон, — а ведь тоже петицию подавал.

— Главное, с такой окраской физиогномии не гоняйся, дьякон, за лентой, у тебя приливчик — изволь, брат, прилечь, — добрым, настойчивым баском сказал Аггей Иванович и сам придвинул кушетку.

— Не привыкну при дамах... — конфузился дьякон и прикрылся газетой так, что наружу торчала только борода лопатой, такая же полинялая, как и волосы, да бугристый красноватый нос.

— Ну, расскажите же, ну, скорей... — повторила опять желтая барыня, прижимая к подложечке грелку. — Болит, доктор, болит и болит!.. — злобно крикнула она Аггею Ивановичу, который, подойдя к ней, еще не успел и рта открыть.

— Голубонько, — сказал он, — да оно же перестанет!

И наложил свою большую руку поверх грелки с таким видом, будто из руки его должно было заструиться какое-то особенное целебное тепло.

Хотя желтая барыня чувствовала по-прежнему, будто злой голодный рак то и дело впивается изо всей силы клещами в ее желудок, а от боли у нее мурашки бегают по спине, она вдруг успокоилась, как успокаивался всякий, к кому подходил Аггей Иванович.

Его близость возвращала какое-то первобытное колыбельное доверие, и сразу делался он больному доброй няней и сильным, готовым на защиту отцом.

А дьякон поморгал сочувственно на желтую барыню небольшими добрыми глазками и с передышкой заокал своим тверским говором:

— В городе-то у нас собор огромный и два иерея, отец Геннадий да отец Стефан, а ссорятся — господи боже мой! Геннадий в меру дороден, румян, ногти чисто содержит, зубочистка всегда при нем, и, между всем прочим, душится; отец Стефан пониже ростом, военного настроения. Сочинение в синод изготовил: «О потешных духовного ведомства». Да, не поделят собор иереи, а евхаристии предстоят. Читает Геннадий: «Христос среди нас», а Стефан ему: «Ан не был и не будет». Стефан владыке донес на Геннадия: зачастил, дескать, в кинематограф на прелюбодейные зрелища, инкогнитом переодетый певицу Вяльцеву слушал и прочее... А Геннадий на Стефана встречный владыке: сквернослов, мздоимец, дьяка заушает. Провели в собор электричество: Геннадий приказал, чтобы при возгласе: «Свет Христов просвещает всех!» — разом пыхнуло для прообраза, а сам в облачении возлег на жертвенник, власы серебром, руки воздеты, очи в горнее... Барыни так и ахнули, а Стефан Геннадию: «В уставе сего не значится, почто актерствуете?» Сцепились, беда!

Дьякон прыснул и закрыл рот рукой, но вдруг притих, повел с жалобой потухшими глазками и сказал, понизив голос:

— В этот-то вечер впервые его я увидел. Ка-ак прыгнет меж Геннадием да Стефаном, мохнатенький, голова — орех кокосовый, все волосы на морду начесаны...

— Что вы, отец дьякон! — вскрикнула барыня.

Учительница привстала на локтях и уставилась в дьякона испуганными глазами, доктор снял с грелки руку, соображая, что ему дальше делать, а дьякон продолжал, уже ни на кого не обращая внимания:

— Ну, понял я черного как некое указание, пошел к Федотычу-псаломщику. «Пошлем, говорю, купно владыке плач о нашей мерзости запустения, напомним ему, что́ есть истинная церковь Христова...» Однако меня в сумасшедшие, и дьяка к Макару трезвонить... А семья у него, господи боже мой: Степанида, Анюта, близнят двое, да Паша, да одно в пеленочках...

Дьякон всхлипнул и развел руками: газета съехала с него, шурша, на пол и осталась стоять там шалашиком.

— В добрый час разговор завела, нечего сказать... — отвернулась желтая барыня от дьякона и так прижала к себе грелку, что, казалось, она вот-вот продавит ей тело и проскользнет внутрь.

А дьякон, пузатый, с красным бантом в белесой косице, сидел на тумбе и бормотал:

— Господи боже мой, близнят двое, одно в пеленочках... Эх, черный-то, черный попутал!

— Вздор, дьякон, — пробасил Аггей Иванович, — черный с чертями и водится, а над тобой, дьякон, сол-

нышко, над тобой скоро воздушный корабль пролетит. Читал газету? Сегодня, брат, состязание аэропланов. Путь им прямехонько через нас.

— Аггей Иванович, — сказал робко дьякон, — я к себе лучше пойду... Уж вы простите, — поклонился он желтой барыне, — хотел вас позабавить, ан силушки нет. Пойду я, Аггей Иванович...

— Э, дьякон, свинтить тебя некому... — врач крепко обнял дьякона и, подталкивая его всем своим громадным туловищем, увел вниз.

— И для чего трепать было человека? — ни к кому не обращаясь, сказал румяный, непонятно зачем находившийся в санатории юноша, которого все звали Петенька. — Ведь известно, что про соборные дела ему поминать нечего.

— Кто же знал, что он чертей видит? — недобро улыбнулась желтая барыня. — Мне их хоть с сотню давайте, только бы боль отпустило; это он, что же, после белой горячки?

— Он непьющий... — сказал Петенька. — Просто был честный, верующий человек, огорчился за бога: слыхали, петицию подавал? Да вот от жары, что ли, всю ночь опять скрипит половицами: вчера ко мне пришел, я тоже не сплю, лежу, в потолок плюю. Сел дьякон на кровати и завел свою канитель... Поспотыкался на текстах, однако добрел-таки. «Если черт, говорит, нервное лишь расстройство, то и господь бог таковое же самое... За кого же тогда, плачет, вступаться я пробовал, петицию подавал, дьячка загубил?..» А тень от него на стене — сущий бурдюк с хвостиком.

— Не пойте, пожалуйста, Лазаря... — прервала желтая барыня, — все мы тут плачем сами, кто от чего...

У вас, однако, Петенька, щеки как кровь и нигде не болит...

— У меня щеки такие от неправильного кровообращения, — сказал румяный Петенька, — а в роду у нас по отцовской линии все на двадцать пятом с ума сходят. Мне их двадцать четыре, и для увертюры крохотная idée fixe.

— Если не скучная, изложите... — усмехнулась барыня.

— Почему же скучная, я с ней день и ночь, можно сказать, в интимнейшем аллиансе, и ничего, даже с места не двигаюсь.

— Да, это ужасно негигиенично, как вы проводите ваше время, — отозвалась учительница, — гуляете только, когда вас под руку тащит Аггей Иванович, а то все лежите у себя на кровати или вот здесь... Хотите, я дам вам хорошую книгу?

— Не хочу, — Петенька не взглянул на учительницу, заложил под голову руки и расправился поудобнее. — Книг я много прочел, наукой интересовался, при университете оставлен, профессор мной хвастался и за границу на свой счет посылал. Да и сам я сдуру целых два дня ходил пырином... Так у нас в Владимирской губернии индюков прозывают, а мы оттуда столбовые дворяне... Так вот-с, походил пырином — я, дескать, надежда Российской империи, а потом вдруг и лег на кровать в собственной комнате: задрал ноги вверх на железку и стоп... кончен бал. Должно быть, на отцовскую кровь свернуло.

— Вы обещали про idée fixe, — прервала жестоко барыня.

— Ах, пусть его говорит, как ему хочется: ему станет легче, — вставила робко учительница.

— Idée fixe! — вскрикнула, словно ругнулась, барыня, а учительница, вспыхнув, сжалась комком в серой юбке и, скрывая слезы в обмотавшем голову белом шарфе, стала думать о том, что никогда, никогда не полюбит ее тот, по ком и здесь она сохнет и, несмотря на все усилия Аггея Ивановича, не может прибавить в весе.

А румяный Петенька равнодушно продолжал:

— Idée fixe — ну, извольте: расплескать сдуру силу, как иные прочие, желторотые, я не желаю, но и сделать выбор мне невозможно, ибо все под луной равноценно... Вот и существую: лежу, пью и кушаю.

Петенька засмеялся и долго не мог остановить своего смеха, делая вид, будто он так хочет; но брови его мучительно дрогнули, по ним видно было, что он делает усилия перестать, но сразу не может.

Заплаканный глаз учительницы выглянул из-под белого шарфа и скрылся в нем снова. Желтая барыня привстала и, зажав тонкими длинными пальцами, будто ножницами, стоявшую в бокале около нее прекрасную розу, заговорила взвизгивающим и вдруг опадающим голосом:

— Но почему же эта роза такая? Почему у каждого лепестка свой рисунок, каждый выражен до конца, благоухает, живет, и даже ничего грустного, что увянет... а мы? Боже мой, до чего мы безобразны! Один жить боится, другой умереть — ужас, ужас...

— Один ужас и есть, что ни в чем нету ужаса, — сказал Петенька, совладал со своим смехом и раскрыл

на барыню умные, добрые глаза. — Ведь все, решительно все равноценно...

Учительницу вдруг подхватило, будто ветром, снесло с места, и, подбежав к Петеньке, она закричала:

— Я уеду из санатории, если вы не откажетесь от ваших слов! Это добро и зло равноценны, да? Защитить или самому всадить в сердце нож — равноценно, да?

— Охотно отказываюсь от всяческих слов, — сказал Петенька и закрыл глаза.

— Родименькие, они же без старшого поцапались, — сказал доктор, входя на террасу. Он обмахивался большим белым платком, был красен от жары и радостно возбужден. — Господа, я сейчас узнал по телефону, что первым летит Петров второй; он через полчаса будет здесь над нашими головами!.. Торжество, господа, а? Победа героев над воздухом, смельчак стал крылатым!

— Я буду приветствовать его белым шарфом, — взволновалась учительница.

— Сейчас только, родимая, ни гу-гу, — подхватил ее доктор и снес на прежнее место. — Голубчики, всем лежать, всем молчать, силенку собирать, чтоб его, молодчину, воздушного гостя, как следует поприветствовать... А я сбегаю за подозрительной трубкой.

И доктор неуклюже, как торопливый медведь, побежал опять вниз по ступенькам.

Подзорная труба оказалась негодной: по небрежности пациентов затерялось выпадавшее стеклышко; неодобрительно пощелкав языком, Аггей Иванович снял парусиновый пиджак и стал вытирать одеколоном багровую толстую шею.

Было очень жарко, и он, грузный, очень потел. Очень хотелось ему все эти дни сбегать на речку выкупаться, да все было некогда.

Аггей Иванович сел в кожаное кресло и задумался. Его сильно взволновало то, что сейчас над его санаторией пролетит авиатор.

Живя уже многие годы здесь, вдали от столицы, он не видал аэропланов и знал только по газетам, как быстро, словно в сказке, развивалось воздушное дело.

Аггею Ивановичу всегда доставляло невыразимое наслаждение думать о завоеваниях человеческой силы и мысли, и вместе с тем делалось стыдно и горестно, что сам он тут совсем ни при чем. Вообще втайне Аггей Иванович ощущал себя всегда недаровитым лентяем и стыдился, что заполняет такое, несоизмеримо своему значению, большое пространство.

Тщеславие, правда, было чуждо Аггею Ивановичу, но ведь не было и настоящего научного интереса, который почитал он превыше всего и полагал, что он-то именно и руководит его коллегами, почему, не моргнув, выносил несправедливости старшего врача, известного теоретика и плохого человека.

— Эх, освободиться бы годика на два, написать диссертацию... — вздохнул было Аггей Иванович, но тут же подумал, что невозможно ему и на день уехать из санатории: вон дьякон опять чертей видит; Петенька гимнастику не делает, захлестнули его мысли, вот-вот не выдержит, скрутит полотенце и вздернется где-нибудь в ожидании своей четверти века и несчастного жребия.

А ведь бывали случаи, проходил кризис.

Телосложение у Петеньки геркулесово, подпереть его малость здоровой волей, протащить на своей спине,

гляди, и перевалит через Сциллу с Харибдой, станет на ноги... А барыня с грелкой? А учительница?

И, став на обычные рельсы забот о больных, испытывая к ним неотпускающую жалость, не забиваемую ни годами, ни практикой, Аггей Иванович надел пиджак и двинулся в «сады Семирамиды».

На террасе все молчали. Все так же, как и доктор, должны были в первый раз увидать авиатора и, как и он, волновались. Измученные бессонницей, страданиями и злыми думами, больные почувствовали облегчение при мысли, что такой же вот, как они, человек может стать легким, свободным и подняться над землей... Они даже не завидовали ожидаемому авиатору, как завидовали всем обыкновенным здоровым людям. Незнакомый, но уже всем близкий смельчак был каким-то радостным символом, был той нашедшей себе выражение надеждой, о которой хоть робко, но помнит сердце даже в самые черные дни. Помнит, пока бьется жизнью.

Все молчали. Слышно было, как жужжала, забившись в настурцию, пчела, дрожа мохнатым брюшком.

Снизу доносился разговор санаторской горничной Груши и экономки Власьевны.

Груша, в розовом платье с белой оборкой вроде пирожного безе, на высокой привеске держала на руках лохматую собачонку Финошку и, веселая от предстоящего зрелища, задирала проходящих с француженкой дачных детей:

— Деточки и мадмазель, полюбите маво собачонку?

— Мы его не любим, — ответила угрюмо девочка.

— Чего ж та-ак? — протянула Груша. — Он красивей вас.

Мальчик рассмеялся, а француженка крикнула на детей, чтобы они скорей проходили.

— Ишь, французинка носик призадравши, тюрнюр привязавши... — пропела вдогонку Груша.

— Ну тебя, со смешками шара́ пропустим, — заворчала Власьевна. — Воздушным летит, а прозывают по-новому, не упомню.

— Аэроплан — это совсем не воздушный шар, — поправила Груша, — шары теперь, тетенька, в моде только на клумбах. Как плешивые барины понаставлены. А чего ж это он не летит?

— Небо как небо, — зевнула Власьевна, — и вороны не видно... Я чему вот дивлюсь: и не много у нас теперь душ за столом, а сколько им ни подай — все чисто схламают. Вот намедни...

— Ой, летит! — взвизгнула Груша, увидев черную точку, и, бросив Финошку, сломя голову ринулась в поле.

— Господа, аэроплан приближается! — загремел на террасе Аггей Иванович. Он хотел сказать, как всегда, грубовато-весело, а сказал взволнованным торжественным голосом.

Черная точка на порозовевшем закатном небе с каждой минутой приплывала ближе, росла и меняла свои очертания. Вот она уже — голубь, вот — мальчишками пущенный змей, а вот уже видно, как буравит воздух пропеллер и между крыльев легкой чайки Блерио сидит какой-то рыжий кожаный человек, житель будто иной, не нашей планеты.

Радостно позабыли себя и весь мир больные. Как и доктор, приковавшись глазами к пилоту, они чувство-

вали одну гордость за человечество, дающее вот таких смельчаков, а с ними победу и торжество.

Машет белым шарфом и плачет учительница-неврастеничка; превозмогла свою боль желтая барыня, сияет нечеловеческими большими глазами; повернул к небу доброе и умное лицо румяный Петенька; притрусил из своей комнаты дьякон, как ребенок раскрыл рот, удивляется:

— Герой летит в воздухе.

Проплыл аэроплан над санаторией, перегнул через крыши, вот держит ниже, вот совсем сейчас сядет; под ним кусты, под кустами чернеет широкая придорожная канава. Вдруг пропеллер дернуло, пилота нежданным толчком стряхнуло в канаву, и, дрыгая крыльями, аэроплан сел на землю.

Аггей Иванович вскрикнул и побежал к месту падения авиатора. Вскочил и кинулся следом румяный Петенька, вдруг забыв, что ему незачем тратить силу, пока не сделано выбора. Бежала, спотыкаясь, малокровная учительница, и, задыхаясь, брели как могли и толстый дьякон и желтая барыня. Останавливаясь, чтобы передохнуть, барыня изо всех сил махала своей грелкой, как бы желая пробудить снова жизнь в недвижном пропеллере.

Бежать пришлось с полверсты. Уже было под вечер, но еще ярко белели ромашки, горько пахла готовая свернуться на сон повилика, и в ушах звенел всенощный колокол.

Садилось солнце, и, задержавшись над ним, страшное облако, похожее на ихтиозавра, вытянувшего ящерную голову, стало пурпурным.

Аггей Иванович, привыкший на закате загонять больных в комнаты, подумал было, что им вредно так бежать, когда вот-вот потянется сырость, но аэроплан был совсем недалеко, и, оглянувшись на отставших Петеньку, дам и дьякона, Аггей Иванович решил, что пусть их бегут, пусть их, больные с развинченной волей наберут себе силу в сочувствии смельчаку.

И, больше не думая о больных, Аггей Иванович все свои силы направил к упавшему авиатору, быть может раненному тяжело...

Вся машина со своей передней частью, скрытой в канаве, отчего белые крылья были слегка приподняты, показалась Аггею Ивановичу громадным злым насекомым, присевшим к земле, чтобы лучше кинуться на добычу.

К месту падения уже съехались десятки автомобилей с родными, знакомыми и просто любопытными, сопровождавшими Петрова второго от последней его остановки к цели путешествия.

Заслоняя глаза от поднявшейся пыли, Аггей Иванович пробирался между шелковыми манто в сборках, белыми английскими костюмами, шляпами в перьях и господами, у которых по выпуклому жилету шла в обе стороны золотая цепочка.

У всех этих людей были лица, которым как-то не шло заплакать, а между тем Аггей Иванович невольно заметил, какую свежую дорожку сделала слеза на запылившейся щеке близстоявшего толстяка.

— Федор Сергеевич, Феденька, куда ранен?

Петров выбрался из канавы. Он нигде не был ранен, только страшно бледен и перепачкан грязью. Пока его

щупали, дергали и целовали, он все лил в платок из серебряной фляжки воду и вытирался.

Аггей Иванович взглянул на лицо его, бритое, мелкое в чертах, одно из тех, которые ни за что не запоминаются, и подумал, что это совсем другой человек, чем тот, который почудился ему там, в небе, над санаторией.

Дальнозоркие, чуть косо посаженные глаза Петрова продолжали смотреть вперед, не опускаясь ни на чье лицо, с той злобной упрямой пустотой, с которой он, должно быть, смотрел перед собою во время полета.

Придя окончательно в себя, он рванулся к своему аппарату и, убедившись, что порча его поправима, закричал вдруг неприятным, пронзительным голосом:

— Техника, черт побери, техника и бензину... — И, несмотря на присутствие дам, он стал злобно и неприлично ругаться.

Бритое лицо с мелкими чертами побагровело, жилы на шее напружились, и казалось, вот-вот они не выдержат крику и лопнут.

— Долетишь, Федя, первым, — успокаивал толстяк с бакенбардами, — тут завод и аптека рукой подать, а ты ведь все равно hors concours. [1]

— Да, да, Кочетков сломал ногу, Вировский давно в болотах... — не скрывая своей радости, прервал авиатор, и, очевидно не в силах отойти от самой главной своей мысли, он пронзительно выкрикнул, как недавно ругался: — Тысячи, брат, на полу не валяются.

Аггей Иванович, не сводя глаз с авиатора, вдруг брезгливо сморщился, вспотевшее лицо его выразило

[1] Вне конкурса *(франц.)*.

страдание, и, отвернувшись всем большим телом, он замахал руками на своих больных, чтобы они шли обратно домой.

Но больные поняли восклицание доктора как сигнал, что все уже кончено. Барыня всплеснула руками и упала в траву. Петенька стал сразу каменным. Дьякон, трясясь, сел на землю. Только учительница, помахивая по-прежнему белым шарфом, неслась сломя голову и кричала: «Катáстрофа, катáстрофа!»

Аггей Иванович поймал учительницу за шарф и за руку и, тряся изо всей силы и пугая ее своим непривычно злобным лицом, прошептал:

— Жив он, мерзавец, живехонек!

Потом, выпрямившись во весь свой огромный рост, окинул глазами, как примялась трава под телом упавшей барыни, как недвижно стоял Петенька и колотился в рыданиях дьякон, — схватил себя за голову и простонал:

— Осел... безнадежный, подлый осел!

— Чего вы, ведь авиатор не ранен, — тронула доктора за рукав дама с перьями.

Аггей Иванович открыл лицо, и вдруг, должно быть неожиданно для себя самого, он шагнул к Петрову второму.

Авиатор, ожидая поздравлений, обернулся с самодовольным видом; автомобильная свита его расступилась перед видной фигурой Аггея Ивановича, а он, занеся пред собой волосатые страшные кулаки, забасил на все поле:

— Пр-рохвост... воздушный!

«МАРСЕЛЬЕЗА»

Когда лавочнику Гордею Карпычу прислали из Москвы наложенным платежом посылку, он сейчас же погнал мальчишку за полицейским Сверчуком. Сверчук был приятель Гордея Карпыча, такой же, как и он, любитель музыки, и распаковывать без него долгожданные кружки граммофона было бы не по-товарищески.

Сверчук с утра был на любимом своем базарчике против станции, и так как дело вышло между двумя поездами и его Дунька не торговала, оба сидели рядком на пустом ящике и наперегонку лущили семечки, ставя на заклад карамель «Иру» тому, кто шелуху сплюнет дальше.

— Ой, врешь! — вскрикнул радостно Сверчук, когда запыхавшийся мальчишка передал ему поручение лавочника, и, не глянув на Дуньку, зашагал в лавку, придерживая рукой тяжелую шашку.

Толстый Гордей Карпыч, держа наготове большие клещи, увидя приятеля, заколыхался веселым смешком:

— Дражайшие гости, Сверчук, самоличнейше из Москвы... дьякон Розов, Федор Иваныч Шаляпин...

— Давай я, ты еще их царапнешь, — сказал, бледнея от волнения, Сверчук, взял клещи из белых, пухлых пальцев Гордея Карпыча, похожих на личинки майских жуков, ловко выдернул гвозди и бережно высвободил кружки граммофона из бумаги.

— Боже мой, боже мой! Певица Вяльцева, два Шаляпина, румынский оркестр... — жмурясь, как толстый кот, стонал Гордей Карпыч, — столица, Сверчук, вся столица!

— Дьякона Розова нет, что ж это ты, — сказал вдруг с такой обидой Сверчук, что Гордей Карпыч спустил с лица улыбку и, подгребая к себе кружки, стал озабоченно класть их стопочкой, как блины:

— Десять чернушек, Сверчук, как заказано; тут дьякон Розов, тут он!

— Нет дьякона! — И, отойдя к бочке с солеными огурцами, Сверчук продолжал, горячась: — Не ожидал я от тебя такого афронта, Гордей Карпыч, десять мы их и выписывали... Будучи знаток в музыке, я тебе рекомендовал стоящие кружки, но писал ты один, помни это, — значительно подчеркнул Сверчук, — я должностное лицо, я бы себе не позволил... Да я и забыл, как она называется, сейчас только и припомнил.

— Царица небесная, — неожиданным бабьим голосом пискнул Гордей Карпыч, — ничегошеньки в толк не возьму!

Сверчук подошел опять к стойке, пошарил в черных кружках и, отделив один, поднес его Гордею Карпычу:

— Вот за эту сам ответ и неси, дело мое — сторона, я, братец мой, — должностное...

— «Мар-се-льеза», — прочел с изумлением лавочник, — ей-богу, Сверчук, впервой слышу, должно, в

Москве подшутили аль перепутали. А что ж она, разве того... непотребная?

— Хуже, — сказал все еще недоверчивый и раздраженный Сверчук, — она запрещенная.

Однако сердце не камень, приятели помирились. Гордей Карпыч так жалостно причитал, складывая на толстом животе белые пухлые пальцы, с таким трудом выговаривал незнакомое слово, что пришлось Сверчуку поверить в его невинность. Кружок решили отослать обратно, взамен требуя дьякона Розова.

Агафоклея подала приятелям самоварчик, красную пастилу и лимон; выпили, размягчились, пустили в первую голову Вяльцеву. «Умчи-мся в края...» — выводит Вяльцева, и мечтают приятели. Гордей Карпычу чудится: идет он мальчишкой с покойной матушкой, странницей-богомолкой, идет, простор кругом, вечереет, огоньки табора красным маком цветут, цыгане оглобли вздернули, кулеш варят; у цыган этих и заночуют, а назавтра дальше. Легко, привольно, словно крылатый идешь, и все тебе праздник, все радость.

— Бож-же мой, бож-же, — томится Гордей Карпыч сладкой болью о минувшей свободе, и жалко ему себя, теперешнего, закрепощенного в лавке, оплывшего, старого человека.

Сверчук, красный от чая и от разнежившей музыки, смотрит в окошко на пылающий под закатом лес; скуластое молодое лицо его подрагивает, и поволокой берутся глаза. Припоминаются ему разные барыни-пассажирки, каких за два года своей службы на станции удалось ему увидать, иной раз оказать услугу; видится их походка, в перчатках ручки, духи, кружева, и знает он сейчас, что влюблен он не в базарную Дуньку, а вот

в такую шикарную, и она — в него. Это не Вяльцева в граммофоне, это — шикарная барыня, обмахиваясь кружевным веером, как одна летом в купе, поет ему, Сверчуку: «И будем мы там делить пополам и мир, и любовь, и блаже-енство».

После Вяльцевой переживают каждый по-своему вальсы, марши, «На земле весь род людской». В конце ставят «Дубинушку».

«Мой ве-ли-кий наро-од», — не жалея богатства, как царь, покрыл Шаляпин голосом хор, хрип граммофона, гам улицы. Дрогнул и прослезился Гордей Карпыч, не снес и Сверчук: выпятил грудь, да как хватит заодно с хором: «Эй! дубинушка, ухнем».

— Ах, нет, Сверчук, — говорит слабым тенором Гордей Карпыч, — другой раз ее последней не ставь, так душу всю и расперло... нехорошо к ночи, не уснуть... «Дунайские» вот «волны», — их лучше нет в конце: лад ихний забирает с поверхности, полегонечку, плывешь — ровно в зыбке дите, — ни тебе расстройства, ни жалости...

— Я программочку дома составлю, по номеркам, — обещает Сверчук, — ну, до завтрашнего, до приятного!

И приятели целуются.

Так каждый вечер лавочник Гордей Карпыч и полицейский Сверчук обогащали свою бедную событиями жизнь, вкрапывая в однообразную ткань ее, как великолепие радуги в дождливом небе, волшебные кружки музыки, пробуждая ими все грезы и порыванья своей души.

Но когда кружки граммофона были переиграны бесконечное число раз, а вызываемые ими образы не пополнялись в воображении приятелей новыми, оба из творцов стали просто слушателями и заскучали. У Сверчука радостное чувство через край бьющей жизни

сменило всегда ему нестерпимое ощущение безделья; а Гордей Карпыч, прохладно хваля певцов и оркестры, опять привычно и тяжко стал носить в душе своей всю невыплаканную неудачу своей жизни. И, не умея разобраться и назвать, что случилось, оба просто зараз догадались:

— Надо бы новых кружков!

— Скоро ль пришлют, Гордей Карпыч, дьякона Розова? — спросил полицейский.

И, замявшись, промямлил лавочник:

— Да пришлют ужо!

Сверчук глянул на приятеля и понял, что «Марсельезу» тот все еще не послал.

— Ежели б я — не должностное лицо... — начал Сверчук раздумчиво и вдруг запнулся; припомнил, как урядник еще недавно наказывал ему особое наблюдение за двумя там какими-то: «Без чемоданов приехали, на керосинке обед сами стряпают, в лесу, где подальше, сойдутся, «дела» обделают, «Марсельезу» горланят...»

«Мар-се-льеза», — долго учил примету поднадзорных Сверчук, и понравилось слово, жалел даже, когда позабыл; ан тут слово нежданно само подвернулось.

— Я — лицо должностное, — твердит, сам от себя защищаясь, Сверчук, а уже в пальцах запрещенную чернушку вертит: нацарапано на ней все, как на прочих, слова, видать, французские, — как звучат-то? Должно, на тех барынь шикарных похоже...

— Что ее отсылать-то, Сверчук? — набирается храбрости Гордей Карпыч. — Она лежит — есть не просит, может, когда пикничок состряпаем, в лесу ее дерганем. Кто в лесу слышит?

— В лесу хулиганье всякое, — злобно вспоминает Сверчук поднадзорных, — хулиганье эту саму как раз и горланит...

— Ну, ну, отложим, — покоряется Гордей Карпыч, — приторгую скоро опять на свежий десяток: новых чернушек выпишем, эту, кстати, в обмен.

Человек предполагает — бог располагает; не пришлось Гордею Карпычу скоро выписать новых чернушек. Грянули такие события — до чернушек ли?

Сверчук, озабоченный, но словно повышенный в чине, то метался по станции с красными призывными листками, то нагружал на поезд запасных, то срамил на всю базарную площадь какого-нибудь опоздавшего насчет трезвости:

— Такие ли дни сейчас, чтобы от тебя, такой-сякой, ею пахло?

— Етта старрая пахнет... — божился, пошатываясь, человек. — Всю-то жизнь ее пил, а она штоп тебе сразу... и выдохлась!

Гордей Карпыч в своей тоске и ожирении нездорового человека с трудом понял, что случилось, и пугаясь, что от кого-то ему будет плохо за то, что, зная о великих событиях, он по-прежнему ест, пьет и торгует, — с тяжелым развальцем подходил к каждому поезду с запасными, и мальчик нес за ним жертву: муку, чай и сахар.

Маленькая станция в несколько дней совсем изменилась: на базарной площади то и дело стояли кучками запасные — вчерашние всем знакомые деревенцы, кричали бабы, плакали дети. У самого Гордея Карпыча и в соседней, только что отстроенной лавке — те же запасные, уже с голубыми походными чайниками,

покупали в дорогу припасы; лавочница Авдотья Васеевна, маленькая блондинка с очень толстыми боками, выпиравшими, как подушки, из модной, обтянутой юбки, не поспевая отпускать, смеясь и плача, говорила запасным:

— Уж вы себе сами, родимые, отпускайте; хоть и обвесите, чай, вам в последний!

Запасные, чувствуя себя героями, не чинясь, клали гирьки и долго и внимательно проверяли чашки весов:

— Блинкин и Робинзон, один фунт и с четвертью...

— Господи боже, владычица, — причитала у дверей старушонка, — враг-то уж в Ладоцком, весь ихний флот, пальбу слышали...

— Ежели в Ладоцком — тут ему крышка, рукой взять, что раков...

— Да Ладоцкое ж, братцы мои, озеро, — гогочет запасной, — ну и тетки — образование!

— Поезд везут! — крикнули на улице.

Запасные схватили карамель с весов, стремглав слетели с крыльца, за ними поспешили к платформе провожающие, дачники, торговки с корзинами яблок.

Из-за леса, над макушками сосен, словно выдыхаемый великаном из трубки, толчками всплывал густой белый дым, и слышался тяжкий вздох паровоза.

Молодцеватый Сверчук, кое-кого трогая ножнами черной шашки, вежливо, но твердо прокладывал сквозь толпу путь запасным:

— Расступитесь, господа, дело службы.

Толстая вдова пристава в бордовой вязаной кофте с желтыми пуговицами и хлястиком выше талии, стоя отдельно на приступочке, держала пред собою белый платок с таким решительным и угрожающим видом,

как будто каждый глаз ее готовился не пустить слезу, а вдруг выстрелить.

Откуда-то появилась толпа гимназистов и барышень с французскими и русскими флагами.

— Вот, Лялечка, наши соседи-то труса празднуют, — говорит один рыжий барышне с голубым шарфом, — свою дачу бросили, след простыл, а вывеску «Waldesruh» [1] заменили «Родимой отрадой».

— А наши знакомые из Стендеров — вдруг Подставкины...

Паровоз, покряхтывая, выставляя узкую куриную грудь и словно хлопая себя по бокам, встает перед станцией. Бесконечные вагоны, уходя за дрова, кажутся многорукими, еще не бывшими чудищами: в глубине голова на голове, наружу — защитного цвета руки машут фуражками...

— Ур-ра! — голосит станция, барышни веют шарфами, гимназисты швыряют вверх шапки, старушки крестят воздух, и, приветствуя поезд флагами, поют гимназисты — кто гимн, а кто «Марсельезу». Блестят зубы на загорелых, летних лицах солдат; они уже привыкли к восторженным встречам и с преувеличенной важностью кивают в ответ публике, как кланяется в свой бенефис заслуженный, слегка утомленный артист, и только один, высокий, с рябоватым добрым лицом, стоя на площадке, всхлипывал и, широко разводя руки, как баба, когда загоняет на ночь цыплят, говорил:

— Всё значит тут, всё... и больше ничего!

— Ур-ра! — кричали опять на прощанье; ра... ра, — катится в поле, из поля в сосенник и словно ухает

---

[1] «Лесной покой» *(нем.)*.

с откоса в речку. Паровоз сдвинулся и пошел. Замахали на платформе шарфы, а им из окон вагонов ответно фуражки защитного цвета в руках.

Босой мальчик Сенька, в розовой рубашке, вдруг обезумел от криков, гимнов, солдат, припустился бежать, на ходу прыгнул на подножку вагона и, не зажимая рта, махая трехцветным флажком, сорванным с древка, орал и мчался бог весть куда.

— Нн-у, Гордей Карпыч, и дела... — сказал, входя вечером в лавку, запыленный и красный, как из бани, Сверчук, — дела-то какие! Восемь держав уж воюют, и еще, почитай, столько же к войне готовятся; водке крышка пришла, поднадзорным я нонеча честь отдавал, обои прапорщиками...

— Предпоследние дни, — сказал, вздохнув, Гордей Карпыч, — секира у древа.

— А что, Гордей Карпыч, — подошел к граммофону Сверчук, — продохнуть хоть разок: вставь иглу новую, на чернушку, на ту... запрещенную, она сейчас уже — союзный гимн.

— Поди ж ты! Долежалась, — усмехнулся Гордей Карпыч, поставил иглу, насадил пластинку, смахнул пыль с желтой трубы граммофона и, прижимаясь к ней всей своей жирной щекой, насторожив ухо, чтобы не пропустить звук, он пустил «Марсельезу».

И Сверчук в ту же минуту почувствовал себя на коне командиром несметной армии, ведущим полки в наступление, и, когда попадались слова, похожие на русские, он выкрикивал их, как приказ к атаке:

— Лапа-три! Тир-они!

ЧЕМОДАН

I

С севера на юг как снег на голову свалилась Марья Ивановна с сыном Колей на последний неуплотненный диван своего кума.

Два дня ели непрерывно, приговаривали:

— Это тебе не жмыхи, не вобла, не конская голова.

— И профессора хороши, ведь открыли — «съедобны дикорастущие...» Перечисли-ка, Коленька!

— «Одуйплешь, пустодуй, молочайник, попово гумёнце, кулибаба и прочее...»

— Нет, пусть только голод, — как бы изумляясь на то, что вынесли, тихо плачется Марья Ивановна, — а то градус мо-ро-за! Это не то что градус тепла: тогда спишь хоть и в шубе, да носу безвредно...

— Здесь поживете, нашей браги хлебнете — тоже не мед!

Кум — черный, как черт, брови дугастые, и словно не брови, а сами усы, не говоря плохого слова,

переехали из-под носа да над глаза, а под носом пусто: гуляет тут досиня бритва.

Рассердился вдруг кум; плоха москаливщина, да и тут непорядок:

— Допустим, сейчас блины, так это мы граммофон просвистали — в деревне мода на машинку, «що сама грае да спивае», на прочее уж не глянут, по два самовара у них: на чай и на кофий — разжились...

— Боже ж мой, до чего нынче хвостят перед возами, — вступилась няня. — И учителя и дамочки в грязи топчутся, а *сама* на мешках сидит — пава. Гуськом, словно в царство небесное, идут, над головами добро подымают, а она это: не треба, не треба! А что *поцикавее,* глазом нацелит да чрез людей кнутовищем: «Ось це!» Смотреть жалость. Другой — белый как лунь, в очках, по ученой части, а как порскнет, ровно заяц в норе, к мешкам этим, а за картошину и кресты свои сыпет и медаль заслуженную.

— Хвостить начали — деньгам, значит, вера. — Кум вытащил бумажник. — Правительство обсиделось, три месяца не бахкают, а то не угодно ли: чертова пропасть денежных знаков и ни одному нет хода!

И кум быстрыми руками, как фокусник колодой карт, мелькнул перед Марьей Ивановной и петлюровской белой, и державной гусеницей, и струликом, и дробными метеликами, и деникинской боярыней, и носатым Костюшкой.

— А правительство-то у нас за три года шишнадцатая, — почему-то с гордостью пояснила нянька. Человеку иной раз все равно чем, только б хвастнуть.

— У нас Ванечка от орудия говорить обучился. А ну, покажи, Ваня, крестной перемены правительства!

Ваня, большеголовый хлопчик, сидя у няни на руках, откинув голову, запустил палец за щеку:

— Ж-ж-ж-пу!

И, выпучив глаза, вдруг изо всех сил:

— Тра-та-та... та-та...

— Пулеметы! — одобрил отец.

А Марья Ивановна вдруг сникла: пайков тут нет, пока должность получишь, чем жить? Неужто вещи продать? Ведь последнее — чемоданишко. Да и тот добывать еще надо.

— На пересадке чемодан у меня ведь до места не приняли, — говорит она вслух. — До местечка квитанцию дали, дальше какой-то батька с повстанцами путь перерезал. Самой ехать не хочется, не наймете ль кого?

Марья Ивановна нащупала рукой тайное место, где зашита была вместе с деньгами квитанция, побледнела, метнулась в другую комнату, сбросила платье, белье — перебирала, трясла, щупала — пиши пропало. Вырезали — одни нитки болтаются.

Кум утешал, как умел:

— Безрассудны приверженцы железнодорожного передвижения. Границы карманов, своего и чужого, давно — пережиток, да и чертова давка такая, и не хочешь — сопрешь. По логике вещей чемодану забвенье и вечный покой.

А Марья Ивановна вдруг ростом больше и как орлица за птенчика:

— Опять Коленьке зимой мерзнуть! Найду чемодан!

— Да поймите, по логике...

— Ничего теперь нет по логике!

— Оно себе так: профессор математики за припек — хлеб печет. Другой бедняга у вас в столицах без пайков пухнет, а, между прочим, пишет: председатель комбеда изловчился паек выудить, ну, как бы вы думали, кому? Солитеру! Так и так изложил: червь мое все съедает, дайте вдвое. Не разобрали, выдали и ему и червю. И гнусное беспозвоночное жрет, как граждане.

— Ничего теперь нет по логике, — причитает Марья Ивановна; уже в ней ни шума, ни гнева, одни слезы так и каплют. Сама маленькая, лицо мелкое, взглянешь — сейчас позабудешь; лицо как у всех, на голове порыжевший от времени кружевной хохолок.

— Ничего нет по логике; у нас бабенька, царство небесное, ангел была, всю-то жизнь для других, и к смерти готовилась, чтобы забот о ней не было: место куплено, воздух от гроба господня, и венчик, и все припасла. Одна была воля: хоронили чтоб с белыми, а не с черными лошадями, словом — первый разряд! Кому какое дело, бабенька мухи не обидела, могли б люди уважить. А вышло-то как по логике по этой? Умерла бабенька на плите: изредка кухню топили, забралась в кои веки согреться — и кончилась. Три дня по хвостам бегали с Коленькой насчет ямы да гроба, какие уж лошади? Раздобыли бумаги, да тут же и вытрясли из мешков, в голове-то ведь с голоду кружит, вниманья прежнего нет. Вернулись к последней печати: «Наверно, нас помните, разрешение сейчас давали». — «Как же, говорит, бабушку хоронить». — «Так украли бумагу сию минуту и деньги украли», — грешу для солидности. «Нет директив, — говорит печать, — начинайте сызнова!» А хвост к вечеру уж

на улице — сыпняки сотнями мерли. Сунулись мы, никто не пускает — свои покойнички залежались; очередь, кричат, очередь... Еще трое суток валандались, бабеньку в холоде заморозили. И ведь и на кладбище ей удачи не было: и там в хвост попала, неделю наруже ждала. Так гуськом гроб за гробом и ждет, а собаки их нюхают. Вот и первый разряд!..

— Значит, плюньте логике в самые очи и валяйте в местечко, а я вам бумагу за всеми печатями раздобуду, — решил кум. — Перепишите-ка вещи...

Ни шума, ни гнева в Марье Ивановне, в комочек сжалась и, поди ж ты, — надеется.

Вещи переписала и для крепости отправилась в свой любимый собор помолиться. Глянь, а на воротах доска новая, словно вывеска:

«Св. София Украиньска».

И под доской два человека: украинец и русский; и ведь о чем спорят?

Об этой самой логике.

— Это ж ведь не мать многочисленных именинниц, не семнадцатое сентября, а Pistis Sophia — понятие отвлеченное, премудрость божия; это украинизировать нелогично, нельзя.

— Як це не можно, як можно?

— Так мы напишем: Логос Московский.

— А вы себе...

— Где же логика?

— А на що вона вам зробилася?

«Это мне указание, перст, — обрадовалась Марья Ивановна, — непременно надо ехать, а логика эта — бог с ней!»

II

И кум не зевал; добыл бумагу, от кого было надобно и ненадобно, и в один дождливый день, благоприятный, как говорится, урожаю и неприятный обывателю, Марью Ивановну кум протиснул к вагону.

— Знакомая старуха в местечке, Маринчиха, навестите ее, коли вспомните, про сынов узнайте — два у ней сына.

Поезд, как роем, обметан был тучей буферных, крышных и так себе пассажиров, висевших простодушно из окон. Кум изловчился, подхватил легкую, мелкую Марью Ивановну, да и метнул ее, словно бомбу, в какое-то спущенное на минуту оконце.

Едва канула Марья Ивановна во тьму, стекло вздернулось кверху, и за ним проступили сердитые, густо насаженные одна над одной, словно отрубленные, головы и медленно отплыли вдаль от вокзала.

К утру притащились в местечко. Марья Ивановна тотчас к багажному.

Просунул заспанную голову в оконце:

— Квитанция?

— Квитанцию, представьте, украли, но тут бумага, вот печати, Че-ка...

Человек и не глянул, протянул мимо Марьи Ивановны крепкие пальцы.

— Печати от Че-ка, — еще пискнула Марья Ивановна.

Длинный ус только дрогнул:

— Езжайте себе со своими печатями до дому!

— Но в чемодане все зимнее, Колино и мое...

— Езжайте себе до дому!

Хвост продвинулся, Марью Ивановну оттерли.

Совсем было светло. Сейчас за станцией, куда она прошла, шелестели тополя, белел чистый домик, под липами пили чай. Золотом горел на совесть чищенный самовар; завидев его, рябая большая курица с пушистым выводком понеслась к столу клевать крошки.

Успокоилась Марья Ивановна; опять на свое: бог и курицу промышляет. Разыскать надо старуху Маринчиху, передохнуть у нее, а дальше видно будет.

Тополевой аллеей идти в местечко; по сторонам зеленый лужок, вдоль дороги — хаты с огородами да с вишняком. У плетня на широкой лавке сидит дед с внуками. В церкви благовест к ранней. Не спеша снял дед шапку, не спеша кладет крест.

Девчонка гусей выгнала; посчитала Марья Ивановна — десяток. На севере гусь — что добрый прежний рысак сто́ит, сказать разве девчонке? А то она, глупая, гонит их, ровно прежних, рублевых: рот разиня, глаза ягод ищут...

А весело на гусей, на девчонку; а в луже-то, в луже — ну, право же, свиньи — две матери с поросятками.

— Совсем рай у вас, — говорит дородной дивчине Марья Ивановна, — и гуси и поросята.

— Свинья опоросилась.

— Хиба ж не знаете, что свиньи поросятся? — усмехается дед.

— Да то ж когда было, теперь все другое...

— Весной свинья всегда поросится, — говорит дед, — оно так было, оно так и будет!

Села Марья Ивановна к деду на лавку.

— Рай, говорю, тут у вас, дедушка, и не уйти б.

— Куды же идти, когда скрозь люди бьются, всем свою смерть ждать докучило... А чего бьются?

— А правда, как думаете, дедуся, чего люди бьются?

— На что мне думать, старому, — уклоняется дед и опять, глядя на свинью, разомлевшую под тяжестью розовых поросят, будто укоризной кому говорит: — Оно так и было, оно так и будет!

— Где тут Маринчиха, недалече? — припомнила Марья Ивановна старуху кума.

— А недалече, — указал дед за озеро, — она редьку садит, гарная у ней редька...

И он рассказал, как пройти.

III

Озерко чистое такое, словно дно у него подметено, песочком посыпано и кто-то играючи голубой, как небо, воды напустил. И лодка с рыбаком и зеленый аир вдоль берега; недалеко отступя, лепятся друг к дружке полукружьем городские дома, все как один белые, голубой ставень, садочек с махровыми мальвами.

С детскую голову цветы: и желтые, и розовые, и такие, как жар, ну, как червонное монисто у идущих в церковь дивчат. Тут же и базар. Сидят на рядком сложенных кирпичах, сели прочно, надолго. Тут и торговля, и клуб, и живая газета. Заграничного любопытства нету, свой, тутошний интерес.

Окликнет тетка тетку: что в садочке, как огородина, на что уродило, что червь съел, что растащили хлопцы?

«Может, и не знают, что на свете творится?» — дивится на здешних людей Марья Ивановна, но вспоминает, что и дед так же прочно на лавке сидит, на свинью смотрит, а думает... Кто ж его знает, что думает?

Мелькают вывески: «Совецкий портной»; под «Голярней» приписка мелом: «Буржуев не стригу!» На базаре при кинематографе большая звезда, а под ней — «Отдых красного пролетария».

— Что это, всегда у вас тихо, никто через вас не шел, не стрелял? — не утерпела, спросила теток Марья Ивановна.

— Как так не шли? — встрепенулись, словно от обиды, тетки — и ну взапуски: — Все тут шли...

— Еще говорят, ктось пойдет!

— А нам што? Нам ничего. Побахкают себе на вокзале, добре всюду чутно, и пойдут себе дале...

— Убьют, кому смерть пришла...

— У нас инженер, спасибо ему, со злости, что город хабары не дал, взял да за две версты и отвел вокзал, да еще к городу раком поставил. Лаяли того инженера немало, однако вокзал своего часа дождался.

— А много народу убили?

— А есть-таки, есть. У кого еще на войне забили, у кого теперь, на свободах. Живем себе как люди живут.

— А как тут к Маринчихе?

— А там вон, за рогом, свернете — и Маринчиха. Она редьку все садит да сынов своих ждет. Добрая у нее редька; а сынов не дождется Маринчиха.

— Один у ней белый, другой червонный; может, сами один другого забили.

— Мать до смерти ждать будет!

— Известно, мать.

IV

Марья Ивановна через калитку, скрытую пахучей жимолостью и жасмином, вошла в палисадник к старухе Маринчихе.

На крыльце в расшитой рубахе дивчина грызет семечки:

— Они чай пьют в садочке, проходьте себе...

Балкон, как японским занавесом, заткан частой тугой бечевой; по ней от земли на крышу змеятся вьюнки. Роса горит в глубоких чашах нежных цветов: белых, розовых, лиловых.

— Садитесь, чаю выпейте, а может, и молока внесть? — обрадовалась ласковая Маринчиха и поклону из города и незнакомой гостье. Мимоходом, идя в кладовую, указала на тяжкие ветви сливы, пригнутые до земли. Так и гнет их: урожайные сливы это лето!..

Вернулась, поставила варенье в пузатом горшке, и масло, и знаменитую свою редьку: «жемчужина огородов».

— Про вашу редьку уж слышала, — сказала Марья Ивановна.

— Это ж дед, верно; я ему на семя давала. Одна отойдет, другую сажу — сынов своих жду: до нее оба охотники.

В старом лице, как свет за прозрачной картиной, вызывающий к жизни краски, такая проступила печаль, наметились круче морщины, дрогнули губы.

— Они ведь близнятки у меня, — говорит тихонько Маринчиха, — а так не по правилу вышло! Близнятам, учат старые люди, бог одну душу дает, а они — брат на брата. Белые наше местечко возьмут — ищу своего среди красных; красные возьмут — я у белых, покойников. Сейчас еще не ходила, верст за пять лежат, когда ветер — дух доносит. Много неприбранных, говорят, а уж неделя, как тихо. Горе мое — ноги колодами, пухнут. «От сердца у вас», — сказал доктор, не пройти столько верст. А вот завтра пойду, возьму лопату и пойду, хоть чужого зарою. Все легче...

Посидели, помолчали.

Рассказала Марья Ивановна и про свое, хоть и не такое, конечно, а все-таки: последнее ведь. И где Коле зимнее взять, когда чемодана не сыщешь?

— Да чего же ему пропадать? Он, говорите, в багажном.

— В багажном.

— Ну, а там и Микола и Степан Петрович. Обедать только до дому ходят, хата близенько, а жинка у Миколы — хозяйка...

— Да без квитанции не дадут!

— Как так? Чемодан ваш, а что за важность квитанция? Кто письменный, тот и сам напишет. — Вдруг, глянув в просвет между вьюнками, Маринчиха плеснула руками, словно дирижер оркестра, и, тяжело перевалив со ступеньки в сад, закричала: — Хроська, лядащо, нажени хлопцив з сливняка!

Бурей пронеслась Хроська; алая лента мониста огненным змеем забилась по белой рубахе:

— Тикайте, тикайте...

Тяжкими мешками хлопнулись о землю хлопцы и — мах через плетень. А Маринчиха снова кроткая, в старческой мудрости предваряя события, сказала:

— Нехай себе и урожайные сливы, а не достоят. Так зелеными обнесут их хлопцы. А за чемоданом, серденько, не журитесь: раз он ваш, так он никому тут не нужный. А какие теперь правила? Никаких правил нет: что захочет человек, то и сделает. Вы себе познакомьтесь с багажным, чайку с ним выпейте...

V

Вечерело, когда Марья Ивановна шла опять на вокзал. Опять чистое озеро, только базара уж нет. На вытоптанном кругу одни в кучку сложенные кирпичи. Придут завтра опять с молоком, с зеленью, снова сядут на привычное место, лениво перекинутся словом и до полдня будут тихонько поторговывать.

Такое прочное все здесь, кем-то ладно, добротно слаженное — трава ярко-зеленая, озеро и к вечеру не мутнеет. Определенным красно-желтым кружком ложится на гладь его солнце. Плывут степенно, по заданной кем-то линии гуси, и почти по-прежнему сытые ребятишки, радуясь чистому мягкому дну, не плескаясь, шаг за шагом, медленно идут в воду.

Вдруг подул ветер и донесло... сладкий тошнотный дух. «Много неприбранных», — говорит Маринчиха. Припомнила Марья Ивановна свинью с поросят-

ками, и базар утренний, и озеро это вот чистенькое, — и в пяти-то всего верстах, может, оба сына Маринчихи, может, как раз брат брата... Ну, как этому всему вместе быть?

Маленькая головка у Марьи Ивановны, и вся она такая мелкая, ничем не отметная, только хохолок кружевной на реденьких волосах. Думать ей — мука.

А над белой дорогой, убегающей в поля, где последние, отступившие бились, какой закат! Не прозрачный золотой воздух, а какой-то сплошной, словно медный, ярко начищенный таз. Непроницаемая желтая стена восходит кверху и на ней, как вырезанные, наклеены почти черные очертания трех косматых собак. Не по-собачьи поджались, присели на задние лапы, а передними врылись во что-то большое, раздутое.

Дрогнула Марья Ивановна, а идет, не минует. Палая лошадь с обглоданной мордой, и собаки какие-то не собачьи. Не отрываясь, роются в падали и, осев, как тигры, на задние ноги, рычат жадно и хищно. По дороге навстречу две женщины: одна высокая, другая пониже; издали кажется — они ссорятся, вот-вот подерутся: одна руками вскинет, кричит, другая за руки ее хватает, и та вдруг заплачет, тонко так, жалобно. Дорога белая, женщины черные на ярко-желтом, лощеном небе, — смотреть тяжко. Вдруг остановились, почти поравнявшись с Марьей Ивановной, дошла она и тоже стала как вкопанная. На большой дороге, во всю ширь, плоскою, противною лужей стояла кровь.

Высокая женщина вдруг как-то рухнулась рядом с лужей на землю и закричала таким нарочным, пронзительным голосом:

— И здесь убили! А-а...

— Встань, Сонька, заткни свою глотку, — хрипло увещевала, словно лаяла, подруга, — назад не воротишь, пойдем, запьем, забыть надо...

— Тебе можно забыть, твой целый; в гроб положила, крестом покрыла — и есть он опять. А мово-то, бо-оженьки, лю-юди добрые...

Она стала на колени и, кланяясь и как-то округло и нежно забирая по воздуху руками, будто делая какую-то условную фигуру, заголосила тоненько, нестерпимо:

— Ма-амоньки, боженьки, мово-то-мово — псы обглодали! Собирала его — не собрать. По рученьке, по колечку своему признала. Ой, головку томит, ой, я б скрылася!

И, сдернув платок с плеч, она укрутила им голову и легла в белую пыль перед лужей крови.

VI

В багажном отделении, верно сказала Маринчиха, ужинали.

— Приятного аппетита, — пожелала Марья Ивановна, — а кто здесь Степан Петрович?

— Я самый, а чего вам треба?

Это был тот багажный, что и не глянул, когда Марья Ивановна просила дать чемодан без квитанции.

— От Маринчихи вам поклон!

— У нее редька гарно родила — «жемчужина огорода».

И здесь знали, все знали про редьку Маринчихи.

— Чемодан у меня здесь, — говорит, осмелев, Марья Ивановна, — чемодан застрял, уж дня три, верно, будет...

— А, так вы та, что без квитанции? Без квитанции ничего не выйдет! Тут в каморе столько чемоданов понаперли, что человек и с квитанцией придет, очи вытаращит, а своего не найдет, а без квитанции — одна хвороба.

— Сейчас все такое необыкновенное, — твердит свое Марья Ивановна, — может, и чемодан я найду, право. Пустите взглянуть в кладовую!

Степан Петрович нахмурился, стал вдруг начальником, сказал строго по-русски, с сильным гаком:

— Кладовая при багажном отделении — учреждение официальное, и вход посторонним лицам строго воспрещен.

«Помяни господи царя Давида и всю кротость его...» — про себя думает Марья Ивановна, а вслух с горя несет уже невесть что, слышит себя и дивится:

— Это я посторонняя? Да я вам поклон от Маринчихи принесла, да мне и город ваш нравится, и в озере вашем я чуть не искупалась.

— Ставок у нас первый сорт, и карасей в нем... — сказал вдруг, осклабясь, Степан Петрович. — Микола, не пойти ль до свита с удкою?

— Куды же карась теперь потребен? — отозвался с презрением Микола. — Карась — путящий в сметане, и не так, чтобы только сверху, а так, чтобы и хвост потонул. Да еще житный хлеб до карася и не пасует, карася надо есть с паляницею.

— Вот вы здесь как! Разбираете еще, с каким хлебом есть! — И рассердилась маленькая Марья Ива-

новна, хитрости все позабыла. — А хотите вовсе без хлеба, на жмыхах? Да не на путевых каких-нибудь, а на конопляных, которых и кабан без размола не сгложет. А мы еще кооперативу спасибо сказали, потому что без этой жмыхи извольте-ка день в день одну зелень: слыхали про дикорастущие съедобные растения? Слыхали — одуйплешь, пустодуй, молочайник, попово гумёнце, — хорош борщ!

— О боже ж мий, що це люди претерпляють! — подпершись кулаком, сказала дивчина.

А Микола, здоровый, плечистый, щеки словно крашены бураком:

— Э, у нас такого бурьяну хоть убей есть не будут. У нас известно: квасец, цибуля, часнок, крип, квасоля... да еще панские выдумки — цветная капуста, ну, я в ней никакого смака не вижу.

— Ну, пусть себе голод, — завела уже смело шарманку Марья Ивановна, — а холод-то! Шкапы, стулья спалили, как татары сидим на корточках, дрогнем. У вас думали отогреться, а чемодан не дадите, и здесь пропадать. Все добро в чемодане...

— Микола... Ни, я сам!

И Степан Петрович, почему-то тронутый бедами Марьи Ивановны, встал из-за стола и, побрякивая вязкой громадных ключей, пригласил:

— Идем со мной в камору; может, такое ваше счастье, что чемодан ваш найдется.

— Да их там до бисова батька... —начал было Микола.

— Непотребна ваша рецензия, Микола... — оборвал Степан Петрович и провел-таки Марью Ивановну через рельсы в огромные двери сарая.

Как вошла Марья Ивановна в кладовую, как натиснулись на нее ящики да корзины, где тут думать свой чемоданишко вызволить?

Пропало дело; знай одно твердит, как заводная, уж без всякой надежды и смысла:

— Найди, господи, ну, найди...

А Степан Петрович нажимает:

— Швиденько, а ну!

Крутится Марья Ивановна, трепыхает на редких волосах кружевной хохолок, и — подумайте! — чемоданишко. Тут как тут, в стороне, не загруженный, приметы налицо: сам в клеточку, замок на кольцах, бок выдран, подштопан.

— Он!

— А коли он, берите себе...

Схватилась за ручки чемодана, и Степан Петрович вдруг потемнел: не по нраву что-то пришлось, поспешность ли Марьи Ивановны или что другое, — не дает. Руку отвел.

— Погуляйте себе, придите ночью — получите.

Марья Ивановна руки сложила:

— Да уж выдайте вы сейчас!

— Що? — Степан Петрович вспыхнул и опять стал начальником. — Хиба же вы не знаете, что багажу без квитанции давать не можно. И кладовая не казенное учреждение, вход посторонним лицам воспрещается. Да что с вами размовлять, у меня дело...

И, выйдя с Марьей Ивановной за ворота сарая, он щелкнул ключом громадного замка и пошел себе в сторону.

Не пошла гулять Марья Ивановна, села под тополями покорная, терпеливая — до утра сидеть будет, высидит чемодан.

Луна бежала по небу, обвитая легкой венчальной фатой — сквозистыми облаками, а дивчата пронеслись куда-то с хлопцами, стуча монистами и каблуками.

Прислонилась к тополю Марья Ивановна, дремлет; кто-то тяжелый сел рядом, затянулся, сплюнул и вдруг тронул легонько за руку:

— Чего же чемодана не взяли?

Степан Петрович.

— Да вы сами мне не дали.

— Як це не дал? — ухмыляется. — Ваш чемодан, так и берите свое. Ми-ко-ла, — прогудел он в гущу защитных рубах, — Микола, выдайте чемодан, они опознали!

Марья Ивановна бегом за Миколой — и откуда сила: с ним вместе тащит в багажное.

— Степан Петрович, проверьте вещи, все печати под моим показанием.

— Непотребны нам ваши печати, — и, не глядя, отвели прочь бумагу короткие крепкие пальцы. — Скажите сами, что у вас там цикавого, по-вашему — дорогого.

— Ну, шуба черная с воротником.

— Микола, гляньте. А спод какой?

— Драная подкладка, знаете, не поспеешь чинить.

— Спид дуже подертий, — удостоверил Микола.

— То це и ваше, забирайте его... а марка?

— ?

— Треба марку, та гербовую.

Ахнула Марья Ивановна. Полночь, какая тут марка? Поезд вот-вот подкатит: его прозевать — новые сутки на станции, а то и неделя и месяц, — такое сейчас время.

А Степан Петрович, как дятел, свое: эта бумага официальная, на официальной бумаге полагается расписаться через марку. Она и недорогая, марка, всего пятьдесят копеек.

— Где же это ночью сыскать? — плачет Марья Ивановна. — Вот двести, триста тому, кто купит завтра и налепит, отпустите вы меня с этим поездом.

Степан Петрович презрительно глянул на дрожавшие в руке Марьи Ивановны керенки, хлопнул по столу крепкой ладонью, сказал:

— До официальной бумаги всегда нужно марку в пятьдесят копеек. — И, не обернувшись, такой ладный, сбитый навеки крепыш, топая добротными сапогами с подковами, пошел в свою хатину.

— Монолыт, — гордясь начальником и ученым словом, сказал ему вслед Микола. — Сказав — зробив!

Неживая вышла Марья Ивановна на крыльцо вокзала. Луна в небе стояла сейчас такая яркая, такая же круглая, как днем было солнце. И небо ночное, как дневное, было здесь без облачка, нежно-зеленое. Тополя и парубки с дивчатами — все словно в подводном царстве в этом покрове тихого зеленоватого света.

Звезды проступили какие-то крупные, одни низко свесились, к земле тянутся, другие над головой вспыхнули — ну, в такой глубине смотришь и тонешь — ничего помнить не хочется. Загляделась Марья Ивановна, чужое горе, свое горе забыла и чемодан тот несчастный...

Ее, маленькую, легкую, всю втянула в себя глубина эта с звездами. Есть отдых каждому человеку.

И вдруг над ухом повелительно:

— У него спытайте. Знакомый человек, коммерцийный.

Вздрогнула Марья Ивановна, вскочила — опять он, «монолыт», Степан Петрович. Длинный ус крутит, совсем добрый. Смотрит на Марью Ивановну, что с нее взять? Хочешь — с кашей ешь, хочешь — в ступе толки: покорная.

— Слухайте, у вас, верно, есть гербова марка?

А коммерцийный человек веселый:

— И почему же нет, если да!

И тут под луной предлагает на выбор какие ни на есть разновидности.

Марья Ивановна обмозговать не поспела, как снова она в багажном отделении, за столом против монолита, и такой его памятный короткий крепкий палец, упершись в страницу отчетности, указывает, где лепить, что писать.

— На марке и распишитесь. Как фамилия?

— Федорова.

— Хва или хве?

— Хва? — озадачилась Марья Ивановна. — Ах, это вы про фиту. Так ведь по новой орфографии фиту отменили.

— Как для кого...

Вдвоем с Миколой Марья Ивановна сволокла чемодан в хвост отъезжающих.

В багаж она его больше сдавать не хотела.

ИЗ СМОЛЬНОГО

I

В день, ничем не отмеченный в крестном календаре, в институте, с подъезда родных и с подъезда графини, взвился флаг, и не трехцветный, а ихний флаг, красный. Но девочек с места не тронули. Уже поздно осенью какие-то не совсем штатские пришли с бумагой о выселении.

— Футуристы, — догадались девочки, — у тех на портрете вместо двух глаз всегда один за ухом, а у этих — погоны с плеч вдруг сползли справа на локоть.

Сколько ни плакали, никто не помог. Почетные опекуны все как сквозь землю провалились. Были слухи: в белых камергерских панталонах и при звездах давно уже свезли их куда-то.

Братья, кузены, моншерики, которые еще здесь, такие надели кепки, так сразу сделались вроде «этих», что многие девочки приняли революцию.

Хорошо тем, кого разобрали домой. А сестрам Тате и Аллочке — им куда? Жѐнихи Коко и Куретов бежали,

тетенька умерла, и сейф ее стал рабоче-крестьянским.

Если бы не Зельма Карловна, они бы тоже: взяли бы и умерли. Но Зельма Карловна — вдруг — такая божественная. Достала бесплатный проезд на юг и на какое-то там помещение. Всю дорогу учила, как надо жить. Из этого даже неприятности вышли. В вагоне битком набито, а Зельма Карловна в толпе очень любит, чтоб ее считали за русскую, и говорит непременно по-русски. Каждый свой совет так начинает:

— Я вам говорю... wie eine Mutter, по-материному...

А контроль, быстрый, военный, как обернется, как зыкнет:

— Пожилая гражданка! Чему молодых учите? Новое правительство у нас не одобряет, чтоб выражаться...

А весь вагон на контроль:

— Да вы и сами ничего, кроме как выражаетесь...

А контроль вагону:

— Прошу не относиться...

И долго они этак-то...

Девочки плакали, а Зельма Карловна уже без перевода, на одном немецком, бранила и Россию и русских.

И на юге Зельма Карловна сирот не бросила: уплотнились в комнатушке вшестером, и сейчас записочки, цветочки, журфиксы...

— Всех пристрою... — сулит Зельма Карловна, — нос привесил, чего не весел. Со мной никто не пропадет... Я огонь, я вода, я медная труба... все умею...

На фабрике, что ли, когда-то служила, в классных дамах скрывала, а теперь фабрики в моде, чего ей скрывать!

Прежде, бывало, только в саду в уголочке, от надзора подальше, споет девочкам из оперетки и ножкой покажет: дрыг, дрыг, но сейчас глаза к небу, и все хором: «Hoffnung» [1] Шиллера.

Вот беда — недолго длились журфиксы. Как-то, в течение одного вечера, Зельма Карловна сама вступила во вторую молодость с латвийским подданным и замыслила в Латвию. Трех девочек она успела пристроить на очень хорошее продовольствие, конечно — одним советским браком, «покуда это правительство». Но вот Тата и Аллочка остались ни с чем.

Напрасно трудилась с ними Зельма Карловна.

— Мелкий рыбка делает тоже сладкий уха. Хорошо один синица тут, чем один журавель там. Старые женихи zu Grunde gegangen, [2] берите советских.

Сестры не сдавались. Шли толки о скорой перемене.

Прощаясь, Зельма Карловна окончательно со слезами наставляла, и совет ее напутственный вот:

— Шейте мужское белье. О, по заказу мужчину узнать можно без ошибки. Numero eins: [3] он несет целую штуку и не знает, в ней сколько аршин, и не знает, что ему надо, и стоит совсем глупый, и просит: шейте мне сами знаете — что, такому сейчас белый шар, такой хороший в мужья. И не скупой и смотрит всегда через пальцы.

А Numero zwei [4] — мужчина, всегда знает, сколько в штуке, и фасон, и какие швы. Он и лоскутки просит

---

[1] «Надежда» *(нем.)*.
[2] Погибли *(нем.)*.
[3] Номер первый *(нем.)*.
[4] Номер второй *(нем.)*.

назад. О, это feiner Schelm,[1] очень способный для удовольствия, но такой женится поздно и только на богатой...

Numero drei[2] — тоже мужчина. Такой несет три старых, чтобы шить одно новое. Он хозяин — очень полезный. Но даром такой не делает, а надо его обхитрить: обещай и не дай. Надо брать — цап, как кошка, und gleich[3] вольтижирен, вольтижирен...

И Зельма Карловна всем полным станом изобразила упархивающую от преследования бабочку...

II

Уехала Зельма Карловна. Тата с Аллочкой нарисовали на голубом небе белую сорочку, подписали: «И из старого новое». Повесили на улице под огромной подошвой, прочно прибитой с прошлого года; на подошве стояло: «Каждому, при этом спешно, подшиваю валеные сапоги».

Размышляли сестры о том, стоит ли вырезать указующий перст в их квартиру, но решить не поспели.

Вдруг на улице опустело; на тяжких грузовиках, страшно сверкая черными глазами, носилась с громом грузинская охрана и гнала граждан с улицы. А граждане, смекнув о смене правительства, памятуя одну ненасытность домашних «буржуек», жадно кинулись расхищать «агитацию» для топки. Наперебой срывали пла-

---

[1] Продувная бестия *(нем.)*.
[2] Номер третий *(нем.)*.
[3] И сразу же *(нем.)*.

каты, рвали на части фанерную подбойку, по кускам тащили «Красного командира» и — «Одна вошь хуже десяти социал-соглашателей».

— Один вошь экспроприации не подлежит, — шумела грузинская охрана, сверкая белками. — Нэт красный вошь, нэт белый вошь...

— Плакат бессменный, — соглашались граждане и, смеясь, тащили по улицам до того увеличенного паразита, что издали виднелся он пароходом. Расхитили и деревянный мосток, перекинутый на главной улице так, что мешал он движению, но тем более льстил восхождению оратора.

Через два дня на месте плакатов — везде приглашения: гусары, уланы... Зовут на обед... И банкет, и парад, и аксельбанты, и музыка. А в саду на музыке, под старинные «Дунайские волны», Тата и Аллочка встретили своих женихов, Коко и Куретова...

Они были с полновесными дамами. Коко — с брюнеткой, Куретов — с перекисеводородной, кудри — чесаный лен. Дамы с сознанием власти и прочного навыка тяжко висли «под ручку».

— Бобелины полночные... — сказала злая Тата, а младшая, Аллочка, как вскрикнет: — Коко!

Повернулся, узнал, вспыхнул. Подошли оба, здоровались, красные, молча. А бобелины вслед:

— Познакомьте и нас.

Коко вписал в книжку адрес и сказал, целуя Аллочке ручку:

— Сегодня вечером буду.

А Куретов поцеловал ручку Тате и сказал то же самое.

Ну, что же: они пришли. Не успели притворить двери, как в открытом окошке мелькнули два белых платья, и капризно сказал голос:

— Если вы будете долго, мы тоже уйдем.

Тата прищурила на женихов глаза, как от солнца:

— Вы не свободны — зачем же пришли?

Коко был длинный, в обтянутых рейтузах. Куретов тоже в рейтузах, но коротенький и такой ловкий, что ему целый день говорили: «Куретов, почему вы улан, а не летчик?»

Куретов спустил на окно занавеску, придвинул стул к Тате, и сразу они о деле, оба, хоть молоды, а деловые. Коко взял Аллочку под руку, и они шептались в углу.

— С предрассудками кончено и у нас, — сказал Куретов невестам, — как прежде, не лжем; тем более вы видели, дамы у нас, скрывать нечего, приручились... Однако иначе нельзя: две жены — норма. Одна — походная, другая — оседлая... С оседлой — браком законным. Но от церковного мы не отказываемся, а это ведь не советский какой-нибудь, подумайте. Хотите, завтра?

— Завтра и я готов, — отозвался Коко.

— А как же походные?.. — Тата не кончила.

Куретов понял.

— Видите ли, неровен час, наше дело военное...

— Дурак, — через плечо послал Куретов. — Видите ли, на случай, так сказать, долгих маневров, вообще операций, ведь не тащить жену с эскадроном... время... видите, военное. Но законной женой и, заметьте, княгиней останетесь вы.

— Те у нас маргариновые, — объяснял Коко, — для продления рода и титула — черта с два!

В окно настойчиво застучали.

Куретов вскочил бешеный:

— Мы их сократим, Коко. Марш!

Оба кинулись к двери.

— Какая наглость!

Тата металась по комнате, Аллочка плакала.

Женихи скоро вернулись, но всего на минутку. Их, оказывается, искал вестовой, спешно требуют в штаб. Целовали ручки, обещали прийти завтра.

— Они что-то врут с этим штабом.

Не успокоится Аллочка, плачет. А Тата с характером. Как стукнет кулачком по столу:

— Покажем им завтра, как врать. Или мы, или бобелины. Уль-ти-матум — и кончено!

III

Ультиматума ставить не пришлось: женихи больше не приходили.

Зато очень скоро вдруг рано утром взбесились автомобили, умчали всех военных через мост. Говорили они: на маневры. А город-то знал, что маневр этот зовется *побег*.

Зеленые стали лица, и дрожали губы, забыв все слова, кроме двух букв:

Че-ка. Она знает.

Была паника. У кого стоял штаб, где пекли пироги, где к красному знамени были пришиты полотнища: белое и синее. Она знает все.

Теперь портачили наскоро из этого белого и синего, что попало, готовясь выставить одно только красное. Но лучше бежать.

Великан за рекой уже стал выколачивать свою мебель. Ух, ух — туго падал удар на пружины, и сказал обыватель: «Вот пушки».

За стеклом магазинов проворные руки подставили вместо сыров и колбас одну картонную символику этой снеди. По тротуарам плелись на окраины с узелками старорежимные старички и старушки, записанные разведкой куда следует. В интервал революции они укрывались к знакомым прислугам и крестникам, красным дворникам, красным прачкам. В интервал контрреволюции красные граждане вступали под их покровительство.

Случалось: чиновная старушка, пожалев молодого коммуниста, объявляла его племянником. Он вскоре вписывал в трудкнижку ее своей бабушкой и носил ей паек...

Дамы с сумочкой в руках, где у них будто бы самое дорогое, на самом деле зашитое в потолстевшей вдруг талии, профессора, педагоги бежали к вокзалу. Бледного, как воск, генерала бережно вел юный прапорщик, свежий и розовый.

Немногие буржуи с деньгами, не страшась никаких перемен, скупали в мешки все подряд, что не скрылось с базаров, — и желтую тыкву, и сито, и гвозди.

Ахали, охали в богадельнях бабушки: боялись бомбардировки.

Не знали, будет ли лучше. Хуже быть не могло. Раз в день давали кипяток с крупой — «промывательное», так острил сторож Казатыч, у которого от этой самой крупы толстели куры.

Веселились одни лишь мальчишки: перекинув через плечо ремень с плоским лотком, полным рыжей, самотопной, паточной дряни, которую для блеска гладили

языком, они катились по тротуарам на одном ролике и вопили:

— Карамель ирис, ешь — не давись!

IV

Тата и Аллочка приделали на своей вывеске к белоснежной сорочке красный галстук и красной краской вывели наверху:

Белошвейная «Красные маки».

Зельму Карловну помянули: мужчина номер первый, и второй, и третий — который придет?

Звонились многие, но приносили совсем не белье. Кто чайник лудить, кто искал козу, шерсти черной, один рог сломанный.

— Здесь нет козы, здесь белошвейная «Красные маки».

— Все одно, ежели указавшему лицу, где она находится — вознаграждение...

И вот вошли двое, галифе на ногах, краги — новенькая карета, смотрись, что в зеркало; в руках штука полотна, а руки — руки с маникюром. Шаркнули, пальцы к козырьку...

— Просим сорочек, сколько выйдет, — начал один, а другой — словно блюдо выхватил скорее подавать:

— Инициал просим гладью...

— Конечно, красным, — сказала Аллочка, трудясь вспомнить, где она видела эти лица, одинаковые, как у близнецов, здоровые, сероглазые, с плутовским ярославским носом...

— И не угадали! На белье это совсем моветон... Забыли, мадемуазель Аллочка, как сами учили...

— Федя! — вскрикнула Аллочка. — Федя и Сенечка из старшего отделения!

— Так точно, а сейчас товарищи Дедины: комиссарствуем.

— Таточка, смотри скорее, из Смольного! Садитесь, пожалуйста.

Сели скромно. Печниковы мальчишки, старого Василия дети. Сенечка конфузливей брата — смотрит, как тот: каблуки сомкнул, в одну руку фуражку, другую вольно.

— Вот из печников да комиссарами, — ухмыляется Федя, а Сеня за Федей:

— Да, да, комиссарами.

— Ах, расскажите. За отличие в поведении?

— Точно так. Как и вы, с института, мы приучены к твердой власти, и самой природой избавлены от воображения, как прочие... на митингах... Сегодня их меньшевик разговорит, а назавтра эсеровские...

Федя говорил и любезно, как кавалер, и вместе с тем важно — по должности.

— Немало таких, — вступил Сеня, — намитингуются, мозги распухнут, и, без сомненья, на Удельную, сумасшедший дом уплотнять.

— Никуда мы не ходили, ничего не искали, в Смольном выросли царскими, в нем же обернулись советскими. Д-да, как увидели: власть, как прежняя, всех одолела, словом «единый фронт пролетариата против буржуазии».

— Ах, пожалуйста, — пискнула Аллочка, — этих слов не надо!

— Помилуйте, разве это слова, что вы? — Сенечка даже со стула привстал. — Мы слов не говорим, так про нас известно: братья Дедины не выражаются. Мы среди вас воспитаны, нам это очень неприятно.

— Молчи, — покраснел Федя, — извините, мадемуазель Аллочка. Мадемуазель Тата, он еще малосознательный, объяснить не умеет. Единый фронт — это как у вас, примерно сказать, считались военные против всех прочих «шпаков». Увидели мы, значит, что власть обсиделась, и без сомнения примкнули. Натурально, как несвоевременное, все прежнее мы отбросили и стали учиться уже специально. Вместо вашего благородия — товарищ, и все прочее в соответствии...

— А поведенью другому учиться не пришлось, поведенье, я вам скажу, вполне одобряется, как и раньше: «Даже казну можно красть, только в воры не попасть». Помните, в дортуарах все пели, это братец одной барышни научил...

— Ну вот еще, казенное — какая тут кража! Никогда не считали.

И вдруг Аллочка:

— Знаете, тут казенное близко — совнархозов огромный малинник, пойдемте вечером.

И совсем как бывало горят и глазки и щечки, только бы пошалить... Но Федя не сдает, почти строго:

— Достояние коммуны — достояние народное, незаконна лишь частная собственность, превышая потребность гражданина.

— Бросьте, Федя, бросьте, — и Тата и Аллочка хлопают ручками, — идем вечером в совнархозову малину.

Федя встал, за ним Сенечка. Откланялись. И два пальца к козырьку:

— Разрешите зайти за вами вечером в кинотеатр?

— В совнархозову малину.

Смеялись.

И еще сказал Федя:

— Польщены нашей встречей. Мы здесь теперь уж надолго. Последний фронт пал, предстоит культурная работа на местах. Нам с братом желательно по-французски.

— Редкая, знаете, есть одна книжка, у нас нарасхват, — Сенечка чуть замялся, боясь переврать.

— «Три мушкетера», — спас брат Федя, — мы побились в пари, что прочтем по-французски.

— «Les trois mousquetaires»? Ну, еще бы не книга! Я вас буду учить.

Аллочке весело, Аллочка институт вспоминает.

— А ну-ка, Сенечка, как припев из Мальбрука, учила вас, помните?

И Федя с Сенечкой оба:

— Мирантон, мирантене...

— Ах, как чудесно, что мы встретились, ведь мы — одного воспитания. — Аллочка просто прыгала, ну как «малявка». — А еще помните, Сенечка, как потом-то скучища, все книжки отобрали, а мы вас обоих с Федей поймаем всем классом, завяжем глаза и платки даем нюхать. Федя скоро выучил. Ну, чем душилась Тата?

— Грэб Эпль, — не моргнув, сказал Федя и, вынув из кармана платочек, развеял в воздухе нежнейший запах. — В память вас сам душусь.

Он шаркнул Тате.

Аллочка покраснела и чуть не заплакала: у нее сейчас ни платков, ни духов.

— А барышня Тумская душилась Кержанет...

— Де, де, Кер-де-Жанет, — поправила Тата. — Останьтесь пить чай, вскипятим на буржуйке.

— По долгу службы, — заторопились братья, — уж разрешите нам вечерком.

Они окончательно откланялись, и на прощанье Федя вынул розовый конвертик и с хитрым лицом, чуть краснея, подал Тате.

— Письмецо от Зельмы Карловны. На пути встретились, весело провели день в теплушке.

— Что же вы раньше-то, ах, какой!

— За приятным разговором из памяти вон, — лукаво сказал Федя. — Итак, разрешите до вечера.

V

«Мои детки, шлю вам мое матерное благословение», — опять наслаждалась по-русски Зельма Карловна, и на розовой бумажке детскими буквами сообщала, что братья Дедины сейчас комиссары и первый сорт заказчики по всем трем номерам: «И пробовано и верено», — шутила она в конце и целовала и благословляла на «благополуночную жизнь».

— Отлично себя держат, каковы комиссары! — одобрила Аллочка. — Но все же зачем ты, Таточка, их позвала и чаем поить хотела? Еще в малину с ними можно пойти и разок посмеяться, но быть знакомыми, как с господинами... Все-таки, ce ne sont que des[1] печники... для знакомства... merci.

---

[1] Это всего лишь *(франц.)*.

— Они нам не для знакомства, — сказала строго Тата, — они нам вот для чего: чтоб за них выйти замуж советским браком. И Зельма Карловна сватает...

— Ты с ума... ты с ума сошла!

— А ты дура. Но историю вспомни: Сикст Пятый «выпрямился, глаза его сверкали» — он стал римским папой, и кто же вспомнил, что он был пастух. Меньшиков — пирожник, Годунов — татарин, и, главное, вот, — Таточка стиснула Аллочку за руки: — Главное — мода!

Мода — это Аллочка поняла. У tante Софи столько было карточек, все дамы с турнюрами, просто срам. А ma tante говорит: «Глаз привык, так привык, что без турнюра — уже будто без всего».

— Ну, то-то же. Теперь мода на демократию. Виктор Гюго, «Девяносто третий год» — это помнишь? Если высшие должности у простых, то любить их вовсе больше не стыдно. Сейчас французская революция у нас. И, главное, Аллочка, милая, самое разглавное: они не уйдут, и продавать нам, понимаешь ты, продавать нечего...

Аллочка плакала:

— Мы в дортуаре при них раздевались и умывались, и даже классухи их не гнали: «Ce ne sont pas des hommes».[1] А на приеме, бывало, перед Коко спустишь платье с плеча, классуха сейчас подзовет: «Стыдитесь! Ne faites pas rougir votre ange gardien!»[2] И вдруг замуж не за Коко, а за этих!..

---

[1] Это не мужчины *(франц.)*.

[2] Не заставляйте краснеть вашего ангела-хранителя! *(франц.)*

— Ну, жди Коко, иди в «оседлые» жены. Оседлая и походная... А уж эти-то верные...

— Но их целовать — все равно что плюшевых мишек.

— Да что ты: все «их» да «их». Твой один — Сеня, а мой — Федя. — Тата сердилась. — Придут вечером, и конец. Надобно сразу как женихов.

Аллочка плакала-плакала.

— Мне все равно: что два, что четыре, мишка плюшевый... И кто обманул нас, кто выдумал: les mariages se font dans les cieux. [1]

— Глупая, так ведь это про церковный брак сказано, а ведь мы только советским. — И Тата, как старшая, целовала сестру. — Мы ведь только советским.

VI

Вечером, когда вошли Федя и Сенечка, сестры были нарядны, напудрены, в бантиках и в последней непроданной паре чулок-паутинка. Духов не было и в помине, и поочередно натерлись обмылком уцелевшего мыла, à la «Reine des abeilles». [2]

Звонок. Братья шаркнули, сестры ловко продели им под руку ручки и пошли парами в кинотеатр: Аллочка с Сенечкой — впереди младшие, сзади — Тата и Федя.

Тата настойчивая, с убеждениями, она не уступит.

— Значит, после кино мы за город, в малинник совнархоза?

---

[1] Браки совершаются на небесах *(франц.)*.

[2] Наподобие «Царицы пчел» *(франц.)*.

А Федя тоже сознательный: хоть он улыбается и старается ногу ставить легко, чуть звеня шпорой «с малиновым звоном», как, бывало, звенело у «тех», однако вызов принял и не сдается.

— Я поспел навести справки: есть малинник частный, в генеральской усадьбе Ерагина, генерала, пойдемте туда.

Но Тата древним женским знанием знает, как надо вдруг сделать и ножкой, и карим глазом, и вообще как-то так, чтобы сломить все-все упорство...

Она говорит и тягуче и тихо:

— У меня свои убеждения, я пойду лишь в малинник совнархоза.

И как эхо — Аллочка:

— У нас убеждения. И ультиматум: малинник совнархоза.

Засмеялся Сеня, сказал:

— Федя, ну чего упираешься? Ведь малина одна, что генералова, что совнархозова. Малина — сладкая.

И Тата опять «как-то так», и сдает Федя позицию...

— Что ж, уступим гражданкам прекрасного пола. Малина, если об ней специально... без сомнения... сладкая...

ЖИВОРЫБНЫЙ САДОК

Было уже так, что никуда не уехать. Первое — друзья запугивают: и то вам будет и это...

А не будет, так сами вы, как Иван Петрович: все претерпел, человек домой, слава богу, ехал — стоп, на узле дерутся; пересел восточней — опять до узла; пересел западней, пересел северней — всюду дерутся. Вылез Иван Петрович из вагона, лег под куст, кричит: «Никуда больше не еду, замерзать тут хочу». Силком взяли, чуть живого, в теплушку обратно.

А Еропенников все-таки: взял и поехал.

— Презираю, — говорит, — беспорядки и внезапности. Вожделенно мне первобытное состояние... в недрах.

Ну что же: преодолел друзей. Мерз на добычу билета, мерз на погрузку в поезд.

С первого разу редкий погрузится. Народу столько, что, попав в гущу, можно оставить старую повадку стоять на собственных ногах и, поджав их за ненадобностью, остаться висеть в воздухе, не выпуская из рук чемодана только из соображения, чтобы вместо собственного он не стал вдруг чужим. Но у кого еще сохра-

нилось доверие к ближнему, тот чемодан свой может выпустить; и, выпущенный на свободу, он останется висеть в воздухе, потому что всем набивший оскомину закон притяжения, не в пример прочим доселе столь же твердым законам, аннулировался здесь уже сам собой.

Еропенникову новое состояние невесомости начинало почти нравиться, и брезжила надежда: авось так само собой, да еще с чемоданами, и внесет его в дверцы вагона.

Но не тут-то было: перед самой дверцей вагона — реставрация старого притяжения, и наивных с чемоданами, взаимно избиваемых, снесло в сторону, а в вагон, громоздясь друг на друга, как бараны в отаре, попали одни скептики, доверяющие при всех обстоятельствах жизни только собственным силам.

И вот уже не видно дверцы: держась за плечи, за ноги или только за хлястик, как осиное гнездо, чернеется куча на буферах, на подножках, на крыше; так облепленный роем, под звон выбиваемых стекол, ушел первый поезд мимо наивных, неприспособившихся уезжать.

Наконец при помощи знакомого борца и учителя пластики по Далькрозу Еропенникову влезть удалось.

— Вот вам край дивана, под самое под окошко, — сказал Еропенникову проводник, — до полночи досидите, и двинетесь; полсуток всего и прождать!

— Стекло тут выбито, вы б мне другое местечко... — Еропенников полез было в бумажник...

— Под ветром в таком набитии одно спасение, знающий пассажир за битое особенно платит... К вечеру столько тут понапрет, что и с битым окошком сомлеете.

И ведь правду сказал проводник: «сомлевали». К полночи, когда не только у всех зажатых в купе, у самого «Гаврилыча» — так звали кругом паровоз — заегозили мурашки в колесах, и он, зарычав, решил-таки двинуться, окно затянули одеялом. С непривычки до того стало душно, что очень скоро сверху, кроме несметного количества сапог, сникла еще чья-то бесчувственная голова.

— Ишь застрельщик... — хохочет армия, — всех перекатает, как на море!

Голову подхватили, отвернув одеяло, подставили ветру — ничего, отошел, завалился обратно под сетку. И снова при дрожащем свете поставленной в пустую банку от консервов свечи — сапоги и прюнели двух сестер милосердия. Внизу еще дама в плюшевой шубе, все прочее: солдаты, офицеры и «центрофлот». Золотятся над свечой яркие буквы круглой бескозырки, а дальше почти что тьма, и словно не люди, а среди груды шинелей вкраплены только кусочки людей: где кисть, где рука или ухо; такая давка, все в кучу...

Сестрица при толчке не удержалась наверху, как с горки съехала по спине одного на спину другому и дальше на пол, поджала ноги, устроилась.

— Военное время, и чего, женский пол, дома не сидите, тоже вот едете? — сказал высокий солдат с усами и подусниками словно бы николаевских времен.

— Всем надо, а нам нет?

— Поговори с ей, — усмехнулся рыжий, — полную праву и они себе выпросили.

— Э-эх, женский пол, сказать бы хотелось, да как бы в толк взять, вас не обидеть.

— Ну, пожалуйста...

— Ну, скажем, и вам дали полную праву, а ведь тебя сам бог вроде как обидел. Сколько ваших теперь видал: и на бочку другая вскочит, с бочки деркотит, трудится, вякает, а ей-ей — не слыхать, ровно мыша пищит, — голос вам птичий даден. А к голосу и разум у вас не тот, а опричь всего — рожать вам и рожать без отмены!

— Это точно, нам рожать не выйдет, — засмеялся рыжий, и обрадовались, загрохотали и с верху и с полу.

— Вот как! — вспыхнула сестрица. — Ну хорошо, оставим женщин с детьми, а девушки, они чем плоше парня?

— Не скажи: смолоду парень как раз вострый, голос у него свой, — это он как женится, так осядет. А у девки голос означится, когда она бабой станет да горе спознает; горе бабе разум прочистит, ну а прыть-то собьет, так что, как ни поверни, для женского пола судьба — что волк для теля.

— Сама девка, что телка, — сказал веселый сверху, — какова буренкой выйдет?

— Девка, известно, полчеловека, — подхватил и рыжий, — баба — это точно. Да если мужик у ее плохой или она вдовая, сама всю работу справляет, — у нас такая есть, Алексаха, — почище старосты была; такой бабе правов давай не давай, и не спросит — возьмет.

— Не тот управитель, кого видать! — опять крикнул веселый. — Управитель — он спрятанный...

Рыжий не унимается:

— Про девку поговорка у нас есть. Плохой мужик смекнуть не может, так ему скажут: это и девке понять!

— Уймись, рыжий, сестрицам обидно: сестрицы, не обижайтесь, рыжих и во святых нет...

— Да я ничего, сестрицы, по мне пущай всем по справедливости дают, и женску полу... Только объяснить — им разницы мало.

Большой солдат с подусниками — атаман всего люда, зажатого без движений на четверо суток на двух длинных нижних и верхних диванах, на полу и на ручках, вплоть до бывшего в былое время прохода для кондукторов и толстого обера.

Атаман не пускает новых, он же приводит в себя «сомлевающих».

Сколько здесь людей, считал и не счел Еропенников. Только покрутил туда-сюда головой — и поплыл из глаз огарок, и схолодало под ложечкой. Как рыба, выброшенная на берег, ловит жадно открытым ртом долетающие с камней брызги, заторопился он глотать воздух, припав к полосатому, ветром надутому одеялу.

На остановках могло б быть облегчение: одеяло решили отдергивать, и спускать за окно атамана, увешанного чайниками. Но потому ли, что на линии шли бои, или просто от независимости машиниста поведенье Гаврилыча безрассудно. То станет зря в чистом поле и час битый свистит, бездельник, а на почтенной какой-нибудь станции, где в прежнее время шел из буфета дух жареных пирожков, где цвел на перроне красноголовый начальник станции, как большой мак между тонких травинок — барышень, вышедших на курьерский, — там Гаврилыч, как бешеный, пронесется мимо.

Охал Еропенников, понимая: это машинист грубо подчеркивал для буржуев, что нет уж прежнего мака, ни барышень, ни — главное — жареных пирожков!

Все соскочило, все спуталось, все мгновения жизни, обречен сейчас на внезапности обыватель, а ему б в первобытные недра, ему чтоб хоть на самой, на главной станции чай попить.

Вдруг ввалились, занося кулаки, бодаясь головами, какие-то люди, из ледяного, что ли, дома, такой густой пар от них в теплом вагоне, лиц не видать, и они, ровно вилами в бок, рраз... густо, бессмысленно, зверино, словно топором бьют, произносят.

Тяжело, все сжались, молчат.

— Не обижайтесь, сестрицы, — с деликатностью шепчет атаман, — нельзя на них обижаться: ведь они — «буферные».

И через минуту, когда люди не перестают, а все круче да круче, с знанием дела, атаман прибавляет:

— И полагать надо, не «дощаные» они, а «самостойные» — этим похуже и «крышного». «Крышный», особливо на санитарке, за милую душу едет. У санитарки борток есть по краю, ну, один к другому лягут, брезентом укроются, утрясутся. «Дощаному» тоже житье: наладил досточку, промежду вагонов сел, подоткнулся, по очереди обмерзшее греет, то руку, то ногу, а «буферный», без доски, «самостойный», его и бьет и сечет, его сама родная матушка позабыла.

— И «крышному» свалиться — момент, — говорит рыжий, — я сам «крышным» был, знаю: если не санитарка, так края как обмерзнут — забудешься и съедешь, словно на салазках; у нас так двое съехало.

«Самостойные» отогреваются, умолкают, вдруг обрушиваются кто куда, больше на сидящих на полу, и мгновенно храпят; на их место вваливаются с тем же ритуалом новые «буферные», и «крышные», и «дощаные», и опять бессмысленно и зверино рубит голос дымящихся в тепле людей.

— Вам тут чаи, кофеи, и в тепле, ровно индюк к пасхе, а мы мерзни, мы дохни... Печенки за вас прострелены, и еще иди вас защищай. Так вот нету мне нонче отечества; куда плюнул, там мне отечество — пропадай головушка!

И опять атаман деликатно:

— Сестрицы, мадам, не отчаивайтесь, иначе ему невозможно. Его подморозило, и к железу его пригвоздило, я сам был «буферный» — ой, лютел...

И все лютеют: к третьему дню пропали последние условия самого бедного, самого насущного существования человека. В дверь не пройти, полазили было в окошко, да все, кроме атамана, ослабли, не едят ведь, не пьют...

— Откуда у вас, атаман, такая прыть лазить да бегать?

— Я на воле человеком был... — И поправляется: — Человеком в паштетной.

— Какой ужас, — говорит сестрица, — и в уборную не пройти.

— И не пройдешь, — хрипят из засады, — мы мерзли — ты спала; хотишь навсегда меняться? А на времечко — будьте здоровы!

— Товарищи, — вступается атаман, — товарищи, ежели вы сознательные, «буферные» — одно слово!

Извиняйте, сестрица, становитесь мне на спину и, с богом, за окошко. Я сам был «буферный», ой, лютел!

И все лютеют. За окна прыгать окончательно невозможно; чем дальше, тем беспардонней Гаврилыч. Чуть перекинутся ноги наружу — он фырк и рванет.

Облютели: невесть куда едут, невесть сколько езды, бессонные, голодные, со стаканчиком снега в руке, злыми глазами стерегут, чтобы не влез кто в окошко. Едва появится свежая голова:

— Пустите, товарищи!

— Кипятком тебя! — пугнет рыжий.

И такое услышит голова, что и руки отцепит. Скорей хрустнет по снегу — да к другому окну.

Ко всем злей зажатые на диванах, а к «буферным» — дивное дело! — словно б добрей. Вот уже говорят атаману сестрицы:

— Снесите-ка им туда, в засаду, чаю. — И сахару вынимают. — Нам нельзя, пусть хоть они-то попьют.

Свежая голова, еще не промучилась с ихнее, и потому — кипятку горячего! А «буферных», когда самим стало плохо, «буферных» душой приняли — им еще похуже...

А Еропенников на какой станции ни выйдет, чтобы в вожделенное тихое место, в первобытные недра попасть, — так сейчас назад. Нет тихой станции. Всюду далеко в степи армия, повозки, беженцы, все соскочило, все спуталось, течение жизни нарушено.

Однако выскочил Еропенников. Проболтался ночь на вокзале среди всяких беженцев. От них услышал, что жизнь всего легче как раз там, откуда он уехал. Дождался поезда — и назад!

КОРРЕКТИВ

Игнат в первый раз после революции надел длинный суконный армяк, взнуздался шелковым с разводами кушаком, расчесал золотую бороду не перед осколком, как в старые времена, а перед «трюмом» — зеркалом из социального обеспечения.

Широкозадый, он привинтился, как монумент, к козлам. Перебрал вожжи, жеребцу гаркнул:

— Пшел-л!..

А вот не радостно, как бывало...

Ведь если катить опять на резинах, так пускай уж и Невский как Невский! Светло чтоб как днем. На углу в небе не буквы — звезды: О М Е Г А! Вспыхнут — потухнут. А бриллианты в витринах! И сами кружатся и голову кружат. А лошадей, а трамваев! Без водки пьян!..

Сейчас — ни два ни полтора. Оно конешно: слыхать и румына из хорошего заведения, и рыбина почитай во все стекла глядит из окна Елисеева магазина, и на лихача лимонщиков сколько угодно, а вот, поди ж ты, нисколько не лестно.

— Гражданин лихач! — разбирают Игната за рост, за посадку туда-сюда...

Как монумент, не шелохнется, чуть свернет бороду, через плечо бросит:

— Три, четыре.

Довезет. Заплатят. Спрячет бумажки в мешок. От дензнаков нет в мешке звона, как от прежнего серебра, нет и интереса: «На чаек с вашей милости» теперь не попросишь, потому — гражданин. Разговоров седоки не ведут, жеребца не хвалят, скучно ездят новые люди — лимонщики.

И к вечеру захлестнула Игната тоска, нашли думы.

На Аничковом на мосту, бывало, ротмистр Шебукин скажет: «А что, Игнат, ведь к четырем лихим коням твой Огневой — пятый». Огневой — жеребца звали.

— Э-эх, упустил, брат, огонь! — качает Игнат на припадающую заднюю ногу. Передние — точеные, в белых чулках, Огневой выносит по-прежнему весело, легким бравым аллюром, а задняя левая дрейфит. Чья-то засела в ней пуля. Не раз в эти годы забирали у Игната коня, большим выкупом, с хитростью вызволял. Просадил на коня и свои и ротмистровы доверенные вещи. Овес по фунтам ведь, как кофей, ценился.

До сих пор, после того как прохозяйствовал последние ротмистровы сапоги, как о нем вспомнит, сейчас рассердится:

— А ну его к черту! — И привычным скрепит газетным: — Белогвардейская сволочь...

А надел «лихача», пригвоздился к козлам, и, поди ж ты, и о Шебукине узнать хочется. Где он там?

Истратился аль сохранился? Лихой был ротмистр, и потехи же с ним!..

Пьян как-то напился, большой заклад положил, что, как мать родила, нагишом на коня черного на Аничковом сядет.

Ей-богу, сел. Огневой этот самый его вызволил: рядом на Фонтанке стоял; чуть полиция показалась, сволокли свои со статуи, в николаевку обернули — умчал жеребец!

— Эх, брат, не возьмешь прежней рыси! Не сел бы на тебя нонче ротмистр Шебукин, только плюнул бы да сказал: «Не суйся в волки, коли хвост собачий!» А эти... разберут статьи!

И, презирая нового седока, Игнат накидывал наконец лимоны и в ответ на протесты нагло выбрасывал из рыжей бороды:

— Не по чушке желудь — так пей воду: чай, не барского роду!

К ночи круче захлестнула тоска: напиться бы! Заехал к куму, домкому в ученом одном учреждении. Огневого в бывшее великокняжеское стойло поставил, сам в розовый штофный кабинет пришел.

Выпили с кумом. С ученых препаратов он каких-то сливал, для духу перец клали — ничего, дух забористый.

Повеселел от спирта Игнат, стал на ночь у «Буффа». Стояли и другие.

В подъезд входили запоздавшие парочки, шло представление.

Слезли извозчики с козел, отвернули за кушак тяжелые синие полы армяков, закурили. Подошла дежурная милиция, двое.

Один, мелкий такой солдатик, шлем — будто с чужой головы — осел складкой, как бабий капор. Прикурил у Игната.

— Ну и служба, — не выдержал Игнат, — принцовка у тебя на башке, и та словно порожняя: а сам — карлой.

— И куда вам против прежнего калибру? — ввязался другой лихач. — Прежние как дубок: один к одному стрижены. Павловец был, к примеру: весь полк курнос, душа в ноздрю смотрится! А гренадерские...

— Захвастался, да и расхрястался! — кричит второй милицейский, покрупнее первого. — Вы-то сами прежние, што ль, лихачи? Прежний, как сядет идолом, до конюшни не встанет, не по-вашему: задрать полы да табашничать!

— И бессознательный народ! — осмелел мелкий милицейский. — Ведь и медведя плясать учат, а на них хоть и выбито и вытолочено — все травы нет, одна контрреволюционная платформа!

— Ты один в штанах ходишь! — огрызнулся Игнат. — Я не кого-нибудь, я самих генералов от инфантерии собственноручно в агентуру водил, а тебе впору в своем лишь кармане вошь на аркане да блоху на цепи держать. Вот скажи лучше, коль грамотный, чего эта самая нэпа на старое сворачивает, да не доворачивает? Лихач разрешен, а жеребец ими же спорчен?! Это по-нашему: огурец в зубы, а водку свищи! Нового жеребца обязаны, ежели нэп.

— Насчет нэпа, товарищ, вы действительно бессознательный: ведь если правительство по необходимости внешних причин нэп вводит, так это, понимать надо, отнюдь не по-старому. Это то, да не то...

— Ему щенка, вишь, да чтоб не сукин сын! — крикнул Игнат, и все загрохотали.

А милицейский Игнату:

— По бороде знать, что лопатой звать.

И сейчас же за ним лихачи:

— Известно — деревня, голова тетерья!

От всех несет водкой, не самогоном, лоснятся отъевшиеся щеки, уже привыкли с недавнего недоеда опять к былой жирной еде. И почетно им, как раньше, без мысли, без дела топтаться вокруг своих экипажей перед дорогим заведением.

И милицейским празднично от блестящих сытых коней, нарядных лихачей, от Фонтанки, по-летнему колыхающей огни и редкую черную лодочку.

Взаимное острословие не перешло в брань. И крупный милицейский стал разъяснять извозчикам, почему нэп — это то, да не то:

— При нэпе к каждому отдельному случаю революционный корректив полагается. Сумей попасть в точку, и будет тебе и водка и закуска. Жеребцов новых заведете.

Наперли извозчики на милицейского:

— Нового жеребца! Пострел тебя возьми, да как же оно применительно к нашему делу?

— А применительно к вашему делу так: предрешай своевольно — кого везешь? и откуда — куда? и зачем ему ехать?

— Рядиться, скажем, по седокову нраву, а в пути предрешай специально, помимо уговору? — понял Игнат.

— Предрешай, говорю, с новым революционным сознаньем, у кого какое... Ежели седок по делу службы или на предмет перевоза болящего, брать как рядился.

А ежели седок из тому подобного заведения, из театров и прочих белогвардейских аттракционов, то по предрешению и информационному выводу различной важности буржуазных пережитков. Поняли?

— Чего не понять, все понятно, только как с его взять? Седок не рак, голой рукой не ухватишь...

Из «Буффа» послышались свистки. Случился скандал. Кто-то бил кого-то. И вой и гвалт, будто резали поросенка.

Милицейские кинулись к двери. Публика гурьбой повалила из дверей. Разбирали лихачей не торгуясь.

— Угол Мойки.

— Три! — бросила Игнатова борода.

Один посадил другого, совсем уже готового.

— Увози!

Вмиг принес Огневой к Полицейскому мосту. Тут — темно; Мойка чернилом течет, чуть ворча, выплескивает из себя канавку. Захромал Огневой, вдруг осел клячей. Недолга его нынешняя прыть. В зелени белой ночи — не чугунный он конь, а как есть старая водовозка.

— Разорена лошадь...

Нож в сердце Игнату. И номер забыл, где ему пьяницу выгружать.

— Гражданин, а гражданин!

Сопит, укачался седок.

— Эй, зюзя, номер? — потрогал кнутовищем Игнат седока.

— Второй дом направо...

Подвез.

— Выгружайся!..

Седок толстый. Золотая кольчатая цепь качелями по самоварному жилету. Вынул тоже толстый бумажник, отслюнил три красных. Качается.

— Что вина тобой выпито, чай и не помнишь, — говорит презрительно Игнат, и вдруг слез с козел, вожжи из рук не пускает, монументом отлился перед дверью. Седоку путь кнутом преграждает. — Что вина тобой попито, а я, трудящий класс, по прейскуранту облизывайся! Выкладай, гражданин, прибавку, десяток лимонов!

— Что ты, да как смеешь! — протрезвел вдруг седок, машет рукой, испугался.

— И лучше тебя видал, да и то не мигал! — Игнат ему сквозь бороду. — Выкладай, говорят.

— Теперь не грабеж, теперь по-старому, по уговору, теперь нэп.

— Нэп — нэпой, а про предрешенье слыхал? К каждому отдельному случаю по собственному революционному усмотренью... Думаешь, как при царе, за что подрядился, и никаких гвоздей! А ежели тебя к ответу: откуда куда едешь?.. И на какой предмет тебе передвижение?

Седок было изловчился вставить два пальца в рот, чтобы свистнуть на помощь, но свистнуть не успел. Игнат заклещил его руки в своих огромнейших лапах. Сказал ласково:

— Дурья твоя голова, я ж никакой грабитель! Чепка при тебе золотая, а я твоей чепки не трону. Я по платформе. Что вина тобой выпито, рассуди, а я трудящий класс...

— Сколько тебе?

— Да для почину десять набавь. Только, как отпущу, не свищи. Тебе ж хуже будет. Как еще в милиции на твое дело посмотрят? Для уравнения классов там с тебя, может, и чепку изымут, там, знаешь, платформа построже...

— Не свистну, пусти...

Игнат отпустил. Дрожащими руками седок отслюнил все бумажки. Не сразу попав ключом в дверь, едва открыл, юркнул внутрь и, захлопнув за собой, повернул звонко два раза ключ и стремглав кинулся дальше. А Игнат не спеша влез на козлы, не спеша поехал домой.

СИНЕКУРА

I

Зеньчугову надо побриться, чтобы в салон Бэллы Исаковны явиться не как-нибудь...

Перед ним вывеска: черная рука с перстом указующим и под нею:

«Голярня Деденка за рогом».

Голярня — от слова голый, корень вне сомненья, — что же кроме бани? А в бане брадобрея искать уместно. Перст указует в пустое пространство, значит — свернуть за угол. Рог — угол.

Свернул; все как по-писаному. В первом же стекле окошка из ниспадающих белых складок глядится крутой затылок туземца.

— Хиба ж це и есть самая голярня? — воображая, что говорит по-украински, спросил Зеньчугов.

— А хиба ж вы не бачите? — вопросом ответил хозяин и поманил пальцем хлопца:

— Тишко!

Хлопец безмолвно обернул хомутом длинное полотенце вокруг шеи Зеньчугова, подоткнул, спустил концы сзади до полу и приступил к обработке лица.

— По сметке у вас здесь действовать лучше, чем по созвучию с родственным языком. По созвучию, у вас попасть можно совсем даже не туда, куда попасть хочешь. Вот я на вокзале...

Но молчал в ответ хлопец, молчал хозяин, молчали намыленные губы соседа. Зеньчугов сконфузился и оборвал...

А хотелось ему рассказать, как, привлекаемый крупной надписью «коровничий», он настроился на покупку продуктов молочных, но вместе со своим чайником выведен был из приемной начальника станции. «Коровничий»-то оказался он, и презлой.

— Неразговорчивы здешние люди. — И, предав свою личность в руки хлопца, Зеньчугов стал мечтать.

Выбреется, пойдет к Бэлле Исаковне, получит синекуру — и дело в шляпе. Завтра с утра в библиотеку, и за диссертацию.

Зеньчугов, кандидат математических наук, оставленный при университете, уже два года ведет жизнь человека на дне. Не ест — перехватывает; на ногах — самоделки; одет во второй класс и в ломберный стол.

Иначе говоря, ненужную буржуазность фрака Зеньчугов выменял на два экса: на тигровой масти плюшевую обивку с диванов второго класса и на зеленое сукно карточного стола. Саморучно сшил себе из этой добычи верх и низ.

Сейчас Зеньчугов был в приличном «ансамбле», в сапогах, брюках и пиджаке, коллективно одолженных профессором и художником до обжития в новом городе.

Знакомые профессор и художник, у которых проездом гостил в деревне москвич Зеньчугов, послали его сюда устроиться на зиму, чтобы наконец написать диссертацию.

— Это, братец, тебе синекура, не служба. Говори о каком-нибудь «звездном небе» и за это без потери собственного достоинства ешь пшенную кашу. О Бэлле Исаковне все отзываются: щедрая.

У Бэллы Исаковны был собственный кинематограф с богатейшими фильмами. И хоть значился он сейчас за «Губерниияльным Видділом» какого-то «Просвіта» и звался уже не сладким зовом «Потерянный рай», а каким-то безглазым номером, всем по-прежнему ведала Бэлла Исаковна и звала кино — «мое заведение». У Бэллы Исаковны было свое честолюбие: ей мечталось, чтобы картинки фильмы рассказываемы были именитыми специалистами. С той же страстью, как иной гимназист собирает редкие марки, улавливала она заголодавших интеллигентов, пригоняя к каждой фильме соответствующую ей разновидность.

Бэлла Исаковна нюхом узнавала о присутствии какого-нибудь «маститого», или просто с «трудами», или еще только «подающего надежды» и немедленно посылала конверт с твердой карточкой и приглашением: усилить кадр сознательных работников просвещения в целях поднятия культурного уровня страны.

Даже в дикой деревне получили подобное приглашение знакомые Зеньчугова.

— Будь мой предмет не богословие, а хотя бы ботаника, — говорил профессор, — я бы дернул отсюда. Зимой в городе веселей.

Но богословие, по отнесении книг прежних боговкровенных к предрассудкам контрреволюционным, профессора прокармливать в городе не могло, и волей-неволей он пригвоздился в деревне, где за чтение апостола, непременно по-гречески, получал мукой и крупой.

Художника не отпускали селяне, покуда он не выправит всей деревне таких подсолнухов на ставнях, как выправил исполкому. Да и сам художник на варениках, как кот, раздобрел — и сдвинуться было неохота.

Насмотревшись на сытость знакомых, Зеньчугов взбунтовался: не захотел вдруг самодельной одежды, не захотел привязывать подошву веревкой. Разве не он оставлен при университете? Не он пишет диссертацию?

А художник ну подзуживать:

— Мы устроились, чем ты глупей? Наша планида в деревне, твоя в городе. Нафламмариопь ты этой Бэлле «звездное небо» по своей специальности помахровей — месяц чтоб фильму не сняли, а ты себе знай пиши диссертацию. Только в Бэллу эту самую смотри не влюбись, обернет вокруг пальца. Впрочем, раз она Бэлла, значит — мордоворот. Я знавал и болвана Платона, и такого, братец мой, Аполлона...

— Да уж, лучше б она некрасивая, — соглашался Зеньчугов. — У меня, знаешь, какая-то беззащитность перед женской красотой. Я как воск от огня...

Зеньчугов слабости своей не на шутку боялся после двух опытов спасения падших девиц.

— Это оттого, что ты мастью рыжий и профессией — математик. Отвлеченный, да еще рыжий человек уж этим славится — влюбчив.

Растекаясь в думах, Зеньчугов и не приметил, как хлопец взял ножницы и обрезал ему его огненные

волосы, по собственному вдохновению, что называется, «под горшок». Это техническое название происходит от хитрого измышления селян надевать на голову подходящий горшок, чтобы по его краю ровнять стрижку.

Зеньчугов очнулся, глянул в зеркало и обомлел. В зеркале стоял не будущий доцент, не кандидат, а бог его знает кто, с глупо насаженным рыжим париком.

— Эк вы меня! — сказал он горестно.

— По-вашему, по-москаливски, це голова с бородой — двойная плата, — сказал равнодушный хлопец, преследуя одни свои хищные интересы.

Историю подымать было глупо: обрезанные волосы за минуту были как-никак собственностью головы Зеньчугова, и не ему же было расписываться, что за своим же добром он недосмотрел.

II

По указанному профессором адресу кинематографа не оказалось. На расспросы Зеньчугова, куда делся «Потерянный рай», или «Видділ Просвіта», никто не знал. Но едва, потеряв терпение, спросил он с досады последнее, что взбрело на ум: «Где салон Бэллы Исаковны?» — ответили и вопрошаемый и мимошедшие: «Вон Бэлла Исаковна!» Кино помещалось напротив, в бывшем частном театре.

«Только б столичного достоинства не уронить», — и робеющий Зеньчугов решил сразу, наскоком, загнуть Бэлле Исаковне свои условия насчет «звездного неба».

В большом кабинете рядом с залом театра он увидал красавицу в черном платье с начесанными на уши

висками. Она без жестов, одним поворотом головы отдавала приказания то и дело подходившим френчам.

«Эдакая Сара Бернар в Клеопатре — ишь позерка», — защищался, как умел, Зеньчугов и вместе с тем не без злорадства подумал: «Если это и есть она — Бэлла, так художник с «мордоворотом» сел в лужу».

А она, когда очередь дошла до Зеньчугова, сказала, прочтя письмо профессора:

— Есть у вас книги? учебники? диссертация?

Блистали зубы, блистали в ушах бриллианты Тэта ли, нет ли, но Зеньчугов обмяк и смешался.

— Я книгу еще только пишу...

— А-а, — протянула Бэлла Исаковна. — С понедельника у меня новая программа: все дни заняты специалистами, у которых «труды». Вас же я могу допустить лишь на детские фильмы. Да вот сегодня... Как раз день «Подснежника», праздник детских садов. Попробуйте, гастролируйте! Начало через час. Просмотрите фильму.

Зеньчугов раскрыл было рот отстоять «звездное небо», но Бэлла Исаковна, отклоняя ручкой возражения, так очаровательно улыбнулась и одним поворотом головы, как мадам Рекамье, сидящая на козетке ампир, приказала подручному юноше:

— Проведите профессора на демонстрацию фильмы.

III

Зеньчугов, одурманенный Бэллой Исаковной, шагнул вслед за юношей в черный карцер, где вдруг утонул в мягком самоподкатившемся кресле.

— Фильма дома Патэ, — пробасило сзади. — «Болонка Джильда и фокстерьер».

Глупая болонка перебирает лапками, глупый песик беззвучно над ней лает, штуки Дурашкина, веночки, цветочки — черт знает, как про такой вздор рассказывать. Эх, надо было отстоять «звездное небо».

Если б не улыбнулась Бэлла Исаковна, Зеньчугов бы и отстоял. Небось перед двумя зеркалами изучала эту свою Клеопатру и Рекамье. Ну что же: за такую улыбку и вообще на тех же условиях — Египетские ночи — можно хоть на смерть, а что теперь жизнь?

— Базар в Аббации. Дети входят в школу, муэдзин торопится к минарету.

Рябит в глазах фильма. И вот уже муэдзин возвращается из мечети, дети вышли из школы. И марка фирмы Патэ: девочка держит ленту «Конец» и ручкой делает поцелуй.

— Все, — сказал бас.

В темноте Зеньчугов впал в забытье. Его разморило. Ночью его давили в вагоне, сегодня с утра он не ел. И вдруг эта Бэлла... Как же, мордоворот она, черта с два...

— Товарищ профессор, вас зовут Бэлла Исаковна!

Зеньчугов кинулся вон из карцера.

Бэлла Исаковна, как монашенка, в черном, застегнутая под самый ослепительный подбородок, без жестов, одним поворотом головы сказала:

— Дети собираются, вы пройдете на место капельмейстера, оттуда подыметесь на эстраду и расскажете картинки. Надеюсь, вы запомнили?

И, не принимая возражений, опять улыбка, опять приказ френчу:

— Проводите профессора в оркестр.

И опять безвольный, одурелый, голодный Зеньчугов, стуча сапогами, толкая пустые пюпитры, пролез на вышку капельмейстера.

Френч исчез. Зеньчугов глянул в партер, глянул в ложи... Черные, золотистые головы, дети краснощекие, бледные, в бантах, в белых фартуках, разноцветные или целыми пачками однообразно-серые, возглавляемые педагогами обоего пола. Как мыши на епископа Гаттона, посыпались они из дверей во все ряды лож и партера. Их вводили за руку, они вваливались сами с визгом и топотом, самых мелких вносили няньки.

И перед этой оравой кандидат Зеньчугов, оставленный при университете и в поисках синекуры «остриженный под горшок», чернел одиноко в пустом оркестре.

У Зеньчугова екнуло сердце. Он сполз с вышки капельмейстера и присел на приступку, так что высокий барьер спасал его от детских глаз.

Визг, гул, ад...

И пред носом опять этот френч.

— ?

— Бэлла Исаковна просит не ошибиться: ваше обращение к детям должно быть «граждане-товарищи», слово «дети» отнесено к сентиментальным привычкам буржуазии. Извольте идти на эстраду.

Зеньчугов взошел по лесенке на авансцену и как от отчаянной погони кидается человек, не глядя, в воду, он завопил:

— Граждане-товарищи, дети!

И взвизгнули, и радостным, мышиным писком загомозил весь зал:

— То-ва-ли-си!

И, вытянув губы, приготовились повторить все слова Зеньчугова.

Но, боже мой, какие слова! Ведь Зеньчугов забыл фильму. Помнит он только: Бэлла...

Яростный кинулся френч:

— Бэлла Исаковна приказала немедленно говорить.

Как в гипнозе выпалил Зеньчугов:

— Великодушный слон!

Он рассказал из хрестоматии про слона, как может рассказать лишь один математик, всю жизнь знавший одну свою математику.

Он диктовал: длинно, размеренно — но вышло хорошо.

Дети были довольны, они поспевали повторять... Как от тысячи ульев, гудел театр.

— Пожар охватил хижину. Великодушный слон спас проводника, подвергая опасности собственный хобот.

На хоботе Зеньчугов задержался. Восхвалял всячески непостижимый орган. Увлекся. Правой рукой изображал его гибкость, пальцами — цепкость; пошарил в кармане, бросил на пол окурок, показал, как хоботом слон сумел бы поднять.

И дети за Зеньчуговым все руку вверх, все пальцами, все что-то бросили, все сползли на пол.

Бешеный френч подскочил:

— Бэлла Исаковна приказала кончать!

— Я кончаю! — крикнул на полуфразе Зеньчугов и сошел с эстрады.

Бэлла Исаковна стояла тонкая, змеистая, глаза метали молнии, как у гневной богини.

— Для кого это вы сделали секрет из дежурной фильмы? А? Я вас спрашиваю! И при чем тут ваш слон вместо болонки Джильды и фокстерьера, вместо видов Аббации и сюжета комического? Дети будут требовать слона. Вы мне сделали скандал. И кому дело до вашего хобота с окурком. Вы мне съехали всех детей на пол!

Маленькие ручки Бэллы Исаковны так и сновали перед глазами Зеньчугова, как бы вознаграждая себя за вынужденную неподвижность, налагаемую этикетом мадам Рекамье.

Адский визг в театре покрыл ее речь. И френч-Меркурий влетел, как бомба:

— «Аббацию» дети не смотрят; кричит весь театр — слона!

— А-а, — как раненая тигрица, простонала Бэлла Исаковна и, схватив за рукав Зеньчугова, потащила его к сцене.

— Бэлла Исаковна, — бормотал Зеньчугов, — это все из-за вас, это ваша улыбка, Бэлла Исаковна!

Бэлла Исаковна впервые глянула на Зеньчугова не как на предмет, вдруг поняла, подбородок ее дрогнул, и она засмеялась. И не как Рекамье или царица Клеопатра, а просто засмеялась отлично и весело.

— У вас это что на голове, парик?

— Нет, это такая стрижка... в голярне... — Зеньчугов умирал.

— Совсем не в голярне, в перукарне надо стричься. Изуродовали вас... Впрочем, сейчас это кстати. Стойте тут за кулисой и слушайте, как я буду исправлять ваш хобот слона и на какую должность я беру вас в заведение.

И через минуту грудной, красивый голос Бэллы Исаковны сказал громко и отчетливо на весь театр:

— Товарищи-граждане! Ведь вы не скажете, что не бывали в цирке и не видали там клоуна? И не правда ли, рыжего? Рыжий всегда делает то, чего не ожидаешь. У нас в кино такого рыжего будет делать товарищ Зеньчугов. Он вам сейчас нарочно говорил о слоне, чтобы узнать, умные вы дети или нет? Если вы умные дети, так вы посмотрите себе тихо собачек и виды Аббации, а потом товарищ Зеньчугов еще вам расскажет, что ему, как рыжему, войдет в голову. И это будет опять не про то, что в фильме Патэ. И это очень хорошо: вместо одного у вас выходит два представления. Сейчас выйдет наш рыжий!

И дети, сколько их было в ложах и в партере, завопили:

— Рыжий, рыжий!

А Зеньчугов, сбивая всех с ног, летел что было духу вон из театра,

Н. Секавиной

КЛИМОВ КУЛАК

I

Тяжкий стоял дух над городом. Густой, клейкий, ни с чем не сравнимый дух — трупный.

Трупом несло с гористых и низких мест города, из особняков и садов.

Разрыта земля, обнажено разложение, настежь ворота анатомического театра. Там навалены трупы, как туши предпасхальные, — ищи своего кто ищет.

Влечет тлетворный дух — и тянутся. Как за дудкой сказочного крысолова.

Идет тот, кому нужен один лишь на свете, свой, родной, «пропавший без вести», идут и другие, так себе люди, идут на зрелище.

Но все: одними входят — выходят иными. На весь остаток жизни, навсегда, до смерти выходят иными. И не лучше, чем были. Кровь родит кровь.

Было жарко. Был безоблачный синий день, и сверкала река. Но все это было будто не вправду, не живое: про это было известно, и словами надо было так назы-

вать. А на самом-то деле, по чувству людей, над городом висело багрово-оранжевое, как облако над вулканом, и было душно и красно в глазах.

От опознанных лиц на раздутых пятнистых трупах и боль, и злоба, и мука нечеловечья. У иных же лиц не было... безголовые, с одной нижней челюстью.

Густо, душным клубком, с той силой, как пар гонит машину, гнало людей по улицам. И не могли удержать волю, чего-то не сделать... Без порядка, сквозные стали души, им не сдержать себя.

Шел черный человек к анатомическому театру; другой, таких же средних лет, в картузе, с очень светлыми волосами шел навстречу ему, из анатомического. Белый носовой платок держал он у лица; шел, вздрагивая плечами, — может быть, он рыдал. Один черный, другой светлый, оба средних лет. Так отметил бы их всякий. Но для Вассы Петровны было иначе.

Тот, черный, — он муж, Иван Сергеич. И высматривала она его из окошка высокого дома, наискосок, уже второй день безотходно.

Подозрительных эти дни не доводили. Ивана Сергеича, если словят, не доведут: и в городе он известен, и паспортишко рисовый...

И вот жив Иван Сергеич! Сейчас войдет, щей попросит. В подполье бороду отрастил, теперь не всякий узнает, а все-таки...

— Скорей, Ирочка! — зовет Васса Петровна дочку. — Перехвати папу, скажи — в доме обыски, пусть опять идет к тете Тане на Нижний базар, я туда же сейчас. Да незаметно смотри, всюду слежка.

— Учи ученого! — Ирочка, беленькая сестра милосердия, скатилась с лестницы, и вот уж она на углу.

Будто так загляделась на витрину. Ждет, чтобы отец с ней поравнялся.

И не видит Ирочка, что у нее за спиной случилось. А Васса Петровна из окна своего все видит и смотреть не кончит до конца.

Светло-русый, тот, что вышел из анатомического театра, поравнялся с Иваном Сергеичем. Он все держал белый платок у лица. Все сильнее дрожали его плечи, и по тому, как руки его теребили платок и как особенно голубели глаза его, видно было: сверх сил его было оно, то, что вынес он с собой; сверх возможности донести ее была ноша его. Сына нашел...

Как убит, кем, с кого спрашивать?!

И вот он глазами ярко голубеет в глаза Ивану Сергеичу. В черные, быстрые глаза. Домой Ивану Сергеичу хоть бы на минутку забраться, а засады вот нет ли? По сторонам бегают его черные быстрые глаза.

А голубоглазому про свое лишь мерещится. И берет он Ивана Сергеича за плечи и говорит скоро-скоро...

Иван Сергеич вздрагивает. Отмахивается. Он удивлен, он тут ни при чем, он ничего про это не знает.

— Ни при чем! — кричит светлый. — Не знаешь, как там мертвый лежит, так узнаешь.

И револьвер из кармана. Раз, два. В упор в Ивана Сергеича. За минуту ведь не знал его вовсе и сейчас-то не знает, а нельзя не убить... Подозрительный попался. Убить надо.

— Иван Сергеич!

Вассе Петровне кажется, она на всю улицу, она на весь мир крикнула, а она — всего лишь губами, без звука, как в страшном сне.

Да ведь сон это Васса Петровна видит и каменная, безмолвная стоит.

А вот на улице, у витрины с открытками, — точно, крик неслыханный...

Сестра милосердия крикнула, рванулась... и бежать не может. Это беленькая Ирочка к папе.

Иван Сергеич после выстрелов осел на траву под забором безмолвно. Сидел, повернув голову, шевельнул губами. Голубоглазый в ответ раз, раз... еще. Иван Сергеич чуть помедлил, раздумывая, падать ли совсем, и, качнувшись, зарылся лицом в траву.

Сбегалась толпа. Два военных, придерживая шашки, стремились с горы, а голубоглазый еще и еще спускал свой курок, хотя пуль уже не было.

Опять какой вдруг крик. Ирочка бежит и кричит. Белая косынка, как голубиные крылья, бьется по плечам. А Васса Петровна, каменная статуя у окна, все видит, все слышит — сама ни рукой, ни ногой. И нет голоса.

Бежит Ирочка к траве, где лег Иван Сергеич. Серое платье, белая косынка.

У травы толпа. И те, военные, с шашкой.

— Папа! — кричит Ирочка. — За что папу... звери!

И ревет толпа:

— А за то самое... Даром не убьют. — И толкают Ирочку, не пускают к отцу.

Что сказала она? Вдруг вахмистр или другой кто, усы рыжие, по голове ее — рраз! Ирочка упала. Обступили, сомкнули круг.

И топтали...

Вот конные. Разгоняют нагайкой. Самосуд? Кто зачинщики? Уводят многих. На извозчике светловолосого.

Отняли у него револьвер, а он и пустыми пальцами щелк... спускает курок.

Опустело. Подымают на носилки одно тело с травы от забора, другое подымают с мостовой. Серое платье, и не белая у Ирочки — от крови красная косынка.

Стоит Васса Петровна, каменная, у окна, не оторвется. Долго чернеют ей туфельки на недвижных ногах Ирочки. И вот опять спешно идут по своим делам новые чужие люди мимо этих мест. Никто не смотрит. Часта сейчас кровь на улице.

Васса Петровна, как недавно Иван Сергеич, откачнулась назад. Чуть помедлила и съехала совсем на пол, стукнув звонко затылком о паркет.

II

. . . .

Был еще голод, а уже в газетах его отменили. И, как всегда, обрадовались люди, что забота с плеч долой, жертвовать перестали. Но голод все еще был, и отменить его не могли. Иван Сергеич из таких работников, которых не видать, не слыхать, а в самую трудную минуту они тут.

На частные средства наладил Иван Сергеич в Булатовке столовую, помощников привлек, курсистку Вассу Петровну... Иван Сергеич — высокий, быстрый человек — разъяснил сразу, в чем дело, сам в первый раз провел по избам.

Ну, какой в лицо хватил крепкий мороз! Как скрипел снег под валенками, и какие шли они оба красивые, и стыдясь своих чувств, и желая думать только о деле.

Седые деревья с толстыми черными воронами качали белые ветки в небе, глубоком, таком густом, как синяя эмаль. А встречный ямщик Федосеич, заворачивая в неизменный свой кабачок, забористо так зовет: «Други-молодежь, составьте канпанию!»

Обмерзшие черные крыши из прогнившей соломы, грязный утоптанный снег вокруг изб, мальчишки по пояс в тятькиных сапогах...

Ведь все это видит сейчас Васса Петровна, как тогда видела. Под неусыпным тети Тани взглядом отходит болезнь. И не одна — две делаются Вассы Петровны. Изболевшая, пожилая у окна на кресле сидит, ловкими руками, как механизмом заводным, одно за другим шьет — без работы не может. А другая, лет на пятнадцать моложе, здоровая, лицо ветру навстречу, по следам старым ходит. Перед концом своим? Или, напротив того, что-нибудь высмотреть хочет, чтобы дальше ей жить...

Вот столовая.

— До свиданья, — говорит Иван Сергеич, — до вечера. Смотрите внимательно: на вашем полном усмотрении, кого накормить. По графам впишете, а вечером...

И хоть глаза его, хоть бородка кудрявая, дрогнувшая под улыбкой, не об одном только деле говорят, твердо он произносит:

— Вечером проверять будем записи.

И Васса Петровна:

— Проверять записи.

А в столовой-то! С непривычки, будто на банном полке, неразбериха в дыму. На столе миски с хлёбовом, перед столом скамейки. Молодухи, и дети, и старые наперерыв, взапуски тычут ложки в хлёбово...

— Ой, важно Гашка сготовила, для навару тараканцев впустила!

— Проглоти, сытей будешь!

— Лукерью, баушку нашу, впиши. Капитоновы мы, — пищит в ухо Вассе Петровне бабочка, — отпятили Лукерью по злобе по одной.

— Гладкие вы, — хватил парень, — лошадь у вас ды корова...

— Это мы, мы гладкие?! На корову-то ртов...

И, не передохнув, сыплет бабочка:

— Свекруха, свекор, Марья да Дарья, да старый, да бабенька, да еще...

— Припишу, — не выдерживает Васса Петровна, крестом метит Лукерью в графленой книге.

— А когда крест Лукерье — и меня захрести.

— А меня стряпухой заставь: слышь, Гашка грязно готовит, тараканцев нашли...

А Гашка полоротая:

— Я, я тараканцев?! Да штоб они тебе в рот...

Сцепились бабы. Смеется изба. Стоит Васса Петровна с графленой своей книгой, смеется. Смеется она и сейчас.

— Чего ты? — с испугом к ней тетя Таня и на голову руку кладет. Ведь засмеялась впервые после долгих недель Васса Петровна.

— Это я, тетя Таня, прежнее... пересматриваю.

— А подай тебе бог, — говорит тетя Таня, крепкая, бывалая старуха. Многих людей она отходила от черной скорби; при ней в петлю не влезешь.

— Поищи, — скажет, — нет ли чего за душой! — И настоит: кому лаской, кому гневом.

А поищет человек — и найдет. Без душевного капиталу никого нет на свете; только мусором сверху завален, разгреби — заблестит.

III

В тот же день вечером говорит Иван Сергеевич потупясь, самому невесело:

— В Москву надо съездить, распутица скоро, живой помощи ждать ниоткуда нельзя, авось там сберу. — А потише прибавил: — И с женой порешить надо вчистую, чтобы свободным вернуться.

Тут впервые, как невеста с женихом, целовались.

. . . .

Нет Ивана Сергеича, а дела-то — не обраться. На рассвете вскочит с жесткой скамьи, еще сон не прошел, еще не поймет, кто она, что ей здесь, Васса Петровна, а уж на улицу, на свежий, на утренний, неутоптанный снег, в черные избы. Входит — выходит. В лиловые графы лиловым карандашом ставит цифры...

Тут — Парфеновых шестеро, ни дров, ни скота. Там — Егоровы: и баран, и коровушка, да ребят, что орехов, подсыпано. Кого вписать, кого вычеркнуть?

Вдруг навстречу рыжий староста и грузный, в черной рясе, о. Савелий.

— Черт его ядрами кормит, копной набит, в кожу зашит, не к добру встреча! — И тихонько плюется Авдотья курносая.

А староста с ядом:

— Что задумчива, Васса Петровна! С фонарем волшебным приехала, а пословицу знаешь? Мак семь лет не рожал, а неурожаю не слыхано!

— Графские книжки давать придержитесь. — И корит батюшка старым, потухшим взором, и шелестит седой бородой, зовет к себе чайку выпить — без гордости...

— Книжки Толстого одобрены, а чай пить мне некогда...

И дальше Васса Петровна — больных принимать.

— Тебе они афронту не спустют, — пугает Авдотья-вестунья, — дай срок!

У крыльца с болезнями старый и малый, обступили: в подошвы ветер играет, пес колени жует, корешки мозжит...

Далеко доктор, и не любят лечиться у доктора. За средствами ходят в столовку. Лечил тут декохтом чертежник, от декохта спился, лечил землемер, сейчас лечит Васса Петровна.

. . . .

Стоит пред глазами дорога: сугробы — провалы. То взметет сани на гору — назад голову запрокинешь, и с черного неба вдруг яркие спустятся звезды, низко-низко, рукой достать; то лошаденка как ухнет под гору, и боднешь головой в ямщика. В глазах: бедный огонь в деревенском окне лампадой дрожит. А в избе? В избе сизая мгла, и овчины, и копоть. С воздуха тяжко дышать. На скамье, лицом в фартук, баба воет.

— Где хворые?

— Вон на лежанке; помрут — чем хоронить?

— Ой, бабонька, цветик лазоревый, дай-ко мне, дай! — Одна бредит, другая чуть дышит высохшим ртом.

Отец ледяной водой из бочки поит — студеная, она ей послаще.

Вся деревня вымирала. А они: «Вымирать пришло время — и мрем».

В тот день, как к Вассе Петровне пришло короткое письмо от Ивана Сергеича, две строчки всего: «Ради детей помирился с женой. Прощайте...» — Вассу Петровну увез лохматый мужик за много верст. Божилась ему, что лечить не умеет, встал на колени и стоял, пока не села в сани. Уже во второй избе вышли деньги, компрессы, лимоны. А тиф был не в двух — во всех избах! И во все надо было пойти.

И что делала Васса Петровна? С пустыми руками, без знаний, без гроша. Люди с поклонами, и на коленях, с такою мольбой...

Каленым железом рвало сердце, огонь бежал в жилах. Вот виновного кого-то к ответу, к ответу! За всю эту горькую, звериную жизнь. И сами собой клались руки на эти горящие детские, бабьи, мужицкие головы, и что говорилось, что? Где с угля прыскала, где воду с сахаром, где стих, где молитву.

. . . .

Шли дни и шли недели, снег протаял. То тут, то там журчала вода под тончайшим льдом. Мыслей не было о своей искалеченной жизни, ни о чем своем. И как это вышло?

Многие чужие жизни вошли, и вот — хоть нет ей первого бала, как для Наташи Ростовой, а для себя одна лишь разбитая первая любовь, — как обострены, как умножены силы, какой многоводною, щедрой рекой течет она, курсисточка Васса Петровна, со скотьим лечебником, без гроша, леча водой с сахаром и — кто разберет их — какими словами! И едут-идут, по избам разносят: «Знахарка приезжая...»

И что удивительно: никогда потом, и после того, как все-таки пришел к ней Иван Сергеич, и долгие годы прожили, никогда таких минут больше не было. Так грозно, так ярко — блистательно.

Значит, в этих минутах правда была, такая, что и сейчас ею бы жить.

Только нет. Там же, тогда же убил эту правду Климов кулак.

Дойдет до этого места Васса Петровна и станет. По самому сердцу хватил, отшиб охоту на «прекрасное, доброе, вечное». Дуракам его сеять. В свою личную жизнь скупо, жадно ушла Васса Петровна. И вот оборвалось — нет жизни. Из-под забора унесли Ивана Сергеича, унесли Ирочку. Долго чернели недвижные туфельки.

А сейчас закрыть глаза: все ярче те пальцы пустые, что без револьвера все щелк, щелк... спускают курок.

Долгую жизнь прожила Васса Петровна, а какую память от этой жизни в могилу ей взять?

Пустые пальцы да Климов рыжий кулак.

IV

Нет слез у Вассы Петровны; как окаменела тогда у окошка, так она и сейчас каменной бабой, ходит ли, сидит ли за работой. А тетя Таня по-старинному ей: «Ты б поплакала, слезой душа разрешается. Раньше смерти грех помирать».

На кладбище идти надо мимо тюрьмы. И перед тюрьмою большая толпа. От самых железных ворот, далеко в пустырь три хвоста хвостят. Трое первых людей к холодным прутьям голову тесно притиснут — на

щеке рубец долго красный, — на минутку родных своих увидят — и назад; на смену им новая тройка. С утра до сумерек этот черед.

А в ответ этим, притиснутым к железу ворот, через двор, напротив, за решеткой окна, одна за одной, как отрубленные, — три головы. На миг выступят — и другие на смену..

Улыбка у всех на зеленом лице, блеснут вдруг глаза, от родных глаз зажгутся. Со стороны — игра как игра. Да у многих она последняя...

Старушонка одна, как турок на земле, пред воротами сидит. Кащеевыми сухими пальцами в прутья вцепилась. На ней ярко-зеленая шляпка-капор, ярко-огневой цветок настурции. Издалека видать, как рябину в зеленой листве. Старушка личиком востреньким всунулась между прутьев. К воротам как винтами привинчена — не согнать. Да ее и не гнали — ни сторожа, ни хвосты. Второй месяц ходит, кому мешает? Весу в ней, ровно в курице, — над головой ее шел черед.

Остановилась тетя Таня, знакомых нашла. А Васса Петровна видит: цветок настурции закивал вдруг кому-то, так вот и бьется на своем стебельке, огненный на ярко-зеленом капоре.

— Это бабушка для внучки такую клумбу надела, — говорит Вассе Петровне все узнавшая тетя Таня, — это чтобы внучка увидела. В окошке она...

Бледная, с светлой косой, еще девочка, кивнула, махнула белым платком, и уж нет ее, лицо чье-то строгое, в пенсне.

А бабушка крепче руками за прутья, остреньким носом в щель пролезть хочет, бьет о железо оранжево-красным цветком на резиновом тонком стебле.

Вдруг на пустом тюремном дворе движенье: вышел главный, в галифе, кожаной куртке, приказал сторожам. Откуда-то стали таскать сторожа скамьи, табуреты, обрубки и стулья. Покоем расставили. Подошел один к часовому, сказал: «Отогнать приказано от ворот, выводить скоро будут».

Плач, крики и обморок, и кто-то прямо в лужу на колени.

— Дурачье, — покраснел тот, в галифе. Подбежал, закричал: — Граждане, сделано постановление о совместном фотографировании заключенных с тюремным персоналом, после чего всем амнистированным воля. Освободите проезд!

Отхлынули от ворот, расселись на камнях в пустыре. Только бабушку не отнять от ворот. Мертвой хваткой взяла прутья, хоть руки отпиливай.

— Из ума выжила, — сказал сторож, — оттащите ее, не то водой отлить надо.

— Чего отливать? На воротах пусть едет с цветником со своим!

Ключом щелкнули молодцы, с визгом двинули широко настежь огромные железные створы. Подмяло бабку, вскочила, и проворно так во двор как юркнет. Поймали. В охапку сгреб сторож, посадил бабку на камни, приказал смотреть в оба. Тетя Таня и Васса Петровна сели рядом, под руки держат. У всех других своя забота, не до чужой им старухи.

Плачет бабка как малый ребенок.

— Чего плачешь, бабушка? Фотографию снимать будут.

Не верит:

— Глаза отводят, убьют их!

И все кругом белые — не верят. Хоть давно ходят слухи: перед уходом этот раз решили не казнить, а всех выпустить.

— Стулья вынесли, посадят, привяжут, и всех — пулеметами.

— Граждане, не создавайте панику, — успокаивает учитель, широкий очкастый человек. — Граждане, для расстрела стульев не нужно, поверьте опыту: два раза ставили к стенке. — И рассказывает...

Принес сторож огромный серый занавес, растянули за стульями на столбах. От серого бабушке новые страхи. Знать, покроют их всех одним саваном...

— Это фон, бабушка, это фон, чтоб фотография удалась.

Огромный автомобиль с начальством, газетчиками, с так себе френчами и фотографом. Въезжает, грузно прыгая по камням, в самый двор. Устанавливает фотограф треногий аппарат. С него черным шлейфом свисает до самой земли покрывало. И что-то зловещехищное, марсианское в этих отчетливых тонких ногах, в большом ящике вместо головы с ниспадающим черным шлейфом на пустом тюремном дворе, перед пустыми стульями и серым натянутым фоном.

— Пулемет это спрятанный... — шепчет бабушка.

— Пулемет... — говорят в стороне.

— У пулемета не та компетенция, — учит мужчина. — Но чтоб тут не скрылся вновь изобретенный, глазу незримый, смертоубийственный свет — в том божиться не стану.

— Без проволок телеграф провели — очень просто, и свет незримый открыли.

— Когда газами немцы травили...

— Черта с два фотография! Посымают визитные... с головой.

— Граждане, не создавайте панику!

Фотограф будто угадал по долетевшему от ворот гулу, что его аппарат вызывает волнение, засучив рукава, как фокусник, объясняющий фокус, галантно снял черный покров и показал публике обыкновенный фотографический аппарат.

Все успокоились. Только бабка свое:

— Убьет, родимые, свет незримый, убьет!

Вот открыли двери тюрьмы. Один по одному, щурясь от забытого солнца, испуганно двигались люди. Не верили и они. Однако сели на стулья, на пни и поленья. Начальствующее лицо прыгнуло на сиденье автомобиля и стало держать речь. Слова отнес ветер, но по отеческому звуку речи, по мягкому взмаху руки похоже было: так былой предводитель дворянства говорил голодающим речь перед раздачей зерна от казны.

Бабушка высмотрела на бревне свою бледную внучку, вздрогнула — замерла.

Отговорил свою речь начальник — фотограф выбежал маленьким шагом, приподнял покрывало, снял крышку с объектива. Жантильно просчитал: «Раз! Два! Три!» — и, чуть щелкнув, надел крышку снова.

— Шурочка! — крикнула бабушка, — Шурочка... — И, как белка, влетела в ворота и дальше. К бабушке бросились.

На половине тюремного двора старуха крылато взмахнула черными рукавами и легла на бревно. Проалел яркий цветок и потух, сорвался со стебелька.

Бабушку подняли, окружили. Обняла ее свободная, только что сфотографированная вместе с тюремным начальством Шурочка. Не двигалась бабушка. Померла.

V

Живет бледная Шурочка, круглая сирота, у тети Тани. Позаботились об ней люди, и то начальство, что фотографировать всех затеяло, то — особые милости ей оказало. И одета сейчас, и обута, и за ученье взялась, и поправилась: вот радость бы бабушке — прежде-то как нуждались! Только нет ее. Бабушка от фотографии на тюремном дворе померла. А от внучки ее, Шурочки, повеселело в чужом доме.

Стала Васса Петровна на кладбище ходить. И хоть по-старинному верно: от слез душа разрешается, — кому нету слез, не заплачет. У одного горе — вода полая, у другого — смола горючая. Без просвета, тяжко лежит смола, а загорится огнем — сгорит. Кому свет дает, — себе легкость. Только б сгореть ей.

Сидит Васса Петровна на кладбище. Всюду нищий песок, цветов нет, жарко лето, далеко вода, нанять сторожа — нету денег.

Но лучше цветов над этой братской нежно-желтой могилой развевает закат свои цветистые перья, веет ветер и в синюю ночь прямо с неба, как римские свечи, срываются звезды и сгорают, не долетев.

Здесь, на кладбище, Васса Петровна досматривает последнее, что осталось ей досмотреть. Ведь нельзя же так помереть: от личного счастья — в памяти пустые

щелкают пальцы — раз, два... от служенья людям — рыжий страшный кулак!

Не на желтой могиле заплакала Васса Петровна, нет, а когда плакать совсем было нечего. Шурочка новое платье надела: «Это первое, говорит, не из старых чехлов; мечта была у бабушки платье на мне такое увидеть». А сама Шурочка уж веселая — свое юность берет. Васса Петровна тут в первый раз горько-горько... И не то что старушку так жаль, а всех как есть на свете. За жизнь эту жалко, за то, что все шатко-валко, сейчас есть — завтра нет, и не понять никому, ничего не понять...

И вот никакая злоба, никакая боль, один такой простор в душе! Любовь покрывающая, как у матери разве. Только бы выпрямить, поддержать, растворить собой эту глупость и горе, только б исправить: не тяжелой, а легкой пусть станет земля.

И тут вдруг Климов кулак Васса Петровна не заметила как простила. То всю жизнь, как камень, носила, от мира широкого отвернулась, в свое личное кошкою прижилась, как все приживаются, чтоб сытней да теплей на своем на домашнем насесте. И вот нету больше насеста, ничего ровно нет, седина снег просыпала... А в душе вдруг, как в самые юные годы, какая вновь сила! Опять грозно так. Так ярко-блистательно. На неравный могучий бой!

Пока человек в котле жизни кипит, разве свою судьбу ему можно понять? И что знает он про себя: когда жив он, когда мертвый? А выплеснет вон, отшибет предсмертным ударом — поймет. Ярлыки привычные всем менять надобно: где скорбь непроглядная — росток жизни новой.

VI

В деревне в последний месяц Васса Петровна отдала свою комнату семье Агафоновых: у них был мороз, и ребята в кори. Ту самую комнату, где с Иван Сергеичем целовались...

Перебралась к Фиминой тетке.

— Морячиха зовется тетя, по дяденьке, — говорит Фима. — В благовещенье дяденька к луже примерз — отдирали, вот и прозвали его Моряком. Страшна Морячиха: ведьмиста, щербата зубом, глаза — зеленые мыши, так и шарят глаза.

— Горницу дешево не отдам — господская горница!

А она — пристройка над черной избой, ветром подбита, с голубиным окном, сквозь щели дым облаками.

Еще письмо от Ивана Сергеича, только деловое: столовую закрывать, помощи нет. За амбары — приедет, расплатится сам после пасхи. Вечером рыжий староста приходил. Хитрил, подхихикивал, к себе опять звал, к чаепитию. И к о. Савелию звал насчет книжек графа Толстого, на особый разговор. И опять ему Васса Петровна:

— Книжки все одобрены, а чай пить люблю дома.

— Сколько курице ни квохтать — петухом не кукарекать!

Уходил староста рыжий и злой, как Малюта Скуратов. У дверей обронил:

— А столовую закрыть тебе в добрый час!

Наутро чуть свет — ватага. Из-за пазухи вынули книжки — хвать об пол: эти книжки от дьявола, не священские — графские!

Швыряют дети толстовские рассказы, Авдотья шепчет на ухо:

— Никто тебе, милушка, яичка теперь не продаст, староста с батюшкой наставляли... скорей, грят, уберется, сомуститница. Антонов мальчишка как стал твою книжку читать — кура-то, кура...

— Что кура?

— Кура снесется — яечко проклюнет. Домекнулись — знамение. Графские книжки разводишь, а он антехрист и есть. Целовальник в казенке доказывал, наш парнишка со шклянкой стоял: знает граф, кто у турка украл гроб господень...

. . . .

Последнюю ночь не спала Васса Петровна. Все о мужиках — как их оставить! Три месяца тут прожила, жизни своей не видала, родных-знакомых забыла. И сейчас одни их дела да болезни... Вот Павлюк кричит: спьяну мышь проглотил, свербит в брюхе мышь, гнездо делает. Вон Клим с тихим, древним лицом. Подошва ноги — не подошва, целина взрытая, раны да струпы. Напоролся в лесу на сучок, на совесть ему колдун заплевал, притер порохом, а оно и прикинься! Дивился Клим, что Васса Петровна чистотой да компрессами ноги к прежнему привела, и, как в бога, в нее поверил. Душу выложил до тайного: как не свою, чужую бабу любил, и как хомуты у тестя пропил, и как не пить зароки давал, и как знать ему надо, что есть на свете. Каждый день ходил Клим: «Уедешь, ну какая мне жизнь опять? Запью горькую в твою память».

Утром к Вассе Петровне пришли все из столовой. Сжались у стенки, затаились, заклубилось в мыслях, вот-вот со зла, с рыву начнут. А что начнут?

Опешила Васса Петровна и без долгого разговора:

— Столовая закрывается, денег у меня нет, уезжаю!

Загугнели, как рой.

— Денег нет? А где жертвенно? Руки липкие, у одного костра греетесь.

В двери сыпались парни, и бабы, и дети.

— С чего заведующий стрекача дал?

— Деньги сбираем мы сами, поймите... — пробует Васса Петровна.

— Мы понимаем, это мы досконально, — щурится сморщенный Вася Сморчок. — Мужику беда, как пыжику; на него и с кровли не каплет! Не видать от вас миру анбарного обеспечения.

— Знать по рылу каких свиней!

Бездельные парни выперли дурачка Петрушку. В руке у него распухший, старый молитвенник:

— А ну, почитай, не рассыпется ль! Да воскреснет бог и да расточатся...

— Графская, графская, — шипят бабы. И юлит-кружит Авдотья курносая, чай с сахаром тащит и ткет бабью свару, подзуживает: «За анбары не плочено, жертвенно не роздано...»

И то вниз съегозит Авдотья, в избу к Морячихе, и там народу полно, то на розвальни сядет, судачит с Сашкой Чувером, до станции нанятым ямщиком.

Увидела Васса Петровна своего Клима с тихим, древним лицом — от души отлегло. И сейчас в суматохе разбинтовала в последний раз бинт, и Клим, ухмыляясь на чистую ногу, сказал:

— Мидаль тебе, Васса Петровна, мидаль за отличие.

А через минуту он самый...

Поцеловалась Васса Петровна с Климом, с ближайшими бабами, взялась за свои вещи.

— Вешши тянет, дядя Моряк! — визганула вниз в избу Авдотья.

И сейчас как медведь вверх по лестнице... Вспухшая голова глянула — скрылась. А вслед Морячиха. Ну, ведьма! Седые космы как змеи, зеленый глаз рысью с чемодана на подушки — все ль тут? Прыгнула, вырвала вещи.

— За анбары залог оставляй!

— Ивана Сергеича мало знаете? Он заплатит, он брал...

— Хорош парень, плохого не скажешь, — вымолвил Клим, — а за анбары платить нада, это уж так, дело мирское...

— После пасхи вернется, и заплатит, и столовую снова откроет...

— Держи карман, воротится! Ему мирская башка — тесом крыта. Не подумал — утек. И ты этак-то...

Были тут люди, по доверию приносившие Ивану Сергеичу на сохранку кровные гроши. Верили больше, чем казначейству. Но сказали и те: не воротится.

— Чего молчишь? — наседает Морячиха на синего от водки, страшного Моряка. — Куроцап, ободрать тебя — и башмаков не выйдет!

Моряк проскрипел:

— Вешши в залог, — и сел на чемодан.

— Што это разорались? — протиснулся Сашка Чувер. — Поедем, што ль, Васса Петровна, а когда безобразие, я урядника призову!

— Сама я не дешевле твово урядника, — взвилась Морячиха, — я земле — владельщица, я дама!

Не робкой кобылы жеребята...

А Вася Сморчок, бочком щурясь:

— Где такой кавалер, а ну, покажись! Егория первой степени за хоробрость. На голове у парня чуть взошло, а под носом и вовсе еще не засеяно!

— Ободрали и втикають...

— От антихреста, графские...

— Забрать вешши в залог! Им што свое, што мирское.

— Едем, што ль, Васса Петровна? — И городской, бывалый Сашка Чувер схватил чемодан, Васса Петровна взялась за подушки.

И вот возможно ли, было ли это? Чей это сильный кулак? Вздутые жилы, рыжие волосы. Поднялся кулак — рраз... Климов кулак.

Ну, а тот, во френче, в кожаной куртке, разве фотографией хотел убить бабушку? Своя у него линия: по его линии на этот раз фотографировать надо. А про то, каков человек, что он знает-думает, кому дело? И нет встреч у людей.

Своя у Вассы Петровны была линия, а против нее своя у мужика была правда, как же им было встретиться?

. . . .

Шить Васса Петровна бросила. Шурочке все свое отдала, взяла узелок легонький, говорит тете Тане:

— Прощайте, я здорова опять, силы много.

Решила к мужикам тем в Булатовку. А как с места двинулась — последнюю свою линию потеряла. Где еще там Булатовка! Разговорилась в вагоне и попала на ближайший завод. Там станет не нужна — пойдет дальше. Своей линии нет — бери кому надо.

ПРИМЕЧАНИЯ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ПЬЕСЫ О. ФОРШ

Ольга Дмитриевна Форш всенародно известна как автор превосходных исторических романов. Между тем произведениями этого жанра далеко не исчерпывается полувековой творческий путь писательницы; ее литературное наследие поражает многообразием форм и жанров, исключительной широтой интересов, богатством тем, глубиной и сложностью идейно-эстетических исканий.

Кроме исторических романов, О. Форш написала несколько циклов замечательных рассказов, создала сказки, очерки, пьесы, киносценарии, выступала в качестве публициста и литературного критика, историка живописи и автора оперного либретто. Без знакомства с разнообразными темами и жанрами ее творчества, всегда совершенно оригинального и в то же время тесно связанного с общественной жизнью страны, с текущей «злобой дня», невозможно уловить закономерности ее творческого роста и оценить по достоинству ее роль и значение в развитии советской литературы.

Первые шестнадцать лет писательской деятельности О. Д. Форш (1907—1922) не были связаны с жанром исторического романа. Между тем за эти годы она прошла сложный

и значительный путь развития — формировалась ее литературно-эстетическая и общественная позиция, складывалось своеобразие художественного почерка, определялся круг жизненных проблем и интересов, составляющий душу и смысл всего ее творчества в целом. В творческих исканиях предреволюционного периода и первых лет после Октября постепенно вырабатывалось глубокое понимание связи настоящего с прошедшим и будущим, взаимообусловленности внутренней жизни человека и хода общественной истории — тот глубокий историзм художественного мышления, без которого было бы невозможно возникновение ее исторических романов. Да и после того как был написан роман «Одеты камнем» и художественно-исторический жанр занял ведущее место в творчестве Форш (1923—1953), она не прекратила работы над темами современности.

6, 7, 8-й тома настоящего издания охватывают все основные тематические циклы и жанры творчества О. Д. Форш на протяжении всего ее писательского пути (за исключением исторических романов, вошедших в тома 1—5). Здесь собрано далеко не все, что было создано писательницей в течение более чем полустолетия, но представлены основные и наиболее характерные произведения, позволяющие судить о богатстве и многообразии литературной деятельности О. Д. Форш, о сложности ее творческого пути и глубине идейно-художественных исканий.

1

Первые беллетристические произведения О. Форш начали появляться в печати в 1907 году, когда их автору было 34 года, хотя литературно-эстетические интересы пробудились у нее очень рано. Еще в детские и отроческие годы, проведенные в Московском сиротском пансионе графа Разумовского (в том

же пансионе, где воспитывался до поступления в кадетский корпус А. И. Куприн), а затем в Николаевском женском сиротском институте, будущая художница и писательница находила опору для душевного сопротивления казенщине и муштре, всей обездушивающей обстановке благотворительного заведения в воспоминаниях о детстве на Кавказе и в увлеченном чтении книг. Тогда же возникли и первые попытки выразить себя в художественном слове: она вела зашифрованный дневник, в котором текст перемежался с рисунками, и сочиняла поэтические письма, адресованные собственному детству: «Кавказу: горам, Куре, большому грецкому ореху, денщикам».

Первые попытки литературного творчества сама Форш относит к началу 900-х годов: «Это было на заре века в Ялте. Я жила в этом городе, когда Горький приезжал навестить больного Чехова».[1] «В то время прозы я еще не писала, а свои плохие стихи никому не показывала. Усердно рисовала и писательницей быть не собиралась. Я только что прочла повесть Горького «Супруги Орловы» и была под сильным впечатлением яркой свежести и особенности его языка.

У меня в стихах темы были только абстрактные, в поэме «Атлантида» орудовали чародеи и черти, все мои тогдашние вкусы и литературные интересы были далеки от реализма.

И то, что правда повести Горького оказалась художественной и волнующей, было мне необычно».[2]

Ко времени первых выступлений в печати литературные вкусы и интересы Форш все еще «были далеки от реализма». В период общественной реакции 1907—1910 годов религиозно-мистические и оккультистские идеи успели стать литературной

---

[1] «Вечерний Ленинград», 1956, № 286, 8 декабря.
[2] «Звезда», 1945, № 2, стр. 103.

модой, достаточно широко распространившейся; давление этой моды сказалось и на духовном развитии Форш. В годы, непосредственно предшествовавшие началу писательской деятельности, она увлекается буддизмом и браманизмом, печатает даже специальный очерк «Жизнь и учение Будды» в киевском журнале для юношества «Утро жизни».[1] Увлечение морально-этическим содержанием буддистской религии нашло свое выражение и в беллетристической форме — в рассказе-легенде «Индийский мудрец» (1908).

Затем возникает повышенный интерес О. Форш к теософии, средневековой мистике и оккультизму уже западноевропейского образца: «После поездки в Париж и Мюнхен, интереса к гностике и научному оккультизму написаны мною «Рыцарь из Нюренберга» и первая часть большого романа „Дети земли“»,[2] — вспоминала она впоследствии. В «Рыцаре из Нюренберга» (вышел отдельной книжкой в 1908 г.) наиболее прямо и резко сказалось влияние декадентского мистицизма. Оно выражается не только в сюжете и идейном содержании повести, но определяет весь строй ее эстетических представлений, всю ее стилистику. Власть искусства над душой героя этой повести, художника Ребиха, губительная для нравственной чистоты и душевной гармонии, приравнивается, даже мистически отождествляется здесь с «роковой» властью зла, погубившей легендарного рыцаря средневековья, который продал душу дьяволу. Нагромождение страхов и ужасов, нарочитое нагнетание противоречивых страстей, наивная вычурность языка граничат с прямой безвкусицей. Не случайно О. Форш никогда не перепечатывала этой повести ни в сборниках, ни в собрании сочинений.

---

[1] «Утро жизни», 1908, № 3, стр. 37—43, № 4, стр. 48—54.

[2] «Красная панорама», 1926, № 33, стр. 12,

Уже начало романа «Дети земли» («Русская мысль», 1910, № 8; в последующих изданиях переделан в рассказ «Богдан Суховской») рисует историю духовного развития героя как путь к преодолению, к выходу из-под власти вульгарного мистицизма оккультистов, на поверку оказавшегося пошловатой модой, умело и корыстно рассчитанной на психологию обывательской толпы. Да и само увлечение Богдана теософией ловкого французского писателя-авантюриста обосновано биографически и психологически: оно является следствием того отчаяния и внутреннего одичания, до которого довела одаренную натуру страшная обстановка детства и ранней юности в стародворянском поместье, превращенном в вертеп разврата, дикой жестокости и произвола. Элементы критического реализма сказываются здесь в картинах усадебного быта, в изображении одичавших помещиков, напоминающих героев ранних рассказов А. Н. Толстого в его цикле «Заволжье» (1910).

Влияние ходячего, «рыночного» мистицизма и вычурной декадентской стилистики было кратковременным и неглубоким даже в начальном писательском становлении О. Форш. Об этом говорит хотя бы тот факт, что одновременно и параллельно с дидактической тенденциозностью «Индийского мудреца», с нарочитой безысходностью «Рыцаря из Нюренберга» в первых же ее литературных выступлениях раскрываются и иные идейно-эстетические тенденции, связанные с иной стилистикой. Причудливая фантастика ее первых сказок («Медведь Панфамил», «Духовик» и др.), тесно сближающая душевный мир маленьких героев с миром симпатичных зверей, неожиданно переплетается с конкретными до осязаемости чертами реального быта и психологии. Точная психологическая и бытовая наблюдательность в соединении с юмором и почти живописной выразительностью языка характеризует ее рассказы о детях («Черешня», «В Неаполе», «Застрельщик»). В этих миниатюрах господствует свет-

лая атмосфера жизнеутверждения, любви ко всему здоровому. Сухости и бездушию, сословным предрассудкам и мелочности обывательского быта противостоит здесь богатство фантазии и непосредственность чувств, душевная цельность и стихийный демократизм, столь органичные детскому восприятию мира, что эти произведения, написанные в 1907—1914 годах, и до сих пор являются превосходным детским чтением, способным доставить несомненную радость также и взрослым. Рассказы О. Форш о детях с самого начала ее творчества восходят к реалистической традиции русской литературы, в частности — к Чехову, а из современных О. Форш писателей они во многом близки к рассказам о детях А. И. Куприна и молодого Л. Андреева.

Особенно важны для понимания идейно-художественного развития О. Форш такие рассказы, как «Был генерал» (1908) и «За жар-птицей» (1910). В них впервые намечается одна из сквозных тем всего творчества О. Форш, получившая широкую разработку во многих ее произведениях, включая и лучшие из исторических романов. Эти рассказы вскрывают кричащие противоречия между господствующими в классовом обществе формами сословных, имущественных, бытовых отношений и интересами духовного развития человека.

Накатанная колея военной карьеры или беспросветная нищета и изнурительный труд в крестьянском быту одинаково обезличивают и подавляют душевное своеобразие людей, доводя их почти до механического существования. После контузии, потеряв «иллюзию сложной деятельности», «бывший» генерал впервые задумывается: что же составляет его собственную личность, его человеческую индивидуальность? И тогда он легче всего находит общий язык и душевное взаимопонимание лишь со своим «молочным братом» — деревенским дурачком Степой,

так же как сам генерал «выпавшим» из колеи — из устоявшегося порядка повседневной крестьянской жизни.

Кричащее несоответствие между стихийной тягой к прекрасному, заложенной в душах героев, и темнотою, мелочной расчетливостью, властью имущественных интересов приводит к трагическому взрыву страстей, к преступлению и гибели простых деревенских людей — Степаниду и Ивана в рассказе «За жар-птицей». Несколько стилизованная, напряженно-романтическая манера словесного выражения в этом рассказе не мешает, а может быть, даже помогает ощутить жизненную, социально-историческую основу психологического конфликта, приведшего героев к трагической развязке.

В большей части ранних произведений О. Форш основу сюжета составляют вполне реальные конфликты и противоречия тогдашней действительности, остро схваченные художественным зрением и раскрытые в чертах быта и психологии, также достаточно конкретных. Из этого, однако, еще не следует, что писательница уже тогда твердо стояла на путях реалистического искусства. Механичности, мелочности и бездушию господствующих отношений О. Форш могла тогда противопоставить как положительную силу жизни лишь красоту и гармонию природы, целостную непосредственность чувства, присущую детям, стихийную тягу к прекрасному, жажду духовного пробуждения и развития, заключенную в душах простых людей, но не находящую осуществления в их реальном бытии, и, наконец, то духовное богатство, которое закреплено в произведениях искусства.

Напряженный интерес по преимуществу к духовным запросам современного человека, к судьбам духовной культуры в обстановке «страшного мира» буржуазной пошлости сближал О. Форш с идейными исканиями лучших представителей символистского искусства, которые за трагическими «противоре-

чиями современной души» и контрастами быта нащупывали противоречия исторической жизни общества. Однако в предреволюционных произведениях О. Форш эта реально-историческая основа ощущается лишь очень смутно. В отличие от Ал. Блока, О. Форш в то время не поднимается до поэтического осознания социальных противоречий как скрытой работы могучих «подземных» сил исторического развития, которые рано или поздно вырвутся на поверхность и преобразуют жизнь. Поэтому в ее рассказах 1912—1916 годов власть обывательской рутины и своекорыстного расчета все чаще рисуется как непреодолимая сила, а наивные и неумелые попытки людей вырваться из-под этой власти все чаще оказываются бесплодными и даже гибельными для героев.

Умирает жалкая Тусенька, из страха перед жизнью обрекшая себя на тусклое, растительное существование «ночной дамы» и лишь на исходе жизни решившаяся выйти из опостылевших стен сиротского пансиона («Ночная дама»). Из страха перед жизнью и заученными представлениями о ней, из-за равнодушия окружающих и душевной беспризорности кончают самоубийством две девочки в рассказе «Своим умом». Прибой торжествующей пошлости и вульгарного, рыночного расчета выбрасывает из последнего убежища — с чердака гостиницы «Гельголанд» — героев рассказа «Белый слон». Даже участник первых авиационных полетов, в котором герои «Катáстрофы» надеялись увидеть нового, свободного человека, покоряющего воздушную стихию, оказывается сухим и черствым авантюристом.

Власть экономического расчета или бездушной обывательщины, разрушительная для всякого проявления жизни, разрастается в глазах О. Форш до таких размеров, что рождает «мистику обыденного», столь характерную для символистской прозы. В таких рассказах, как «Шелушея» или «Безглазиха»,

неумолимая и разрушительная сила этой обыденщины перерастает в символы, персонифицируется в образах Шелушеи и Индрыги, рождает представление о страшной Безглазихе, заманивающей детей в яму с густой глинистой жижей, чтобы поглотить их. Такое представление о жизни порождает соответствующую стилистику: в рассказах этого типа утрачивается ясность сюжетных связей, размываются реальные очертания быта и характеров, зыбким становится речевой строй повествования, теряя ту простоту и пластическую живость, которая была свойственна языку первых рассказов и сказок.

Если сильную сторону дореволюционных произведений О. Форш составляло непримиримо-критическое изображение господствующих форм быта и психологии и неустанные поиски духовного выхода, то слабость ее идейно-эстетической позиции, как она сложилась к последним предреволюционным годам, заключалась в бедности положительного содержания, в отсутствии перспективы. Это и ставило ее творчество в идейную зависимость от идеалистических концепций символизма. Только революция открыла для нее перспективу реально-исторического развития человека и общества. Именно этот момент своего творческого развития имела в виду сама О. Форш, когда говорила о значении революции в своей писательской биографии: «Литературный путь мой был труден. Я отдала дань символизму. Остановись мое развитие на нем, я была бы опустошена. Подобные примеры были у меня на глазах. Не знаю, что сталось бы и со мной, если бы не Октябрь». [1]

Отсутствие исторической перспективы и связанная с этим односторонность восприятия жизни не давали возможности выйти за пределы малых жанров прозы — рассказа, сказки, очерка, к созданию более широкой картины тогдашней жизни

---

[1] «Литературная газета», 1958, № 63, 27 мая.

в романе. Такие замыслы возникали неоднократно, но ни один из них не удавалось осуществить. Работа над романом «Дети земли» так и не пошла дальше. Рассказ «Шелушея» был частью другого, также более обширного замысла, которым О. Форш долго очень дорожила, надеясь вернуться к нему даже много лет спустя — в середине 20-х годов: «Книга «Кант и селезень» задумана и начата в Киеве. Из нее пока напечатана одна глава в виде рассказа «Шелушея» в журнале «Заветы», и в 1922 году она вошла в мою книгу рассказов, изданную «Кругом». «Шелушею» все редакторы обозвали чепухой, а когда она появилась в печати, критика приравняла ее к гоголевскому «Носу». «Заветы» получали письма с разнообразнейшими толкованиями этой вещи, из которых ни одно не подходило и близко к тому, что мне хотелось выразить.

Временно отложив работу, которую для себя считаю значительнее всего, я стала писать об «Обывателях». Но книгу «Кант и селезень» закончить надеюсь».[1]

Не был завершен и третий замысел романа, возникший в последний предреволюционный год, о котором рассказано в статье «Из переписки с Горьким»: «Это был большой и, казалось мне, дерзко задуманный роман о послушнике, ставшем революционером».[2] Начало этого романа (под названием «На Валааме») О. Форш принесла А. М. Горькому в «Летопись» в 1916 году, но обращение к монашескому быту не вызвало у него сочувствия, и вещь эта годом позднее появилась в сборнике «Скифы» с иным названием и подзаголовком — «Пролог (к роману «Оглашенные»)».

Принципиально новой была для О. Форш проблема, лежавшая в основе этого замысла: «Как это и почему тема индиви-

---

[1] «Красная панорама», 1926, № 33, стр. 12.
[2] «Звезда», 1945, № 2, стр. 103.

дуальная переходит в общественную?»[1] Другими словами, как развитие внутреннего богатства человеческой личности закономерно связано с путями общественной истории и приводит на арену практической общественной борьбы за преобразование действительности. Это именно та проблема, которая стала центральной во всем послеоктябрьском творчестве О. Форш, в частности — и в ее романах, хотя и раскрывалась в них на материале исторического прошлого, а не на судьбах современников, как это было задумано в романе «Оглашенные».

Важность замысла романа «Оглашенные» для самой О. Форш подтверждает хотя бы тот факт, что она не оставляет надежды осуществить его и после Октября — вплоть до 1924 года, когда, говоря о своих творческих намерениях и планах, снова упоминает роман «Оглашенные», «который кончаю теперь».[2] По свидетельству сына писательницы, Д. Б. Форш, она в эти годы действительно продолжала работу над романом, и некоторые ее рассказы о гражданской войне являются частью этой работы (в частности, «Товарищ Пфуль»).

Однако, несмотря на значительность и плодотворность главной проблемы, лежавшей в основе замысла, он остался незавершенным не случайно. Слишком уж «издали» начинался здесь путь героя к революции: он усомнился пока лишь в плодотворности духовных исканий на почве официального православия, а надежды свои обратил к возможностям, заключенным в искусстве (см. «В монастыре», стр. 258—286 наст. тома).

Так или иначе, замысел «Оглашенных» все же свидетельствует, что к кануну революции О. Форш начинает искать разрешения жизненных противоречий, мучивших ее творческое сознание, не в отвлеченных умозрительных конструкциях сим-

---

[1] «Звезда», 1945, № 2, стр. 103.
[2] «Литературная Россия». Сб., т. I. М., 1924, стр. 344.

волизма, а в переходе от «индивидуальной темы к общественной». Художественное решение этой уже осознанной задачи заключало в себе громадные трудности, едва ли преодолимые с тем идейным багажом и кругом жизненных наблюдений, который был накоплен О. Форш к 1917 году, если бы не наступил «великий перелом в жизни России, а тем самым и в моей», — как вспоминала она позднее.[1]

2

Революция открыла новые перспективы практического и духовного развития общества и поэтому явилась могучим толчком творческого роста О. Форш, указала выход из тупика идеалистических представлений.

Первое произведение, опубликованное ею после Октября, рассказ «Марфушкин круг» (1918), имеет ключевое значение как для понимания связи ее дореволюционного творчества с послеоктябрьским, так и для определения того перелома, который вызвала революция в ее идейно-творческом развитии. Это первая попытка художественного осуществления той самой задачи, которую она ставила перед собою, но не осуществила в «Оглашенных».

В отличие от юноши-послушника — героя «Оглашенных», в центре «Марфушкина круга» поставлена отнюдь не исключительная личность, а наоборот, человек вполне обыкновенный. Исходным моментом в развитии героя — Ивана Ивановича Макарова I — оказывается как раз отсутствие яркого индивидуального своеобразия, духовной самостоятельности. В соответствии с традициями семьи он стал офицером, а захолустная

---

[1] «Литературная газета», 1958, № 63, 27 мая.

армейская среда целиком определила его быт и представления. Заурядность героя делает его духовное пробуждение доказательством серьезности и глубины тех социально-исторических процессов, которые происходили в русской жизни в первые десятилетия XX века.

После японской войны новый командир муштрует полк «для каких-то особых случаев» — очевидно, для карательной деятельности против революционных масс в 1905—1906 годах; лучшие по человеческим качествам офицеры выходят в отставку; на путь революционной пропаганды в войсках становится сослуживец и однофамилец героя — Макаров II. Казнь товарища, смертью подтвердившего верность убеждениям, делает невозможной для Макарова I дальнейшую бездумную службу в армии. Пробужденная потребность самостоятельно осмыслить свое человеческое назначение приводит к краху традиционного сословно-кастового мировоззрения. Участие в первой мировой войне становится новым этапом в развитии героя. Главное препятствие на путях преобразования действительности и перехода к подлинно человеческим формам жизни О. Форш вместе со своим героем видит теперь в обезличенности массы, в той механической силе враждебного людям порядка, который обрекает их на темноту и одичание, бросает во власть низменных инстинктов, жадности и жестокости, превращает в безликую «Поголовщину» — в Чумло. Февральская революция не оправдала надежд, потому что лишь в первые дни обещала преображение человеческих отношений на началах «свободы, равенства, братства», но не осуществила этих обещаний. Конец повествования падает на лето или начало осени 1917 года. Рассказ завершается горьким разочарованием героя в преобразующей мощи буржуазно-демократической революции, в способности ее вызвать рост индивидуально-творческих сил в миллионных массах людей, привести их к духовному раскрепощению.

Таков критерий оценки крупнейших политических событий и сдвигов народной истории и для самой О. Форш. Подобно А. Блоку, она ждет от революции полного и всестороннего преображения действительности: «*Переделать все.* Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью».[1] И с этой точки зрения ее тревожит груз отсталости, безличности и одичания масс, оставленный веками подавленности и угнетения и еще многократно усиленный бедствиями империалистической войны.

Естественно, что О. Форш сразу после Октября оказалась в числе той лучшей части старой интеллигенции, которая искала сотрудничества с советской властью, стремилась участвовать в ее грандиозной культурно-революционной работе. «Революция застала меня в Детском селе учительницей рисования в частных школах Левицкой и других. В 1918—20 годах я работала в Москве в отделе эстетического развития, в отделе реформы школы».[2] В отделе Наркомпроса О. Форш «составляла проекты оформления народных празднеств, массовых демонстраций, представлений на площадях».[3] И эта «работа фантастического размаха» позволяла наблюдать, «как разбивается старый быт», издавна ненавистный писательнице, и как «вступает в силу новое, еще нестройно, но бурно и неодолимо».

Увлечение культурно-практической работой и трудный, голодный быт столицы оставляли мало сил и времени для собственного литературного творчества. «Писала мало. В двойных

---

[1] Александр Блок. Собрание сочинений в восьми томах, т. VI. М. — Л., Гослитиздат, 1962, стр. 12.
[2] «Красная панорама», 1926, № 33, стр. 12.
[3] «Литературная газета», 1958, № 63, 27 мая.

перчатках при 2 градусах мороза написаны лишь «Смерть Коперника» и рассказ «Гнездышко» в журнале „Путь“».[1]

Жизнь на Украине, куда Форш перебралась в середине 1919 года для работы в Киевском отделении Всеиздата, столкнула ее с превратностями гражданской войны, открыв новое поле для наблюдений, связанных с процессами революционной ломки в глубине страны — в быту провинции и деревни. «Из Москвы я попала в Киев. Там пережила смену нескольких правительств и разнообразие профессий. Была: пом. зав. русской секции в Всеиздате, учительницей рисования в двух школах, рассказчиком в кинематографе, поденщицей на хуторах. «Сапала» сапой картофель и собирала малину, чтобы на свой пай выменять вечером хлеб... Юг мне дал богатый революционно-бытовой материал, пока лишь частично мною использованный. Предполагаю написать комедию «Переворот» и большую поэму „Украина“».[2]

Комедия и поэма так и не были написаны; «революционно-бытовой материал» этих лет нашел осмысление лишь в рассказах, большая часть которых вошла в сборник «Обыватели» (1923). Действительность первых послеоктябрьских лет освещена здесь с несколько неожиданной стороны, как тема истории, вторгающейся в повседневность и «перепахивающей» вековые залежи старого быта. «Плуг истории глубоко перепахивал русскую жизнь — и в городе, и в деревне. Старый быт, порожденный прежними социальными отношениями, рушился, хотя и не сдавался без боя. И мне, как писателю, очень важно было всматриваться в эти изменения, огромные и всеохватывающие».[3]

---

[1] «Красная панорама», 1926, № 33, стр. 12.
[2] Там же.
[3] «Литературная газета», 1958, № 63, 27 мая.

Изображение «текущего момента» переплетается поэтому в произведениях О. Форш с картинами прошлого. В этом отношении характерен рассказ «Климов кулак», завершающий сборник «Обыватели». Тема ожесточения и морального одичания людей в результате многолетней кровавой войны связывается в воспоминаниях героини с картинами жизни старой деревни, где она в юности участвовала в борьбе с голодом и впервые столкнулась с условиями, обрекающими массы на вымирание, подавленность и одичание. Эта часть рассказа основана на автобиографическом материале. Сама О. Форш в 1892 году работала в Тульской губернии на голоде. «Мы с подругой узнали о том, что в Тульской губернии в некоторых деревнях на средства Льва Николаевича Толстого открываются столовые для голодающих. И мы решили ехать туда работать. Как сейчас вижу себя в деревне Козловке, Богородецкого уезда, Тульской губернии».[1] В автобиографии О. Форш указывает, что впечатления той поры отражены в рассказе «Климов кулак».

Давние впечатления юности привлекаются в этом рассказе как материал исторического прошлого, необходимый для художественного осмысления тех противоречий народной жизни, которые по-новому сказываются также и в современном, уже послереволюционном развитии действительности; здесь впервые возникает попытка осмыслить настоящее через историю и историю через настоящее. В рассказе эта задача только еще поставлена. Но творческое сознание О. Форш она занимает и позднее, на протяжении многих лет. Не случайно в середине 20-х годов О. Форш пыталась некоторые мотивы рассказа «Климов кулак» углубить и развернуть в целую пьесу о жизни дореволюционного села. Замысел этот остался незавершенным, но

[1] «Вечерний Ленинград», 1956, № 286, 8 декабря.

и тех картин пьесы, которые сохранились в рукописи, достаточно, чтобы увидеть, что зерно ее составляет то же историческое противоречие: между силами жестокости и своекорыстия, одичания и отсталости — с одной стороны, и революционной энергией, могучими духовными возможностями и творческими силами, скрытыми в этой же подавленной и обездоленной деревенской массе, — с другой.

Деревенский революционер Мигун, которого мужики, науськанные кулацкой верхушкой, готовятся повесить в лесу, прямо формулирует эту мысль в ответ на отчаянную реплику главного героя. «Митя *(выбегает, чтобы защитить Мигуна).* И это вот русский народ? Это про тебя в книжке стоит: Великий русский народ. А вы все звери глухие... звери... Мигун. Цыц, Митька. Слепой дурак, коли так говоришь. Темных шесть дураков — не весь русский народ! Есть в народе они, есть и другие. Есть такие, что срам, есть такие, что слава».[1] Это противоречие не только определяет внешние конфликты в пьесе, но становится также источником внутреннего драматизма судеб и характеров ее главных героев.

В рассказах о годах гражданской войны водоворот событий срывает с места, выбивает из накатанной колеи устоявшегося быта даже людей, бесконечно далеких от политики, привыкших жить лишь ближайшими своими интересами и делами. Картина «сдвинувшегося» быта чаще всего связана с образами железнодорожного вагона, вокзала, «временного», неустойчивого существования героев в незнакомом городке или селении. Герои Форш — как правило, «маленькие» люди, «обыватели» — либо на ходу вырабатывают новые понятия и навыки общения, либо попросту приспосабливаются к новорожденному укладу, внося в новые слова и отношения старое, привычное содержа-

---

[1] Рукопись хранится в личном архиве О. Д. Форш.

ние бытовых и психологических представлений («Из Смольного», «Чемодан», «Живорыбный садок»).

Неповторимое своеобразие исторического времени — своеобразие великой революционной ломки, развернувшейся в отсталой, мелкособственнической стране, образно раскрывается в рассказах причудливыми контрастами старого и нового, воплощенными не только в картинах внешнего быта, но и во внутреннем облике героев, в их психологии, побуждениях, языке. Острая ирония, характерная для стилистики этих рассказов, направлена против искаженного обывательским сознанием и бескультурьем *восприятия* событий и идей революции.

Позднее в рассказе «Товарищ Пфуль» (1925) это же противоречие между всеобъемлющим размахом революции, величием ее задач и ограниченностью, догматической узостью, примитивизмом их понимания, свойственным вчерашнему обывателю, сегодня оказавшемуся участником всенародной борьбы, раскрывается О. Форш как трагическое противоречие, затрудняющее развертывание революции. Прямолинейность мышления и душевная узость бывшего аптекаря Пфуля, вознесенного потоком событий на роль политического комиссара, приводит к трагической развязке сюжета. Пфуль верен не духу, а лишь мертвой букве революционных лозунгов, механически им усвоенных; он не способен понять сложность человеческих характеров, пробужденных революцией, и стремится лишь «убирать беспорядок», отсекая все, что не укладывается в его догматические представления. И это не только приводит к гибели Мелового и Тинки-атаманши — героев из среды интеллигенции, пришедшей к служению революции, но толкает обратно, на путь анархии и бандитизма, партизанский отряд солдат-фронтовиков, готовых влиться в революционную армию.

Отражение первых лет революции в творчестве О. Форш, разумеется, не свободно от односторонности; в нем нет ни пря-

мого изображения значительных событий эпохи, ни крупных характеров, сформированных участием в этих событиях. Важно, однако, что причудливые «гримасы быта» не заслоняют в ее глазах той серьезной проблематики, которая захватила ее творческие интересы с начала революции. Наоборот, несмотря на сюжеты почти анекдотические, в ее рассказах ощущается дыхание времени, неповторимая в своем своеобразии атмосфера эпохи. В их подтексте неизменно присутствует очень личное глубокое раздумье о противоречивых условиях революционного преобразования страны и о судьбах ее духовной культуры.

Критика тогда отмечала в ее творчестве эту общую тему, «которая нудит вас задуматься, даже если вы совсем не расположены думать». «Форш тут нащупывает свою личную тему. Она становится *лириком.* Ее лиризм — в искании путей к преодолению нечистоты, которую никак... не извергнуть механически».[1] «Лиризм», о котором говорит М. Шагинян, тесно связан у Форш с нарастанием *историзма* художественного мышления, с углубляющимся стремлением искать разгадку противоречий быта и психологии своих героев в исторических условиях социальной жизни, сформировавших их сознание. Таким образом, обращение к историческому прошлому, к жанру исторического романа, определившее новый этап в творческом развитии писательницы, было подготовлено вдумчивой работой над темами современности в первые годы после Октября: «1923 год стал поворотным в моей литературной судьбе. От рассказов я перешла к историческому роману. Этот поворот подготовлялся во мне исподволь: великими изменениями, происходившими в жизни нашего народа, думами о советской литературе, еще только нарождавшейся желанием преодолеть

---

[1] Мариэтта Шагинян. Ольга Форш. — «Россия», 1922, № 4, стр. 28.

интересы, ограниченные вопросами формального порядка. Я чувствовала, что влечение к абстракции приведет меня в творческий тупик. Историческая тема открывала мне выход в мир».[1]

Исторический жанр ни в малейшей степени не был для нее способом ухода от современности. Наоборот, в прошлом она искала исторические корни и истоки настоящего, те завоевания духовной культуры и нравственного богатства человека, которые сейчас необходимы для людей советской эпохи. «...Задача всех задуманных мною работ, несмотря на заглавия исторические, не «история», а подлинная современность», — писала она в одной из неопубликованных статей 1926 года, связывая свои замыслы в области исторического жанра с общеэстетическими идеями о переходе нашей литературы «в эпоху нового реализма»: «Наше время я ощущаю в центре и по «сердцевинным» лучам, из далека, из прошлого хочу вобрать в него все, что живо нам и сейчас, что должно обогатить наш быт, углубить мысль, обострить волю к жизни — словом, создать новую, лучшую реальность».[2]

Столь широкое понимание задач литературно-художественной работы приводит к тому, что О. Д. Форш с середины 20-х годов развертывает свои творческие планы по нескольким жанрово-тематическим линиям. Вслед за романами «Одеты камнем» (1925) и «Современники» (1926) она задумывает роман о XVIII веке, отступая, таким образом, еще дальше в глубь истории, к истокам русской духовной культуры, неразрывно связанной с истоками революционной освободительной мысли, и одновременно начинает работу над «Горячим цехом», который первоначально был задуман как целый *цикл* романов, непосредственно охватывающий эпоху от первой русской револю-

---

[1] «Литературная газета», 1958, № 63, 27 мая.

[2] «О себе, Петрове-Водкине и Читателе» (рукопись хранится в личном архиве О. Д. Форш).

ции до победы советского строя. В уже цитированной статье она так излагала эти планы: «Я собираюсь написать роман (XVIII век) «Николай Новиков» и «Горячий цех», охватывающий четыре романа: «Печь Мартена», «Символисты», «Лазареты», «Советы» (годы от 1905—1920)».[1]

По мере осуществления эти замыслы существенно видоизменялись: в 1927 году вышел роман «Горячий цех», целиком посвященный событиям 1905 года, затем романы «Сумасшедший корабль» (1930) и «Символисты» (1933; в отдельном издании «Ворон» — 1934), сюжетно с «Горячим цехом» не связанные, но, несомненно, развившиеся из замысла этой тетралогии. Что касается романа о XVIII веке, его центральным героем оказался не Новиков, а Радищев, и тема эта развернулась в 30-х годах в целую трилогию («Якобинский заквас» — 1932; «Казанская помещица» — 1935; «Пагубная книга» — 1939).

При этом работа над романами об отдаленном и недавнем историческом прошлом отнюдь не притупила художественной зоркости О. Форш в отношении текущей действительности. Она продолжает в эти же годы выступать с рассказами и очерками, пьесами и статьями на темы современности. Такое «совмещение работы» стало для нее постоянной творческой потребностью: оно было необходимо, чтобы «дать творческий выход тем временем накопившемуся и напирающему... материалу».[2] Так, во время работы над «Одеты камнем» возникает замысел книги о нэпе, как свидетельствует об этом сообщение в тогдашней печати: «Ольга Форш пишет книгу рассказов «Нэп». Первый рассказ «Без сигары» будет напечатан в одном из ближайших номеров журнала „Россия“».[3] Эта тема, уже намеченная

---

[1] «О себе, Петрове-Водкине и Читателе» (рукопись хранится в личном архиве О. Д. Форш).

[2] «Литературный Ленинград», 1935, № 6, 8 февраля.

[3] «Россия», 1923, март, № 7, стр. 31.

в сборнике «Обыватели» (рассказ «Корректив»), получила свое дальнейшее развитие в ряде рассказов, вошедших затем в сборники «Летошний снег» (1925) и «Московские рассказы» (1926).

Как справедливо отмечала тогдашняя критика, в «Московских рассказах» «сила О. Форш в умении остро и выпукло столкнуть гранями два мира. Это достигается разнообразными стилистическими средствами: то подбором типических персонажей, то сталкиванием бытовых норм и привычек, то противопоставлением двух эпох в пределах одного сознания».[1]

Новые, характерные уже для периода мирного восстановления, формы сосуществования и борьбы нового, советского уклада с возродившейся в обстановке нэпа стихией рыночных отношений раскрываются здесь в контрастах еще более резких и острых, нередко еще более причудливых, чем в рассказах о годах гражданской войны. Но колорит их уже иной: не своеобразная «трагическая ирония», а скорее острый гротеск характеризует изображение обывательской стихии. Что касается контрастно противопоставленных этой «нэповской» стихии ростков нового, то они представлены в «Московских рассказах» Форш чаще всего только образами ребят пионерского возраста, которые внутренне уже свободны от власти мещанских предрассудков.

Новый для творчества О. Форш, более жизнерадостный и в то же время более жесткий колорит «Московских рассказов» поэтически отражает изменения в самой атмосфере жизни советского общества, связанные с переходом к мирному строительству. Зоркость к деталям быта и способность через красочное их воспроизведение передать эту атмосферу времени здесь оказываются особенно плодотворными для художественной яр-

---

[1] А. Островский. Ольга Форш. «Московские рассказы» (Л., «Прибой», 1926). — «Звезда», 1927, № 3, стр. 199.

кости этих миниатюр. «Объект наблюдений О. Форш — московские улицы, рынки, площади, скверы, дачи, пестрая сутолока уличной жизни, торговцы, папиросники, «стрельцы». Ее зарисовки доведены до степени подлинной художественности. Ее наблюдательность — удивительна. Она умеет прекрасно пользоваться деталью, создавая из мелочей убедительное целое. Бегло зарисованные бытовые фигуры полны у нее жизни, врезываются в память».[1]

Разумеется, рассказы и очерки О. Форш, так же как пьесы, сценарии и статьи, теснейшим образом связаны с ее творчеством в области исторического и историко-революционного романа, хотя связь эта чаще всего не лежит на поверхности и потому не всегда сразу замечается.

В 1927 году О. Форш совершила поездку во Францию и Италию, и впечатления этого путешествия дали материал для целого цикла произведений, появлявшихся в журналах на протяжении 1927—1929 годов и затем объединенных в книге «Под куполом» (1929), которая получила высокую оценку Горького и единодушное одобрение критики. «Серьезная, содержательная книга Форш дает читателю истинное представление о Западе, выгодно выделяясь на фоне сугубо беспартийных пейзажных очерков «о загранице»... Книга открывается рассказом «Под куполом». Под куполом, под колпаком традиций, ограниченности и условностей живет Франция».[2]

Старая, центральная еще в дореволюционном творчестве тема О. Форш — ее исконная вражда к устоявшемуся веками быту собственнического общества — развернута здесь в новом материале и приобретает новое идейное звучание. Она полу-

---

[1] А. Лежнев. Ольга Форш. «Московские рассказы» (Л., «Прибой», 1926). — «Печать и революция», 1927, № 2, стр. 192.
[2] «Резец», 1929, № 19, стр. 1.

чает реальную опору в существовании советского строя, в духовном превосходстве человека, внутренне раскрепощенного революцией от фетишизма собственнических отношений. Миру буржуазной пошлости и духовного оскудения незримо противостоит в книге «Под куполом», как это тогда же отмечала критика, «новый, двенадцатилетний, особый и обособленный мир, на Запад непохожий...

В своей остроумной, прекрасно обработанной стилистически книге Ольга Форш сумела в мелких, но характерных фактах, в случайных моментальных снимках «с натуры» показать *весь* современный Запад, всю подоплеку его культурной жизни».[1]

Столь характерная для всего предшествующего творчества О. Форш тема борьбы с мещанством, с новой стороны раскрытая в книге «Под куполом», как тема духовной ограниченности западноевропейского бытового и этического уклада, получила дальнейшее развитие и разработку и в ее исторических романах — в особенности в первой части трилогии о Радищеве «Якобинский заквас», создававшейся непосредственно после завершения цикла рассказов о современном Западе. В первой части трилогии о Радищеве действие происходит в Германии XVIII века, и в картинах быта и нравов тогдашнего Лейпцига писательница как бы прослеживает исторические истоки и корни современной буржуазно-мещанской культуры Запада с ее ограниченными, «подкупольными» представлениями и бытовыми традициями.

Несостоятельность буржуазно-мещанской культуры и лицемерие господствующей морали с особенной силой обнажается в рассказах, рисующих положение и судьбу французской жен-

---

[1] Вл. Орлов. Ольга Форш. Под куполом (Л., Прибой», 1929). — «Звезда», 1929, № 5, стр. 190.

щины, ее практическое и духовное порабощение; в освещении этой темы О. Форш удивительно близка к Маяковскому, к его стихам и очеркам о Париже, созданным в эти же годы. Образы француженок резко разделяются в ее рассказах на два противоположных типа, нередко прямо противопоставленных даже сюжетно. Это, с одной стороны, тип «хозяйки», расчетливой и сентиментальной, насквозь пропитанной лицемерием и жестоким самодовольством («Лебедь Неоптолем», «Кукины дети»), и, с другой стороны, образы девушек-тружениц, обреченных на бесконечные унижения и моральные страдания, нередко на прямую физическую гибель, тем более вероятную, чем тоньше и богаче их душевная организация, их внутреннее сопротивление господствующему быту и представлениям («Куклы Парижа», «Последняя Роза», «Львица Люси»).

Поездка по Франции и Италии была важным событием в писательской биографии О. Форш еще и потому, что привела к личному — писательскому и дружескому — сближению с А. М. Горьким. До этого Форш не раз встречалась с ним — в 1914—1916 годах и в первые годы после Октября. Однако, как писала сама Форш, «отношений отдельных у меня с ним не было. Завязались они позднее». История личных и творческих связей Форш и Горького заслуживает специального освещения. Здесь важно указать на сам факт их сближения в 1927 году в Сорренто. Форш рассказывает об этом: «Не знаю, каким образом Алексей Максимович узнал о моем приезде. Узнав, тотчас же послал сына своего Максима ко мне:

— Собирайтесь не медля, без всяких разговоров... Алексей Максимович приказал без вас не возвращаться... И не с визитом, а совсем перебирайтесь к нам.

Три недели я прожила у Горького».[1]

---

[1] «Вечерний Ленинград», 1955, № 286, 8 декабря.

С этого времени переписка между ними стала более систематической; центральное место в этой переписке занимают вопросы, связанные с замыслами и работами Форш над темами современности.

3

В годы первых пятилеток, продолжая работу над историческими романами, Форш создает также романы о современном ей поколении интеллигенции в обстановке предоктябрьского десятилетия и первых лет советского строя («Сумасшедший корабль», «Ворон»), публикует небывалое для нее количество очерков и статей на темы текущего дня хозяйственной и культурной жизни, все больше работает для театра и кино.

Интерес к драматическим формам возник у Форш еще в первые годы после Октября, когда ею были написаны «Смерть Коперника» (1919) и драма «Равви» (1922). Теперь она обращается к драматической форме уже для того, чтобы воспроизвести жизнь современных советских людей. Пьеса «Причальная мачта» была написана в 1929 году — за несколько лет до того, как челюскинская эпопея и подвиги наших полярных летчиков сделали героику полярных экспедиций одной из популярнейших тем советского искусства. Замысел следующей пьесы — «Сто двадцать вторая» — складывался и вызревал у Форш издавна: тема раскрепощения женщины, духовные силы и творческие возможности которой веками связывало и подавляло ее зависимое положение в частнособственническом обществе, намечалась уже в некоторых рассказах, написанных в первые годы советской власти («Жена Хама», «Климов кулак» и др.), и в книге «Под куполом».

В одном из писем к А. М. Горькому, еще до встречи в Сорренто, в ответ на вопрос — над чем она работает? — О. Форш

писала: «Давно хочу и готовлюсь сказать о женщине. Все лучшее о ней пока сказали мужчины, но ведь их опыт все же иной...» Там же она формулирует и свое понимание сущности, «зерна» этой темы: «Женский вопрос решается в своей глубине не юридическим равноправием, бесспорно элементарной необходимой вещью, а очень сложным самоосвобождением... Женщина нисколько не беднее мужчины умом, талантами, волей, но у нее реже встречается внутренняя биография, которую необходимо иметь, если зовешься человеком».[1] Этот круг проблем снова возникает в переписке О. Форш с Горьким и позже — в начале 30-х годов, а к 1936 году складывается замысел пьесы о советской женщине, ставшей активной участницей государственной жизни, но сохранившей и в ней свои специфические черты и интересы: «Мне хочется к 20-летию Октября написать большую хорошую пьесу о новой, советской женщине. Уж очень давно меня привлекает образ одной замечательной женщины, живущей и работающей в Ленинграде. Это — начальник одного из отделений милиции. Самое замечательное заключается в том, что эта женщина получила в свое время самый тяжелый участок — Лиговское отделение милиции — и сумела поднять его на необычайную высоту. Наравне с обычной, но очень успешной борьбой с преступностью она проводит огромную профилактическую работу, изучает быт своего района, заботится о детях, взрослых, стариках...

Как в капле воды отражается солнце — так и на этом кусочке жизни я хочу показать отражение замечательных дел людей нашей страны».[2] Задуманная пьеса имела уже и заглавие — «Начальник милиции».

---

[1] «Звезда», 1945, № 2, стр. 104.

[2] «Красная газета», вечерний выпуск, 1936, № 17, 21 января.

В дальнейшем замысел существенно изменился: «Для «Двух пятилеток» я пишу пьесу в 4-х действиях — о новых женщинах, созданных нашей советской действительностью», — сообщила О. Форш в марте 1936 года редакции газеты «Литературный Ленинград».[1] Она отказалась от центральной героини, стремясь построить пьесу на параллельном развертывании целого ряда женских судеб и характеров, в своей совокупности раскрывающих гражданское и трудовое выпрямление советской женщины. Это подчеркнуто и названием пьесы. «Сто двадцать вторая» — это та статья Советской конституции, которая законодательно закрепляет достигнутые нашей страной успехи в этой области.

С предшествующим творческим развитием Форш обе пьесы связаны своей внутренней темой: ее интересуют *духовные* результаты общественно-исторического развития — пути нравственного роста и душевного обогащения людей, преодолевающих собственную темноту и отсталость, отжившие моральнобытовые представления, узость и эгоизм побуждений и страстей. Недаром в «Причальной мачте» главный положительный герой в кульминации пьесы выступает с монологом, направленным против ходячего представления о волчьей борьбе за существование, как об извечном законе жизни. Требования совести, сохранения человеческого «лица» Ермилов обосновывает не только эмоционально, но *исторически* — как результат и завоевание общественно-исторического развития человеческой природы: «Раз человек поднялся с четверенек на две ноги — обратно ему уже нельзя». И в «Сто двадцать второй» для Форш главный интерес составляет не юридическое, гражданское равноправие советской женщины, а ее духовное становление, обогащение нравственного мира, которое происходит на этой почве.

---

[1] «Литературный Ленинград», 1936, № 11, 3 марта.

Однако обе эти пьесы не имели театрального успеха, и, думается, не случайно. Содержательный и глубокий замысел не получил в них полного и оригинального раскрытия в движении драматического сюжета. Обилие внешних событий, внешних подробностей не уточняет и развивает замысел, а растворяет, дробит его: идея получила лишь внешнее, иллюстративное воплощение. Достаточно сказать, что как раз обилие *вариаций* основной темы в судьбах Зины и Шуры, землекопа Максютиной и колхозного председателя Варвары Петровны, Сакаровны и узбечки Фаризет приводит к тому, что ни одна из этих женщин не показана в своей «внутренней биографии». Каждый из этих образов содержит лишь беглую наметку, а не полнокровное отражение путей их духовного становления.

В 30-х годах возник еще один драматический замысел. Речь идет о произведении, посвященном событиям и героям революционного подполья на Кавказе в период между двумя революциями — 1905 и 1917 годов. Первоначально это был замысел романа, о котором О. Форш не раз рассказывала газетным корреспондентам, потому что уже начала писать его и даже опубликовала в 1931 году отрывок из него под заглавием «Глава из романа».[1]

После поездки в Грузию в 1933 году с бригадой писателей замысел этот изменяется и расширяется. Форш собирает материалы о революционерах С. Тер-Петросяне (по партийной кличке Камо), Ладо Кецховели, о художнике Нико Пиросманишвили, о Важа Пшавела. В апреле 1934 года «Литературная газета» печатает сообщение, что «О. Форш уезжает на 6 месяцев в Тифлис, где будет работать над новым романом. О. Форш собирается нарисовать широкое полотно жизни и быта разных слоев тифлисского общества в эпоху реакции после событий

---

[1] «Звезда», 1931, № 11—12, стр. 5—11.

1905—1906 гг., работу революционного подполья и т. д. Одним из главных персонажей романа будет известный революционер Камо.

Одновременно писательница будет работать над сценарием по тем же материалам — для московской кинофабрики Росфильм».[1]

Необычайная по яркости и внутренней красоте личность Камо и его биография, изобилующая крутыми поворотами событий, неожиданными перипетиями, драматизмом положений, на первый взгляд безвыходных, все больше оказывается в центре творческого замысла Форш, вытесняя те широкие картины эпохи, развернутые в быту разных пластов общества, которые первоначально входили в него и требовали эпической формы романа. Этим, по-видимому, и объясняется последующий отказ от повествовательной формы и решение написать пьесу «Камо».

В августе 1935 года в печати появилось сообщение об открытии сезона в Ленинградском театре Госдрамы: «С большим нетерпением ожидаем пьесу О. Форш «Камо». Совместно с автором разработан сценарий пьесы. Роль замечательного революционера Камо будет играть народный артист Бабочкин».[2] В 1936 году спектакль о Камо был анонсирован театром в репертуаре предстоящего сезона. Однако пьеса не была поставлена в то время и в печати появилась лишь в 1955 году.

Разнообразие драматургических интересов О. Форш на всем протяжении 30-х годов проявляется в работе ее для кино и даже для музыкального театра. В 1936 году она пишет киносценарий «Пугачев», поставленный в 1937 году Ленфильмом и получивший широкий отклик в критике. В сценарии «Пугачев», так же как и в первой работе для кино (сценарии «Дворец и

---

[1] «Литературная газета», 1934, № 46, 14 апреля.
[2] «Литературный Ленинград», 1935, № 39, 26 августа.

крепость», написанном в 1923 г. в соавторстве с П. Е. Щеголевым), О. Форш использует тот громадный материал, который был изучен ею в связи с работой над романом «Казанская помещица».

В эти же годы она принимает участие в создании либретто оперы «Рассвет» — о революционном движении в России в 70—80-х годах (первая рабочая демонстрация 1876 г.). Премьера оперы ленинградского композитора Д. Френкеля «Рассвет» состоялась в ноябре 1938 года.[1] К середине 30-х годов относятся также замыслы создания историко-биографических пьес — о Ломоносове и Радищеве, которые не были осуществлены.

При всем богатстве и многообразии тем и жанров драматургии, к которым обращалась О. Форш, следует все же признать, что в этой области она не достигла художественного уровня, присущего и ее романам и малым жанрам прозы — ее новеллам и очеркам. О законах художественной прозы О. Форш писала: «Художественная проза имеет свое большое значение только в том случае, если автору удается увидеть глубже, сказать больше и ярче, чем говорит голый факт, если удается без обнаженной дидактики и литературности приема вызвать волнующее обобщение, дать при тексте явном ту «подводную» линию, по выражению Эдгара По, тот подтекст, который и создает всю музыку и богатство произведения художественного».[2]

Эти требования она превосходно умела осуществлять в своей прозе, всегда пронизанной «подводным» течением авторской мысли, своеобразно и пластично воплощенной в движении образов, оттенках, иронии, в словесной ткани повествования. Но

[1] См. «Красная газета», 1938, № 261, 13 ноября.
[2] О. Форш. Патриотки. — «Литература и искусство», 1944, № 11, 11 марта.

те же требования не менее важны и для драматургии; между тем в пьесах О. Форш как раз этого «подводного», внутреннего драматизма, органически связывающего авторскую идею с движением сценического действия, и недостает. Поэтому ее пьесы не свободны от «обнаженной дидактики» и иллюстративности.

4

К концу 30-х годов относится возникновение замысла, до конца так и не осуществленного, но породившего целый ряд небольших произведений, так или иначе с ним связанных. Этот замысел был назван автором «Живописная автобиография»: «Эту книгу я пишу и рисую. Она будет состоять из воспоминаний, записей, рассказов и моих же иллюстраций. На широком историческом фоне я хочу показать галерею своих современников, хочу рассказать о том, как стала писать, о чем писала. Книга охватит шесть десятилетий, начиная с 1878—1879 годов до наших дней». [1]

Своеобразие задуманной книги заключалось не только в том, что авторские иллюстрации и текст должны были взаимно дополнять друг друга, развивая общий замысел, но и в необычайности жанровой формы: не автобиографическая повесть или роман и не связное мемуарное повествование, а серия самостоятельных, законченных рассказов, которые на материале различных периодов жизни автора должны были в конце концов составить автобиографическое целое: «Это — не совсем обычная автобиография. Образ эпохи, ее людей здесь выступает на первый план. Книга строится не в мемуарном плане, а на сюжетной основе. Она будет состоять из 20 новелл.

---

[1] «Красная газета», 1938, № 261, 13 ноября.

Таким образом, форма этой автобиографической книги очень трудная, требующая остроты и отточенности. Но еще более сложен исторический материал, с которым приходится иметь дело — от русско-турецкой войны 1877—1878 годов до наших дней».[1]

Первые новеллы этого цикла появились в печати еще в 30-х годах. Это — «Филаретки» (1937), три рассказа, напечатанные в 1939 году в журнале «30 дней» под общим заглавием «Живописная автобиография» («Шапокляк», «Пломбир», «Первая любовь») и рассказ «Виев круг» (1939), тоже, несомненно, относящийся к этому замыслу. Своеобразное вступление к рассказу «Шапокляк» с новой стороны освещает закономерность всего замысла в творческом развитии Форш. В нем рассказано, как В. Шкловский однажды познакомил ее с молодыми сценаристами, сочинившими сценарий «научно-исторической» картины «Бешеные мужики», и при этом выяснилось, что в основе его лежит жизненный факт, лично памятный писательнице. «Сценаристы сказали: «Наш фильм исторический», и я догадалась, что живу очень давно и то, что знаю и помню с ранних лет, уже является историей. И пора мне ее записать». Таким образом, тема историческая — продолжение работы ее как исторического романиста — здесь полностью сливалась с опытом лично пережитого, виденного своими глазами, отложившегося в памяти; история развития страны за шесть десятилетий сочеталась с историей собственного духовного становления, духовных исканий и свершений автора, с тем, что в письме к Горькому она называла «внутренней биографией, которую необходимо иметь, если зовешься человеком».

Замысел «Живописной автобиографии» заключает в себе еще более личный подход к изображению прошлого, еще более

[1] «Литературная газета», 1939, № 7, 5 февраля.

тесное сближение с современностью, чем это было характерно для романов 20—30-х годов. В дальнейшем это сказалось на романе «Михайловский замок», замысел которого возник еще в 1941 году и который был завершен к 1946 году. Здесь больше чем где-либо события отдаленного исторического прошлого служат для размышлений писательницы о назначении художника и о громадной роли искусства в развитии народной жизни, которая не только не ослабевает, но становится формой служения будущему даже в эпоху политического деспотизма.

Из произведений, опубликованных в 1940—1942 годах, к «Живописной автобиографии» следует отнести «Новый памятник», «В Париже (Маяковскому)», «Два штрафа». И в последние годы жизни Форш не отказалась от замыслов мемуарно-автобиографического характера. Наоборот, они разрослись настолько, что не умещались уже в первоначальный план, предусматривающий 20 небольших новелл-зарисовок. Рассказывая в 1956 году о том, над чем она работает, и о дальнейших творческих планах, Форш говорит уже о двух книгах мемуарного характера: это, во-первых, «книга воспоминаний о Горьком, о встречах с Алексеем Максимовичем, которую я уже пишу», и, во-вторых, — книга, в которую должны были войти воспоминания о семье Комаровых и о других «встречах на жизненном пути»: о семье Стасовых, о Репине и Ярошенко, о семье Бекетовых и Ал. Блоке и т. д.

Стремление соединить возможности художественного слова со средствами графического воспроизведения так, чтобы они взаимно дополняли друг друга, развивая единый замысел, характерно для О. Форш на протяжении всего ее творческого пути. Еще в 1907—1914 годах она нередко была иллюстратором собственных сказок. Интерес к живописи и рисунку не ослаб и тогда, когда она стала прославленным историческим романистом. В 1935 году она рассказывала: «Свою литературную ра-

боту я особенно охотно совмещаю с работой художника, так как в прошлом у меня — рисовальная школа и занятия в мастерской П. П. Чистякова... Главным образом я работаю над портретами писателей и иллюстрациями к собственным произведениям. Работаю — пером. Я нарисовала уже портрет Андрея Белого в 5 лицах. В той же старинной, мало употребительной манере я рисую Александра Блока рядом с Данте. По заказу издательства «Советский писатель» делаю иллюстрации для «Якобинского закваса». Я проектирую к столетию со дня смерти Пушкина подготовить многоликий портрет Пушкина».[1]

Позднее О. Форш работает над очерками и рисунками, посвященными истории Ленинграда, его архитектурным памятникам и ансамблям. Эта тема издавна занимала ее творческое воображение — первый очерк этого типа появился еще в 1924 году («Петропавловская крепость»), следующий очерк — «Медный всадник» — в 1937 году. О своем намерении воссоздать в графике историю города О. Форш говорила: «У меня есть заветная мечта — дать в графических зарисовках наиболее интересные исторические уголки и отдельные архитектурные памятники Ленинграда. Я мыслю себе эту работу так, чтобы показать тот или иной архитектурный памятник, историческое здание или уголок в их историческом развитии, наслоениях и этапах, так сказать, сняв со зданий время. Например, взять здание нынешнего Электротока на площади Жертв революции, показать его прошлое — казармы Павловского полка — и, путем постепенных хронологических ретроспекций, дойти до пустыря на этом месте. Или на одной какой-нибудь ленинградской площади дать наглядную зрительную историю Петербурга. Я очень люблю наш чудесный город, и я хочу увековечить его в этой

---

[1] «Литературный Ленинград», 1935, № 6, 8 февраля.

форме».[1] Это не было лишь благим пожеланием — зарисовками различных «уголков» и архитектурных памятников Ленинграда она действительно занималась много лет одновременно с основной литературной работой.

Характерно, что и в последние годы жизни О. Д. Форш не прекращает работать в области рисунка и живописи. После болезни и операции (снятия катаракты) обоих глаз, по свидетельству О. Э. Мейер-Чистяковой, она стала видеть «гораздо ярче краски, чем до болезни» и в связи с этим перешла от обычной для нее черно-белой графики к работе цветными карандашами. Этой новой для нее техникой Форш овладела настолько, что к 250-летию Ленинграда, на 84-м году жизни, выполнила целую серию совершенно оригинальных цветных зарисовок примечательных мест любимого города («Дуб Петра», «Павильон Росси», «Арка Главного штаба», «Два кроншпица в Финском заливе» и др.).

В последующие годы ею были написаны очерки о Ленинграде — «Инженерный замок» (1945), «Белая ночь» (1957), «Памятник истории» (1957), «Вчера и сегодня» (1957). Все они вошли в сборник библиотеки «Огонек» — «Вчера и сегодня» (1959) — последнюю книгу, вышедшую при жизни автора.

Глубокое знание истории русской и мировой живописи, скульптуры, архитектуры и постоянная работа в области графики имели исключительное значение для развития литературного мастерства О. Форш и во многом определили художественное своеобразие ее произведений. Недаром она относила искусство слова к ряду *изобразительных* искусств: «Уменье освободить объект изображения от всего лишнего, уменье привести его лишь к *необходимости его природы* и означает — овладеть тем или иным изобразительным искусством. Только присутст-

---

[1] «Литературный Ленинград», 1935, № 6, 8 февраля.

вие в работе слова, живописи, архитектуры, театральной режиссуры этого аналитического фактора и создает различие между работой случайной, дилетантской, нежелательной и работой художника-профессионала».[1] Об этом же говорила О. Форш и в статье «Как я пишу» (1929). А в небольшом предисловии к трем новеллам «Живописной автобиографии» О. Форш проводит аналогию между «совершенной красотой обломков античной статуи» и возможностью «в труднейшей из литературных форм — короткой новелле — воскресить перед читателем почтенный кусок времени»: «Такова сила знаменитого ватиканского торса в Риме, таково чудо безголовой крылатой Нике в парижском Лувре, которая одними складками своей туники, облегающими ее мощное тело, одним наклоном всего существа, как бы противостоящего встречному вихрю, сама пребывая неподвижной, является воплощением стремительности движения.

Не те ли самые законы строго найденных соответствий решают удачу и в творчестве словесном?

Разве необходимо рассказывать долго и много, чтобы вызвать ощущение эпохи и живого, в ней действующего человека?

Быть может, писатель окажется ближе к цели, если точно угаданной живописью и неоспоримо найденным словом он научится сказать *многое в малом*».[2]

Результатом широты ее художественного мышления и интересов было глубокое понимание общих законов искусства, присущих также и литературному творчеству. Благодаря этому проза О. Форш, как в романах, так и в «малых жанрах» — в рассказах и очерках, совершенно свободна от ремесленной

---

[1] «Писательницы Грузии». — «Звезда», 1934, № 2, стр. 155.
[2] «30 дней», 1939, № 2, стр. 16.

узости «литературного цеха». За зримой рельефностью и яркостью образного воспроизведения, за чеканной ясностью фабулы в ее прозе всегда ощутима «подводная линия» ищущей, неспокойной мысли. Полувековой путь ее творческого развития проникнут глубоким сознанием ответственности советского писателя перед историей, возложившей на него «двойное бремя *мыслителя* и *мастера* вместо былой детской радости *только художника*».[1]

В одном из писем 1929 года Горький очень метко определил своеобразие личности и таланта Форш: «Талантливейший человек Вы, дорогая Ольга Дмитриевна! И — умница. Такая — настоящая, русская умница. Человек умной души».[2] Может быть, именно этим объясняется поразительное творческое долголетие О. Д. Форш: до последних дней жизни она сохранила удивительную широту интересов и энергию общественного темперамента, богатство творческих замыслов и живость сердечного чувства. Не было сколько-нибудь значительного события в нашей общественной и литературной жизни, которое оставило ее равнодушной.

Публицистическая активность О. Форш даже возрастает в последний период ее деятельности. Патриотический подвиг ленинградских женщин в годы Великой Отечественной войны и победа советского народа над фашизмом, XX съезд КПСС и II съезд советских писателей, запуск искусственных спутников Земли и первый полет советского космонавта — все вызывает у нее живой и незамедлительный отклик. Незадолго до смерти она выступила со своей последней публицистической статьей «Весной 1961 года», в которой эта неувядающая молодость

[1] Ольга Форш. Под знаком Леонардо. — «Записки театра», 1919, вып. 21, стр. 1.

[2] М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах, т. 30. М., Гослитиздат, 1956, стр. 138.

«умной души», питающейся энергией творческого отношения к жизни, выражена как сознательная позиция, как убеждение, составляющее главный итог ее душевного опыта: «А творчество, если оно стало кровью художника, бегущей по жилам, оно не дает стареть чувствам, скудеть мыслям».[1]

Полувековой творческий путь О. Д. Форш — это не только важнейший вклад в развитие советской литературы; ее художественное наследие имеет и более широкое, весьма многообразное значение для понимания путей и возможностей роста духовной культуры советского общества.

Анна Тамарченко

---

[1] «Правда», 1961, № 139, 19 мая.

ПРИМЕЧАНИЯ

В 6 том входят рассказы и сказки, опубликованные в период с 1907 по 1923 годы. Большая часть их вошла в первые два сборника О. Форш: «Что кому нравится», М., изд. т-ва И. Д. Сытина, 1914; «Обыватели», М. — П., изд-во «Круг», 1923. В основу деления тома на три раздела положены циклы, в которые сводила свои рассказы и сказки сама О. Форш; сохранены и названия, данные ею этим циклам. Внутри разделов произведения помещаются в порядке их первой публикации, за исключением цикла «Вчерашний день», в котором время написания ряда рассказов и их первой публикации расходятся. Из произведений этого периода в настоящий том не вошли пьесы и статьи, помещенные в соответствующих разделах 7-го и 8-го томов настоящего издания.

ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ

Раздел составляют рассказы о дореволюционной действительности, публиковавшиеся в 1907—1919 годах и сведенные автором в 1928 году в цикл «Вчерашний день», составивший содержание VI тома первого Собрания сочинений О. Форш

(М. — Л., Госиздат, 1928). Некоторые из рассказов этого раздела входили в сборник «Обыватели» (1923), но затем были перенесены автором в вышеназванный цикл («Застрельщик», «Идиллия», «Африканский брат»).

БЫЛ ГЕНЕРАЛ

Впервые — «Русская мысль», 1908, № 10, стр. 14—28.

Стр. 16. *Волочебники* — певчие; по народному обычаю, распространенному в то время в некоторых западных губерниях, они пели под окнами на пасхальной неделе в ночь с воскресенья на понедельник, имитируя при этом слепцов.

Стр. 18. *...начитавшись Жюль Верна, представлял себе, что спустился на дно морское в стеклянном колпаке.* — Имеется в виду роман Жюля Верна (1828—1905) «80 000 километров под водой» (1870).

ЗАСТРЕЛЬЩИК

Впервые — «Русская мысль», 1909, № 4, стр. 51—63. В сб. «Обыватели», М. — П., изд-во «Круг», 1923, стр. 21—38 и во всех последующих изданиях рассказ посвящен памяти мужа писательницы Бориса Эдуардовича Форш (1867—1920).

Стр. 29. *...красил «Поклоненье волхвов».* — Речь идет об иллюстрации к евангельской легенде, согласно которой волхвы пришли с востока, руководимые звездой, поклониться младенцу Иисусу Христу.

Бегство в Египет, проповедь, крестные муки... — Речь идет об основных моментах легендарной биографии Иисуса Христа. Согласно евангельскому мифу, Иосиф, муж Марии, спасая Иисуса Христа от царя Ирода, который хотел убить его, взял младенца и мать его Марию и бежал с ними в Египет.

Стр. 33. *...Диоген в бочке!* — Диоген (ок. 404—323 до н. э.) — древнегреческий философ, ученик Антисфена, основателя философской школы циников. Следуя их учению, Диоген стремился вернуться к «естественному состоянию» и выдвигал идею мирового гражданства. Диоген был равнодушен к почестям, терпеливо сносил обиды, лишал себя удобств жизни и, наконец, поселился в бочке, которую всегда катил перед собой.

Стр. 40. *«Скажи мне, ветка Палестины...»* — начало стихотворения М. Ю. Лермонтова «Ветка Палестины» (1837).

ЗА ЖАР-ПТИЦЕЙ

Впервые — «Русская мысль», 1910, № 2, стр. 95—105.

Стр. 52. *Монополька.* — Торговля водкой была монополией царского правительства, поэтому казенная винная лавка получила в народе название — «монополька».

БОГДАН СУХОВСКОЙ

Впервые — «Русская мысль», 1910, № 8, стр. 5—57, под названием «Дети земли». Под названием «Богдан Суховской» вошел в цикл рассказов «Вчерашний день», Собрание сочинений, т. VI, Госиздат, 1928, стр. 25—96.

Стр. 66. *...арка Тита...* — Триумфальная арка была построена в Риме в честь победы Тита Флавия Веспасиана (39—81) над иудеями и взятия им Иерусалима; строительство было окончено в 81 году.

Стр. 68. *Рокамболь* — герой авантюрных романов французского писателя Понсона дю Террайля (1829—1871) «Похождения Рокамболя».

Стр. 73. *«Зритель»* — еженедельный сатирический журнал, выходил в Петербурге в 1905—1908 годах.

«Нива» — иллюстрированный еженедельный журнал, выходил в Петербурге в 1870—1918 годах.

«Мельмот-скиталец» (1820, русск. пер. 1833) — роман английского писателя Чарльза Роберта Мэтьюрина (1782—1824).

Стр. 76. *Исаак Сирианин* — один из «отцов церкви» (VII век). Сохранилось сто тридцать три его поучения под общим заглавием «Монашеское правило».

Стр. 80. *Лакузы* — бранная форма слова «лакеи».

...моя библиотека к вашим услугам. Том первый — «О хорошей болезни». Том второй — «Сорвать банк, или Нет больше Монако!» Рокамболь. — Здесь Валериан, говоря о своей «библиотеке», пародирует цикл авантюрных романов Понсона дю Террайля «Похождения Рокамболя».

Стр. 91. *Лоти* Пьер (1850—1923) — французский романист.

Стр. 92. *...взявшего себе псевдоним пифагорейца Алкмеона.* — Алкмеон (вторая полов. VI в. до н. э.) — древнегреческий философ пифагорейской школы, естествоиспытатель, один из первых анатомов.

Стр. 93. *Тиара* — трехъярусная корона римского папы.

Стр. 97. *...в темноте ослеплять пентаграммой?* — Пентаграмма — пятиугольник, на каждой стороне которого построен треугольник; в средние века считалась магическим знаком, изображавшимся на амулетах.

Стр. 98. *Роза* Сальваторе (1615—1673) — итальянский живописец, гравер, поэт и музыкант.

Стр. 104. *— Вспомни, мальчик, наставления Флобера о стиле...* — Имеются в виду суждения Гюстава Флобера в его переписке.

Стр. 105. *Зацветет в твоей руке жезл Аарона, и в движении бровей ляжет власть Моисея над упорной толпой.* —

Согласно библейской легенде, жезл Аарона, брата Моисея, в его руках обладал чудодейственной силой — проглатывал жезлы египетских чародеев, расцветал и приносил плоды. Моисей — пророк, которому приписывается освобождение древних евреев от преследований египетских фараонов и вывод их из Египта.

Стр. 115. *...одну пышную лилию, как архангел на образе благовещения.* — По евангельскому преданию, архангел Гавриил явился к деве Марии с «благой вестью» о «непорочном зачатии». Этот мотив стал популярным сюжетом как в живописи, так и в иконописи, причем архангел изображался с цветком лилии или с миртовой ветвью в руке.

Стр. 117. *...мужественную свежесть дорической школы...* — Дорическая школа (или дорический ордер) — одна из трех основных школ зодчества древней Греции.

Стр. 129. *Moulin Rouge* — известный кафешантан в Париже.

...отважнейший Фаэтон, полетишь прямо в солнце... — Согласно древнегреческому мифу, Фаэтон, сын Гелиоса (бога солнца), выпросил у отца огненную колесницу, но, не умея управлять ею, чуть не устроил всемирный пожар, предотвращенный лишь вмешательством Зевса, поразившего Фаэтона молнией.

Стр. 131. *...как ни мни ты себя Люцифером...* — Люцифер — распространенное в античной мифологии прозвище многих богов, ведавших небесными светилами. В средние века — одно из имен сатаны.

Стр. 135. *Гестия* — в античной мифологии богиня домашнего очага, дочь Крона и Реи.

Пеан — в древней Греции гимн в честь бога или по случаю войны.

Иерофант — у древних греков старший жрец, пожизненно сохранявший сан.

«НОЧНАЯ ДАМА»

Первая публикация рассказа не выявлена. В VI т. Собрания сочинений, Госиздат, 1928, стр. 260—283, датировано 1912 годом.

Стр. 153. *Дуров* Анатолий Леонидович (1865—1916) — известный русский дрессировщик и клоун-сатирик.

Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1847—1887) — известный русский путешественник, ученый и общественный деятель.

Баттистини Маттиа (1857—1928) — итальянский оперный артист. Гастролировал в Англии, Испании, Франции, Германии, Австрии, Румынии, Чехословакии и России.

Стр. 154. *Мюссе* Альфред де (1810—1857) — французский поэт-романтик.

Стр. 156. *Тихон Задонский* (1724—1783) — духовный писатель. Здесь речь идет о Задонском монастыре, основанном в 1627 году.

Стр. 164. *...в любимом романе ее «Пугачевцы» графа Салиаса.* — В романе Е. А. Салиаса-де-Турнемира (1841—1902) «Пугачевцы» (1874) пугачевское восстание рисуется как страшное стихийное бедствие, по ходу сюжета приводящее к гибели всех главных героев-дворян, окруженных сентиментальным сочувствием автора.

СВОИМ УМОМ

Впервые — «Заветы», 1913, № 3, стр. 52—80.

Стр. 172. *...живешь как в сказке жил мальчик Кай в царстве белых снегов...* — Мальчик Кай — персонаж «Снежной королевы» (1845—1846) Ханса Кристиана Андерсена.

Стр. 173. *...против фамилии поставит двенадцать.* — В закрытых женских институтах была принята двенадцатибалльная система оценок.

Стр. 177. *...одной за Пушкина, другой за Филарета...* — Стихотворение московского митрополита Филарета (Дроздова Василия Михайловича, 1783—1867) «Не напрасно, не случайно», являющееся ответом на стихотворение Пушкина «Дар напрасный, дар случайный» (1828), было опубликовано в детском журнале А. О. Ишимовой «Звездочка» (1848, № 10). Этот же эпизод упомянут и в статье О. Д. Форш «Пушкин в институте» («Россия», 1924, № 2, стр. 175), а затем составил основу сюжета в рассказе «Филаретки» (1937).

Стр. 179. *...какое лицо у Авраама, когда он выгоняет в пустыню Агарь с Измаилом...* — Согласно библейскому преданию, Авраам — родоначальник еврейского народа — имел сына Измаила от египтянки Агари — служанки своей жены Сарры. Авраам сначала не соглашался изгнать Агарь с младенцем из своего дома, но затем покорился велению бога и отправил ее в пустыню, дав хлеба и кувшин воды и «возложив ребенка ей на плечи».

Стр. 180. *...я про Сократа читала, так он святой, он ради одного добра выпил чашу яда...* — Греческий философ Сократ (469—399 до н. э.) выпил чашу с цикутой по приговору афинского суда, объявившего его учение кощунством по отношению к богам Олимпа.

Стр. 181. *...сама Жанна д'Арк...* — Жанна д'Арк (1412—1431) — национальная героиня Франции, во время войны с Англией возглавившая патриотическое движение народа против оккупантов.

Стр. 184. *Иловайский* Дмитрий Иванович (1832—1920) — реакционный историк, автор гимназических учебников всеобщей и русской истории.

Стр. 191. *...лучше всего, если бы кто-нибудь из учителей в нее влюбился, как у Гаршина умный человек в Надежду Ни-*

колаевну... — Речь идет о рассказе В. М. Гаршина (1855—1888) «Надежда Николаевна» (1885).

...пепиньерки. — Пепиньерками назывались девушки, окончившие закрытое учебное заведение (институт) и оставленные в нем для педагогической практики.

Стр. 202. *...как мог кит проглотить Иону...* — Согласно библейской легенде, Иона вместе с плотом, на котором он плыл по морю, был проглочен китом, пробыл «во чреве китовом» три дня и три ночи и затем был извергнут на сушу.

ИДИЛЛИЯ

Впервые — «Заветы», 1914, № 3, стр. 17—23, с подписью: А. Терек.

Рассказ является переработкой одной из глав романа «Оглашенные», начатого в 1912 году. Основу рассказа составляют наблюдения, накопленные О. Д. Форш в 1897—1901 годах, когда она училась в Киевской рисовальной школе Н. И. Мурашко.

Стр. 212. *...заведовал ею «старый Петренко»...* — В образе Петренко отражены некоторые черты основателя Киевской рисовальной школы (1876—1901) художника Н. И. Мурашко (1844—1909) в последние годы его руководства школой.

...деньги давал меценат. — Имеется в виду известный любитель и коллекционер живописи украинский миллионер-сахарозаводчик И. Н. Терещенко, материально поддерживавший школу Н. И. Мурашко.

...все подарки дяде Петренку... — Музей Киевской рисовальной школы сложился из картин, подаренных для него многими русскими художниками. И. Е. Репин писал И. Н. Крамскому: «Рекомендую Вам моего старого друга Николая Ивано-

вича Мурашку, он создал в Киеве рисовальную школу... Для нее же он положил основание музею из вещей, которые пожертвовали, по его личной просьбе, почти все художники» («Переписка И. Н. Крамского», т. 2. М., изд-во «Искусство», 1954, стр. 379).

Стр. 213. *...в бархатной куртке а-ля Брюллов.* — На автопортрете художник К. П. Брюллов (1799—1852) изобразил себя в бархатной блузе.

Стр. 214. *...читал себе вслух «Энеиду»...* — Речь идет о поэме украинского поэта и драматурга И. П. Котляревского, написанной в бурлескном стиле и озаглавленной «Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная».

«Дискобол» — статуя древнегреческого ваятеля Мирона (VI—V в. до н. э.), сохранившаяся в копии. Здесь речь идет об одной из бесчисленных гипсовых копий, почти обязательных в каждой художественной школе.

Стр. 215. *...оба — Иоанном Крестителем... кресты и шкурки я сама принесу.* — Иоанн Креститель — мифическое лицо в истории христианской религии; ему приписывается «пророчество» о пришествии мессии — «спасителя мира» Иисуса Христа. Изображение Иоанна Крестителя в отроческом возрасте, одетым в шкурку мехом вверх и с крестом в руках, — один из популярных сюжетов живописи.

...на стене висел хороший холст: «Саул и Давид». — Саул и Давид — персонажи библейского предания. Различные моменты их взаимоотношений составляют сюжет многих произведений живописи.

...прибой лазоревых волн знаменитого мариниста... — Речь идет об одном из морских пейзажей И. К. Айвазовского (1817—1900), который был выполнен художником специально для школьного музея во время пребывания в Киеве в 1884 году в связи с выставкой его картин.

БЕЛЫЙ СЛОН

Впервые — «Русская мысль», 1913, № 9, стр. 165—178.

Стр. 227. *...в Соловецком.* — Соловецкий мужской монастырь (на острове Соловецкий в Белом море) был основан в середине XV века.

Стр. 237. *Брама* (Брахма) — в религиозной системе индуизма высшее божество и первопричина всего сущего, творец богов и людей. *Будда* — полулегендарный основатель буддийской религии в древней Индии.

АФРИКАНСКИЙ БРАТ

Впервые — «Красная новь», 1922, № 5, стр. 94—102, с подзаголовком: «Из книги „Обыватели"». Является переработкой пятой главы незаконченного романа «Оглашенные», написанной в 1916 году.

Стр. 243. *...в штунду не бегала...* — Штунда — одна из религиозных сект, возникшая в России в середине XVIII века. В числе ее догматов была вера в близкий передел всей земли; указом от 4 июня 1894 года была отнесена к разряду наиболее вредных сект.

Стр. 245. *Заведет она стихиру...* — Стихиры — в богослужебных книгах песни со стихами из священного писания.

Стр. 254. *...стал показывать притчу о добром самарянине.* — Имеется в виду евангельская притча о добром самарянине, который, в отличие от священника, не прошел мимо человека, пострадавшего от разбойников, а оказал ему помощь и исцелил от раны.

В МОНАСТЫРЕ

Впервые — «Скифы», сб., кн. 1, 1917, СПб., стр. 120—139, под названием «Пролог (к роману «Оглашенные»)». Написано в 1912 году. В 1916 году О. Д. Форш принесла начало романа в журнал «Летопись», но обращение к монастырскому быту вызвало настороженность А. М. Горького. Между ними «произошел несколько колкий разговор», как вспоминала О. Форш. «Рукопись я у Алексея Максимовича не оставила» («Звезда», 1945, № 2, стр. 103). Под названием «В монастыре» опубликовано в VI т. Собрания сочинений, Госиздат, 1928, стр. 232—259.

Стр. 261. *«Новое время»* — ежедневная реакционная газета; издавалась в Петербурге в 1868—1917 годах.

Стр. 262. *«Тайны Мадридского двора»* (1870) — роман немецкого писателя Г. Борна.

Нат Пинкертон — главный герой-сыщик серии детективных романов, выходивших во многих странах в десятых годах XX века.

...Арцыбашева «Санин»... — «Санин» (1907) — роман писателя-декадента М. П. Арцыбашева (1878—1927).

...баптист, адвентист, братчик... — представители различных религиозных сект. Секта баптистов (крестителей) возникла в Англии в XVIII веке; позднее распространилась и в других странах, включая Россию. Адвентисты — секта, главным догматом которой является вера в близость «второго пришествия Христа» и наступление тысячелетнего царства божия на земле. Братчики — религиозно-националистическая организация, распространившаяся на Украине и в Белоруссии в XVII—XVIII веках.

Стр. 264. — *Ирмологий-то...* — Ирмос — вступительный стих, раскрывающий содержание остальных песен церковного бого-

служения. Ирмологий — книга, содержащая ирмосы восьми церковных песен.

Анфологион — церковная книга, содержащая службы различных праздников.

...алфавит... еще архиепископом Иоанном Максимовичем составленный. — Имеется в виду «Алфавит собранный, рифмами сложенный, от святых писаний, из древних речений, на пользу всем чтущим...» (Чернигов, 1705) Иоанна Максимовича (1651—1715), архиепископа черниговского, автора стихов и проповедей, переводчика.

Стр. 267. *...сравнивают его с крином райским, с миррой и нардом.* — Крин — декоративный цветок, похожий на лилию. Мирра — благовонная смола, добываемая из коры аравийских и африканских деревьев. Нард — индийское растение, из которого добывается душистое вещество, носящее то же название и очень ценившееся в древнем мире.

Стр. 272. *Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился...* — начало стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» (1826).

Стр. 275. *И шестикрылый серафим на перепутье мне явился...* — строка из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк».

Стр. 276. *...Лаокоонову маску...* — Лаокоон — в греческом эпосе троянский жрец; по повелению богов вместе с двумя сыновьями был задушен змеями за то, что стремился спасти Трою и советовал троянцам не вводить в город деревянного коня, внутри которого скрывались греческие воины. Широко известна скульптурная группа, изображающая гибель Лаокоона и его сыновей, работы Агесандра, Афинодора и Полидора, I в. до н. э.; найдена при раскопках в Риме в 1506 году.

Стр. 280. *...предупреждения святого Иоанна Кассиана...* — Иоанн Кассиан (ум. 435) — римлянин, основатель монашества в Галлии.

Лествичник Иоанн (ок. 525 — после 600) — церковный писатель.

Ефрем Сирин (ок. 304—373) — церковный писатель и проповедник.

«Добротолюбие» — сборник сочинений церковных деятелей ранних веков христианства. В русском переводе книга вышла в 1883 году.

Симеон-столпник (356—459) — один из великомучеников христианского аскетизма, изобретатель того рода подвижничества, которое получило название столпничества.

Стр. 281. *...по истинному слову тайноведца, святого Антония великого.* — Антоний (ок. 251 — ок. 356) — «отец монашества», церковный писатель, «Слова» которого переводились на Руси.

Стр. 283. *...щоб бисов кит занова слопал того Иону, як першего, тилько вовеки б не отрыгнул...* — См. прим. к стр. 202 наст. тома.

Стр. 284. *...Лазарев срок...* — Согласно евангельской легенде, Иисус Христос воскресил Лазаря на третий день после его смерти.

МАРФУШКИН КРУГ

Впервые — «Наш путь», 1918, № 1, стр. 51—69, под названием «Поголовщина», с подписью: А. Терек. Под названием «Марфушкин круг» впервые опубликовано в VI т. Собрания сочинений, Госиздат, 1928, стр. 321—353.

Стр. 290. *...из ограбленного капища...* — Капище — языческий храм, место поклонения идолам — изображениям языческих богов.

Стр. 291. *...как взят был Порт-Артур...* — Русская крепость Порт-Артур, после осады японцев с моря, длившейся с июня по декабрь 1904 года, была сдана неприятелю генералом Стесселем, изменившим родине.

ГНЕЗДЫШКО

Впервые — «Путь», 1919, № 1, стр. 3—8, с подписью: А. Терек.

Стр. 312. *«Новое время»* — см. прим. к стр. 261 наст. тома.

Стр. 313. *...вместе с «водой Лурда»...* — Лурд — город юго-западной Франции, вблизи которого в одной из пещер в 1858 году забил источник. Около него якобы «явилась» божья матерь, наделившая источник целебными свойствами. Лурд посещают многочисленные паломники, жаждущие исцеления от источника, город стал центром католического шарлатанства.

Стр. 323. *...схватился за книгу Фридриха Ницше...* — Книга реакционного немецкого философа Фридриха Ницше (1844—1900) «По ту сторону добра и зла. Прелюдии к философии будущего» вышла в 1907 году одновременно в двух переводах на русский язык.

Стр. 324. *Крафт-Эбинг* Рихард (1840—1902) — австрийский психиатр, автор книги «Половая психопатия», переведенной на русский язык в 1909 году.

Стр. 328. *...стихи про епископа Гаттона... вдруг тараканы на нее наползут черной тучей, как на епископа мыши...* — Имеется в виду «Суд божий над епископом» (1831) В. А. Жуковского (перевод баллады Саути). Источником баллады является легенда об архиепископе города Метца Гаттоне. Во время голода 914 года Гаттон созвал всех голодных и сжег их в амбаре. В наказание он был съеден мышами в замке на острове посреди Рейна, где пытался укрыться от наступавших отовсюду мышей.

ЖЕНА ХАМА

Первая публикация рассказа не выявлена. В VI т. Собрания сочинений, Госиздат, 1928, стр. 308—320, датировано 1919 годом.

Стр. 333. *...суфражистка...* — Суфражистками назывались участницы движения за предоставление женщинам избирательных прав, возникшего в Англии начала XX века.

Слышала я фребеличку... — Фребеличками назывались воспитательницы детей дошкольного возраста, обучавшиеся на фребелевских курсах. Фребель Фридрих (1782—1852) — немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания.

Стр. 338. *Фидий* (490—430 до н. э.) — древнегреческий скульптор, творец Афины Парфенонской.

Пракситель (IV в. до н. э.) — древнегреческий скульптор.

Стр. 339. *...«сеять разумное, доброе, вечное»* — строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятель» (1876).

Демосфен, с полным ртом мелких камешков, побеждающий косноязычие... — Демосфен (384—322 до н. э.) — знаменитый оратор и политический деятель древних Афин. Достиг высшего совершенства в ораторском искусстве, побеждая упорной работой свои природные недостатки; так, чтобы преодолеть неясность произношения, он набирал в рот камешки и старался говорить ясно и громко.

...спартанский мальчик с лисицей... — Древнегреческий писатель и историк Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях» рассказывает о мальчике, который, «украв лисенка, спрятал его у себя под плащом, и зверек разорвал ему когтями и зубами живот; мальчик, чтобы скрыть свой поступок, крепился до тех пор, пока не умер». Этот рассказ стал хрестоматийным примером стойкости и выдержки.

Муций Сцевола — легендарный герой древнего Рима; по преданию, сжег свою правую руку на глазах у осаждавшего

Рим в 508 году до н. э. этрусского царя в доказательство мужества и патриотизма римлян.

Стр. 341. *Читали Уэльса, «Калитка в стене»?* — Рассказ английского писателя Герберта Уэльса (1866—1946), опубликованный в 1911 году и тогда же переведенный на русский язык под названием «Калитка в стене»; в современных переводах озаглавлен «Дверь в стене».

Стр. 342. *Берсальеры* (от итал. bersaglio — мишень) — особый вид итальянской пехоты, специально тренировавшейся в меткой стрельбе и форсированных переходах.

Стр. 344. *...жена Хама... этот сын Ноев довольно скомпрометирован.* — Хам — сын патриарха Ноя, по библейскому сказанию — проклятый отцом за непочтительность.

ЧТО КОМУ НРАВИТСЯ

Раздел составляют сказки и рассказы о детях, входившие в первый сборник О. Форш — «Что кому нравится», М., изд. т-ва И. Д. Сытина, 1914. Перепечатаны в V т. первого Собрания сочинений (М. — Л., Госиздат, 1930).

ЧЕРЕШНЯ

Впервые — «Киевский вестник», 1907, № 1, 19 августа, стр. 14—16.

ИНДИЙСКИЙ МУДРЕЦ

Впервые — «Утро жизни», Киев, 1908, № 1, стр. 21—25. В этой сказке отразилось увлечение О. Д. Форш буддийской мифологией.

Стр. 352. *Брама* — см. прим. к стр. 237.

Стр. 356. *Шива* — бог разрушитель и созидатель; культ Шивы восходит к древнейшим культам плодородия.

Стр. 358. *Будда* — см. прим. к стр. 237.

В НЕАПОЛЕ

Впервые — «Утро жизни», Киев, 1908, № 2, стр. 18—27.

Стр. 361. *Аристид* (по прозвищу Справедливый) (540—467 до н. э.) — знаменитый афинский общественный деятель и полководец.

Стр. 365. *...Вергилий покажет ему всех до одного грешников в аду, как этот волшебник уже раз с кем-то проделал.* — Вергилий (70—19 до н. э.) — римский поэт, его могила находится в Неаполе. Здесь имеется в виду образ Вергилия в «Божественной комедии» Данте, где он является проводником поэта по девяти кругам ада и чистилищу.

Стр. 368. *...художник это в Петербурге, в Эрмитаже...* — Имеется в виду картина К. П. Брюллова «Последний день Помпеи» (1833).

Плиний Старший (23—79) — древнеримский ученый, автор «Естественной истории» в 37 книгах; погиб жертвой собственной любознательности, из-за желания увидеть вблизи происходившее тогда извержение Везувия.

МЕДВЕДЬ ПАНФАМИЛ

Впервые —«Русская мысль», 1909, № 8, стр. 125—134.

В письме к О. Д. Форш от 5 сентября 1926 года А. М. Горький высоко оценил этот рассказ: «Еще ваш рассказ в «Русской мысли», — «Медвежонок» удивил меня рисунком»

(«Звезда», 1945, № 2, стр. 103). В V т. Собрания сочинений, Госиздат, 1930, стр. 103—115, и во всех последующих изданиях сказка посвящена М. Горькому.

ДУХОВИК

Впервые — «Тропинка», 1912, № 2, стр. 100—120, с рисунками автора. В V т. Собрания сочинений, Госиздат, 1930, стр. 134—153, и во всех последующих изданиях сказка посвящена сыну писательницы Дмитрию Борисовичу Форш.

ХИТРЫЕ ЗВЕРИ

Впервые — «Родник», 1912, № 2, стр. 135—146, с рисунками автора. В V т. Собрания сочинений, Госиздат, 1930, стр. 159—173, и во всех последующих изданиях сказка посвящена дочери писательницы Тамаре Борисовне Форш.

ИВАНОВ ДЕНЬ

Первая известная публикация — в книге О. Форш «Что кому нравится». Сказки и рассказы. М., изд. т-ва И. Д. Сытина, 1914, стр. 25—32.

РУСАЛОЧКА РОТОЗЕЕЧКА

Первая известная публикация — «Что кому нравится». Сказки и рассказы. М., изд. т-ва И. Д. Сытина, 1914, стр. 33—45.

НА ЧЕРНОМ ДВОРЕ

Первая известная публикация — «Что кому нравится». Сказки и рассказы. М., изд. т-ва И. Д. Сытина, 1914, стр. 98—108.

ПУМПИН САД

Первая известная публикация — «Что кому нравится». Сказки и рассказы. М., изд. т-ва И. Д. Сытина, 1914, стр. 109—121. В V т. Собрания сочинений, Госиздат, 1930, стр. 181—192, и во всех последующих изданиях рассказ посвящен дочери писательницы Надежде Борисовне Форш.

ФАРАОНОВЫ ЗМЕИ

Первая известная публикация — «Что кому нравится». Сказки и рассказы. М., изд. т-ва И. Д. Сытина, 1914, стр. 122—126.

ЧТО КОМУ НРАВИТСЯ

Впервые — «Что кому нравится». Сказки и рассказы. М., изд. т-ва И. Д. Сытина, 1914, стр. 3—8.

ОБЫВАТЕЛИ

Раздел составляют рассказы о предреволюционной действительности и о годах гражданской войны, публиковавшиеся с 1913 по 1923 годы и затем вошедшие в сборник «Обыватели», М. — П., изд-во «Круг», 1923. Рассказы «Застрельщик», «Идиллия», «Африканский брат» в 1928 году были перенесены автором

в цикл «Вчерашний день» и поэтому в раздел не включены. Из одиннадцати рассказов, составляющих цикл «Обыватели» в I т. Собрания сочинений, М. — Л., Госиздат, 1928, здесь помещено девять.

ШЕЛУШЕЯ

Впервые — «Заветы», 1913, № 7, стр. 13—20, с подписью: А. Терек.

БЕЗГЛАЗИХА

Впервые — «Заветы», 1914, № 3, стр. 9—16, с подписью: А. Терек.

КАТА́СТРОФА

Впервые — «Заветы», 1914, № 3, стр. 24—34, с подписью: А. Терек.

«МАРСЕЛЬЕЗА»

Первая публикация рассказа не выявлена. В сб. «Обыватели», М. — П., изд-во «Круг», 1923, стр. 105—115, как и во всех последующих изданиях, помещался автором после рассказов 1914 года и до рассказа «Чемодан» (1921).

Стр. 511. *Розов* Николай Петрович (1842—1892) — популярный дьякон — исполнитель духовных и светских песен.

Стр. 512. *Вяльцева* Анастасия Дмитриевна (1871—1913) — русская актриса эстрады и оперетты, исполнительница цыганских романсов.

Стр. 518. *...поют гимназисты — кто гимн, а кто «Марсельезу».* — С установлением Третьей республики (1872) «Марсельеза» является государственным гимном Франции и в связи

с заключением военного союза Российской империи с Францией в дни приезда Пуанкаре в Петербург (1912) исполнялась вполне официально, чередуясь с «Боже, царя храни...»

ЧЕМОДАН

Впервые — «Красная новь», 1921, № 2, стр. 15—24.

ИЗ СМОЛЬНОГО

Впервые — «Россия», 1922, № 1, стр. 1—4, с подзаголовком: «Гротески».

Стр. 542. *...«Hoffnung» Шиллера.* — Стихотворение Ф. Шиллера (1759—1805) «Надежда» (1797).

Стр. 553. *Сикст V* (1521—1590) — римский папа.

ЖИВОРЫБНЫЙ САДОК

Впервые — «Жизнь искусства», 1922, № 2, 10 января, с подзаголовком: «Из книги „Обыватели"».

Стр. 557. *...учителя пластики по Далькрозу...* — Жак-Далькроз Эмиль (1865—1950) — швейцарский музыкант-педагог, основатель системы ритмического воспитания.

КОРРЕКТИВ

Впервые — «Мухомор», 1922, № 10, стр. 3.

Стр. 564. *...лимонщиков сколько угодно...* — «Лимонщики» — ироническое снижение слова «миллионщики». Лимонами назывались в 1920—1923 годах обесцененные денежные знаки лимонно-желтого цвета.

Стр. 565. *На Аничковом на мосту... к четырем лихим коням...* — Речь идет о четырех бронзовых конях с укрощающими

их юношами на мосту через Фонтанку в Ленинграде, созданных скульптором П. К. Клодтом в 1833—1855 годах.

Стр. 566. *...в николаевку обернули...* — Речь идет об офицерской шинели с пелериной — форма, введенная при Николае I.

СИНЕКУРА

Впервые — «Петербургский сборник», 1922, стр. 103—110.

Стр. 572. *Синекура* (лат. sine cura — «без заботы») — хорошо оплачиваемая должность, не требующая никакого труда.

Стр. 577. *...Сара Бернар в Клеопатре...* — Сара Бернар (1844—1923) — французская трагическая актриса; исполняла роль Клеопатры в пьесе В. Шекспира «Антоний и Клеопатра» (1608).

...мадам Рекамье... — Рекамье Юлия-Аделаида (1777—1849) — жена парижского банкира, известная красавица, знаменитая своим салоном, в котором собирались выдающиеся люди ее времени.

Стр. 578. — *Фильма дома Патэ...* — Патэ Шарль — крупнейший французский кинопромышленник. Начиная с 1904 года открыл филиалы во всех странах мира.

Стр. 579. *Как мыши на епископа Гаттона...* — См. прим. к стр. 328 наст. тома.

КЛИМОВ КУЛАК

Первая известная публикация — сб. «Обыватели», М. — П., изд-во «Круг», 1923, стр. 215—235. Рассказ посвящен Надежде Александровне Секавиной (1875—1936) — подруге писательницы по Николаевскому женскому сиротскому институту в Москве, в который О. Д. Форш была помещена после Александровского малолетнего сиротского пансиона графа Разумовского в 1884 году (училась до 1891 года).

Мотив встречи неопытной девушки из привилегированного круга с жизнью вымирающей от голода русской деревни начала 90-х годов — автобиографичен. Этот материал своих юношеских впечатлений Форш использовала и ранее — в одной из глав незаконченного романа «Оглашенные» («Катя Граун и мужики»), переделанной затем в рассказ «Аттестат зрелости» («Путь», 1919, № 3, стр. 3—8). После рассказа «Климов кулак» Форш вернулась к этому материалу, работая над пьесой «Чувер», которая, однако, завершена не была.

Стр. 600. *Малюта Скуратов* (Бельский Григорий Лукьянович; ум. 1572) — думный дворянин, ближайший помощник царя Ивана IV Васильевича по руководству опричниной.

СОДЕРЖАНИЕ

ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ

ЧТО КОМУ НРАВИТСЯ

ОБЫВАТЕЛИ

Ольга Дмитриевна Форш

***СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**, т. 6*

Редактор М. Белоусова
Художественный редактор
Л. Чалова
Технический редактор
В. Алексеева
Корректор Л. Никульшина

Сдано в набор 27/VIII 1963 г. Подписано к печати 12/XII 1963 г. Бумага 70 × 108[1]/32. 21 печ. л. 28,77 усл. печ. л. Уч. изд. л. 25,488 + 1 вкл. — 25,527 л. Тираж 109 500 экз. Заказ № 565.
Цена 75 к.

Издательство
«Художественная литература»
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28.

Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Главполиграфпрома» Государственного комитета Совета Министров СССР по печати, Гатчинская, 26.